

Голоса

Голоса

1
1980

1
1980

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Звезда

1
январь
1980

■ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД



ИЗ ДЕРЕВЕНСКИХ ПЯТИСТИШИЙ

I

Деревня. Запах добрый, теплый.
Так пахло от России в полдень жаркий,
когда она снопы вязала в поле.
...Но промелькнул пастух на мотоцикле,
и запах века — заслонил былое.

II

Ночь светлая. Лошадка на бугре.
Как памятник, недвижна. Спит, пожалуй.
Который год ее не запрягают.
Нет в том нужды.
Спокойной ночи, лошадь.

III

В обед вернулась с пастбища корова,
и все — собака, кошка и котятка,
а также куры, утки, даже свиньи —
почтительно привстали, кто где был:
в траве, в пыли, а то и просто в луже...

IV

Дремучий дед и хворосту вязанка.
И шмель жужжит, как триста лет назад.
Я думал: дед уж вымер, аки мамонт...
Лицо — клубок морщин, и на кармашке
значок с изображеньем космонавта.

V

Тропа в хлебах. Срываю колосок
и пристально рассматриваю зерна.
И где-то за курганами России,
в глубинах прошлого, кого-то различаю —
того, кто первый дал зерну значение.

* * *

Настывшую за зиму душу
сведу по путевке на юг.
Куплю ей арбуз или грушу
и травки врачующей пук.
Сведу ее за ухо к морю,
заставлю раздеться и лечь.
И розовой краскою вскоре
коснутся лучи — ее плеч.
И вот уже волны хохочут,
и камушки манят на дно.
И чьи-то неверные очи
вдруг вспыхнут,
как в кубке вино!
О, благо, рожденное явью,
доступный при жизни Эдем.

Глотнуть бы из кубка
во здравье,
да страшно: что будет затем?
...Спустя отведенные сроки,
вставая в железный вагон,
почувствовать север далекий
размякшим плечом, как погон.
И вот уже версты над полем
гудят, синевую дыша.
И драться за лучшую долю
готова, как прежде, душа.
И город, как битва, грохочет,
и юг позабыт без труда...
Лишь в дымном сознании — очи
нет-нет и сверкнут, как тогда.

СВЯЗЬ СОН

Мутный свет за вагонным окном,
может, лунный,
а может, светает...
И тревога в застойном, больном,
неприветренном мозге —
витаает.
Где мы едем? Куда? Почему?
Что там в небе
погаснуть не хочет?
Розоватую кто бахрому
пришивает к молчанию ночи?
И какие там люди в домах,

и породы деревьев над ними?
И какие там мысли в умах
разбежались путями какими?
...А потом просочились лучи
из-за края земли!
И послушно
промелькнули над пашней грачи
и забытая богом церквушка...
Поезд шел по родной стороне,
отдыхала душа от испуга.
И сосед по купе и весне
был похож на далекого друга.

* * *

У печали есть чары...
Как ты тут ни крутись,
а нельзя без печали
на земле обойтись.
Зубоскал, бедокуришь,
нет тебя веселей!
А взгрустнешь, как покуришь,
и на сердце теплей.
Среди смеха и позы,
и страстей голубых
навернутся вдруг слезы,
слаще смехов любых!
Среди треска и спеси,
музыкальной трусцы
вдруг захочется песен,
что певали отцы.

Широко, не игриво
наши песни лились
про ракету да иву —
не ирис-кипарис.
Фейерверки — те в парках
да в дворцовых стенах,
а Россия в неярких
пребывала тонах.
Как в простуде, в той грусти
задышалась всю жизнь...
Ну, а коли отпустит,
тут уж, сватья, держись!
Заиграет гармошка,
в пол ударит нога!
...И опять понемножку
набегут облака.

ЗВОН СИНИЦЫ

Звон синицы в саду
после музыки лета,
после треска скворцов,
воробьев и сорок.

Звон синицы!
Прохладный, сталистого цвета.
...Значит, скоро зима,
значит, вновь подospel ее срок.
Призывает тот звон
не спастись-смиряться,
а, потрянув головою,
дровец наколоть!

Мол, и в лютую стужу,
коль с духом собраться,
может петь и любить
наша брeнная плоть!
Скоро выпадет снег.
Треснет веточка гулко.
В сплустевшем саду ожиданья
сезон...

Но послышится звон! —
и душа на прогулку,
как синичка, слетит
из-под крыши на белый газон.

* * *

Не повториться!
Не прослыть банальным.
Березу в спешке
«белой» не назвать...
Ломать устои сделалось похвальным
и тривиальным — прошлому кивать.
...Оно конечно,
хлам ниспровергая,
растешь!

Но вспять оборотясь, к «нулю»,
ты говоришь любимой «дорогая»
и уточняешь: «Я тебя люблю».
Банально? Да. Но прочно.
То есть — вечно.
Ломать ломай, но помни, что к чему...
Неярко светит восковая свечка —
она ведь сердцу светит.
И уму.

Николай Григорьев

С БАШНИ ВРЕМЕНИ

Мне восемьдесят, и я как бы на башне времени. Вокруг — ближе или дальше — годы и годы прожитой жизни. Вижу себя и мальчишкой, и юношей, и в зрелом возрасте и невольно останавливаюсь на мысли: человек я один и тот же, но какие же перемены творила во мне жизнь! Раскладываю перед собой фотокарточки. Вот я ученик реального училища в Перми. В 1914 году — студент в Питере. В 1916 году — офицер царской армии. В гражданскую войну я в дивизии товарища Щорса, команду бронепоездом.

Известие о вероломном нашествии гитлеровских армий застает меня за писательским столом — и я откладываю перо. Вступаю в народное ополчение, формирую батальон саперов. Делаюсь участником героической обороны Ленинграда...

Да, на фотокарточках я в разных лицах. Но, конечно, менялось не только лицо, менялись и мои взгляды, обогащался мой духовный мир.

Отдавая себе отчет в прожитом и сделанном, я и составил эти записки. Хочу надеяться, что опыт долгой и непростой моей жизни заинтересует читателя.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Родился я в Перми («Пермяк — солёны уши»). В семье — ну как это определить... Во всяком случае, не буржуазной. Отец мой — Федор Федорович — из крестьян, окончил учительскую семинарию и учительствовал в сельской школе; затем выбился в акцизные контролеры... В чем эта служба?

Представьте себе винокуренный завод. Хозяином — капиталист. Здесь изготавливают спирт, который у заводчика покупает казна (правительство). Только казна владела правом превращать спирт в водку. А заводчику — лишь бы прибыль побольше — ничего не стоит смощенничать. Готовый спирт на заводах держали в огромных чанах — и разве не соблазн: плеснуть в чан несколько ведер воды?.. Но тут — откуда ни возмись — акцизный контролер. Залезает по лесенке наверх и опускает в чан стеклянный прибор — ареометр. На приборе шкала, и цифра тут же покажет, в законном ли спирт градусе. Если разбавлен, не избежать винокуру неприятностей.

И на спичечных фабриках опасались акцизного контролера, на табачных, на карточных. В прежние времена каждая коробка папи-

рос, коробок спичек, колода карт оклеивались бумажным пояском. Это — бандероль, она означала, что налог фабрикантом уплачен. Однако капиталист и тут надувал казну: тайком, с заднего хода пускал в продажу безбандерольные изделия... Но акцизник — тут как тут.

Трудно доставалось отцу. Человек он был честный, неподкупный. И случалось, после дня рысканья по предприятиям возвращался домой в синяках: кто подлавливал его, не угадаешь — у каждого фабриканта свои головорезы-молодчики. Обязана была помогать контролеру полиция, да только не докличешься ни городского, ни околоточного. Полиция с фабрикантами жила в дружбе...

Мать моя, Ольга Александровна, урожденная Чижевская, происходила из польских дворян, была изысканно воспитанной, с художественными наклонностями: рисовала маслом, делала из батиста ландыши, розы, выжигала по дереву и из кусочков бересты, листьев, травинки, ракушек создавала мозаичные портреты замечательных людей. Но все это на досуге. Основная ее деятельность — преподавание танцев в женских гимназиях.

Пермь — это Предуралье. Омывает город Кама — многоводная река-красавица, рожденная из голубых горных струй. И с характером река: впадая в Волгу, сама определяет себе дальнейший путь — держится стрежня, не допуская, чтобы взбаламученная волжская вода замутила ее голубизну. Единоборство это длится многие километры.

В детстве я, кажется, не расставался с Камой. Научила она меня плавать и нырять, ходить на веслах и под парусом, тонуть, не утопая, быть стойким, не теряться и тогда, когда вдалеке от берега лодку застигал шквалистый ветер. Уже не слушаясь руля, посудина крутилась на месте, или ее кидало на вдруг появившиеся волны — острые, как рваное железо. У нас, каких-нибудь двух-трех сопливых навигаторов, сердце замирало от страха, но, храбрясь друг перед другом, мы наперебой вскрикивали: «Эх, баско! Еще наддай, ветерок, еще!..» Иной раз отправлялись на веслах вверх по реке, к Мотовилихе. Там, бывало, инженеры и рабочие среди дня испытывали вновь изготовленные пушки. Стреляли боевыми через Каму. С реки виднелся деревянный щит-мишень на противоположном берегу. «Бумм...» — глухо донеслось по воде с артиллерийского завода, а над головой уже клекот. Жутко под снарядом, глаза зажмуришь... Но радость самообладания превыше страха.

Как и другие ребята, морозной уральской зимой я катался с гор на лыжах, лыжи были у нас почему-то без палок да еще взнузданы веревочками, как вожжами. Летом крутил педали велосипеда на трекке; участвовал в футбольных боях по дворам — за высокий рост и сильный удар меня неизменно ставили беком.

В те годы пришла из Европы мода на чешскую сокольскую гимнастику, и у нас, в провинции, впервые, кажется, поняли, что помимо мальчишеской возни на воздухе существует на свете и такое явление, как физическая культура. В реальном училище новым веянием в воспитании детей заинтересовался родительский комитет, сделали заказ в Прагу на костюмы и литературу. Надевали мы синие трикотажные брюки со штрипками, мягкие кожаные туфли, белые блузы (прародительницы нынешних маек). Интересно было превратиться в «соколов».

Учитель пения, которому поручили руководить занятиями, выстраивал нас ровными рядами в актовом зале, а сам как бы раздваивался: то садился за рояль, то вскакивал и, заглядывая в заграничную книжечку, поправлял наши движения. «Сокольские» часы, помнится, нам, ребятам, полюбились, быть может, прежде всего тем, что вытесняли однообразные, скучные уроки пения. Спортивных результатов движения в зале приносили мало — и мы, как звонок, бежали на улицу, чтобы с удвоенным азартом ударить по футбольному мячу, схватить

палки и поиграть в лапту или в городки, а то и просто оттузить друг друга.

Летом курсировал по Каме дачный пароходик «Царевна». Весь белый, он имел негодяйский вид, но сквозь густую покраску тут и там проступали ржавые пятна. По сути это была косметически омоложенная старуха. Владелец парохода набирал столько пассажиров, что «Царевна» плыла обычно полузатопленная — вода почти вровень с бортами. И, видать, только жаркими молитвами дачниц с детьми суденышко удерживалось на плаву. Пароходовладелец, несомненно, знал часы, когда стреляет Мотовилиха, но жадность стяжателя необорима. Нет чтобы переждать стрельбу — гоня «Царевну» и под снарядами... На пароходе переполох, мужчины вступают в резкие объяснения с капитаном, а тот, запершись в рубке, невозмутимо крутит свой штурвал; в руках пассажиров взвиваются детские простынки — ими машут, как белыми флагами, в сторону гремящего выстрелами завода; кто-нибудь дотягивается до пароходного свистка, и «Царевна» ревет белугой. А мы, мальчишки, среди общего бедлама с хохотом выплясываем на палубе охотничий танец индейцев-команчей... Лафа кататься на «Царевне»!

Пристань, а попросту — шаткий мосток на кольях. С парохода летит чалка, и «Царевна» заканчивает свой рейс. Пока пассажиры с дачным багажом спускаются по трапу, пароходик затихает, обессиленный. А приехавшие, ступив на берег, шумно радуются, что все страхи позади. Песчаный откос, сосновый бор — здесь дачный поселок Верхние Курьи, облюбованный горожанами среднего достатка.

Ребятам на даче, конечно, раздолье. Ходили мы по грибы, по ягоды, прыгали, бегали, лазали, купались, жгли костры. Противоположный берег, где Мотовилиха, всегда задымленный заводскими трубами, не привлекал нашего ребячьего внимания; разве чихнешь иногда от щекотки в носу: случалось, заводская гарь залетала и сюда, преодолевая ширь многоводной Камы.

Но однажды мы, ребячишки, стоя с удочками по колено в воде, то есть заняты делом, котзрое требует сосредоточенности, услышали из-за реки непривычные звуки. Это не были удары молота, ковавшего сталь для пушечных стволов, — эхо его тяжелых ударов всегда широко катилось по реке. Не похоже, соображаем, и на заводские гудки... Что бы это значило? Звуки легкие, воздушные. Так лопаются выдуваемые через соломинку мыльные пузыри.

Ребячье зрение острое, и мы, рыбаки, забыв про клев, уставились на гору, что примыкает к заводу и расположена вдоль реки. На горе можно было заметить неказистые избенки рабочих. Оттуда и доносились эти звуки.

— Ребята... — вдруг смекнул кто-то из нас, — да ведь это стреляют... Прямо в людей!

И тут заговорили все разом, горячась и пугаясь увиденного:

— Гляди, гляди... На горе казаки!

— Верно! А против них — пешие... Кто это?

— А этот, ой, кубарем с горы...

— Казак? Так ему и надо! Не лезь, куда не просят... Только коня жалко: убился, поди.

— Второй кубарем... Третий!.. — азартно считали мы. — А тот — ух, покатился с конем... Совсем вниз, будто снежный ком. Докатиться бы ему до Камы — да в воду!

Казаки то бросались вперед (шашек и нагаек в их руках издали не было видно), то пятились, тесня крупными лошадьми друг друга. А пеших за ширью реки и не разглядеть. Порой казалось, что казаки воюют с воздухом. И все равно было жутко глядеть... Наша ребячья вагата была на стороне безоружных, слабых.

Но казаков все прибавлялось, выстрелы из ружей уже гремели залпами. А у меня от беспомощности слезы застилали глаза и под носом было мокро...

Случилось все это летом 1905 года. Но ничего связанного от страшного зрелища в моих мыслях не возникло. Отец, мать и другие взрослые, каких я мог видеть на даче, шарахались от моих вопросов.

— Забудь, что видел. Иди играть. Или почитай книжку — вот «Дон-Кихот» у тебя.

Начальником отца был штатский генерал Фотиев, назывался он: управляющий акцизными сборами губернии. Иногда отец водил меня в городской сад. Однажды вечером играла музыка. Любители послушать духовой оркестр сидели на скамьях перед открытой эстрадой в виде раковины. Внезапно отец стиснул мой локоть и шепнул: «Появилась дочь его превосходительства Лидочка Фотиева — вот она, садится с краю. Умная и симпатичная барышня. Идем-ка, я тебя представляю». Отец шагнул вперед и потянул меня. Я замер от ужаса. «Не надо, — взмолился я, — не надо, отпусти!» Был я мучительно застенчивым подростком, а при общении с барышнями вообще у меня отнимался язык. Между тем отец, гордясь мною, своим первенцем, не упускал случая вывести меня «в свет». Я протестовал, упирался и, любя отца, за такие попытки люто его ненавидел.

Уперся я и сейчас. Не смел даже посмотреть на Фотиеву (не дай бог встретиться глазами!), лишь каким-то боковым зрением определил, что на барышне украшенная лентой соломенная шляпа, из-за широких полей которой не видно лица. Еще заметил зонтик, кружевные перчатки...

— Пойдем отсюда, — уговаривал я отца. — Мне здесь неинтересно. Пойдем же, ну пойдем!

Между тем отец снял свою фуражку с кокардой и раскланялся с молодым чиновником, сопровождавшим Фотиеву. Тот в ответ снял свою фуражку с кокардой.

— Не подумай, что это жених, — сказал отец вполголоса. — Всего только секретарь его превосходительства.

Я возмутился, мне стало стыдно от такого заглядывания в чужую жизнь. Да и само слово «жених» у нас, среди мальчишек, считалось постыдным, ругательным словом.

— А мне наплевать на всех женихов на свете! — сказал я запальчиво. — В Каме бы всех утопил, вот и все.

Но отец был глух к моим протестам, видимо, принимал их за каприз, которому не следует потакать. Дал мне подзатыльник, но тут я вырвался от него — знакомства не получилось. Зато на обратном пути он продолжал терзать меня своими рассуждениями. Я узнал, что дочь его начальника наотрез отказывает всем женихам; при этом отец высказал мнение, что, мол, в нашей глухой провинции для такой видной невесты и на самом деле не подобрать партию и что на месте родителей он стал бы вывозить ее в свет, в Петербург или в Москву...

Немного времени прошло после прогулки «на музыку» в городской сад. Как-то возвращается отец со службы и с горечью говорит матери: «В семье господина Фотиева несчастье: Лидочка арестована». По слухам, схватили ее жандармы, и не дома, а в Мотовилихе, в компании с какими-то подозрительными смутьянами. Фотиев кинулся к губернатору, мол, это недоразумение, оскорбление для семьи, но освободить девицу не удалось. Что она затевала — и подумать страшно...

Мать, слушая отца, вздрагивала от испуга. А я, подросток, из рассказа ничего не понял. «Смутьяны... Смута... Смутное время...» — вспо-

миналось из учебника. **О, это такой** был кавардак на Руси... Больше чем на тройку с минусом и не ответишь. Но здесь не то, не то...

И вдруг в памяти встает гора в Мотовилихе... Мурашки пробежали по телу. Жуть, как рубили шашками, как расстреливали рабочих! Раздумываю, раздумываю, чувствую — приходит догадка: «Не к каким-то смутьянам тайно пробралась Лидия Александровна, а к рабочим, чтобы их утешить в несчастье. **Добрая фея** — вот она кто!» И во мне уже горит ненависть к жандармам, казакам и к самому губернатору.

Шли годы, и облик этой, ставшей мне симпатичной, девушки все более терял реальные черты. Ведь я тогда, в городском саду, даже лица ее не увидел из-за модной шляпы.

Вспомнилась мне Лидия Александровна лишь в гражданскую войну. А пока я мальчишка... Усердно и с интересом учусь, взрослею. Влюблен в учителя словесности Евгения Никитича Строгина. Этот красивый с темной бородкой молодой человек, в сюртуке, с ромбиком университетского значка на груди, входя в класс, своим брошенным на меня дружеским взглядом заставляет меня трепетать от радостного ожидания. Раздавая проверенные домашние работы по литературе, Евгений Никитич обычно мою оставлял в стопке напоследок. «Не хочу, — говорит, — лишиться себя удовольствия прочитать это сочинение вслух...» Тут он снова ласково взглядывает на меня, и я, смущенный, уткнув нос в парту, слышу не столько слова и фразы, преобразенные выразительным чтением, сколько гулкие, ошеломляющие удары своего сердца...

Окончил с весьма приличным аттестатом реальное училище, и родители отправили меня в Петербург продолжать образование.

Жизнь в Перми настолько отличалась от столичной, что, приехав в Питер, я почувствовал себя очень несчастным. Огромный и шумный Николаевский вокзал — и никому до тебя дела нет. Едва я отважился выйти из-под его стеклянной крыши, как чуть не лишился чемодана. Спасибо, какая-то простая женщина, проходя мимо, отогнала мазурика. А меня обругала пентюхом.

Знаменская площадь — будто муравейник. Невиданное множество прохожих снуют туда и сюда. Прямо по мостовой катятся вагоны с людьми. Мчатся кареты с ливрейными лакеями на запятках (в Перми только архиерей имел карету). В уличной тесноте тычутся туда и сюда извозчичьи пролетки. Запряженные мохноногими битюгами, тархатят ломовые телеги с грузом, крики, звонки, свистки, шум, гам...

Оторопелый, оглушенный, стоял я на каменном крыльце вокзала, сам не зная, чего дожидаясь. Боялся сойти со ступеней на мостовую — покалечат.

Посреди площади, в гуще движения, я увидел бронзового всадника на бронзовом коне — и это больше всего поразило мое воображение. Сроду я не видел памятников. Есть в Перми два каменных столба с чугунными орлами, так это — ворота в Сибирь. Начало тысячеверстного тракта, по которому в цепях, меся пыль и грязь, в зной и в стужу партия за партией уходили арестанты.

Наконец я сообразил, что у меня есть адрес, где на первый случай остановиться. Подрядил извозчика, и мы поехали вокруг памятника. Теперь я увидел часового. При памятнике с важным видом стоял седобородый старик с ружьем. На нем шитый золотом мундир, высокая, как колокольня, медвежья шапка с позументом, георгиевские кресты во всю грудь... Видать, повоевал старик!

— Дворцовый гренадер, — объяснил извозчик, увидев во мне провинциала. — А энтот, на коне — Александр Третий, отцарствовал свое...

Про памятник ходила в Питере поговорка: «Стоит комод, на комод-де бегемот (очень метко обозначен громоздкий конь), на бегемоте идиот (и это, видимо, без ошибки), на идиоте шапка».

Среди абитуриентов было принято держать экзамен сразу в два института (не в тот, так в другой пройдешь по конкурсу). И это не возбранялось. Я задался целью поступить в путейский, но пошел на экзамены сперва в технологический. Физику сдавал у Гезехуса. Это был худой и высокий, с жаркими глазами исследователя в науке и облаком седых волос профессор. Поставив в моем экзаменационном листке пятерку, Гезехус спросил:

— Куда еще держите?

— Завтра пойду в путейский, тоже на физику.

И вдруг слышу:

— Можете не затрудняться, зачту: считайте, что и там у вас по физике пять.

Лицо счастливца, вероятно, бывает очень глупым. Глянув на меня, профессор рассмеялся. Отпуская меня, встал:

— Не сомневаюсь, что будете студентом, коллега.

Это обращение поразило меня. Коллега профессора — неужели только потому, что поступаю в институт? Скопфуженный, я поспешил убраться прочь. Однако к приятным вещам привыкаешь быстро. Через какую-нибудь неделю, став студентом, я уже принимал это обращение как должное, и у самого свободно сходило с языка слово «коллега». Однако профессорам говорили: «Господин профессор».

Уместно сказать, почему я избрал путейский институт. Среди родственников матери были инженеры — строители железных дорог, крепкие, всегда загорелые люди. Они забегали к нам в снаряжении путешественников и рассказывали об изысканиях, то есть поисках лучшего варианта постройки той или иной железной дороги. Прорубались они сквозь девственные леса, увязали в болотах, переплывали неведомые реки, забравшись на верблюдов, углублялись в пустыни, навстречу попадались им редко люди, а обычно медведи, волки, тигры; приходилось им выдерживать нападение гнуса — мошкар-кровопийц, по сравнению с которым наши домашние комары — святые ангелочки...

Наслушавшись и страшных и веселых рассказов из жизни инженеров-изыскателей, я ночами перечитывал «Робинзона Крузо», готовый подрядиться в изыскательскую партию хотя бы Пятницей.

Словом, с малых лет я мнил себя путейцем. Матери было приятно, что с окончанием института я попаду не к чужим людям, а в круг родственников. Отец высказывал одобрение по-своему: «У путейца обеспеченная жизнь. Будешь иметь верный кусок хлеба».

И вот я студент. Какая у новоиспеченного студента первая забота? Снять жилье. В прилегающих к институтам кварталах всякую осень в окнах домов будто мотыльки появляются, распластавшись на стеклах. Это пестрят объявления для студентов: «Сдается...», «Сдается...», «Сдается...» Квартирные хозяйки предлагают на время учебного года то комнату, то угол, то с удобствами, то без... На чем остановиться? И сам ведь толком не представляешь, что тебе понадобится, чтобы спокойно жить и заниматься.

Нам, кучке провинциалов, вызвался помочь тоже первокурсник, но житель столицы. О, коллега оказался дóкой! Каким-то нюхом он быстро определял, в самом ли деле квартирант получит обещанное или это — надувательство: хозяек-трещоток хватало...

Мало-помалу дока разместил всех. Мне досталась комната у пожилой женщины в чепце. Подвернув под себя ноги, она сидела на ветхом диване и, перебирая струны гитары, пела. Нас, вошедших, не по-

желала заметить, пока не закончила куплета: «Василечки, василечки, голубые васильки, ах вы, милые цветочки, ах вы, цветики мои!» После этого словно проснулась:

— Что вам угодно, господа?

Дока молча, но выразительно показал на окно, где голубел билетик.

— Ах да,— рассмеялась хозяйка,— я и забыла... — Тут же встала с дивана, поправила чепец и отложила гитару.

Договариваться я предоставил доке. Когда дело дошло до расчетов за комнату и самовар, питерский коллега проявил себя преданным долгу товарищем: выторговал рубль за рублем, и плата получилась сносной. В заключение он сказал строго:

— Гитара, надеюсь, по ночам отдыхает? Я буду навещать товарища. Условились?

— Условились,— покорно отозвалась женщина. И должен сказать, что, поселившись у гитаристки, я был доволен и жильем, и вниманием со стороны хозяйки.

На углу Забалканского проспекта и Сенной площади, во втором этаже торгового дома помещалась наша путевская кооперативная лавочка. Если, случалось, открывали окно, сюда долетали ароматы духов, кремов и прочих парижских изделий. Внизу находился парфюмерный магазин известной французской фирмы «Брокер» с роскошным, в скульптурной отделке, входом. Но куда милее было подняться по черной лестнице в свой маленький кооператив.

Приезжий, попав в институт, избавлен был от необходимости рыскать по огромному незнакомому городу, чтобы обзавестись учебными пособиями. Изведешься, да еще — где переплатишь, где купишь не то, что надо. А придешь в студенческую лавочку — и голову ломать не надо: все, что тебе, начинающему студенту, может потребоваться, разложено на прилавке, и цены сходные, ниже, чем в Гостином дворе или еще где-нибудь в больших магазинах.

Помню, с каким восхищением я раскрыл готовальню Рихтера. На бархате сверкнули инструменты: рейсфедер, циркуль, кронциркуль — каждый в своем гнездышке. Это не поделки провинциальных мастеров — все настоящее!

Портфель не взял, куплен в Перми. Но попросил студента за прилавком завернуть набор треугольников, рейсшину, чертежные лекала... Коллега сам добавил то, что я не догадался назвать: тушь, акварельные краски и кисточки, резинки «пуроль» и «радоль», перья «рондо» для подписывания чертежей, наконец, значок на фуражку — топор, перекрещенный с якорем, — который я тут же и нацепил.

Многое для меня, только что расставшегося со строгими порядками среднего учебного заведения, было в диковинку. К примеру, знал я ироническое выражение «вечный студент» — здесь узрел «вечных» в натуре. Были это по преимуществу бородатые дяди, и смешно было видеть их в студенческих, в сущности мальчишеских, тужурках. Кое-кто из них, оказывается, даже был женат... Степенно раздевшись у гардеробщика, «вечный» шагал мимо аудиторий, где шли занятия, и заворачивал в уголок к шахматным столикам. Бои в этом прокуренном уголке длились иной раз по несколько часов... Как «вечные» одолевали курс института — известно было им одним.

На лекции — вдруг узнаю — ходить необязательно: совсем сногсшибательная новость! Однако студенты учатся и преуспевают, посещая лекции по выбору. Важно хорошо подготовиться к зачетам и к экзаменам. Дневников, конечно, нет, вызовов родителей для объяснений не происходит...

Не сразу привык я к отсутствию надзирателя в коридоре. Оглянешься — нет, никто тебе в спину не смотрит. Неприятны были в Перми эти легавые... Словом, к тебе относятся как к взрослому. И это доверие поднимает тебя в собственных глазах — и чувствуешь, и ведешь себя по-взрослому.

Важно было пройти курс высшей математики — основы всех инженерных наук, и аудитория у профессора Гюнтера бывала полной. Некрупный, подвижный, в очках и с бородой, Гюнтер был неистовым жрецом, видимо, единственного своего бога — математики. Он заражал аудиторию полностью: все мы слушали его, не смея передохнуть, едва успевая делать заметки в тетради. Часы лекции пролетали мгновенно, и, когда раздавался звонок, Гюнтер сникал — с растрепанными волосами, в перепачканном мелом сюртуке, с галстуком в виде бабочки, забившимся куда-то под воротник... Все расходились, а профессор ждал служителя. И тот являлся — степенный, с платяной щеткой и перовкой в руках. Лицо профессора становилось виноватым — он бормотал что-то вроде извинений. Но это не смягчало суровости вошедшего. Служитель, крупный мужчина, некоторое время совестил Гюнтера, разводя руками, после чего принимался поворачивать профессора, как мальчика, перед собой, беспощадно выколачивая из него тучи белой пыли.

Лишь после этого профессор, вскинув голову, с достоинством покидал аудиторию.

Совсем иначе выглядел генерал Сергиевский — профессор, читавший геодезию, науку, тоже весьма существенную для путейца. Это был высокий статный генерал с изысканными манерами человека «из общества». Знал предмет фундаментально, на лекциях его, поглядывая в топографические карты, мы узнавали новое, неожиданно важное для путейца в, казалось бы, давно известном облике нашей земли. Генерал, в отличие от других профессоров института, говорил студенту не «коллега», а «господин» с прибавлением фамилии.

Многие из профессоров сами когда-то кончали путейский институт, и их лекции по специальным дисциплинам (мосты, портовые сооружения, земляные работы и т. д.) наряду с теорией предмета вооружали студента ценными практическими сведениями.

Став студентом, я узнал, что в среде с виду разрозненного студенчества таятся силы, которые время от времени прорываются наружу, вызывая беспокойство и тревогу у властей. С восторгом я присоединился к этим силам, когда вскрылся позорный для честного студента случай: сын крупного вельможи с придворным званием, путеец-лоботряс, кончая институт, вышел на защиту не собственного дипломного проекта, а изготовленного ему на стороне. Был разоблачен. Мошеничество подняло на ноги весь институт, и студенты в своем протесте оказались не одинокими: нас поддержали многие профессора.

Скандал получил огласку в печати, и, как ни крутился вельможный папаша, стремясь вырвать для сынка инженерный диплом, не помогли и придворные связи: прохвоста выставили из института недоучкой.

Питер ошеломляюще красив. Гении поэзии черпали в нем вдохновение, и созданный ими в стихах и в прозе образ великого города помогает новичку не только глазами, а как бы и всем существом своим постигать и величавость колоннады Казанского собора, и мощный дух реформатора России, воплощенного в Медном всаднике, и былинный шлем Исаакия, и набережные с дворцами, и быт Невского проспекта, с доброй улыбкой схваченный Н. В. Гоголем... После каждой прогул-

ки или поездки по городу я чувствовал потребность вновь и вновь возвращаться на его улицы и площади.

Удалось мне послушать Шаляпина в «Борисе Годунове», и, конечно, я не пожалел, что это стоило мне бессонной ночи в студенческой очереди за билетами. Посчастливилось побывать в Александринке на представлении «Свадьбы Кречинского» с участием Давыдова. Воплощенный им Расплюев был трогателен и жалок, смешон и отвратителен. Давыдов овладел залом. Я и не представлял себе, что существуют артисты, которые силой своего таланта способны заставить плакать, смеяться, рыдать чопорную столичную публику. Ни один из ярусов, ни партер, ни ложи не оставались равнодушными. Иные даже выбегали из зала. Я сидел, стиснув зубы, крепился, чтобы близкое к истерике состояние не сорвало с места и меня. Хотелось досмотреть прекрасный спектакль.

Перешел я на третий курс, и тут пришлось расстаться с институтом. В войне с Германией нас постигали все большие неудачи. И в начале 1916 года для пополнения огромной убыли в офицерском составе царское правительство отважилось мобилизовать студентов. Выгода для генерального штаба была очевидной: студент — человек уже с образованием. Краткий курс специальной подготовки — и готов офицер.

К казарме я всегда относился с затаенным страхом и неприязнью — это у нас семейное. Еще в школьные годы потряс меня рассказ Льва Толстого «После бала», и память тревожили манекены в мундирах, барабанная дробь, шпицрутены, разбивающие в кровь спины солдат...

Но от судьбы не уйдешь. Направили меня в военное Николаевское инженерное училище, что на Садовой улице, в замке.

Михайловский (он же Инженерный) замок был построен, как известно, по распоряжению Павла Первого. Опасаясь за свою жизнь, самодержец, не посчитавшись даже с тем, что замок в центре города, велел вырыть вокруг здания глубокий и широкий ров; ров заполнили водой из Фонтанки (следы шлюза сохранились поныне). Однако ни ров, ни бдительные караулы не спасли Павла от насильственной смерти...

Теперь в замке мы, будущие инженерные офицеры. Наголо постриженные, сходили в баню, вернулись оттуда в скромной форме военного времени, разместились для нового жительства.

В тот же день повели нас в церковь на молебствие по случаю начала нашего учения. Поднялись туда по скрипучим деревянным ступеням внутренней лестницы. Началось богослужение. Но, даже крестьясь, трудно было отрешиться от мысли, что здесь, в замке, находилась царская опочивальня, в которой царедворцы задушили своего повелителя императора Павла. Поп кадит ладаном, а в носу будто запах тлена...

Не забыть первой ночи в училище... Просыпаюсь и боюсь открыть глаза, ошеломленный грохотом обвала. Стены, своды замка рушатся — и все на меня... Вот-вот падающие сверху глыбы разможат мне голову — и в смертной тоске (этого ужаса я еще не испытывал) жду конца...

Постепенно до сознания доходит, что это всего лишь побудка. Рядом с нашей камерой (спальней), за дверью чуть свет ударили в барабан... Армейский барабан в жилом помещении — это чудовищно! Мы, новички, растерялись, не зная, за что хвататься. Перед отбоем портупей-юнкеры показали, как складывать одежду на табурете. Каждая вещь — гимнастерка, брюки, поясной ремень, носки — должна занять строго определенное место в общей аккуратной стопке: иначе при бое-

вой тревоге промешкаешься. Если юнкер приучен к порядку, ему незачем ночью шарить по табурету: нужные части одежды сами будто выпрыгивают в руки.

Так нас учили. Но эта ошеломляющая побудка...

— Юнкер! — услышал я грозно-насмешливое. Это был голос дежурного офицера, включившего в камере свет. — Куда головой лезете? Это же штаны!

Выпрастываю голову, кидаюсь за гимнастеркой, а на табурете все изрыто: это я в кошмаре разорил укладку.

— В следующий раз, — говорит офицер, — получите взыскание.

И опять в тоске сжимается сердце. Куда я попал? Зачем я здесь?.. О, какое счастье утратил, порвав со студенчеством! Как завидую людям, вольным жить так, как им нравится. Вон они, всего только за окном — на улице, в вагонах трамвая, на извозчиках — и в то же время как бесконечно далёки от меня... Я замурован в каменных стенах, отдан во власть барабана... От беспомощности я в отчаянии.

Однако проходит несколько дней — и я уже другой. Под грохот барабана наловчился сладко подремывать.

Старшие научили: при появлении в камере дежурного офицера следует вскочить, но не нагишом, а в штанах: тогда считалось, что юнкер исправный, уже одевается. И никакой в этом премудрости — только уловка: уважающий себя юнкер, едва ударит барабан, не поднимаясь, сонно протягивает руку к табурету, совывает голые ноги в штаны и продолжает лежать. После побудки приятно даже вздремнуть: запретный сон на диво сладок. А когда проследует дежурный офицер — можно спокойно и полностью одеться.

Очень хотелось познакомиться и с замком, и с училищем. И, отвечая пожеланиям новичков, нас привели в Георгиевский зал.

Расселись. С интересом осматриваемся. Над головой массивная бронзовая люстра, рассчитанная на многие сотни свечей. Но сейчас в подсвечниках фарфоровые стаканчики с электрическими лампочками. Изобилие хрустальных подвесок создает впечатление проливного дождя, хлынувшего на этот старинный, быть может, даже времен Павла Первого светильник. Поразили меня красотой лепные карнизы. Прислушиваюсь к суждениям юнкеров-петербуржцев: побеждает мнение, что карнизы выполнены по рисунку самого великого Баженова...

Стиль прекрасного зала нарушала громоздкая золоченая рама с портретом Николая Второго во весь его неказистый рост.

На одной из стен скромные мраморные доски. И надо было появиться старичку-библиотекарю, чтобы наше внимание сосредоточилось именно на этих памятных знаках. Старичок заговорил об истории Инженерного училища, и поняли мы, что не знать ее и не гордиться своими предшественниками современный саперный офицер не вправе. Больше того, как сказал библиотекарь, знания эти необходимы каждому из нас для духовного развития.

Первые доски вверху, сразу под карнизом. Там мрамор, побуревший от времени, черные надписи не все различимы. Но чем ниже, тем свежее доски — здесь памятные сведения о героях прошлого вырублены и позолочены.

Однако нет доски, которую следовало бы раньше всего воздвигнуть на стене. И на особо почетном месте. Ведь фактически одним из первых воспитанников Инженерного училища, тогда, правда, еще школы, был Михаил Илларионович Кутузов. Об этом нам и поведал, начав рассказ, старичок-библиотекарь.

Юнкера озадачены. «Но почему же нет памятной доски? Почему?» — пронёсся по залу гул голосов.

Библиотекарь понимал, что ответить придется, но что-то мешало ему выговорить нужные слова. Это видно было по блуждающей на лице улыбке. Он вытянул сзади из сюртука клетчатый стариковский платок и принялся вытирать лысину. Его молчание только обостряло любопытство юнкеров. Наконец библиотекарь намеками дал понять, что ходатайство училища о такой доске застряло где-то «наверху», но тут же испугался своей откровенности перед мальчишками и, приложив палец к губам, попросил забыть то, что он обронил.

— Слово чести! — дружно ответили мы, благодарные старику за его доверие.

Библиотекарь продолжал рассказ о Кутузове, и мы узнали, что Кутузов-отец был деятельным сподвижником Петра Первого. Сам инженер, он развивал уже в тогдашней армии инженерные знания и для примера другим приближенным царя привел сына, двенадцатилетнего Мишу, в инженерно-артиллерийскую школу — прабабку нашего Николаевского училища. Мальчик быстро выделился из среды сверстников трудолюбием и сообразительностью. Проявил склонность к математике.

Несмотря на суровые нравы того времени, когда в учебных заведениях, тем более военных, порой растаптывали ростки талантов, даровитый мальчик был замечен и полюбился начальству. В архиве бывшей школы наш библиотекарь обнаружил приказ от 10 декабря 1759 года. «Оный Кутузов, — гласил приказ, — за его особую прилежность и в математике знание, а паче что принадлежать до инженера имеет склонность, в поощрение прочим сего числа произведен в инженерный корпус первого класса кондуктором». Чтобы представить сейчас, что это такое, надо обратить внимание и на завершающий параграф приказа. Мальчик на пятнадцатом году был объявлен преподавателем математики в школе, где еще состоял учеником! Больше года Михаил Кутузов преподавал, и тут пробудились в нем основные черты личности будущего полководца. В 1761 году, произведенный в прапорщика, шестнадцатилетний Михаил Кутузов получил назначение в Астраханский пехотный полк, где стал ротным командиром. А возглавлял полк Александр Васильевич Суворов. Так сошлись на служебной тропе два военных гения русского народа.

В поколениях юнкеров жили легенды о замечательном воспитаннике училища. Запомнился пример трудолюбия, увлеченности науками и необыкновенной скромности юного сапера Кутузова.

— А добрый этот пример, — заключил библиотекарь, — перешел в традицию нынешнего училища. Держитесь этой традиции, господа: без знания и трудолюбия нет сапера!

Затем старичок повернулся к стене и пригласил нас, следуя его объяснениям, вглядываться в каждую мраморную доску.

Последующие поколения воспитанников училища, как бы приняв от мальчика Кутузова эстафету, вкладывали свою долю труда в развитие инженерных знаний, и эстафета следовала дальше и дальше — из XVIII века в XIX — и пришла к нам, в двадцатый... Знающих и мыслящих саперных офицеров давало училище русской армии. А имевшие склонность к наукам здесь же, в академии, что тоже под крышей Инженерного замка, становились военными инженерами и учеными.

Изобретения питомцев училища пополняли арсенал военных средств сапера и нередко заимствовались иностранными армиями.

— К примеру, — сказал библиотекарь, — понтон подполковника Андрея Немого. Видите мраморную доску?.. Выше, выше смотрите.

— Уже видим, господин библиотекарь... 1780 год.

— Да,— и старик вздохнул,— это год, когда изобретенный понтон удостоился наконец внимания чиновников.

Вот история, рассказанная библиотекарем. Понтон, как известно, это особой конструкции лодка. При необходимости быстро переправить крупные силы войск через реку эти лодки служат опорами для наплавного моста. В разные времена понтоны были разными, но где-то в XVIII веке вкусы устоялись: армии всех стран обзавелись понтонами в виде продолговатых медных ящиков. Люди, как известно, цепко держатся за привычное: медный понтон и тяжел, и громоздок, и очень дорог, но целые поколения понтонеров иного и не видели. «Значит,— подсказывала инертная мысль,— лучше и не бывает».

Но у русского офицера родилась идея, которая не давала ему покоя, сверлила мозг, требовала действий. Он затеял медные уродины перелить на пушки, а понтоны шить из парусины. Ткань эта — непромокаемая, прочная — была в любом портовом городе, в том числе и в Петербурге: шла на паруса для кораблей.

Мы не в силах воспроизвести мытарства изобретателя. Едва ли не за каждым канцелярским порогом он наталкивался на косность и равнодушие, насмешки, даже угрозы. Случалось, за свои неотступные домогательства изобретатель-патриот подвергался и побоям: грубые, жестокие были в его пору нравы...

Все же Немой добился своего. В 1780 году парусиновый понтон на распорках был принят на вооружение русской армии. Новинка сразу полюбилась солдатам: вынь распорки — и стащишь понтон на спине, а за медный приходилось браться вчетвером. Парусиновый мост лучше держит — конструктор придал понтону большую подъемную силу. Полегчало понтонерам и в походах: не медь возить — на телеге бывало тесно и одному понтону, а теперь умещались два и три.

Русская новинка стала известна в Европе, после чего и иностранные армии одна за другой освобождались от своих медных корыт...

Еще мраморная доска: «Эдуард Иванович Тотлебен (1818—1884)». Севастопольский герой. При содействии адмиралов Корнилова и Нахимова, прославленных руководителей обороны Севастополя в 1854—1855 годах, Тотлебен всего за два месяца превратил город в крепость. Севастополь выстоял против осаждавших его англо-французских войск 349 дней, чему немало способствовали оборонительные постройки талантливое, но мало известного в то время военного инженера.

В Севастополе Тотлебен стал генералом, был ранен и, когда представилась возможность, поехал лечиться за границу. Оказался в Бельгии и тотчас был приглашен к королю. «Наш главный порт Антверпен беззащитен перед лицом врага», — сказал король и, лстыиво отозвавшись о тотлебенской фортификации в Севастополе, пригласил его возвести необходимые укрепления в Антверпене. Тотлебен уклонился от такой чести, занялся лечением. Между тем с ним искал встречи бельгиец Бриальмон, молодой военный инженер. Показал разработанный им проект защиты Антверпена. Тотлебен удивился: «Так что же еще надо его величеству?» Оказывается, королевский двор и министры не желали признавать талантливое, но своего, доморощенного инженера. Искали иностранных. Но рекомендация Тотлебена — и Бриальмон был допущен к укреплению порта. Бельгиец справился с задачей, а после этого сделал карьеру как военный инженер и в Европе.

А вот война 1877—1878 годов на Балканах против турецкого владычества. В многократных и бесплодных штурмах Плевны русские войска понесли небывалые потери. Генеральный штаб вспомнил ветерана Севастополя, и шестидесятилетний Тотлебен отправился к действующим войскам. Прибыв на место и изучив обстановку, маститый ин-

женер заявил, что единственное оружие для взятия неприступной крепости — саперная лопата. Пехотные генералы, распорядившиеся действиями войск, приняли это за шутку. Однако посланцу генштаба не откажешь. Отрядили в распоряжение Тотлебена солдат, из тыла были доставлены лопаты. Инженер на расстоянии, не доступном для пушечного выстрела, поставил людей копать землю вокруг турецкой крепости. Воздвигли сплошной вал. За валом укрылся осадный русский гарнизон, и в крепость уже не могли проникнуть ни фуры с боеприпасами и продовольствием, ни пополнения людьми. У турок начался голод, осажденных валили болезни — и комендант неприступной крепости Осман-паша сложил оружие.

Плевна пала.

Библиотекарь училища, обозревая мраморные доски, продолжает рассказ. И мы, юнкера, готовы были слушать его еще и еще, набираясь уважения к саперной лопате.

«Русский форт» — не удивляйтесь, но это международное понятие. Появилось оно в конце прошлого века, и с тех пор грамотный военный инженер в любой стране, садясь за проект новой крепости, прежде всего ставит на ватмане это сооружение, подобно тому, как на шахматной доске ставится фигура короля.

Разработал это новое прочное звено в системе крепостных сооружений воспитанник училища и академии военный инженер Константин Иванович Величко (1856—1927). Замечательный ученый-фортификатор Величко в гражданскую войну содействовал обороне молодой Советской республики. Особенно много Величко сделал на Восточном фронте: созданные им инженерные преграды помогли остановить, а затем и разбить грозные силы Колчака. Состоял инженер при войсках Михаила Васильевича Фрунзе, пользовался глубоким уважением полководца, делил с ним и невзгоды поражений, неизбежных в войне, и радости побед.

Вот один из документов того времени (Приказ РВСР от 8 февраля 1922 года):

«...Имя профессора Величко останется в истории наряду с самыми крупными именами в области фортификации. Революционный Военный Совет Республики, отмечая заслуги профессора К. И. Величко перед Рабоче-Крестьянской Красной Армией, в день его 50-летия непрерывной службы от имени РККА объявляет ему благодарность».

На мраморных досках мы не находим имен целой плеяды деятелей русской культуры, вышедших из юнкеров училища, но библиотекарь, естественно, называет их. Это гениальный Федор Михайлович Достоевский; это один из крупнейших мировых ученых, «отец русской физиологии» Иван Михайлович Сеченов; это писатель Дмитрий Васильевич Григорович с его «Антоном Горемыкой», «Деревней» и потрясающим чувством детей «Гуттаперчевым мальчиком»; это и Павел Николаевич Яблочков, который во второй половине минувшего столетия своей «свечой» открыл в России дорогу электрическому освещению...

По-видимому, эти замечательные люди не проявили особого рвения к военным наукам; возможно, тяготил их и режим училища. Д. В. Григорович, даже не окончив курса, покинул училище: предпочел получить образование не в казарме.

В царской России почти в каждом военном училище складывался

свой особенный быт, порою уродливый. Даже в начале нынешнего века не вымерло еще цуканье (видимо, от немецкого слова «zucken» — вздрагивать) — отвратительное право, которое присваивали себе воспитанники старших классов в обращении с новичками. «Ты — мой раб!» — первое, что, переступая порог училища, слышал в этом случае новичок. А ему бы со стороны старшего товарища дружеское, ободряющее слово — не тупел бы бедняга от страха.

Новичка обязывали чистить своему «господину» сапоги и одежду, застилать кровать, в бане мыть ему ноги. Если «господин» не в духе, кривляясь перед ним, изображая шута, пока тот наконец не улыбнется благосклонно и не проедит: «Пшел вон!» А офицеры-воспитатели? Одни умилялись цуканью, вспоминая собственную юность в такой же мерзкой обстановке; другие холодно оберегали «святость» традиций: этакий воспитатель, бывало, и глазом не моргнет даже тогда, когда новичка с тяжелым увечьем за сопротивление «господину» стащат в лазарет. А в докладе начальнику училища ведь недолго сказать: «Несчастный случай по собственной неосторожности».

Характерно, что цуканье особенно стойко держалось в учебных заведениях привилегированных — там, где обучались сынки родовитых дворян, аристократов; казалось бы, жизнь улыбается этим юношам — и богаты, и знатны, всеобщие баловни. Ан нет — именно в кастовой среде этой находили почву и зависть, и лицемерие, подлость и черное человеконенавистничество.

Николаевское инженерное училище считалось одним из наиболее демократичных среди военно-учебных заведений своего времени. Но даже в 1916 году, когда замок заполнился студентами, здесь встречались и лица «голубой крови». Когда мы, юнкера второй роты, построившись, шли на завтрак, обед или ужин, приходилось, чтобы попасть в столовую, промаршировать через камеру первой роты. И невольно каждый косился на диковинку: в нише-алькове, отдельно от общего ряда кроватей, стояла под покрывалом ни разу на нашей памяти не разобранная постель. Покрывало скромное, как у всех. И табличка над кроватью — кусок крашеной жести со сведениями о юнкере — внешне ничем не выделялась. На ней надпись: «Его Высочество юнкер...». И дальше, не помню уже, то ли «Петр Владимирович», то ли «Игорь Петрович», — словом, член императорской фамилии.

Мы недоумевали: «А где же он сам, этот Петрович или Владимирович? Почему не бывает на занятиях? Хоть бы дрыхнувшим на постели увидеть!..»

— Вообще это свинство, — заключили юнкера. — У нас от усталости ноги отваливаются; от обилия учебного материала недосыпаешь, прячась с книгами и тетрадками от дежурного офицера в уборной. А этот отрок, не учась, наденет погоны саперного офицера... Да он же киркомотыгу от лопаты и лома не отличит... Тьфу!

Впрочем, если не брать в расчет этого невидимку царской крови, состав юнкеров училища в 1916 году был демократичен. Несколько именитых дворян, например два барона, старались ничем не выделяться из общей среды, наоборот, как бы даже стеснялись своего знатного происхождения. Мы знали, что эти люди по окончании училища выйдут в лейб-гвардии саперный батальон, только и разницы. Они беспрекословно подчинялись портупей-юнкерам (соответствовало унтер-офицерам в воинских частях), а этого звания удостаивались наиболее способные из юнкеров, деловые парни, независимо от происхождения.

Став питерским студентом, я совсем забыл о своих бицепсах, трицепсах и мышцах брюшного пресса, укреплением которых интересовался в Перми. Лишь изредка раскрывал книжечку Миллера с Аполло-

ном Бельведерским на обложке «Десять минут для здоровья», делал приседания, махал туда-сюда руками и ногами, пока не перехватывало дыхание.

Неудивительно, что, оказавшись в училище, я побаивался гимнастики, и в особенности строевых занятий. Стремился хотя бы мысленно воспротивиться неизбежному: «Ать-два, левой-правой, левой-правой...» Ну к чему это солдафонство? Мы же студенты, неужели мало — обратиться к нашему разуму? Стыдно даже представить себя отбивающим шаг болванчиком!

Но гремит барабан — и вышибает из головы всякие рассуждения.

Словом, началась муштра... Собрал нас, новичков, офицер в одном из залов и отдал на милость и расправу старшекурсникам.

Один из них отделился от группы, вышел на середину зала. Пояс на нем был так затянут, что юнкер походил на осу. Сам белобрый, какой-то невидный, но его даже товарищи слушались. На погонах я разглядел белые лычки: портупей-юнкер.

— Ста-а-но-вии-сь!.. Ррррав-няйсь!

«Ну чего раскричался? — с раздражением подумал я. — Не глухие». Поколебался, но хотя и с опозданием встал на указанное место. Белообрый шагнул ко мне и скривил губы. Но замечания не сделал, отступился. Потом, пройдясь по залу, заговорил:

— Рябцы! Вы еще в возрасте младенческом, и на каждом заметно происхождение от обезьяны...

В шеренге новичков оживление.

— Ах, не верите? — Портупей-юнкер сделал большие глаза и повернулся к своим. Те поглядели на нас с презрительным сочувствием.

— Они не верят... — воскликнул портупей-юнкер и покачал головой. — О, темнота! — И вновь, на этот раз гневно сдвинув брови, он посмотрел на меня. Я понял, что буду казнен.

— Слушайте же, рябцы, — продолжал портупей-юнкер вступительное слово, — Чарльз Дарвин установил следующее. В эволюции человека от обезьяны случился изъян. Человек во всем превзошел мохнатого и хвостатого прародителя, с этим не поспоришь. Во всем, кроме двигательного аппарата. В особенности с изъянцем у некоторых особей остались конечности, прежде всего нижние, сиречь ноги... Один при ходьбе выворачивает наружу пятки — походка, типичная для шимпанзе. Другой из-за обезьяньих рудиментов в позвоночнике горбится или клонится набок — это недоработка природы в эволюции от гориллы. У третьего в фигуре очевидное родство с павианом...

Портупей-юнкер говорил с серьезным видом, уместно вставлял слова из научного лексикона. Дарвина я, например, не читал — и странное дело: чувствуешь, что парень привирает, а совсем не верить ему не решаешься...

— За примерами незавершенной эволюции ходить недалеко...

Тут портупей-юнкер, пройдясь взглядом по лицам притихших новичков, вдруг так и выпалил в меня:

— Вот вы... Фамилия?

— Гри... Гри... — Язык вдруг перестал слушаться, и я не договорил. С досады я покраснел до слез.

— Рябец Гри-Гри, — командовал портупей-юнкер и показал на елочку паркета. — Даю вам направление. Строго держаться азимуту... Ша-агом марш!

Я начал с правой ноги, чем вызвал замечание. Смешался и, постыдно утратив власть над собой, завихлял по паркету, не попадая на елочку.

Старшекурсники засмеялись. А мучитель мой стоял, приосанив-

шнсь, и, заткнув большой палец левой руки за тугой, как тетива, пояс, ласково поглядывал на меня. Но это была зловецкая ласка. Так повар, лаская куренка, вонзает ему нож в горло.

Я весь горел. «Кособокий я — не верю! Ноги обезьяньи — вретеле!» — кричала моя душа.

Страстно захотелось пройти все же по елочке паркета.

А портупей-юнкер:

— Отставить!

Я заупрямился:

— Не желаю быть посмешищем!

— Рябец! — На этот раз в голосе портупея сочувствие. — Это данные науки. У вас явления племенного атавизма, и они неопровержимы... Возвращайтесь на место.

«Здорово отцукал он меня, — подумал я с обидой, становясь в шеренгу. — Но сам виноват — поддался нахалу!»

Между тем началось неожиданное представление. Старшие юнкера построились и, выполняя команды портупей-юнкера, принялись выделывать удивительные по четкости и красоте перестроения. Я вспомнил «сокольские часы» в реалке — у нас, тогдашних ребят, зрела потребность изгибаться телом, ходить и прыгать легко и красиво, а кончилось все тем, что учитель пения захлопнул однажды крышку рояля, вернул нас в класс, и под камертон возобновилось заунывное пение малопонятных и чуждых нам псалмов Давида.

Юнкера показывали примеры шагистики. Казалось бы, что может быть проще: встать, повернуться, пройти — ведь это же самой природой дано человеку. Э, нет, вижу — шаг шагу рознь! Вот подана команда — и два десятка юнкеров, вытянув носок, вскинули левую ногу, чтобы начать движение. Но где они — двадцать ног? В воздухе словно одна на всех, общая: так геометрически точно выполнен угол подъема... Чтобы с места взять крупный шаг, два десятка парней наклонились вперед — а по силуэту будто один-единственный юнкер выполняет команду.

Поворот кругом — и опять перед нами, зрителями, словно не отдельные и различные парни: худые и полненькие, рослые и поменьше, курносые, узколицы, щекастые, но механические фигурки, на мгновение общим ключом заведенные...

Загляденье — до чего все это неожиданно, необычно! Я почувствовал, что уже трудно оставаться зрителем, — защекотало под коленками, как бывало в мальчишестве, когда на меня, бека, летел мяч и требовал пушечного удара... Некоторые новички, видать, от такой же щекотки сунулись вперед. Но последовал окрик:

— Отставить! Рябцам стоять на месте... Только смотреть!

Так прошел первый урок строевой подготовки.

Однако в чем его смысл? И рассудил я так: в училище знают, что студенты, которых вынуждают стать военными, резко настроены против солдатчины. Эти вредные настроения, конечно, могли бы вытравить из нас силой — есть для этого дисциплинарный устав, есть карцер. Но в Николаевском инженерном нашлись умные люди, которые посчитались с народной мудростью: «Насильно мил не будешь». И решили не ломать новичкам костей, а завлечь их на строевые занятия красивым облатном...

С добрым чувством подумал я о начальнике училища. Генерал Федор Иванович Зубарев, как видно, умелый педагог. Рассказывали, что с училищем связана вся его жизнь. Сперва был юнкером, потом офицером-воспитателем, затем командиром роты, командиром батальона и, наконец, возглавил и училище, и академию.

И, конечно, — хотелось думать, — это он, Федор Иванович Зубарев, научил юнкеров, наших строевых наставников, тому, как подойти к

студентам: не делая поблажек, требовать, что надо, только с умом. Заинтересовывать, а не пугать. Соблазнять красивой осанкой и ловкостью движений, внушая, что достигается это лишь строевым воспитанием.

Старшекурсники продолжали вести занятия. Заключались они в выколачивании из нас, людей штатских, привычек ходьбы, не пригодных для вступления в строй, и, наоборот, во вколачивании в ноги каждого, в душу, в сознание уставной правильности шага, стойки, поворота. Разбили нас на мелкие группы. «Отставить! Отставить! Отставить!..» — гремело во всех уголках зала. «Ну и бестолков ты, — ругал я себя, — ноги дрыгают самопроизвольно... Да возьми ты их в руки!» И я топал, грохая тяжелыми казенными сапогами, топал до остервенения.

Муштра изо дня в день. Казалось, мы не учимся, а лишь затаптываем наши надежды стать красивее. В теле то тут, то там появлялась ломота. Ноги гудели, как телеграфные столбы. Ночами то один, то другой, охнув от боли, просыпался. Мы, новички, избегали даже говорить о строевых занятиях, как в семье не говорят о постигшем ее большом горе.

Однако к наставникам у нас претензий не было. Старшекурсники добросовестно делали свое дело, а в обращении были подчеркнута корректны: ни слова грубости.

На занятиях регулярно появлялся офицер. Вот от него нам, страдалцам, доставалось. Встанет спиной к колонне, прикоснется мизинцем к холемым усикам и покрикивает: «Строже, господа юнкера, с этими неумехами, строже! Наука гласит: „Тяжело в учении — легко в бою“».

Я возмущался: «Как он смеет трепать заветы великого полководца!» А потом рассудил: добавь только два слова, чтобы получилось: «в бою... с самим собой!» — и смысл строевой муштровки оправдан.

А пока, на первых порах — ох, как было тяжело... Наконец-то — просвет! Явился офицер — и с одного взгляда на него мы, новички, почувствовали облегчение: сегодня не злой. Кажется, с доброй вестью... И офицер объявил:

— Господа молодые юнкера. Нахожу, что вы достаточно усовершенствовались в ходьбе, чтобы подняться на новую ступень: будем усваивать правила отдания чести. — И добавил: — После этого — воскресный отпуск в город.

Шумно прорвалось наше радостное чувство. Ведь месяц отсидели взаперти. Легко ли было видеть, как старший курс еще в субботу — праздничный, проодеколонив воздух камеры, — покидал училище и лишь к десяти вечера в воскресенье вновь появлялся среди нас. А какие до поздней ночи сыпались веселые и невероятные, дразнящие нас, рябцов, рассказы...

Но хватит завидовать: теперь и мы сами не споткнемся о порог, выйдем порадоваться свободе.

Незадолго до дня отпуска на утренней переключке роты юнкерфельдфебель объявил:

— После завтрака новичкам — в гимнастический зал на построжку шинелей!

Посмеиваясь над диковинным сочетанием слов «шинель» и «постройка», мы с аппетитом уплели за завтраком котлеты с неизменной фасолью, выпили по кружке едва сладкого чая и поспешили наверх, в зал. Здесь уже была наготове команда солдат-портных: прислали из гарнизонной швальни. Проворные руки с каждого сняли мерку — и вот она, обнова: шинель по фигуре, в рамке синего канта черные

петлицы и черные же погоны с накладной серебряной лентой и графетом училища на них.

Обманув бдительность дежурного офицера, притащили мы шинели к себе в камеру, оделись в них, расправив складки, туго подпоясались — и надо было видеть, как засияли лица облачившихся!..

Каждый вертелся так и смяк, стараясь увидеть себя с головы до ног в зеркале для бритья. Умиляясь, поглаживали жесткий ворс сукна, иные даже нюхали полу или рукав, прищуриваясь от удовольствия.

Я и сам поймал себя на том, что исследую шинель. Все тугие казенные швы проглажены утюгом, и как ни поверни шинель — нарядно.

Слыхали мы, что летом юнкера носят шинель внакидку. Сейчас март — а как буду выглядеть в мае? Я отстегиваю хлястик, оставляя его висеть на левой пуговице, и шинель раздается в стороны колоколом. Накидываю ее на плечи и застегиваю, как полагается — на один верхний крючок. Под шинелью просторно. Рук не видно, и это, представляю себе, придаст мне некоторую загадочность, что выгодно при общении с девушками. Пробую отдать честь. Подкинутаая рукой пола шинели взмывает вверх волной. Эффектно: будто крылом взмахнул — как Демон пред Тамарой... «Эй, студент,— подтруниваю я над собой,— в тебе странные перемены: готов, кажется, обниматься с казенной шинелью! Где же твое бывшее презрение ко всякой солдатчине?»

Однако этот голос на меня уже не действует — он слышится из вчерашнего дня...

Одновременно с постройкой шинелей нам, новичкам, построили и выходные сапоги. Хромовые юнкерам не полагались — в них шикуют офицеры, но за дополнительную плату сделали.

Большинство, к нашему общему удовлетворению, получило право на отпуск. Но были и провалившиеся на отдании чести. Неудачники сразу как бы откололись от товарищей, желчно замкнулись. Но ведь сами виноваты. Бывало, на строевых уроках еще кое-как перемогаются, а того нет, чтобы в свободную минуту попрактиковаться самим, подправить с помощью товарищей то, что на уроке не получалось. Ленивы. Отмаются на строевых и сразу в уголок, за книжку, либо на кровать — поваляться, пока не сгонит дежурный офицер... Но, конечно, ребятам обидно: все в отпуск, а им куковать в опустевшем здании.

Расскажу о том, как происходило увольнение в отпуск. Теснимся перед комнатой дежурного офицера, жарко дыша друг другу в затылки. Попробуй справиться с волнением, если сегодня дежурит какой-то новый офицер, да он еще не в духе: кричит, ругается.

Двое уже вылетели. Мы — к ним. «За что?.. Почему?» Оказалось, один запутался в рапорте из шести слов, и ему приказано вновь явиться, но после всех. А второй не пожелал даже нам сказать, на чем провалился. Но, видать, очень нуждался парень в отпуске — огорчение его выдавали дрожащие губы на мертвенно побелевшем лице. Побрел раздеваться, а мы, перепуганные, долго глядели ему вслед...

Третий вылетел от офицера со словами: «За без штыка!»

Тут каждый схватился за левый бок — на месте ли мой-то?.. Юнкеру присвоено оружие — штык от винтовки. Отсюда — штык-юнкер, то есть рядовой. Штык в кожаном чехольчике подвешивается слева к поясу. (У портупей-юнкера иное: не штык на поясе, а палаш с медной рукояткой и офицерским темляком.) И вот нашелся вахлак: забыл личное оружие. Только офицера рассердил...

Не помню, как я сам оказался перед офицером; он вперил в меня глаза раздраженного человека. Но я не дрогнул, наоборот — весь собрался, напряжился.

— Юнкер Григорьев просит разрешения идти в отпуск!

Минута без ответа. За эту минуту я обмирал, умирал и вновь воскресал. Наконец ленивое сквозь дым папирсы:

— Идите...

Раз-два — отбил я поворот кругом, оторвал руку от козырька с такой силой, что показалось — остался без руки; но тут уже не до поисков утерянного — только бы выскочить наружу, на крыльцо, на простор, где глаз не упирается в стены хотя бы и знаменитого замка.

Опомнился я у конной статуи Петра, что воздвигнута возле замка, прямо перед его воротами.

— Пронесло, Петр Алексеевич, пронесло! — И я подмигнул августейшему всаднику. — Поздравьте, я уже в отпуске!

Оборачиваюсь. Хочется взглянуть на парадные ворота, из которых я впервые вышел. Ворота глубокие, словно врезаны в тело замка. А какова архитектура! В обрамлении ворот — арсенал рыцарства. Мечи, кольчуги, копыя и прочие доспехи — все сделано из камня, но с такой художественной силой, что, кажется, повея ветерок — острым звуком отзовется дамаск мечей, зашелестят угрюмо железные кольца кольчуг, колокольным звоном прогудят массивные шлемы. Загляденье, что за ворота! И трудно даже представить себе, что они были когда-то завалены хламом, загорожены опрокинутой караульной будкой.

«Дворец удавленника!» В мистическом страхе царская семья покинула замок, этот

«...грозно спящий среди тумана
пустынный памятник тирана,
забвенью брошенный дворец».

(А. Пушкин)

Впрочем, мне эта история сейчас ни к чему. Хватит и о себе забот. Как бы, думаю, в юнкерской форме по неопытности не проштрафиться в городе. И с надеждой на покровительство я взираю на бронзового Петра.

Автор памятника — Карло Бартоломео Растрелли, отец строителя Зимнего дворца. Здесь Петр, в противоположность Медному всаднику, спокойно величав, уравновешен, а это мне и нужно, чтобы самому успокоиться.

На постаменте под конной статуей строка: «Прадеду правнук». Павел явно хотел примазаться к славе Петра.

Как потом я узнал от ребят, юнкера обращались к этой конной статуе постоянно — кто делаясь радостью, кто бедой. Спрашивали советов, давали обещания, случалось, и надували венценосца, но он — и мореплаватель, и плотник — неизменно был благосклонен к юнкерам-инженерам.

Постояв у памятника, я мысленно приготовился к различным встречам, особенно с юнкерами других училищ.

Юнкер обязан был козырнуть офицеру, но также и юнкеру. Впрочем — не всякому... Вот как нас, новичков, напутствовали старшекурсники перед отпуском:

— Встречается юнкер пехотного училища... Как поступить? Изловчись и козырни первым. В знак уважения к пехоте — ведь на поле боя она решает все. Встречается юнкер-артиллерист. И тут надо не зевнуть, упредить встречного с отданием чести. Однако смысл упреждения уже иной. Теперь это только знак вежливости. Стремительно скидывая руку к виску, юнкер-инженер как бы говорит: «Ты артиллерист, я инженер — оба мы рода оружия умственного. Но я почитаю за особое удовольствие, как равный равному, все же первым отдать честь».

Но вот какой-то юнкер едет в коляске на резиновых шинах. Развалился на кожаных подушках так, что колени выше носа, а сабля в блестящих металлических ножнах выставлена напоказ. Это пшют из Николаевского кавалерийского. И не подумайте, что среди пешеходов

он вас, скромного инженера, не видит. Глаза таращит, полный вожделения, чтобы ему, самовлюбленному нахалу, инженер отдал честь. Тогда с эфеса сабли медленно поднимется рука в белой перчатке и как бы швырнет тебе приветствие-подачку в ответ... Нет, нет... На улице столицы — и так оплошать? Да это худший позор, какой только может пасть на погоны юнкера-инженера!.. Старшие научили, как поступать. Не отвращиваться от коляски с кавалеристом. Но скорчить на лице такую мину, словно горчицы нюхнул. А правую свою руку не оставлять без внимания — не то вдруг ненароком сама собой подскочит к козырьку.

Может статься, что юнкеру-инженеру встретится воспитанник Пажеского корпуса. Господа эти фланируют по Невскому, попадают на аристократических улицах — Сергиевской, Моховой, Шпалерной, Миллионной, увидишь их на набережных Невы, особенно в кварталах великокняжеских дворцов. Погоны у пажа особенные: будто пирожные из кондитерской на плечах, только вместо крема густо положено золото, а посредине втиснут, тоже золотой, вензель царствующего монарха. Ходят пажи, из особого к себе уважения, не торопясь; мыслительной деятельности на их лицах не заметно. Да и к чему обременять мозг, если юнцу уже на пороге жизни сама судьба отвешивает поклоны. По выходе из Пажеского корпуса родовитому молодому человеку — графу, князю или барону — предстоит либо беспечно толкаться в свите на царских выходах во дворце, либо сразу же стать значительным чиновником в том или ином департаменте или министерстве.

Пажа при встрече замечать не следует. Для юнкера-инженера это насекомое.

Так выглядел кодекс чести, бытовавший в среде юнкеров Николаевского инженерного. Сейчас, когда для меня это лишь воспоминания юности, вижу, насколько наивным было домашнее законодательство юнкеров, хотя в основе своей оно разумно исходило из многовековой традиции военного инженера-труженика... Мальчишество! Но забываемы минуты, когда мы, юнцы, почувствовали себя рыцарями, берущими этот кодекс девизом на щит!

Я сразу влюбился в военные науки. И в профессоров влюбился. Ведь только крупные ученые способны каждую лекцию, каждое научное явление сделать для слушателей праздником. А преподавали нам, вчерашним студентам, профессора Военно-инженерной академии.

Вспомнилось детство, когда в жизнь мою вошел замечательный натуралист Кайгородов и своими книжками, словно прикосновением волшебной палочки, открыл мне глаза на окружающий мир природы, полный чудес, каких и в сказках не вычитаешь... Вспомнился и другой писатель (англичанин или англичанка — фамилия в голове не удержалась); книжка «Что рассказывала мама» тоже открывала мне миры, не менее увлекательные, но уже через труд людей. Будто умный и добрый товарищ взял меня за руку и повел под землю; здесь я увидел маслянисто-черный камень, мне сказали, что это — каменный уголь, объяснили, для чего применяется, и показали, как трудятся шахтеры. Потом я побывал (всего лишь глядя в книжку) на заводе, где плавят металл, на фабрике, где со станков бежит ткань, одевающая людей; узнал, как искусные руки человека делают такую тонкую вещь, как иголка... Впечатление от военных наук — хотя мне уже скоро двадцать — совсем такое же яркое, захватывающее.

И вот мы на лекции. Дежурный юнкер прокараулил профессора у входа в класс, замешкался с докладом, заставив всех нас покраснеть, но вошедший полковник с усталым лицом лишь улыбнулся неловкости

новичка. Зато когда профессор поздоровался, мы (чтобы показать: не лыком шиты!) рывкнули во все горло, да еще с привизгом:

— Здравия желаем, господин полковник!

В расписании занятий значится: «Мосты и переправы». Мне, путейцу, надо было проучиться в институте пять лет, чтобы строить мосты. А здесь пришел в аудиторию человек в скромном армейском кителе с академическим знаком и принялся творить чудеса. Это ли, в самом деле, не чудо — сделать расчет моста сразу на берегу реки в полевой книжке! В институте проект моста готовится месяцами и за это время успевают обрасти горой чертежей... Кто же этот чудодей, который пленил наши сердца? Никаких ораторских приемов, слова цедит из-под усов. Цепко держит мел в сухой, как бы состоящей из одних сухожилий и хрящиков руке, пишет на доске, и не поймешь — скрипит ли это мелок или сама рука. Изредка оборачивается к юнкерам, чтобы спросить: понятно ли? «Понятно», — отвечаем мы, удерживаясь от жаркого желания поплодировать профессору, это ведь не публичная лекция для всех.

Перед нами профессор Ушаков, мостовик. Формулы, глядящие с доски, просты и изящны, не сложнее двух-трехчленного квадратного уравнения. Казалось, Ушаков, прежде чем войти в аудиторию, сгреб громоздкие многочлены, над которыми мы корпели в институтах, уложил их под пресс и сдавливал каждую формулу до тех пор, пока не обнажилась самая ее суть. Это было как ядрышко, очищенное от скорлупы и пленочек, — великолепное творение большого ума в подарок саперу, строящему мост под огнем врага.

Между тем ход мыслей проектировщика в условиях мирного строительства и на фронте принципиально одинаков. В обоих случаях прежде всего надо знать — для чего мост, под какие грузы, характер преграды, вызвавшей необходимость перекинуть мост. Обычно это река. О ней и надо собрать сведения: ширина, глубина, скорость течения, состояние дна реки и берегов, на которые встанут опоры моста.

Но вот курс лекций прочитан. Перешаляли мы множество задач с применением ушаковских расчетных формул, они прозрачны, работать с ними — наслаждение. Приближался решающий момент — проверка знаний. В день зачета профессор объяснил обстановку: действующая армия, перед нашими наступающими войсками возникла преграда — река, неширокая, но капризная, с вязким дном. Строительный материал: бревна, доски. Рабочая сила: саперный батальон. Требуется соорудить мост с таким расчетом, чтобы наряду с пехотой и конницей переправить тяжелую артиллерию. (Справка для расчета: груз сосредоточенный, давление 200—250 пудов на ось.)

Профессор добавил, что пример не умозрительный, а взят из инженерных донесений с фронтов текущей войны. Это сразу в наших глазах повысило значение задачи: каждый почувствовал себя не за классным столом и не перед ящиком с песком и палочками вместо бревен, а как бы в сумраке зачинающегося фронтового утра, саперным офицером, от которого сотни и тысячи наших людей ждут переправы — без задержки, без промедления, чтобы противник не успел наступлению воспрепятствовать.

— Можете подсказывать друг другу, — сказал профессор, — спорить, совещаться. Забудьте, что это зачет, это предстоящая вам работа.

Юнкера, опасаясь нарушения дисциплины, не сразу набрались храбрости, чтобы встать с мест, а тем более схватиться в споре. Но профессор достал портсигар, вышел из класса — и тут сразу языки развязались.

— Вязкое дно... Это не зря сказано. Сваи бить не приходится... Какие же опоры поставить?

— Эх, а хорошо бы свай! Чего лучше — свайный мост. Просто и надежно.

— Хочешь легкой жизни на фронте — не выйдет.

Перебрасываясь несозревшими еще мыслями и подзадоривая друг друга, мы наконец решили сообща: река не широка, достаточно одной промежуточной опоры. Бревен хватает, сделаем сруб, утопим посреди реки и завалим его изнутри камнем.

Тут же ребята взялись за карандаши — подсчитать, какова по площади должна быть подошва сруба, чтобы при нагрузке в 200—250 пудов он не увяз в тине, а прочно бы стоял на дне реки.

Тем временем возвратился профессор.

— Ряж? — сказал он. — Правильное решение.

Он прошелся по комнате, остановился перед ящиком с песком и сложил из палочек клетку.

— Ряж, — повторил он, — это правильно. Но... — И профессор принялся ударять пальцем сбоку по клетке. Палочки начали расплзаться. — Но... я предупреждал — река коварная. Внезапный паводок! — уже резко отчеканил он. — Ветер, волны. Течение убыстрилось, и ряж под мощным напором прибылой воды...

Мы все, затаившись, не сводили глаз с ящика, где рука Ушакова управлялась с найденным нами решением.

— А на мосту, — объявляет профессор, — люди, кони и артиллерия!

И он, заложив руки за спину, наклоняется поочередно к каждому из нас и всматривается в озадаченные лица.

— Что предпримем, господа, а? Мы с вами головой за переправу отвечаем!

Пошли суматошные советы. Ушаков пренебрежительно отмахивался:

— Не на базаре мы, не на базаре... чтоб шурум-бурум!

Кто-то из ребят подтолкнул меня: «Ну-ка, смекай, путеец...» И я оказался у доски. Ушаков тотчас вложил мне в руку мелок.

— Ряжа уже нет, — напомнил он. — Следовательно... пролет моста увеличился. Значит...

— Значит... значит... — принялся я твердить, пытаюсь понять профессорскую подсказку. Наконец у меня вырывается:

— Прекращаю движение по мосту!

Профессор было кивнул в знак согласия, но тут же заметил иронически:

— Насовсем?

Я понял, что надо сказать «нет». Смекаю: «Ряжа нет, пролет стал вдвое больше. Значит, значит... чтобы мост не рухнул...» И громко:

— Ставлю подкосы из бревен, уперев их в берега!

Профессор удовлетворенно улыбается и тут же возражает:

— Но длина моста — шесть сажен, а бревна трехсаженные. Подкос здесь — как гипотенуза в треугольнике: длины бревна для подкоса не хватит.

— Тогда завожу между концами подкосов ригель.

Ушаков:

— Решение было бы правильным. Но, на вашу беду, оставшиеся бревна тонки, и ваш подкосно-ригельный мост не выдержит заданного груза...

— Выдержит! — протестую я, начиная злиться на профессора: «Только и знает, что усложнять задачу». — Выдержит, — настаиваю я. — Из тонких бревен сделаю толстые...

— Как это?

— Сплочу попарно.

— Чем? Собственным поясным ремнем?

Я отмахиваюсь от насмешливой шутки.

— Не раззява я, господин полковник. При мне на возу полевая кузница и припас материала. Кузнец да плотники живо собьют каждую пару бревен болтами — и не пикнут мои подкосы, будут работать, как миленькие!

Профессор Ушаков редко улыбался на занятиях. А тут, гляжу, одобрительная улыбка. Похвалил меня за напористость.

Учебная наша группа получила у строгого профессора зачет.

Веселым, порой даже озорным держался профессор Виктор Васильевич Яковлев: светлая бородка, усы, небрежно прибранные волосы. Бывало, войдет в класс — все вскакивают, а дежурный юнкер, рванувшись со всех ног, начинает докладывать: «Господин полковник! Учебная группа номер...» Зная повадку профессора не дослушивать рапорт, дежурный даже ноги расставляет, преграждая ему путь на кафедру. «...Группа такая-то, — спешит дежурный, переходя на скороговорку, — готова для занятий фортификацией. Налицо столько-то. Отсутствуют по уважительной причине...»

Но где же полковник? Дежурный ловит себя на том, что продолжает рапорт пустому месту. В классе хохот. А профессор уже на кафедре. Смеется вместе с классом. Но парня не обидит. Между тем за шуткой — уже другая. Вот он обратил взор к иконе в углу, сделал скорбное лицо: «Боже милостивый, когда же мы перестанем иссушать молодые души этими казенно-суконными рапортами!» Или: «Ну почему бы не приветствовать появление обожаемого профессора стихотворной строкой из Пушкина, Лермонтова, Тютчева — ведь есть же на свете слова живые!..»

Мы, юнкера, смущены: уместно ли в классе говорить такое?

Но профессор, по-видимому, знает и чувствует границы дозволенного вольнодумства. А мы старого озорника, конечно, не выдадим.

Начинаются занятия. Курс долговременной фортификации очень сокращен — и резонно: нам, офицерам военного времени, крепостей не строить, достаточно иметь о них представление. Зато полевую фортификацию, то есть законы и способы рытья окопов, ходов сообщений, устройства пулеметных гнезд и артиллерийских позиций, рубленных из бревен, с каменной обсыпкой блиндажей для ближнего боя и для укрытия солдат; законы установки проволочных заграждений, лесных завалов и других препятствий — надо было знать твердо, как таблицу умножения, к этому были и направлены наши усилия на занятиях у Яковлева. Профессор уснащал материал примерами — неожиданными, яркими. На его лекциях не заскучаешь!

Был и другой профессор фортификации — генерал Цезарь Антонович Кюи. Однако юнкерам при мне он не преподавал. Крупный военный ученый, Цезарь Антонович имел душу музыканта. Он был широко известен как композитор. Написал несколько опер: «Анджело», «Вильям Ратклиф», «Сын мандарина», а его романсы постоянно исполнялись в концертах.

Отзывался Кюи и на просьбы юнкеров — сочинить музыку к тому или иному училищному празднику. Например, юнкера сложили текст, прямо скажем, неуклюжий: «Сегодня все мы до едина собрались радостно сюда, чтоб справить нашу годовщину и вспомнить прежние года». Обратились к Цезарю Антоновичу, и композитор как подлинный педагог всерьез написал на этот текст кантату, которая в торжественной обстановке была исполнена хором юнкеров в сопровождении юнкерского оркестра.

Однажды Цезарь Антонович встретился мне, уже портупей-юнкеру, на улице. Прежде чем мы поравнялись, я, как полагается, шелкнув каблуками, встал перед генералом во фронт. Существовала среди во-

енных заповедь: «Ешь глазами начальство». В училище эта заповедь наполнилась юношеским жаром и гласила: «Сгрызи начальника и проглоть, в особенности, если он любим». Так я и сделал — кинул на генерала Кюи зверски-плотоядный взгляд; Цезарь Антонович не дрогнул, напротив, глянув на меня сквозь очки в тонкой золотой оправе, улыбнулся в бороду и, приложив руку к козырьку, ответил поклоном.

Был в училище телеграфно-телефонный класс. Хаживали мы туда, изучали средства современной войсковой связи, а заодно начальник класса знакомил нас со своим маленьким музеем. Вот гелиоскоп, попросту — зеркальце на треноге. Военные сведения прибор передавал, пуская солнечные зайчики. Вот и другие устарелые, но любопытные вещи.

Начальником класса был капитан Карпов, душевный человек. За глаза мы называли его Зиночкой. Придет иной из воскресного отпуска — в глазах мрак от несостоявшегося свидания или от укулов кокетливой девицы — и спешит за утешением к капитану. Зиночка в сердечных делах был всеобщим нашим наперсником. Впрочем, когда уж очень досаждали ему стенаниями, он вскакивал и говорил зычно: «Да что я вам — ворожея, что ли? Отставить посторонние дела! Марш к аппаратам Морзе. Внимание — диктую депешу...»

В этих случаях, чтобы он гнев сменил на милость, следовало проявить повышенное внимание к музейным экспонатам в уголке, хотя бы к тому же гелиоскопу.

— Вполне надежный прибор, — с удовлетворением объяснял капитан. — Разумеется, в соответствующей обстановке, когда ясное небо, солнце. Применялся гелиоскоп в прошлом веке на Кавказе, а позже — и в русско-турецкой войне.

Любопытное сооружение возникло при Николае I для передачи депеш из Петербурга в Варшаву и обратно. Царь был обеспокоен волнениями в Польше, лишенной самостоятельности, расчлененной между тремя государствами. Электрических телеграфов в России еще не было, и для спокойствия царя из Петербурга проложили к крамольной Варшаве телеграф оптический. На протяжении почти двух тысяч верст расставили башни; каждая выглядела, как каланча, вздымавшаяся над лесами, полями, деревнями. На вершине башни крылья, как у ветряной мельницы, с той, однако, существенной разницей, что крылья на башнях могли сближаться между собой и раздвигаться на заранее известный угол. На этом и была построена азбука для передач текста депеш. На башнях дежурили вооруженные подзорными трубами солдаты-махальщики: каждый видел своего соседа слева и соседа справа и, заметив движение крыльев, тотчас репетовал это движение; затем отбивал поворот кругом и ждал, когда сигнал переймет следующая башня. За одним сигналом следовал второй, третий, четвертый... Каждое сочетание крыльев обозначало какое-нибудь слово (солдату, понятно, неизвестное) или часть слова.

Капитан Зиночка показал нам чертежи и рисунки и этой исторической древности. К постройке оптического телеграфа были привлечены военные инженеры, иными словами, бывшие воспитанники училища прошлого века. Это открытие, разумеется, повысило нас в собственных глазах. А в день ближайшего же отпуска юнкера поспешили к Зимнему дворцу. Вот она, башня оптического телеграфа номер один. Единственная, которая уцелела. Если глядеть из Адмиралтейского проезда — она будто павильончик на крыше дворца, среди ваз и статуй.

Добрые наши отношения с Зиночкой никак не снимали с юнкеров необходимости всерьез изучить телефонно-телеграфное дело. На зачете, в частности, требовалось сесть за аппарат, бойко отстучать ключом

текст депеши, а также по точкам-тире на ленте прочитать смысл ответной. Ведь каждый из нас мог угодить и в войска связи — специального учебного заведения, чтобы выпускать офицеров-связистов, не существовало.

И для понтонных батальонов готовили в нашем училище офицеров, и для инженерных частей всех других назначений.

Вспоминая зубрежку военных уставов... Брр... Хуже зубной боли! Лишь впоследствии, уже офицером, я понял, что уставы для существования армии столь же необходимы, как костяк в теле живого организма. И проштудировал их заново, уже осмысленно.

Появлялся в училище и вел с нами занятия по тактике полковник генерального штаба. Мундир с иголки, серебряные аксельбанты, густо намаженные волосы, как лакированная крышка на голове. И — плохо скрываемая при входе в класс снисходительность большого барина, вынужденного заниматься пустяковым делом. Учил нас генштабист, что такое полк, дивизия, армия, каково их административное устройство, какие задачи выполняют в бою пехота, кавалерия, артиллерия. С особым удовольствием называл великих полководцев, начиная с Александра Македонского и кончая Наполеоном, приводя примеры их победоносных операций... Суворов и Кутузов почему-то выпадали из его внимания. Говорил генштабист красиво, казалось, тончайший аромат французских духов шел не от мундира, а из-под его закрученных усов вместе с изящными словами. Слова изящные — а в речи холод...

Не сразу мы поняли, что человек этот нас, будущих саперов, презирает: ведь мы не блестящие лейб-гусары, кавалергарды или драгуны, а всего лишь люди с лопатами и топорами, чернорабочие войны. То и дело мы слышали: «Это, пожалуй, опустим...» Или: «В вашей службе это не понадобится — вам ведь не управлять войсками...»

Убил он в нас интерес к тактике. Между тем тактика действий войск, как мы почувствовали, это прежде всего сфера высокоорганизованного человеческого мышления. В беседах между собой юнкера признали, что даже сражения чемпионов на шахматной доске по глубине интеллектуальных усилий уступают сражениям полководцев. Мало того, у шахматистов жертвами падают деревянные фигурки, а на поле боя ведь живые люди...

Тактика — наука побеждать. Но разве саперу она не по разуму? Конечно, щеголь с серебряными аксельбантами неправ! Пример — Кутузов, вышел из саперов.

Обучали нас, юнкеров Николаевского инженерного, кроме всего прочего, верховой езде. Саперному офицеру, по закону, наряжается в строю лошадь. Преподавателем верховой езды был ротмистр. Среди юнкеров держался слух, что его вышибли из гвардии. За дуэль. Так или иначе, но кавалерист был всегда под мухой, разговаривал злобно. Но случилось кому-то из наших увидеть его на конюшне, среди лошадей... Совсем другой человек. Ворковал, как голубок, целовался с конягами, а те совсем по-свойски обшаривали у него карманы... Тронуло нас это открытие — и по всему училищу распространились симпатии к ротмистру-неудачнику.

На занятия ходили в цирк «Модерн». Деревянное, посеревшее от времени и непогоды здание цирка на Петербургской стороне почти вплотную примыкало к только что отстроенной столичной мечети с бирюзовым куполом, двумя минаретами и великолепным порталом; скульпторы с арабского Востока для украшения портала разработали

мотив ячейки пчелиного сота — и целой, и надломленной, и косо срезанной; вдохновение художника — и родилось явление большого искусства... Редкий прохожий не задержится, чтобы полюбоваться мечетью. А рядом — оскорбление для глаза: неуклюжий, словно собранный из старых досок балаган.

В этом здании с громким названием цирк «Модерн» мы, юнкера, и собирались для верховой езды. Днем представлений не было, и владеlec цирка, как видно, сдавал помещение нашему училищу. Ходить нам было близко — только через Неву.

На арене, пощелкивая бичом дрессировщика, встречал нас ротмистр. Бич этот в его руках имел особое свойство: если юнкер, взобравшись в седло, робел тронуть лошадь, кисточка бича мгновенно раскалялась — во всяком случае, незадачливый всадник чувствовал ожог на спине или пониже спины; тут же его оглушал зычный ротмистров окрик:

— Что вы сидите, как г... на лопате!

Лошадь сама собой срывалась с места, принималась привычно рысить по кругу, а юнкер, в ужасе от мысли, что свалится с седла и попадет под копыта, творя молитву, хватался за гриву...

А ротмистр:

— Ккк-ку-даа?.. Домой потянуло, к мамочке?.. Убрать руки! Выпрямиться! Держаться в седле только шенкелями!

Это было самое мучительное. Стремена убраны, упереться ногами не во что, выворачивай колени внутрь, прижимай к бокам лошади. А если не прижимаются?.. Тогда, подкидываемый на рысях в седле, начинаешь терять равновесие, заваливаешься на бок — и... Уже зажмурился, чтобы не видеть собственной гибели. Но судьба смилостивилась — попадаешь не под копыта лошади, а в сильные и сноровистые руки солдата-конюха.

И опять на коне. И опять ожоги и окрики. Исчерпал последние силы — остается, кажется, одно: умереть... Но в последний момент слышишь спасительное:

— Все! Урок окончен. Приготовиться следующей группе! — И ротмистр, волоча бич и закуривая, удаляется с арены.

Лошади, умненькие, остановились, предоставляя нам, с позволения сказать, всадникам, как попало сползти на землю. Сползли — а с места не тронуться. Ноги стоят врозь и не желают идти... Только отстоявшись и размяв руками икры и бедра, заставляешь себя, как на ходулях, проковылять к выходу...

Но неунывающая молодость! Хохоча и подтрунивая друг над другом, мы воображаем себя на лошадях и не в пустынном цирке на уроке, а на вечернем представлении перед публикой. Гвоздь программы! Никакие клоуны так не рассмешили бы зрителей. Эх, хозяева цирка, где ваши коммерческие соображения?..

И опять строевые...

Со старшекурсниками, которые, спасибо, поставили нас на ноги, мы дружески расстались. Занятия повели офицеры. Взамен одиночных начались учения взводные и ротные. Потом роты свели в батальон.

Шеренга... Стоишь, как выпянный, между товарищами. Ни ты без шеренги, ни шеренга без тебя в твоём сознании уже не существуют. Ты как бы растворился в строю, но от этого не потерял себя — наоборот, тебя вдруг осеняет открытие: военный строй — это не арифметическая сумма людей, а нечто большее. Это кремень и огниво одновременно. Когда люди сомкнуты плечом к плечу, в действиях их как бы сама собой высекается искра, выплавляющая единую слитную волю. А где спаянность, там и каждый в отдельности чувствует себя силачом.

Может показаться парадоксом, но через эту усиленную, по несколько часов в день, работу ног, рук и шейных позвонков каждый из нас не только совершенствовался физически. Происходили перемены глубинные, все дряблое и аморфное в характере обучаемого: как бы смывалось теми семью потоками, в которые повседневно вгонял нас ротный командир. А после такого омовения, поостынув, юнкер с удивлением — по большей части радостным — обнаруживал, что он уже не тот, каким был вчера, позавчера и тем более в «рябцах».

Скажу о себе. За девять месяцев пребывания в училище я был как разломан (иногда болезненно) на кусочки. Затем из этих кусочков здесь мастерски сложили человека иного, новую личность.

Сделались мы людьми организованными, дисциплинированными, словом — военными.

1916 год. Душное лето третьего года мировой войны. Из ворот замка, минуя взявшего на караул часового у полосатой будки, печатая шаг, выступает колонна юнкеров. А кто впереди со знаменем?.. Да это же я сам — старший портупей-юнкер, знаменщик училища. Рослый, молодецкватый, один из лучших в училище гимнастов, вполне довольный и собой, и жизнью девятнадцатилетний парень.

Выйдя под музыку духового оркестра из замка, мы — «левое плечо вперед» — сворачиваем на Садовую улицу. Шаг берем размашистый — впереди простор Марсова поля. Справа, в зеленых бережках, струится навстречу Лебяжья канавка. Это всего лишь серебряный кант, отделяющий нас от могучей толпы деревьев Летнего сада. Сквозь листву виднеются мраморные статуи. А быть может, это кокетливые девицы в светлых платьях на прогулке?..

Вот одна из них наставляет на нас, юнкеров, бинокль — и мы, распалившись, грохаем песню (оркестр тотчас подстраивается к мелодии):

Бескозырки черные,
Сапоги казенные,
Это николаевцы —
Юнкера идут!..

Песня полна задора, в ней прославляются «съёмки планомерные, съёмки глазомерные» и прочие дела будущих войсковых инженеров. Заканчивается все душещипательным куплетом пианиссимо:

Дамочки и барышни
Взорами печальными
Вслед уходящим
Глядят юнкерам...

У набережной Невы, против Летнего сада с его парадной фельтеновской решеткой нас поджидает зафрахтованный училищем пароход. Вновь вступает училищный оркестр, и мы, знающие себе цену юнкера-саперы, степенно занимаем места, чтобы проплыть два-три часа вверх по Неве до пристани Усть-Ижора.

Нас ожидает благоустроенный лагерь и соседство с лейб-гвардии саперным батальоном. Уже известно, что в батальоне дарованные за боевые походы серебряные трубы. Историческая реликвия. Послушаем трубачей-гвардейцев на вечерних зорях, узнаем, как звучит старинное серебро.

Но еще интереснее предстоящие нам, юнкерам, дела собственных рук. А программа на лето обширная. Придется по-солдатски, поплевав в ладони, поработать и лопатой, и киркой, и ломом. Будем рыть окопы различного профиля, причем настоящие, в масштабе 1:1. На ла-

герном полигоне постреляем из винтовок боевыми. Отправляясь на глазомерные съемки местности, получим кроме планшета, компаса и визирной линейки барометр-анероид. Это обычный домашний прибор, который предсказывает погоду: постучишь ногтем по стеклу — и стрелка ткнется носиком либо в «Ясно», либо в «Пасмурно». Но в руках сапера анероид преобразуется: показывает на местности высоту холмов, глубину низин. (Неожиданное открытие: значит, даже на этажах обыкновенного дома атмосферное давление разное!)

Далее построим в лагере звено полевого моста — тут и бревна придется поворочать, и топором помахать по-плотнически, делая на бревнах врубки для их сплочения. Устраивая на Неве учебные переправы, поплаваем на поплавах Полянского, а какой это случай искупаться лишний раз!.. Заглянем и под землю-матушку. Работа посложнее, чем у крота. Следует прокопать тайный ход под укрепления противника, заложить крупный фугас, взорвать и, не теряя ни мгновения, с группой саперов ринуться вперед, чтобы засесть в образовавшейся воронке. Разумеется, с оружием. Это называется «венчать воронку». Страшновато, конечно: ведь враг пойдет в атаку, а воронку надо удержать за собой; страшновато, но и соблазнительно: за «венчание воронки» согласно капитулу орденов солдаты награждаются георгиевскими крестами, а офицер — орденом Св. Георгия; этот белый эмалевый крестик на черно-оранжевой ленточке — высший боевой орден империи, мечта честолюбца, он возводит в дворянство.

Особенно увлекательными, конечно, будут занятия под девизом «Петергофские фонтаны — на берегу Невы». Девиз для эффекта придуман юнкерами (в окрестных деревнях полно дачниц). А по сути это взрывание подводных фугасов, чему предшествуют требующие большой осторожности и выдержки приготовления: в руках у юнкеров ВВ — взрывчатые вещества, капсулы с гремучей ртутью, детонаторы. Но красота зрелища окупает труды. Петергоф — не Петергоф, но когда, вспучив тут и там гладь реки, в воздух под канонаду взрывов поднимаются мощные и в то же время как бы кружевные столбы пены, восторг охватывает делателей феерии. И принимаются как заслуженные аплодисменты многочисленных зрителей с крутых здешних берегов...

Все это из рассказов уже вышедших в офицеры старшекурсников. Для нас, только еще собравшихся в лагерь, это пока вождеденное будущее... Но вот отвальный гудок — и пароход поплыл. Приближается громада Литейного моста. Пролеты у мостов через Неву — низкие арки... А труба у здешнего речного парохода непомерно длинная, и впечатление такое, что под мостом ему не пройти. Но трубу валит матрос. Миновали мост — и опять труба как труба, и дым кверху...

Полевые цветы, аромат трав... Солнце, чистый воздух, под ногами мягкая земля... Как это не похоже на Питер, где маршируешь по каменной или торцовой мостовой! Здесь и Нева иная — в высоких песчаных берегах, с незамутненной водой... Военная программа здесь, пожалуй, напряженнее, чем в городе, но наперекор этому ребята здоровеют. Иные даже солнцем расцелованы. Над такими потешаются: румянец у петербуржца — это по меньшей мере моветон!

Однако близится окончание училища. Мы все уже хорошо знаем друг друга, все интимнее наши беседы. О чем же мы, теперь старшие юнкера, толкуем в ночной тишине барачных или в редкие свободные часы днем — под сенью деревьев Саперной рощи, этого заманчивого островка прохлады между лагерем и железнодорожной станцией того же названия?

О чем мы? А о жизни и смерти с точки зрения офицера. Конечно, смерть ужасна, все живое на земле протестует против уничтожения. Когда я был «рябцом», самая мысль о том, что могу погибнуть от пули, снаряда или удара шашкой, повергала меня в ужас, и первые ночи в училище я, залезая головой под подушку, обмирал в неизбывной, казалось, тоске.

Но вот я уже не новичок и не рядовой юнкер, а старший портупей—воспитываю «рябцов» в героических традициях училища. Что же—мне схлюздить перед лицом смерти?.. Как бы не так. Это же уродина, да еще дура: схватила косу, которой траву косить, и на человека замахивается... Да я пинком ее отброшу!

Храбрись не храбрись, однако, по совести говоря, умереть или остаться в живых—для меня не безразлично. Это было бы ложью: каждая клеточка моего тела стремится жить—а их миллиарды. Вон сколько внутри меня голосов против смерти. Но это голоса инстинкта самосохранения, так сказать, с галерки бытия. А каково возражение этим миллиардам? Существует оно?

Спорщики, ища опору в высказываниях исторических личностей, набирали цитаты из военной литературы. Старичок-библиотекарь вместе с юнкерами выехал в лагерь, и в его домике оказался удивительно удачный подбор книг. Пошли по рукам труды генерала и ученого Михаила Ивановича Драгомирова, уже покойного. Это был боевой генерал. Прославился он в русско-турецкую войну 1877—1878 годов: обманув бдительность противника, переправил через Дунай огромную массу войск. По военным канонам прошлого века переправа такого масштаба в зоне военных действий признавалась неосуществимой.

Высокообразованный военный, Драгомиров был страстным последователем Суворова. Он разделял взгляды великого полководца и в стратегии, и в тактике, и прежде всего—в воспитании солдата. Драгомиров ратовал за гуманное обращение с солдатом, за то, чтобы офицер видел в солдате не «серую скотинку», а достойного уважения человека. Неустанно, вплоть до смерти (1905), Михаил Иванович боролся с ретроgrадами в армии и в самом Петербурге, стойко перенося клевету и нападки.

Человек крупного военного таланта, он не мог не выдвинуться. С соизволения царя Драгомиров был назначен начальником генерально-го штаба, развил энергичную деятельность, но—человек передовых взглядов—у руководства вооруженными силами империи не удержался. Убрали Драгомирова в тень, дали в командование всего лишь дивизию, но Михаила Ивановича меньше всего интересовала карьера. Став начальником дивизии, Драгомиров воплотил в жизнь свои идеи о воспитании солдата, и даже противники гуманного генерала вынуждены были признать, что созданная им дивизия представляет собою пример другим.

В своих печатных трудах Драгомиров размышляет о принципах создания боеспособной воинской части, о действиях и психологическом состоянии людей в бою; убедительно показывает, что солдат, молодецки прошагавший перед начальством на параде, может оказаться в бою негодным воином, если на него не потратить силы разумным воспитанием... Все это мы, юнкера, и читали, и конспектировали. И уж, конечно, недобрым словом поминали щеголя в серебряных аксельбантах, который, подавляя зевоту, выдавал нам какие-то огрызки тактики.

Когда вышла в свет эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир», Драгомиров, прочтя роман, обнаружил в нем неточности военного характера. Выступив в печати, он не поколебался обратить критические замечания против гения. Независимость его суждений была непреклонна.

Михаил Иванович воспитывал не только солдата, непрестанно вос-

питывал и себя. Уже в годах, будучи начальником дивизии, он не позволял пробуждаться темной силе в организме — инстинкту самосохранения. На боевых стрельбах пехоты вдруг появлялся в зоне огня, где свистели пули, останавливаясь то у одной мишени, то у другой... После отбоя благодарил солдат за меткость, но строго взыскивал с тех, кто из опасения, как бы не угадать в своего генерала, отводил ружье в сторону.

Драгомиров и пример его жизни и деятельности восхищали нас, спорщиков, искателей истины. А лично я, кончая училище, твердо усвоил следующее: если случится погибнуть в бою, то как офицер обязан (и это высший для меня нравственный закон) умереть так, чтобы и в смерти своей, пересиливая страдания тела, до последнего вздоха послужить для подчиненных примером самообладания, мужества и верности знамени.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

И вот я — саперный прапорщик. Одет щегольски. На мне вошедший в моду в дни войны английский френч — свободного покроя, с накладными карманами, из отличного табачного цвета английского материала; серебряные, с черным просветом погоны сапера не прикреплены на плече, как обычно, при помощи пуговицы и шнура, а вшиты; это модно и удобно — погон не торщится на плече и не ломается. Брюки на мне французского покроя: зеленовато-синее галифе.

Новинка и в обмундировании солдат. От Соединенных Штатов Америки — третьего своего союзника в войне против Германии — Россия в числе прочего получала армейские ботинки, им сносу не было, но обувь для нашего солдата непривычная: ему бы сапоги да портянки. Однако на третьем году войны сапог для армии, как и многого другого, уже не хватало.

А офицеры щеголяли. Мы, прапоры, заказали сапоги у Вейса, первоклассной столичной фирмы. Получил я сапоги вместе с колодками — деревянными дубликатами моих ног. Ложась спать, надлежало вставлять это разборное полено в сапог и расpirать его клином — чтоб ни морщинки ни на переду, ни в голенище. Утром, когда требовались сапоги, распорное деревянное устройство убиралось в чемодан. Несколько дней меня забавляло это любовное обращение с сапогами, но подошло время собираться в дорогу, и я выбросил поленья: не тащить же их с собой на фронт!

Другое дело шпоры. Было приятно, что они присвоены саперному офицеру, — недаром же мы помаялись в манеже. В училище традиция: никаких покупных, шпоры — только на заказ, и только от Савельева! Это был редкостный мастер своего дела. Он ставил серебряные колесики, подбирая их на слух по толщине и диаметру для одной и для другой ноги: от этого шпоры издавали при ходьбе переливчатый звон, который мог быть тона мажорного или минорного, смотря по вкусу заказчика.

Офицерская форма! Не скажу, чтобы для меня, новоиспеченного прапорщика, она сделалась предметом обожания, однако пылинки на рукаве не допускал...

Шпоры, френч, галифе... А что в голове у меня было, что внутри?.. Попытаюсь сформулировать кредо щеголеватого, надушенного прапорщика того времени.

Устойчивых политических взглядов к концу 1916 года, когда я надел офицерские погоны, не приобрел: разрозненные мысли, разрозненные чувствования... При царском дворе и в правительстве творилось такое, что от смердящих гнойников, казалось, уже невозможно в сто-

лице дышать. Было стыдно за царя: он, на мой взгляд, перед всем миром позорил мою родину. Убрать бы его — но как это сделать, я не имел понятия. Считал, существует особая категория людей — политические деятели, сидят в Думе, им и карты в руки. Мечталось, чтобы у нас была республика, как во Франции 1789 года... Далее, мой взгляд на войну. Раз уж взялись воевать, так нечего срамиться — расколошматить Германию, и все!

Что еще прибавить, говоря о кредо прапорщика, которого отправляют в действующую армию?.. Я чувствовал себя знатоком военно-инженерного дела. Был исполнен патриотического духа — победить или умереть за Россию. Но предпочитал победу. Надеялся, что мы, молодые, явившись на фронт, сумеем изменить неудачный ход войны и что богиня Славы уже готовит победную ветвь, чтобы увенчать наши головы...

Захотелось попрощаться с Петроградом... Питер! Для меня он еще полон тайн, загадок — и все же я мыслю себя петербуржцем. Влюблен в этот неповторимый город. Но суждено ли мне вернуться к берегам Невы? Увы, никто не скажет...

Пригласил я знакомую со студенческой поры курсистку, Екатерину из Аткарска, провести со мной прощальный день. Был на исходе декабрь, стоял бодрящий морозец. Прошлись по Невскому. Кое-где на боковых улицах мерцали огнями жаровни-снеготаялки. Дворники в белых фартуках с бляхами на груди заметали и уносили туда снег с проспекта, подбрасывали дровец.

Шагаю, девушку не могу даже под руку взять. На Невском людно, приходится почти непрерывно вертеть головой, чтобы не упустить отдать честь встречным офицерам. Позавидовал двум гвардейцам-часовым, что стоят по обе стороны ворот в Аничков дворец, где проживает мать царя Мария Федоровна. Гвардейцы, каждый у своей полосатой будки, глядят в глаза друг другу, и нет им ни до кого дела, кроме самой старухи. «Лучше покататься», — решаю я, да и у спутницы моей, догадываюсь, та же мысль. Кокетливо заслоняясь муфтой, она мурлычет модную песенку: «Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом... Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем...»

— Тройку отставить, — шутливо команду я, — тем более, что не ночь, а утро. — И предлагаю спутнице завернуть к Гостиному двору. Здесь чередой стоят автомобили для проката. Уловив мое намерение, девушка сопротивляется:

— Коля, что вы! Это же безумно дорого!

— Дорого для студента и курсистки, — мягко поправляю я, с удовольствием сознавая, что при мне туго набитый кошелек, и уточняю: — Но не для офицера.

— Было бы достаточно извозчика... Ну, правда же! — твердит девушка, впрочем, не очень настойчиво — и протест ее я оставляю без последствий.

Шоферы прокатных автомобилей, еще издали заметив во мне добычу, кидаются навстречу. Я терпеливо переживаю беспорядочный гомон зазывных голосов и, посоветовавшись со спутницей, выбираю автомобиль веселой окраски с открытым кузовом.

Устроив даму и сядя, я спросил о марке автомобиля.

— «Санбим», — почтительно, но вместе с тем с чувством собственного достоинства сказал шофер. — У нашего хозяина только «санбимы», выписаны из английского королевства.

В экипаже мы обнаружили полсть из медвежьего меха и с удовольствием укутали ею ноги.

Поряквивая клаксоном, автомобиль выбрался на торцы Невского. Пропустили мимо лакированную карету, Катя попросила шофера дать возможность проехать и извозчику, который пугливо настегивал лошадку, чтобы поскорее убраться с главного столичного проспекта,— и мы поехали.

Прощаясь с Питером, захотелось побывать в любимых местах. На Сенатской площади я вышел на мостовую, козырнул Медному всаднику на вздыбленном коне, постоял перед ним минуту, сел обратно.

— Трогайте. Теперь, пожалуйста, на Забалканский.

Попросил шофера придержать ход, пока проезжали мимо здания путейского института. Было странно видеть, что входят в подъезд и выходят на улицу люди в черных шинелях, отороченных зеленым кантом, с серебряными вензелями на плечах... А где же я среди них? Взгрустнулось о потерянном...

Девушка поняла мое состояние и принялась развлекать меня, смеясь от холода в муфту. Напомнила о студенческой вечеринке, где мы познакомились, но из-за тесноты в комнатухе даже потанцевать нам не нашлось места, только натыкались на другие пары... Ничего смешного в этом я не усмотрел, напротив, теперь стало грустно уже и от расставания с девушкой, с которой так и не завязалось прочного знакомства.

Миновали Константиновское артиллерийское училище и поравнялись с Технологическим институтом. Вот здесь мне стало весело. Временами в своем самостоятельном студенческом житье-бытье, нерасчетливо тратясь на театры и концертные знаменитости, я скатывался к полному банкротству: пообедать не на что. А в путейском институте — держи фасон — для студентов ресторан с крахмальными скатертями, салфетками и массивными столовыми приборами «фраже»: истратить надо двадцать — двадцать пять копеек, да и чаевые официанту оставить... Но я заметил: даже если карманы пусты, почти всегда, перетряхнув вещи, облавив комнату и перебрав учебники на полке, обнаружишь дар небес: где копейка завалылась, где две — и насобираешь алтын, а то и пятак. И ты спасен!

В Технологическом, в глубине двора, ютилась столовка, видимо, на каких-то товарищеских началах содержавшаяся студентами для самых бедных, несостоятельных своих коллег. Состояла она из одной комнаты с дощатым выскобленным полом, длинного стола и кухоньки. Из раздаточного окна улыбалась посетителям девушка-курсистка в кружевном передничке, вероятно, член товарищества. За три копейки каждый мог получить здесь большую миску наваристых щей или борща с куском мяса, а за пятак — плюс к этому миску заправленной маслом гречневой или пшенной каши.

Пообедаешь плотно — и сыт. А если захочется и впрок пожевать — нажимай на хлеб; он не в счет — свежий, душистый, в плетеных корзинках.

Конечно, путеец здесь редкий гость — в студенческом мире это аристократ! И когда я, бывало, в минуты невзгод переступал порог хлебосольной трапезной — хотелось стать незаметным в своей путейской форме, замешаться в толпе. Дадут обед — а легко ли его скалькулировать всего в пятак? Наверняка студенты техноложки изворачивались, чтобы свести концы с концами: искали и находили добродетельных жертвователей на столовую, расшаркивались перед артистами театров, чтобы сколотить программу благотворительного концерта, и тому подобное. Но как радушны в столовой! Кормят каждого, кто входит, — и действительно нуждающегося студента, и того, кто спускает деньги по легкомыслию...

Однако где же шуточный рассказ? Замыслил я потешить спутницу забавным приключением гордого путеца, а смеяться-то нечему: мало

смешного в том, что я, бездумно поистратившись, позволял себе на чужой — да еще общественный — каравай рот разевать... В глазах девушки — сдержанный упрек мне. Была она, как и я, из провинции, и жилось ей в Питере трудно: сама себя содержала, да и за право учения ведь немало платить на Бестужевских курсах...

Тронулись дальше в неловком молчании. И тут явилась мне очистительная идея: пожертвование сделать на стловую в техноложке. И — никому ни слова. Сразу полегчало на душе.

Утешившись этим, я взял девушку под руку, и в великолепном «санбиме» мы поехали дальше. Попрощался, придерживав шофера, с Инженерным замком, с Летним садом, который теперь в пору бы назвать Зимним, — все бело, а старики-деревья как бы дремали в просторных снежных тулупах. Мраморные обитательницы сада, не сходя с мест, укрылись каждая в деревянный домик.

У памятника Суворову, что заключает Марсово поле, я снова сделал остановку. Великий полководец здесь изображен не старичком с хохолком на голове. Скульптор Михаил Иванович Козловский воплотил его символически в образе античного юноши с обнаженным мечом. Суворов как бы предостерегает недоброжелателей России от попыток переступить границы нашего государства. Мысленно как военный я верил генералиссимусу свою жизнь, свою судьбу.

Между тем моя спутница явно утомилась от мало интересовавшего ее моего прощального визита Питеру. Даже зевнула в муфту. Еще раз пытаюсь развлечь девушку. Показал на обширный балкон Инженерного замка, приметный издалека. Полгода назад, в начале мая, дежурный офицер по училищу, заполошно прервав занятия в классах, вытолкнул нас, юнкеров, на балкон приветствовать государя; со свитой и конвоем из лейб-казаков Николай Второй проезжал мимо, направляясь на Марсово поле.

На этом огромном плацу серела одетая по-фронтовому солдатская масса. Было ясно, что царь решил учинить смотр войскам и, как говорится, благословить их оружие. Впереди царя в открытой коляске, запряженной четверкой вороных, ехала царица с дочерьми — все в белом, нарядные. Для дам это была прогулка — не больше. Вокруг коляски топтались верховые офицеры, беспокойно поглядывая на решетку Летнего сада, за которую пристав с городовыми едва успели загнать прохожих.

Царь ехал верхом сразу за коляской: спокойный, невозмутимый.

С балкона из глоток юнкеров грянуло «ура». А я — будто спазм какой-то в горле — не в силах был заставить себя выговаривать это слово чисто: получалось «дура-ак!» Как потом выяснилось в курилке, где юнкера обменивались впечатлениями, не один я — еще несколько юнкеров испытали такой же горловой спазм...

— Кукиш в кармане, — сказала Катя насмешливо. — Вы не обижайтесь, Коля, но в этом ничего не было революционного.

— А я и не революционер какой-нибудь! — отрезал я. И переменял разговор: — Пожалуй, пора уже и обедать... К Палкину! — приказал я шоферу.

Обширный зал ресторана, что на углу Невского и Владимирского, был полон, и звуки музыки терялись в шуме голосов. Не успел я, держа под руку свою даму, оглядеться, как ко мне устремился, вилия между столиками, вылощенный господин во фраке. Догадываюсь — это метрдотель. С одного взгляда на меня он понял, как сделать мне приятное.

— С производством в офицеры, господин... — Он увидел на груди у меня памятный знак училища — мальтийский крестик и восторженно сложил руки лодочкой: — О, господин инженерный офицер! Примите наше поздравление, а также и вы, мадемуазель. — И он поклонился

моей спутнице. Катя, не бывавшая в дорогих ресторанах, от этого внимания, хотя и деланного, смущенно покраснела.

— Шампанского,— коротко распорядился метрдотель официанту.— Обед господы выберут а-ля карт, а на десерт — свежую землянику! — И с тем исчез: сорвал с нас куш в виде шампанского и особенно земляники (чертовски дорогой для зимы сюрприз), и больше мы этого ловкача не интересовали.

Ошеломленная девушка порывалась что-то сказать, но официант уже усаживал ее на стул. А я, прежде чем сесть, обязан был испросить на это разрешение у старшего по чину офицера. Такого и отправился искать, оглядывая публику.

«Да вот же ротмистр!» — обрадовался я, увидев за одним из столиков нашего учителя верховой езды. Но тот, узнав меня, с досадой поморщился: не мог я не заметить перед ним винную батарею, догадаться, что человек в запое. Я замаялся, но сделал по направлению к офицеру еще шаг.

С полным ртом, заторопившись и от этого закашлявшись, ротмистр сердито замахал на меня рукой. Понять его можно было двояко: «убирайся прочь» или «явись к другому офицеру». Тут я увидел в зале полковника, углубившегося в обеденную карту. На лице его играла улыбка. Перед ним в ожидании заказа томился официант. Судя по тучности полковника, он был любителем хорошо поесть и, видимо, испытывал наслаждение уже от того, что мог неторопливо выбрать блюда на обед. Я подошел, деликатно звякнув шпорами. Полковник не отозвался. Звякаю вторично, позвонче — никакого впечатления. Официант сдержанно вздохнул. Постоял я рядом с официантом — но сколько можно маячить перед чревоугодником? Решил про себя: «Обойдется и так». И возвратился к своему столику.

Принимаюсь за закуски, пригласив свою даму отведать раковых шеек в пикантном соусе, икры, грибков. По моему знаку официант, вооружившись салфеткой, выхватывает из льда в ведерке бутылку, выстреливает пробкой, и наши бокалы с шипением наполняются пенно-золотистым вином.

— Коля... — У моей спутницы испуганное и расстроенное лицо. — Коля, не пора ли вам пересчитать прогонные деньги? Боюсь, что вы забыли, что сегодня уезжать...

— Лучше чокнемся,— перебиваю я.— Помянем-ка наши студенческие вечеринки, с которыми и лукуллов пир не сравнить, не то что здешний. Помните: «Помолимся, помолимся, помолимся творцу, и к рюмочке приложимся, потом и к огурцу...» А о деньгах не тревожьтесь, на дорогу мне хватит...

За земляничкой, которая принесла свежий аромат лесных полей, я услышал, как поплыли звуки вальса. Танцы! Без колебаний я оставил деликатес. Наконец-то довелось мне потанцевать с Катенькой! Вальсируем... Но что это — по ногам бьет шашка... Скандал — забыл с непривычки ее отстегнуть... И как хлещет, проклятая: вот-вот сунется между колен, и растянусь на паркете... За ближайшими столиками уже смех, иронические аплодисменты...

Сам не помню, как я вывел свою даму из круга... Вернулись к столику. Гляжу на счет: «Ого, тряхнул-таки меня фрачник!» Злость меня взяла и обида на судьбу, на ротмистра, полковника, на ресторан, на самого себя. И наперекор всему, чтобы не выглядеть дураком, я выгреб из кошелька остатки денег и сунул на чай официанту. Ошеломленный, тот в поклоне согнулся ~~пополам~~ — да так и ~~остался~~ стоять: прямым углом треугольника.

Катю я проводил на Васильевский остров в трамвае. Ехали как чужие — ни у нее, ни у меня не нашлось и слова сказать.

На вокзале билет я получил воинский, бесплатный. Заметил посыльного в красной шапке — он дожидался поручений. Красная шапка — это скороход. В Питере они на каждом людном перекрестке: за небольшую плату мигом доставит, куда скажешь, письмо, записку, букет цветов, театральный билет... Однако зачем он мне, этот посыльный, почему с красной шапки я не спускаю глаз?.. Вспомнил! Да ведь пожертвование собирался сделать! Столовке у технологов! Пошарил я в карманах — пусто. Смущенный, отвернулся от красной шапки, уже увидевшего во мне заказчика.

А с чем ехать? «Ничего, не помру», — утешал я себя, садясь, согласно офицерскому билету, в вагон второго класса с мягкими местами. И всю дорогу перебивался кипятком. Спасибо железнодорожникам: на каждой станции — нагретый куб, и платы не спрашивали...

Определили меня на службу в один из саперных батальонов на Юго-Западном фронте. И едва устроился на новом месте, как послали меня вперед, в расположение действующей дивизии. Потребовались там запасные оборонительные сооружения.

Сборы у младшего офицера недолги. Потуже ремень, да кобура с револьвером. Но саперный набор для рекогносцировки — это целый магазин. Получил я свежий лист полевой карты (не очень надежной — территория другого государства); на шею — бинокль, на руку, вдобавок к часам, — компас; под мышку — планшет с чистым листом ватмана; остальное — визирную линейку, угломер, транспортир, перочинный нож, карандаши, резинку — в полевую сумку. По карманам — папиросы и спички.

Верхом доехал до заставы, оставил караульным солдатам коня и, назвав пароль, зашагал дальше. Брезжил рассвет, но идти пришлось в тумане — словно сквозь молоко. Ты противнику не виден, и это хорошо, но и собственные глаза в бездействии — это уже плохо. Впрочем, когда всходишь на пригорок — веселее: не так прохватывает сырость, как в низине. А главное, это я тут же заметил: где местность выше — туман отслаивается от земли. Заглянешь под него, как под дырявое одеяло, — и кое-что уже видать. От пригорка к пригорку, держа перед собой планшет и нацеливаясь через визирную линейку вдаль, я и начал глазомерную съемку местности. Приходилось приседать, а то и ложиться животом на землю — извозился весь, но с этим на рекогносцировке считаться не приходится.

Увлечшись делом, я и не заметил, что туман поредел. Вдруг бабахнуло над головой — да так, что в ушах зазвенело и перехватило дыхание. Но миг — и напряжение разрядилось: надо мной — крутое белое облачко с цыплячьей желтизной. «Шрапнель», — сказал я себе, радуясь, что цел остался. Я знал приметы шрапнельного снаряда: лопнув в воздухе, он выбрасывает сноп в сотню пуль, но не вниз, а по инерции полета вперед, где пули ударяют на пространстве обширного эллипса...

Знал приметы — да от неожиданности сердце екнуло. Привычки еще нет — впервые я близ места, где непосредственно идет война.

Продолжаю работу, но стал осторожнее. Удивило то, что немцы из пушки и раз, и два, и три ударили по мне, отдельному человеку. Не поскупились на снаряды. А у нас-то, сам видел на батарее: в действии одна пушка из четырех, остальные в чехлах. Снаряды на строгом учете у командира батареи. Артиллеристы коротают время за преферансом.

Ползал я, продолжая съемку, ползал — да чуть в яму не свалился. Едва успел отпрянуть... «Да это окоп... Чей же?» На двухверстке, которая у меня с собой, ничего не обозначено. Вынул револьвер, держу на-

готовые, прислушиваюсь, что там в окопе... Начинаю различать голоса, счастливый случай — наши!

Лежу, удобно опершись о тыльный валик. Интересно посмотреть передовой окоп, как он есть, не в учебнике. Вижу — мелковат, до полного профиля не доведен, только для стрельбы со дна, но оборудован чистенько: нигде не завален, одет внутри жердями. Есть ниши для боеприпасов и для солдатской утвари. Окоп размером на взвод, значит, хозяином здесь унтер-офицер. Видать, к солдатам внимателен.

Пока я начертание окопа переносил на планшет, послышалось пение — здесь же, в окопе, только за траверсом, завели что-то церковное... Любопытно. Не вставая, чтобы опять не сделаться мишенью для немцев, я ползком передвинулся вдоль валика и увидел: вот они, певцы. Бородатые пожилые солдаты, держа фуражки по правилу «на молитву» — в левой полусогнутой руке, поют и крестятся, истово закатывая глаза к небу. Хор уже сладился, а ведь поглядеть — старики. Иные совсем лысые, у других крупные глубокие морщины или худоба старости...

Сосредоточенные на молитве, люди меня не замечали, а я сразу же обратил внимание на неряшливость в одежде солдат. Странно: окоп аккуратный, а люди одеты плохо. Гимнастерки грязные, видать, давно не стираны, задубели даже — и ни одной целой: то в дырах, то с лоскутками оторвавшихся заплат. Подпоясаны кто чем: у одного — форменный ремень, у другого — веревка, у третьего — обрывок телефонного провода... Портки и того хуже. Обуты солдаты на босу ногу в «американки» без шнурков.

«Что же это такое? — подумал я, озадаченный. — Говорим: «Доблестный русский солдат», а люди в рвань!» Пришли на ум разговоры о темных проделках интендантов... Но мне плевать на интенданта. Я вижу перед собой солдата. Оторвалась пуговица — пришей новую. Иголка с ниткой у тебя в фуражке. Протерлась дыра на локте — поставь заплату. Вот как поступает исправный солдат. Пример — мои саперы во взводе. А здесь, среди пехотинцев, каждый будто нарочно старается выглядеть поплоще, побезобразнее... И в рачительности здешнего унтер-офицера я уже усомнился.

Но вот на фуражке ближайшего ко мне бородача замечаю не только солдатскую кокарду. Повыше кокарды, на тулье, блеснул большой латунный крест. Ага, новый солдатский знак. Мне довелось видеть его в батальоне. Начальник вещевого довольствия приносил, показывал любопытствующим. Крест из-под штампа, и на каждом из четырех его крыльев выбито: «За веру — царя — и — отечество». Бляха обозначала, что это ратник, то есть человек, когда-то бывший солдатом. С горькой иронией ратникам дали на фронте прозвище «крестоносцы». В канцеляриях воинских начальников, которые ведали мобилизацией, ратников подразделяли на разряды, и эти, которых я вижу в окопе, принадлежали, похоже было, к разрядам самым последним — после них в деревне хоть шаром покати: ветхие старцы на печи, женщины да дети... Значит, некому уже и хлебом кормить Россию...

Так я размышлял — и тут же пугался своих мыслей. «Но, быть может, это опытные, стойкие солдаты? — поспешил я найти оправдание присутствию бородачей в окопе. — Воевали, конечно, в русско-японскую (когда мы были позорно биты); иные, возможно, ходили еще на приступ турецких крепостей при Скобелеве... Но это же дремучее прошлое — и вооружение, и законы войны, конечно, изменились!»

Нет, не вижу оправдания разорению деревни. Словно мало в стране молодых. Да прикажи хоть мне — и я только в Питере набрал бы не одну дивизию здоровенных молодцов. Из дезертиров. Их и ловить не надо — все на виду: слоняются по Невскому, кутят в ресторанах. Это сынки богатых родителей — помещиков, купцов, фабрикантов, круп-

ных чиновников. Папаши тайком откупили их от солдатчины и определили на местечки, где пули не летают. Это были организации, в изобилии возникшие в войну, например «Союз городов» и «Союз земств», и тому подобные союзы и комитеты. Все они поначалу намеревались облегчить участь солдат в окопе. Казна одевает солдат, обувает, кормит, а общественная организация, мол, сверх порции и мясца ему добавит, а в кашу — маслица, да и портянки, мол, лишние окопнику не помешают, особенно зимой, и фуфайка, и одеяло.

Однако среди благонамеренных деятелей союзов объявились люди бесчестные. Под видом помощи солдату стали сбывать в армию гнилое сукно, зацветшую крупу, протухшие мясо и рыбу, наживая миллионы.

Этих господ в военной форме в насмешку прозвали земгусарами. Самоуверенные, наглые, они, добившись права носить погоны наподобие офицерских, проходу не давали солдатам на улице, требуя, чтобы те отдавали им честь. Комендант города журил земгусаров за самоуправство, а что толку? Богатей всегда прав.

Вот этих субчиков я бы и повымел из ресторанов да пивных. Мол: «В руках у тебя кий — клади его на биллиард, получай винтовку!» Или: «Сидишь за бутылкой шампанского — встать! Вот тебе граната «бутылка» — и марш на фронт!»

Негодую, возмущаюсь... Но никто же не пошлет меня выловить мордастых дезертиров хотя бы в Питере. Видать, устройство мира — не моего ума дело...

...А бородачи в окопе поют и поют. Я неверующий, еще мальчишкой разругался с богом начисто, но послушать складное пение всегда приятно.

Перед молящимися — «иконостас». К жердям приколоты бумажные иконки размером с почтовую открытку. На них лик Христа либо богоматери, святителя Николы и других угодников. Это нарядные картинки под лаком. Говорили, что иконки доставляют в действующую армию вагонами как подарок императрицы солдатикам: чтобы воевали усерднее, с молитвой на устах.

Кое у кого из бородачей затеплились в руках восковые свечи. Еще торжественнее стало в окопе. Иные падали на колени, клали земные поклоны. Голоса окрепли, моление шло уже по полному чину.

А вот и начальство. Из-за траверса окопа вышел унтер-офицер и остановился, чем-то озадаченный. Грудь в георгиевских крестах. Я взгляделся: два серебряных, третий золотой. Вот он, доблестный русский солдат! На душе повеселело... Одет человек, в полную противоположность ратникам, не кое-как, а с тщанием. Даже выгоревшая на солнце гимнастерка сидела на его ладной фигуре без морщинки, туго подпоясанная ремнем с начищенной до жара бляхой. Брюки, сапоги — чистенькие, исправные — дополняли обмундирование. И весь вид его как бы говорил: даже живя в земле, ночуя в норах, можно соблюдать себя, было бы желание.

И усы мне понравились: были с надломом у краев рта и лихо закручены кверху. Любовался я геройским унтер-офицером, а сознание отравляла мысль: «Много ли вас, голубчики, уцелело за годы войны? То-то пыхтим да кряхтим теперь, не можем немца одолеть...»

Облик доблестного воина я схватил за какие-нибудь секунды, а в рассказе получилось длинно... Но продолжаю. Внезапно появившись в окопе, унтер-офицер при виде молящихся гневно нахмурился. На бронзовом от загара лице его хищно сверкнули белые зубы. Я почувствовал: «Быть беде...» Но то, что произошло на деле, не в силах было бы предугадать никакое воображение...

Унтер-офицер кинулся на ратников.

— К атаке был приказ, — гремел он, — изготавиться к атаке! А вы что — прохладаться? Да? Прохладаться?.. — И он — рраз! — одного

по уху. Праз — другому в подвздошное место. Бил наотмашь, валил людей с ног, упавших пинал сапогами, топтал... А бородачи — ни звука протеста или упрека. Одни падают, другие продолжают петь.

Я ошел. Только что глядел, любуясь, на героя войны — и вдруг нет человека: передо мной взбесившийся каннибал.

Что делать?.. Вмешаться — но как? «Атака» — значит, всякий прочий посторонись.

Я не успел с решением, а унтер-офицер поразил меня еще больше. Растолкав тех, кто еще держался на ногах, он дотянулся до самодельного иконостаса и принялся сдергивать с жердей бумажные иконки. Он тут же разрывал их в клочки, помогая себе зубами, бросал под ноги и затаптывал в землю... Не мое дело защищать религию — но люди, люди!.. Бородачи, до этого безропотно сносившие побои, взвыли. В ужасе они закрывали лица руками или отворачивались, только бы не видеть надругательства над своими святынями.

— Богохульник! — закричали. — Антихрист! Сатана! Да разразит тебя... — Голоса слились в вопль, страшный своим фанатизмом...

Унтер-офицер, попятившись, выхватил из кобуры наган.

Тут уже не помедлишь. Я вскочил.

— Прочь! — заорал я на унтер-офицера. — Прочь руки! Избивать солдат... Да как ты смеешь!

О, с каким наслаждением я врезал в глаза озверевшему унтеру это «ты»!

Окрик произвел впечатление. Унтер съежился весь, не поняв, откуда прогремел обличительный голос. А увидев над краем окопа меня, незнакомого офицера, с виноватым видом козырнул.

— Под суд пойдете, — строго объявил я. — За рукоприкладство!

Унтер-офицер сосредоточенно наморщил лоб, словно пытался проникнуть в смысл мною сказанного. И вдруг расхохотался:

— Дошло, вашбродь, дошло! Значитца, спасибочки, сегодня меня еще не убьют? Под суд же надо идти!..

Умыл меня, как говорится. Потом:

— А вы бы, вашбродь, ротному на меня пожаловались, нашему поручику! Он недалече, у своей землянки к атаке приготовления дела-ет... Рад будет гостю! — с откровенной издевкой добавил унтер. Потом злобно глянул на меня и отвернулся к своему жалкому воинству.

— В ружье! — сдавленным от ярости голосом отдал команду, и ратники, суетясь, разобрали винтовки.

— Патрончик бы, господин унтерфцер, а то стрéлить нечем...

Унтер повернулся к нишам для боеприпасов, сунул руку в одну, сунул в другую...

— Полу-чай! — И он пнул ногой вывалившуюся цинку. В ней — ни патрона.

Усмехнулся:

— Пуля, братец ты мой, дура, да и стрелок ты прошлогодний... — И тут же повернулся ко мне. Мое присутствие явно раздражало унтера. — А вы бы, вашбродь, не стояли каланчой. Здесь пчелки летают. Как бы не жалнула, поберегитесь.

Это прозвучало насмешкой, как вызов неоконному жителю. Передо мной был воин, привыкший чуть ли не повседневно играть со смертью и оставаться в выигрыше. И, естественно, он презирает тех, кто не попадает в эту горячую игру.

А вражеские пули в самом деле давали о себе знать. «Чирк!» — в воздухе. «Чирк!» Иные вдруг принимались злобно гудеть по-шмелиному. Это, догадался я, рикошеты: ударит пуля о что-нибудь твердое — вокруг полно камней, — отскочит в сторону и пошла вибрировать, оттого и густеет звук...

Не случись унтера, возможно, я и «поберегся» бы, то есть распластался бы на земле. Но престиж офицера — я нашел в себе силы выдержать встречу с «пчелками» и, разумеется, с поднятой головой.

Между тем атака близилась. Вспарывая воздух, стремительно проносясь в сторону немцев снаряд, и лишь после этого докатился с батареей звук пушечного выстрела. Заговорили пушки... По рассказам бывалых военных, артиллерийская подготовка, открывая бой, всегда заключает в себе нечто величественное. Я быстро нацелил бинокль и увидел вдалеке как бы из воздуха родившийся крутой белый клубок. «Шрапнель! — узнал я разрыв снаряда. — Отлично! Теперь уже немцам по головам!»

Еще выстрел — и второе облачко, подальше. Третий раз: «Бумм...» — не иначе, как угадали... Попадание! Хотелось закричать: «Так их, еще огня, еще!» Но на этом и кончилась артподготовка... Разволновавшись, я сел где попало, закурил. «Какая досада, ведь не расчистили же путь нашей пехоте, зряшные выстрелы!»

Тут я услышал сигнальные трели офицерского свистка. Унтер-офицер встрепенулся, прихлопнул фуражку на голове, выругался — на этот раз без злобы, как бы только для прочистки голоса.

— Слуша-ай... И запоминай! В атаке приклад держи под локтем, штык жалом вперед, колоть в грудь или в брюхо... Понятно? — И он поддел за ремень винтовку для себя. — Ну, пехтура, с богом!

Ратники, задрожав, суматошно крестились. Гляжу — и сам унтер истоиво осеняет себя крестным знамением. Вдобавок к этому он извлек через ворот нательный крестик на шнурке, поцеловал и бережно направил обратно на грудь... Вот и пойми человека — и безбожник, и верующий одновременно!

— Вперед! — горланил уже унтер. — Подбирай зады, подбирай!.. — И прикладом своей винтовки, будто лопатой, принялся выгребать ратников из окопа. Но люди упреждали его усилия: с проворством, какого трудно было ожидать от пожилых крестьян, ратники покидали окоп. Только потрескивала под их ногами жердевая стенка. Вылезет бородач на бруствер и поспешно обернется, чтобы подать руку менее ловкому товарищу. А снизу уже другой подсаживает следующего...

Спешили как на праздник. И это было загадкой. «Одно из двух, — рассуждал я, — или люди не понимают, что впереди погибель. Или... Жуткая логика: оторванные от родимой земли, от жены и детей, эти люди извелись на царевой службе до последних человеческих возможностей... И радуются, что наступает их мукам конец...»

Гляжу в бинокль. Камни, кустарники... наших атакующих уже не видать. Вдруг на немецкой стороне будто гром зарокотал среди бела дня. И разразился снегопадом... Шрапнели — сколько же их там, в воздухе...

«Только бы вытерпеть этот ужас, только бы вытерпеть», — бормотал я, продолжая сидеть, обхватив голову руками.

Через полчаса, когда бой уже утих, ко мне подошел какой-то непонятный человек.

— Прапорщик, вы, кажется, ранены?

Человек был в солдатском, и я не сразу разглядел в подошедшем офицера.

Ага, на солдатских погонах нарисованные химическим карандашом звездочки — по три на каждом.

— Господин поручик! — козырнул я, вставая, и представился.

Офицер выслушал меня, кивнул — и поморщился, видимо, от боли: шея и половина головы у него были забинтованы, сквозь белую марлю пятнами проступала свежая кровь. Помолчал с гримасой на лице, потом через силу улыбнулся:

— Спасибо, что пришли. Предупрежден о вашей рекогносцировке. Запасные позиции в дивизии только намечены. Надо их развивать инженерно. Иначе немцы тут нас сквырнут, как прыщ.

Поручик, знакомясь, подал мне руку, и я догадался, что это командир роты пехотного полка. Именно с его унтер-офицером у меня произошло столкновение, но о мордобитии я умолчал — из чувства брезгливости.

А про атаку, которой я оказался свидетелем, и заговорить было страшно. Все же любопытство взяло верх, но поручик настоятельно отводил мои вопросы: казалось, он считает достойными внимания только дополнительные саперные работы, о которых упомянул.

— В штабах не часто набираются ума, чтобы помочь нам, окопникам, против немцев, — усмехнулся пехотинец с горечью. — Пока перед нами стояли австрияки — еще можно было держаться нашими силами и на плохих позициях. А немецкий солдат — это серьезный господин...

— Конечно... конечно... — бормотал я, всякое мгновение готовый перебить поручика: узнать о результатах сражения. Но он не давался. Продолжал свое:

— Мы, господин войсковой инженер, хоть и похожи на медведей в берлоге, а спячке не предаемся. Я вот схемку нацарапал — кое-какие мыслишки, как усилить оборону полка... Желательно взглянуть?

И поручик, не наклоняя головы, нащупал у себя на боку полевую сумку; не глядя, порылся в ней и потащил листок бумаги, но невзначай извлек связку георгиевских крестов: два серебряных, третий — золотой. Да ведь это того самого унтер-офицера кресты...

«Убит!..» — понял я и в то же мгновение будто наяву увидел унтер-офицера, услышал его насмешливое: «Спасибочки, вашбродь, значитца, сегодня меня еще не убьют? Под суд же надо идти!..»

И у меня вырвалось произвольное:

— А может быть, он еще поправится?.. Если ранен...

Поручик нахмурился и не ответил. Подбросил связку крестов на ладони, словно прикидывая, что она весит. «Жене пошлем, в утешение...» — И голос у офицера дрогнул, когда он прошептал едва слышно: «Эх, Тимоша, Тимоша... Меня уберег — а сам...»

Невзначай, но я как бы подслушал признание, мне не предназначенное. Сказал — только бы не молчать:

— А как его фамилия?

Пехотинец холодно:

— А какая разница? Зачем это вам?

Я честно признался:

— Сам не знаю, зачем...

— В таком случае, — усмехнулся офицер моему простоудию, — извольте: Ярочкин была его фамилия. Ярочкин Тимофей Мироныч. Из крестьян Тверской губернии.

«Ярочкин, ярочка...» — повторил я на слух и подумал: «Кажется, в деревнях так ласкают ягненка... И в самом звучании что-то пастушеское, свирельное, светлое...» Я знал себя: мог наумиляться до слез — и поспешил прекратить беседу.

Вижу, и поручик устал от меня: побледнел, лицо покрылось потом... Ведь раненый!

Он подал мне руку, прощаясь, но я довел его до землянки. Денщик, готовивший ротному обед, кинулся мне на помощь, и мы вдвоем уложили ослабевшего человека на постель.

Отдышавшись, поручик сказал:

— Не считите за попрошайничество... Но без помощи саперов мы сегодня пропадем... Жарища-то какая. А захоронить надо без малого полторы сотниtrupов...

— Это «крестonosцы»? — И я почувствовал, что цепенею... Какие-нибудь час-полтора назад в окопе были люди — разговаривали, пели, прося милости у бога... И вот окоп пуст, а ночью саперы вырывают где-то впереди другой, быть может, такой же, и сгребут в него то, что было людьми, и заруют... О, каким тоскливым стало все вокруг... Как видно, с языка у меня сорвалось что-то резкое, потому что поручик грозой глянул на меня и приказал сесть.

Денщик подставил табурет. Я плюхнулся на него.

Поручик долго молчал, потом заговорил, глядя в потолок:

— Желаю вам только добра, милейший. Примите совет старшего товарища. Горячий веник в бане хорош, а горячий человек всюду плох. Далее, глаза у вас не для того, чтобы все видеть, и уши не для того, чтобы все слышать. Коль скоро вы офицер, то вправе знать лишь то, что дозволяет начальство. А о сегодняшнем забудьте. Иначе наживете неприятностей.

Но я не в силах был унять себя — говорил и говорил...

Поручик болезненно поморщился:

— Ну, перестаньте же докучать мне. Хватит уже.

Он закрыл глаза, отдыхая, потом с помощью денщика приподнялся на подушке:

— Возвращаюсь тем не менее к своей покорнейшей просьбе: пришлите на ночь хотя бы роту саперов с надлежащим инструментом. Вернутся полным счетом. Немцы стрельбу не откроют, поймут — санитарное мероприятие.

Я шагнул через порог землянки. Сердце словно омертвело в груди. Подбадриваю себя: «Только бы до коня добраться, а там ветерок обвеет голову...»

— А эскизик-то мой? — напомнил поручик, и выскочивший следом денщик сунул мне исписанный листок с чертежиком. Я убрал его в сумку.

Во взводе, куда, усталый, разбитый, я возвратился с рекогносцировки, встретил меня сапер Ребров. Человек шахтерской закалки, он был неутомим: даже на отдыхе всегда находил себе дело. Затеял, к примеру, подарить мне охотничье ружье собственной конструкции и всякую свободную минуту слесарит.

Увидев меня, старый солдат отошел от верстака и, медленно снимая фартук, уставился мне в глаза.

— Чего-то ты сам не свой, ваше благородие. С передовой, вижу, воротился благополучно. Или душу трянуло?

Этот солдат, который в полтора раза старше меня, живет народной мудростью, и я люблю его обстоятельные рассуждения о жизни, о службе, прислушиваюсь и к его советам... Короче, я рассказал про пережитый мной кошмар. Ребров задумался, вздохнул.

— Эх, життя, життя... — Помолчал и добавил: — Слышал я по солдатской нашей почте про карусель эту... Да все не верилось. А вижу — правда... — И он рассказал про то, что установила солдатская почта.

Вот суть рассказа. Пригонят партию ратников в окопы, а обмундировка* им — со вчерашних мертвецов. Назавтра и эти погибают в атаке от немецкого огня. Но, прежде чем зарыть, их вытряхивают из портков и гимнастерок. Готова обмундировка для следующей маршевой роты... Так и крутится карусель, пока форменная одежда на людях не истлеет. И казне, мол, экономия, да и к рукам интендантов кое-что прилипает из новеньких комплектов...

Мурашки побежали у меня по телу от этой солдатской почты.

А Ребров:

— Карусель, она и есть карусель, ваше благородие... Да вы не расстраивайтесь! — И сапер опять надел фартук. — Буры лучше достаньте. Ствол-то запаять требуется с казенной части. Предоставите мне бу-

ру — на завтра и ружье готово. А охота в здешних местах, видать, знатная... — Он улыбнулся, обнажив крепкие зубы. — Так что ни пуха вам ни пера!

Развлек меня солдат, спасибо ему. А к ночи трепанула меня лихорадка. Позвали доктора. Этот пожилой человек, участник русско-японской войны, многое повидал на полях Маньчжурий, но воспоминаниями с нами, молодежью, делиться не желает. Будто зарок молчания дал. Осмотрел он меня, выслушал — и первое слово: «Что с вами случилось — не спрашиваю. Военные ваши дела меня, врача, не касаются. Примите валерианы». И с этим удалился.

«Вот такому живется — слаще не надо, — подумал я. — Полеживай да почитывай романы. А голову врача от случайного снаряда саперы укроют...»

Я лежал в жару. Мысли путались... Вспомнил о рекогносцировке. Она не удалась, да и дело это не одного дня. Кое-какие данные о рельефе местности на участке одного из полков я все же представил; не забыл приложить и эскизик укреплений, составленный пехотным поручиком... Офицер этот мне и понравился, и не понравился. Культурный, воспитанный, в целом — симпатяга. А сказал глупость: если глаза не для того, чтобы видеть, а уши не для того, чтобы слышать, то что же — человеку превратиться в крота? Но кроту зрение и в самом деле не требуется, а слух у него ого какой!..

Захотелось пить, и денщик, подавая воду, шепнул: «А Ребров с ротой ушелши, лом взял да лопату...» Да, да, ведь саперы как раз сейчас могилы роют в каменной почве. И я подумал эгоистически: «Лучше лихорадка, чем быть там... хоронить да еще раздевать перед ямой...»

Не оставлял меня в покое Ярочкин. Но ведь с мертвым не поговоришь.

Задумался я... Что вообще представляет собой унтер-офицер в нашей армии?

По рангу — самый маленький начальник, а на деле во многом вершитель армейской жизни, тем более, что офицеры избегают общения с солдатами. В пехоте он лучший стрелок, в кавалерии лихой рубака, в саперах — знаток ремесел. А солдата ведь учат на примере, показом. Кстати, он и объясняется с рядовым лучше, чем офицер: оба из простолюдинов, их сближает язык. Словом, для рядового солдата нет в армии лица главнее, чем «господин унтер-офицер».

Однако унтер-офицер не только знаток и мастер своего дела. Прежде всего — он верный, убежденный слуга царю. В этом его воспитывают, формируют его сознание в специальной школе — «учебной команде». Он, как правило, крестьянский сын, человек верующий, живет «в страхе божием». Это облегчает труды воспитателей: попа и специально подготовленных офицеров. Под их воздействием будущий унтер проникается убеждением в справедливости существующего строя. А коли царь правит Россией с соизволения всевышнего («помазанник божий») — то и повиноваться каждый обязан царю, как самому богу.

Вот постоянно читается молитва: «Спаси, господи, люди твоя». Здесь в уста молящихся вложен призыв: «...победы благоверному императору нашему Николаю Александровичу...» «Победы!» — в учебной команде это главная статья воспитания будущего унтер-офицера. «Победы!» — и человек уже считает, что так сама жизнь устроена: Россия богом предназначена побеждать других, захватывать чужие земли, грабить народы... Вот и готов, созрел унтер-офицер: отличный, умелый воин, он ведет солдат сокрушать врага, добывать царю победу.

Таков, надо думать, и Ярочкин. Точнее, таким он был, пока не обнаружил, что при всей его доблести в бою — жизнь для него обернулась обманом. За два года с лишком Германия не разбита, наоборот —

грозной тучей висит над Россией. Солдат, которых Ярочкин обучал, давно нет в живых — даже могил не найти, растоптаны. А в маршевых ротах, которые иногда приходят на пополнение полка, обидно глядеть — неумелое мужичье, пушечное мясо. Винтовки, худо-бедно, еще есть — не все переломаны или износились, — а стрелять нечем: цинка патронов в роте — богатство; ротный под голову ее кладет, чтобы не растащили. Пулемет в роте один, да и тот словно умом тронулся: когда надо — не стреляет или своих калечит. От батарейцев поддержки при атаке не дождешься...

Кто же он такой, Ярочкин? Императорской российской армии старший унтер-офицер и кавалер? Или мученик — но за какие же прегрешения, господи?.. Выпала ему черная доля быть мясником. На убой гоняет — только не скот, а людей. Мясник...

И вот он, унтер-офицер Ярочкин, заблудший, исстрадавшийся, на моих глазах взбунтовался против бога, в которого верит, принялся уничтожать и осквернять иконы. Так велико было охватившее человека отчаяние, что самая страшная кара мстительного бога, грозящая отступнику веры, не испугала его; но господь, увы, не разразил его на месте. Тогда он уже в бою, в последний прощальный раз, блеснул солдатской доблестью: заслонил своим телом от немецкой пули командира роты, и можно быть уверенным — умер со счастливой улыбкой...

Треплет меня лихорадка, и в бреду, что ли, возникает передо мной допытчик. Слышу его рассуждения. Говорит:

— Случай с Ярочкиным я бы обобщил: в судьбе его отразился неизбежный крах царской армии... Но позволь вопрос тебе, прапорщик: окажись ты на месте этого унтер-офицера, повел бы ты несчастных крестьян на убой?

— Повел бы.

— Во имя призрачной победы?

— Нет, — сказал я. — На мне воинская присяга офицера. Повел бы людей на немецкие пушки и пулеметы, чтобы вместе с ними сложить голову.

Мнимый собеседник с любопытством:

— Трагическая безысходность?

— Ну, зачем так мрачно?.. Заказал бы я полковую музыку, развеселил «крестоносцев», кто-нибудь из них, может, и камаринскую сплясал бы, и мы дружно протопали бы последние шаги нашей жизни...

Собеседник рассмеялся:

— Шутить изволите... А если всерьез?

— Шучу. С издевкой над собой. А всерьез... — И тут я очнулся. На сердце тоска, хоть плачь. Затосковал я по Забалканскому, 9, по лекциям, студенческой чертежке, по своей рихтеровской готовальне... Затосковал по семинарам Рынина (впоследствии крупного ученого, энтузиаста воздухоплавания). У него я решал задачи по начертательной геометрии, восторгаясь возможностью (я немного рисовал) не только при солнце видеть и класть тени, а хоть в самое ненастье математически точно расположить их — и на фасаде здания, и на лице и фигуре мраморной статуи в Летнем саду... Замечательная эта графическая наука изобретена в прошлом веке французом Монжем, и содержание ее широко: теория теней лишь один из разделов начертательной геометрии, но именно этот раздел раньше всего ленил меня...

Да что говорить — живу мыслями о Петрограде. Сяду работать над военной картой, задумаюсь, глядь — а на полях уже набросок шарообразного фонаря. Да это же фонарь с Банковского мостика, узнаю я, того, с крылатыми львами, что на Екатерининском канале! Проектировал тень на нем для зачета у Рынина...

А призрачный собеседник уже опять тут как тут:

— Понимаю, понимаю. В Николаевском инженерном был изготов-

лен столичный офицерик — ладная фарфоровая фигурка. Однако при обжиге, сиречь при столкновении с буднями войны, на фарфоре появились трещины. А что будет дальше — фигурка развалится?.. Не так ли?

Я возмущен. Кидаю в призрак подушкой, и он исчезает. Успокаиваясь, начинаю удивляться: чего только не принесут бредовые мысли... Ведь это я сам вообразил себя фарфоровой фигуркой с трещиной. А как стало мутно... Но если уж брать аналогию, то уместно сказать: недолго продержался в батальоне фарфоровый офицерик — вскоре его совсем раскокали...

Расскажу про солдата Ибрагима. Не молодой уже сапер был призван из запаса. Редкого мастерства плотник. Едва в столицах открывался по весне строительный сезон, как к Ибрагиму, в его татарскую деревушку Муллы, где-то близ Елабуги, спешили гонцы от подрядчиков. Ведь как дело обстояло: подрядишь дельного мастера — к нему в артель уже не прибьется шушера. И в Ибрагиме не ошибались. Как прослышат в плотницком мире, что Ибрагим, к примеру, подрядился ныне работать в Москве у такового-то подрядчика, — шушера отваливает в сторонку, а идут в Ибрагимову артель плотники, знающие работу, опытные: из ярославских мест, из тамбовских, ивановских и костромских.

И вот сапера Ибрагима в батальоне, где я офицером, подвергли порке. Страшное, постыдное наказание... Даже читать о палочной дисциплине прошлого века бывало невмоготу. И в училище твердили нам, что физическое воздействие на солдата в любой форме — позор для офицера, не говоря о том, что оно строго карается законом. И тем не менее — порка... Экзекуцию провели тайно, ночью, руками прохвоста офицера и безгласных исполнителей солдат.

Как же открылось, что Ибрагима высекли? Через фельдшера и санитаров солдатского околотка. Ибрагим, отлежавшись после порки, вышел с топором к кухне, положил правую руку на деревянную колоду и одним ударом отхватил кисть руки. После этого, обливаясь кровью, дотащился до околотка и кинул отрубленное на стол фельдшеру: «Вот вам, собаки, доедайте меня!» Татарин был страшен. Сперва все разбежались, потом, опомнившись, схватили Ибрагима, силком перетянули культю резиновым жгутом и наложили бинт, чтобы человек не изошел кровью. По приказанию командира батальона его посадили под арест. Через сутки, по приговору военно-полевого суда, Ибрагима расстреляли за членовредительство.

Все это взбодоражило батальон. Стало известно, что гибель Ибрагима — на совести его ротного командира, картежника и пьяницы. Этот господин заказал плотнику для личного обихода какой-то рундучок. Ибрагим, как всегда, взялся за дело неспешно, со всем старанием. А тот с перепою, страдая головой, начал к человеку придирааться. Ляпнул: «Ни черта ты, ашаш — свиное ухо, не умеешь!» Ибрагим побледнел, затрясся, собрал заготовки в охапку и выбросил прочь. Ротный ему кулаком в зубы. И тут же, разъярившись, кинулся к полковнику, командиру батальона: подлая душонка, не постеснялся, наврал на солдата, что тот взбунтовался. Полковник, он у нас был скор на руку, тут же и распорядился: примерного солдата наказать примерно.

Кое-кто из офицеров грязненько полюбоществовал: как, мол, проишло экзекуция, чем били?.. Я сторонился этих людей. Подошел ко мне Ребров. В руках поломанные ножницы для резки колючей проволоки, а они громоздкие, видны издали. Но заговорил не о починке ножниц, шепнул: «Сказывают, Ибрагима-то не розгами пороли, которые в логу с вечера нарубили. А похлеще — трассировочным шнуром...»

Я перебил шепот нарочито громким замечанием:

— Что вы мне хлам суете, Ребров? (Тьфу, сорвался на «вы»...) Сходи в кузню. Если ножницы можно починить — починят.

Трассировочный шнур — это прочная веревка, на которую через определенные расстояния (четверть аршина, пол-аршина) напрессованы медяшки; употребляется для трассировки, то есть обозначения на местности будущих окопов и для замера выполненных земляных работ. Теперь, как проведаль Ребров, трассировочному шнуру нашли дополнительное применение...

Офицерское собрание постановило отчислить (попросту выгнать) пьянчугу из батальона за издевательство над солдатом и поклеп на него. О решении составили протокол, но полковник не внял голосу офицеров. Представленный ему на утверждение протокол скомкал и бросил в печку. И еще позвал офицеров — предложил поглядеть, как документ сгорает...

Остается сказать, что пороть солдат распорядился верховный главнокомандующий, дядя царя, его высочество Николай Николаевич. Как полководец этот господин обнаружил полнейшую беспомощность. Но его обеспокоило, что из-за длительной войны дисциплина в армии расшаталась настолько, что военно-полевые суды едва успевают проворачивать дела о расстрелах солдат. Как быть? Расстрелянного солдата обратно в строй не поставишь — а кому воевать? Окопы пустеют. И голову его высочества осенила мысль: подлежащих расстрелу солдат не расстреливать, а пороть, после чего возвращать в строй. Приказ был разослан как особо секретный только в собственные руки командирам полков, отдельных саперных батальонов и приравненных им воинских частей. Своей находчивостью Николай Николаевич очень гордился. Иные солдаты, не вынеся позора, после порки кончали самоубийством. Но об этом никто никому не докладывал, как о происшествии, не заслуживающих внимания.

Командир саперного батальона Фалин был человек нелюдимый, желчный, и когда свирепел, то, как говорится, хоть ноги уноси. После гибели Ибрагима я жил в постоянном страхе. Внутри холодело при мысли, что полковник может указать на меня перстом и распорядиться: «На этот раз экзекуцию выполнит прапорщик. Не скажу, что он мне подозрителен, сей бывший студент. Но хочу удостовериться — выполнит ли мой приказ с достоинством, присущим офицеру?»

Я избегал показываться на глаза полковнику, был бы рад, если бы он вообще забыл о моем существовании. По счастью, у саперного офицера немало дел вне батальона, хотя бы те же рекогносцировки, участие в качестве сведущего лица в оборонительных работах, когда за них берется пехота, и так далее.

Но повезло мне так, как и во сне не снилось. Потребовались саперы для усиления каких-то работ в Карпатах, и я попал туда в составе своей роты.

Знал я наши Уральские горы, сурово величественные. Старинные, заложённые еще при Петре Великом заводы из местной руды выплавляют чугуны; из чугуна получают сталь, а из стали катают рельсы, балки. Знамениты и художественные изделия заводского Урала, например каслинские скульптуры из чугуна. На реках скрипят драги, вонзаясь ковшами в придонную целину, а из грязи, поднимаемой на поверхность, тут же извлекают крупинки золота. А какие камни-самоцветы рождаются там, в недрах гор! Все это я перевидал сам, еще школьником.

Карпаты — иное. Во всяком случае, та часть этой обширной горной

страны, которую немецко-австрийские и наши войска, столкнувшись, превратили в театр военных действий. На перекрестках дорог здесь всюду высокие кресты с католическими распятиями. Редко кто из прохожих не остановится перед фигуркой Христа в терновом венце, не опустится на колени, не сложит молитвенно руки. Иной раз, проезжая верхом, минешь перекресток, обернешься издали, а перед крестом все еще скорбная фигура — обычно крестьянка в черном, сухая и неподвижная, как мумия...

Люди исполнены здесь веры строгой.

Работал наш батальон пока что над сооружением запасных оборонительных позиций; звуки артиллерийских выстрелов долетали издалека, приглушенными, — и была возможность и урок выполнять, и природой полюбоваться... Какие могучие дубы, а сосны горные! Деревья словно шатер сплели, оберегая тебя от острых в здешних местах лучей солнца, а ты со своим взводом солдат, взрывая скалы, готовишься эти девственные уголки природы обратить в прах...

Шевельнется в тебе что-то совестливое, опустишь безвольно чертежник. Задумаешься, пытаешься понять себя, а кто-нибудь из саперов тихонько покажет тебе на чашу леса. Глянешь, а на тебя уставился молодой олень. Черные губы и ноздри на коричневой мордочке чутко шевелятся, в огромных глазах и страх, и любопытство. А солдат уже вскинул винтовку. «Не надо!» — Отвожу ружье и радуюсь, что олень оказался ловчее человека: беззвучно исчез из виду...

Студеный горный ручеек. Как хорошо напиться из ладоней, смочить тяжелую от жары голову...

— Ваше благородие, а это можно? — И солдат вытаскивает из-под камня в ручье серебристую рыбину в красных крапинках.

— Ловите, — отвечаю, — ловите...

Пусть, думаю, солдаты полакомятся форелью — не всякий и едал этот деликатес.

Иной раз на пути наших фортификационных работ встречалась железная дорога. И колея, и рельсы против российских выглядели игрушечными. На предупредительную надпись на переездах: «Уважайте на потяг!» («Берегись поезда!») саперы добродушно отзывались: «Уважаем, уважаем — не сковырнем невзначай вашу зализницу!»

Заглянул я к жителям этой горной страны, навязался гостем в гуцульскую хату. Русского офицера приняли добром, запросто. Усадили за семейный стол «вечерять». Стол был дощатый, выскобленный добела ножом и еще влажный от ковшика кипятка. Хозяйка опрокинула над столом сковороду, и из нее целиком выпала большая кукурузная лепешка. Свежая, еще фырчащая от жара, аппетитная. Вслед за этим на столе оказалась миска кислого молока. Я не знал, как за эти вкусные вещи приняться, и, чтобы не сделать неловкого движения, подождал, пока началась общая трапеза. Вслед за другими принялся отмывать пальцами куски, макать в миску — и в рот.

Поужинал на редкость вкусно. От предложения платы воздержался, почувствовав, что этим я обидел бы крестьянскую семью. Взамен подарил гуцулу коробку столичных папирос «Лаферм № 6», и он, искренне довольный, принялся попеременно то курить из своей традиционной трубки, то прикладываться к зажженной папиросе.

— Добре, добре, дякую...

— На здоровье, — отвечал я. Приятно, когда не остаешься у человека в долгу.

Точную географию места назвать уже не могу, забылось, но вижу мысленно реку Прут. Неширокая, глубокая и стремительная, она привлекала в знойные дни прохладой и хрустальной чистотой.

В районе реки Прут, в некотором отдалении от ее правого берега, пришлось уже основательно покопаться в земле.

Держались слухи, что здесь, на фланге русско-германского фронта готовятся наше наступление, которое должно завершить победы затянувшуюся и осточертевшую всем войну. А раз наступление, то по законам военной грамоты войска должны иметь за спиной инженерно оборудованные тыловые рубежи. Один из них и создавался близ реки Прут.

Ожидали, что штурмующие войска возглавит генерал Брусилов, что для нас, саперов, строивших для нужд операции укрепления, было особенно лестно. Генерал командовал нашей VIII армией. А главное — за Брусиловым утвердилась слава талантливого полководца, в войсках ему верили, его любили.

Жили мы, несколько младших офицеров, в брошенном владельцем доме, и отсюда каждый — кто верхом, кто на велосипеде — отправлялся поутру на свой рабочий участок. Солдаты стояли летним лагерем в палатках; леса и перелески делали лагерь неприметным для противника. И работали саперы на совесть — весь табельный инструмент блестял так, что его и чистить не приходилось: в полотне лопаты, казалось, видишь себя, как в зеркале.

Копались мы в земле, копались, да, видно, что-то делали не так, как надо, потому что производителя работ вдруг убрали. Из штаба Брусилова прислали другого.

Первая встреча с новым инженером была для нас полна неожиданностей. Остановилась около нашего домика извозничья пролетка с солдатом на облучке. Экипаж выглядел ветераном в отставке: что-то на нем приколочено, что-то стянуто проволокой. Откидной кожаный верх, уложенный гармошкой позади узкого сиденья, был бурый, в заплатках. Когда седок, слезая, опустил ногу на ступеньку, экипаж накренился, и солдат на облучке, чтобы сохранить равновесие, поспешил отклониться в противоположную сторону.

Приезжий не вызвал интереса. Никто из нас, офицеров, в первую минуту его и не рассмотрел. Решили: опять какой-то интендант. При домике навалили горы колючей проволоки, нагромодили ящиков со скобами, чулан забили инструментом, и теперь нам досаждали интенданты — люди скрипучего характера, придиры, каждого подозревавшие в том, что мы чуть ли не проглатываем проволоку на манер шпагоглотателей. Само собою, эти ревизоры не пользовались у нас гостеприимством. Приехал, ну и приехал — копайся в своих штабелях...

Только глядим — на пороге отряхивает сапоги от пыли подполковник; погоны у него с саперными черными просветами, а повыше звезд перекрещенные топорики... Военный инженер!

Застигнутые врасплох и обманувшиеся непрезентабельным видом экипажа, мы несколько мгновений из разных углов нашей общей рабочей комнаты молча пялились на вошедшего. Потом кто-то заполошно гаркнул: «Смирно! Господа офицеры!» — и кинулся встречать подполковника рапортом.

Тот остановил рапортовавшего на полуслове и поспешил протянуть ему руку. «Карбышев», — назвался подполковник.

— Карбышев... Карбышев... — говорил он каждому из нас, внимательно взглядывая в глаза, когда мы по очереди стали подходить к нему, чтобы представиться. Обычно начальствующее лицо, принимая подчиненных, не называет себя, до этого не снисходит. Называть себя обязан представляющийся, а так как начальник фамилию может и не запомнить, то, чтобы обратить на себя внимание, важно было позвончее щелкнуть каблуками. Иные на этом даже карьеру делали...

Подполковник Карбышев, знакомясь с нами, то ли невзначай, то ли намеренно пренебрег ритуалом, и это нам, вчерашним студентам, не

могло не понравиться: на память пришла обстановка аудиторий, где не только студент студента, но и профессор — хотя бы и первокурсника — называл уважительно «коллегой».

Познакомились — и Карбышев, не входя в разговоры, шагнул к нашему совместному рабочему столу, попросил убрать чертежные доски и развернул на столе карту. Пригласил нас всмотреться в обозначения на карте, и каждый узнал свой строительный участок. Мы невольно переглянулись: «Когда же это он успел объездить многоверстную линию укреплений?» Никто из нас и не видел его на месте работ. Однако еще больше нас озадачили расставленные на карте вопросительные знаки: к установленной таблице военно-топографических символов они отнюдь не принадлежали.

Что же это такое? Новый инженер бракует нашу работу?.. У офицеров и лица вытянулись: столь многообещающе начатое знакомство, казалось, начинает омрачаться...

А Карбышев — как ни в чем не бывало:

— Садитесь, господа, садитесь!

Расселись вокруг стола — в степенном молчании, как на похоронах.

Карбышев был в поношенном армейском кителе и, быть может, поэтому не нацепил академического знака, который имел вид внушительного вензеля. А вот белый, наш — училищный, крестик у него на груди. Состоял крестик как бы из четырех ласточкиных хвостов. В центре его — ювелирное, накладного золота, изображение крепостцы с бастионами.

Крестик у Карбышева — крестик и у меня на груди такой же. Однокашник! Я почувствовал к подполковнику товарищескую близость, и мне уже захотелось вникнуть в его объяснения: неспроста же он исчеркал карту вопросительными знаками!

Однако инженер упредил меня:

— А вы, прапорщик, что на это скажете?

Застигнутый врасплох, я не сразу понял, что происходит у стола. Куда девалась сковавшая было офицеров холодная замкнутость. Никто уже не сидел, как вросший в стул, — люди вскакивали, тянулись к карте, и там, на ее поле с голубыми змейками рек и зелеными разливами лесов толкались и сталкивались между собой пальцы спорщиков. Шум поднялся в комнате, прорывалась уже и запальчивость в голосах, а подполковник сидел, откинувшись на спинку стула, раздумавшийся, улыбающийся, явно довольный развязанной им битвой у карты. В руке он держал карандаш — тупым концом книзу — и, следя за высказываниями, временами в знак одобрения той или иной мысли с силой ударял карандашом по столу, восклицая: «Именно так!» или «Смелее формулируйте!»

Все это и в самом деле выглядело уже не как встреча подчиненных с начальником, а напоминало студенческий семинар.

— Так каково же ваше мнение? — опять повернулся он ко мне. А я только еще силился уловить нить спора.

— Разрешите, — говорю, — еще немного послушать...

А Карбышев нетерпеливо:

— Идите сюда!

Я пересел к подполковнику и тут из его уст услышал такое, что все в голове перемешалось... Полевая фортификация — эта фундаментальная наука, питавшая в Николаевском училище наши военно-инженерные взгляды, — эта наука вдруг подвергается сомнениям!

Я в испуге глядел на подполковника. Потом, несколько преодолев оцепенение, запротестовал.

— Пожалуйста, доводы? — стал подзадоривать Карбышев. — Ваши доводы?

И тут, сказав с апломбом несколько слов, я, к своему удивлению, —

растерял доводы и вынужден был уступить в споре. Последнее слово осталось за Карбышевым; глянув на меня с веселой улыбкой, он звонко ударил о стол карандашом.

Здесь хочется, насколько позволяет память, воспроизвести некоторые мысли, высказанные Карбышевым за этой беседой у карты; они взволновали нас, молодых офицеров, свежестью, смелостью, гибкостью анализа и выводов.

Стараюсь припомнить и характер речи Карбышева, меткие сопоставления, которые сложное тут же превращали в простое и понятное.

Карбышев сказал, что в огне текущей войны сгорели в существенной своей части и каноны полевой фортификации. Говоря это, он ввел в свою речь новые для нас, его слушателей, понятия: «опорный пункт», «узел сопротивления».

Карбышев растопырил пальцы.

— Представьте себе, — сказал он, — что каждый палец — солдат. Вот так, рядком, мы их и сажаем в окоп. Образуется шеренга, и тянем мы ее, тянем на много верст. Но шеренга хороша на параде... А здесь, — продолжал Карбышев, — на театре военных действий, при мощных огневых средствах, которыми характерна нынешняя война, оборона шеренгой не выдерживает удара, в чем мы на горьком опыте и убеждаемся.

Теперь Карбышев сжал пальцы в кулак. Сказал жестко:

— Ведь вот парадокс — любой мальчишка понимает, что защищаться следует не врасстырку, а кулаком! А мы, взрослые дяди, только перепачкавшись кровью тысяч и тысяч людей, доходим до этой премудрости.

В комнате затихли. Никто из нас не слышал таких обнаженных, ошеломляющих суждений о предмете фортификации... А Карбышев вновь схватил карандаш и решительно, даже, как показалось мне, с ожесточением принялся водить им по карте, очерчивая тут и там высоты, господствующие над местностью. Работая, говорил отрывисто: «Опорный пункт для взвода... Еще для взвода... Здесь расположить ротный гарнизон...» Положив на карту руку, как пианист на клавиши, он объединил группу высот и высоток как бы в аккорд. Сказал: «Узел сопротивления...»

Дальше, когда дело дошло до инженерных подробностей, мы увидели под карандашом Карбышева как бы серию небольших, из подручных материалов, окопов-крепостей — в бою самостоятельных и вместе с тем по-братски поддерживающих друг друга ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем.

Карбышев опять помянул недобрым словом шеренгу, и сказанное им дальше особенно всех взволновало. Шереножные каноны, говорил он, утвердились во всем — и в фортификации, и в тактике обороны, и в наступлении. «По порядку номеров рассчитайсь! Направо равняйсь!» — слышим мы не только на плацу, но и в науке. Солдат обезличен, он не мыслящий воин, а номер такой-то...

Карбышев помолчал.

— А ведь он богатырь, русский солдат... — продолжал он, как бы с удовольствием прислушиваясь к звучанию этих слов. Но тут же хмуро добавил: — Богатырь, да скованный по рукам и ногам нашей армейской системой. Ведь это не праздные слова были, когда Суворов называл своих солдат «чудо-богатырями». Разумеется, суворовскую, по внутренним своим связям во многом патриархальную армию на сегодняшнюю нашу почву не перенесешь. Нынче армии массовые, многомиллионные, да и эпоха не та. Но убежден, что живая вода, которая способна поднять и распрямить солдата, воскресить его природный дух и могучую силушку, — не только в сказках...

Так он говорил, Карбышев. И мы, затаясь, жаждали услышать: в

чем же, в чем эта живая вода? Только ли в преобразовании фортификации? Да, мы поняли, что в фортификации рождаются новшества, которые перед каждым солдатом в обороне открывают путь к осмысленным действиям, будят в нем смекалку, стойкость, суворовское «сам погибай, а товарища выручай». И мы с восторгом присоединились к выводам Карбышева, когда он заявил, что обороноспособность войск, опирающихся на систему опорных пунктов и узлов, при правильном руководстве боем удвоится и даже утроится...

Мы ждали какого-то *главного* слова. Не терпелось узнать, в чем же заключается поток живой воды,— ее так жаждала в дни безвременья наша юность, но Карбышев выводы свои уже закончил. Он встал, сложил карту и, перейдя на официальный тон, приказал каждому из нас с утра быть на своих строительных участках, запасшись колышками для разбивки новых позиций. Потом предложил для точности сверить часы и уехал.

Мы вспомнились лекции профессора Яковлева. Возникла обида: «Почему то, что сейчас перевернуло наши мозги, не было предметом лекций?» Но тут же я мысленно возразил себе: курс полевой фортификации, который нам был преподан, не выходил за рамки техники инженерных сооружений. Как видно, такова в училище ускоренная программа...

Провожая подполковника, все мы вышли за порог и тут заметили, что при плохоньком экипаже у него отличные лошади. Это были, по видимому, степняки. Когда солдат на облучке стал натягивать вожжи, обе лошади в предвкушении бега даже всхрапнули, и по телу их прокатилась волна возбуждения. А как коняги взяли с места — искры из-под копыт! Мгновение — и экипаж скрылся из виду.

Стояли мы, толковали о лошадях. Мол, не удивительно, что подполковник, направляясь к нам, при этакой-то резвой упряжке проскочил по линии оборонительных работ невидимкой. Кто-то сострил: «Да у него же пегасы крылатые, неужели не заметили?» И в избытке посыпались шутки. Не все было остроумно, но мы старательно смеялись над каждым пустяком. Это была, конечно, реакция взбудораженного сознания. Все находилось под впечатлением встречи с Карбышевым.

Однажды Дмитрий Михайлович принял наше приглашение на уху. Сели за стол. От вина он отказался, а уху принял нахваливать:

— Хороша ушица, хороша, с янтарем!

Сварена была уха из окуней, и кулинарное достоинство этого блюда как раз и обнаруживали плавающие на его трепещущей, издающей аппетитный аромат поверхности островки жира — «янтарь».

Лестно было услышать похвалу гостя. Гляжу — один, другой из сидевших за столом моих друзей-офицеров зарделись от удовольствия, да и сам я испытал еще не знакомое мне, но, как оказалось, приятнейшее чувство хозяйки, чье искусство достойно оценено.

Наши денщики, с напряженным любопытством поглядывавшие через щелочку из кухни, услышав добрый отзыв подполковника об ухе, пришли в такую аффектацию, что восторженной толпой ринулись в дверь показать гостю, да в проеме ее и застряли, образовав так называемую «тесную бабу».

Словом, обед начинался удачно и даже весело. Теперь и мы, хозяева стола, не спеша, соблюдая благовоспитанность, взялись за ложки.

Хлебнул я ухи — да так и оцепенел с открытым ртом. Будто огня хватил, пылающей взрывчатки, которая вот-вот и глаза мне вышибет из орбит. Не переводя дыхания, я схватился за графин, только бы запить ожог от ухи, тут же поняв, что она не столько горяча, сколько зверски пересолена.

Денщики, учуяв неладное, втянули головы в плечи и мигом убрлись за дверь. А сидевшие за столом, перестав есть, сконфуженно, с побагровевшими лицами, кашляли. Все, кроме Карбышева. Дмитрий Михайлович как ни в чем не бывало продолжал есть. Но когда теперь он приговаривал: «Хороша ушица, хороша», — у меня сводило скулы и мурашки пробегали по телу. «Да как он может? — поражался я и мучился за гостя. — Даже не поморщится... Бросил бы к черту!»

Но Карбышев доел уху, ел через силу — только бы не огорчить нас, радушных, но беспомощных устроителей обеда.

А случилось вот что. Готовили уху для почетного гостя денщики все вместе: не сговорились — да в хлопотах и толчее каждый и кинул в кастрюлю щепоть соли. Вот и получилось: у семи нянек дитя без глаза.

По условиям оборонительных работ Дмитрий Михайлович бывал в нашем офицерском общежитии частенько. Устраивались удобно у стола и под его руководством прорабатывали на карте то, что затем следовало выполнить в поле.

И чуть ли не на следующий день после злосчастной ухи, глядим, приехал инженер уже не один, а в экипаже рядом с ним сидела женщина в форме сестры милосердия — белая крахмальная косынка с красным крестиком и такое же одеяние под плащом-пыльником. Экипаж был на этот раз другой, более удобный и прочный. «А он галантный кавалер, — сказал или подумал каждый из нас про подполковника. — Не решился посадить женщину в свою затасканную пролетку, раздобыл другую».

Однако что у нас делать медичке? И мы встретили ее, предупреждая:

— Простите, сестрица, но больных у нас нет.

Женщина переглянулась с Карбышевым, рассмеялась, а потом сказала:

— Вот и хорошо. А теперь познакомьте меня с вашим поваром.

Пришлось сказать, что у нас несколько поваров, имея в виду, что все наши денщики по большей части теснятся у плиты на кухне.

Гостя в удивлении остановилась, позволила себя рассмотреть, и тут все заметили, что она красива.

— Как же так, господа? Несколько — это значит ни одного, с которого можно спросить. В таком случае разрешите мне, женщине, ознакомиться с вашим хозяйством! — И сестра отправилась на кухню.

Как она там распорядилась — сказать затрудняюсь. Но только уже на следующее утро, спеша на работу, мы не глотали, как обычно, что попало всухомятку, а были приглашены нашими кулинарами к горячему завтраку. А когда сестрица побывала у нас на кухне еще раз и еще, мы, садясь за вкусный обед, вспоминали случай с несъедобной ухой уже только как курьез, как веселый анекдот...

Звали заботливую женщину Лидией Васильевной. Оказалось, это жена Карбышева.

И еще вспоминается случай из тогдашней моей саперной службы в Карпатах... Случай, в сущности, мелкий: однажды недоглядел за солдатами, и они кое в чем напортили в работе, казалось бы, не велика беда. И не такое с годами забывается... А тут пустячок — да не забылся. Больше того — послужил уроком на всю жизнь, потому что учителем поведения и оценки своих действий в тот раз для меня, молодого офицера, оказался Дмитрий Михайлович Карбышев.

А дело было так. Растрассировал я на одной из высот окоп, получил одобрение Карбышева и поставил саперов с лопатами. Отмерил каждому урок, а сам с биноклем, компасом, уклономером, который подвешивается, как безмен, на пальце, и, разумеется, с картой отошел в сторону, на соседний, свободный еще от работы рельеф. После им-

провизированного семинара, на котором Карбышев увлек нас новыми идеями о фортификации, каждый искал случая самому, без подсказки инженера, сформировать опорный пункт, а то и узел сопротивления, конечно, самый совершенный, самый неприступный из всего того, что мы до сих пор выстроили под руководством Карбышева. Дмитрий Михайлович только поощрял такую инициативу молодежи.

Вот и я, лагая по холму и хватаясь за кустарники, чтобы не скатиться под откос, мысленно строил свой Верден, двойник французской крепости, прославившейся своей стойкостью в этой войне.

— Господин прапорщик,— слышу,— вас подполковник требуют!

Гляжу — мой сапер. Махнул мне и побежал обратно, чтобы опять взяться за лопату.

Я пошел на зов, не допуская и мысли, что случилось что-нибудь неладное. Карбышева я увидел не возле саперов, копавших окоп, а внизу, на равнине, или, говоря по-военному, в предполье создаваемых укреплений.

Подхожу, козыряю. Докладываю подполковнику:

— На опорном пункте номер такой-то поставлен взвод саперов. Окоп на переднем скате, поэтому в насыпном бруствере не нуждается. Землю относят в тыл...

Карбышев быстро взглянул на меня, словно удивленный тем, что слышит, и молча кивнул в направлении этого пункта номер такой-то.

Глянул я на плоды трудов своих саперов — и в глазах потемнело. Чудовищно! Зеленый, покрытый травкой откос холма обезображен выкинутой наружу землей... Стою, не смея шевельнуться. Не доглядел за саперами, не объяснил толком, что землю следует аккуратно в мешки — и прочь, подальше от окопа. А теперь — черт знает что! — как с бородой окоп: протянулись вниз полосы из песка, глины, камней. Не скрыт окоп от врага, не затаился в траве, а будто орет на всю окрестность: «Гляди, немец, вот я, лупи из пушек, не промахнешься!»

Ух, как я был зол на себя. Какие уж тут Вердены — простенькую работу запорол!

— Да,— сказал Карбышев в раздумье,— не маскировка у нас с вами получилась, а демаскировка...

«У нас с вами». Ушам я не поверил. Ждал от начальника взрыва негодования, разноса, а вместо этого лишь упрек, даже половина упрека...

А у Карбышева опять уже только деловой вид, обычный для него, словно и не произошло ничего. Он сел на придорожный камень, предварительно пучком травы смахнув с него пыль, а садясь, этак уютно покряхтел, как делают это уставшие люди в предвкушении отдыха. Снял фуражку, вытер лоб платком, на минуту с блаженным выражением на лице зажмурился. Потом, встрепенувшись, положил перед собой на колени планшет с картой под целлулоидом.

— Ну что ж,— сказал он, переходя к делу,— надо исправлять ошибку.— И, внимательно взглядевшись в меня, добавил с улыбкой: — А вы очень-то не огорчайтесь, прапорщик. С кем не случается...

Подари мне небо в это мгновение все блага жизни, какие существуют, подари самое солнце — я не был бы так счастлив, как от этой, потрясшей все мое существо улыбки. Я рассмеялся — безотчетно, по-ребячески. Вот уже хохочу без удержу... Глядя на меня, простоудушно смеялся и Карбышев.

Он тут же решил на карте, как исправить ошибку. К сожалению, не без ущерба для дела: пришлось несколько перекомпоновать узел сопротивления, чтобы выключить из него демаскированный склон.

Так Дмитрий Михайлович Карбышев преподавал мне урок самообладания. А смысл урока был таков (что я раскусил не сразу): допустил в работе, в жизни промах и страдаешь, свет не мил. А по суще-

ству — малодушничает, стремясь, чтобы боль с души твоей сняли сторонние руки. Нет, ты перетерпи свою боль — это потруднее, чем принять наказание со стороны, зато, если совладаешь сам с собой, — считай, что укрепил свою волю кусочком стали.

Имя Дмитрия Михайловича Карбышева в Великую Отечественную войну прогремело на весь мир. Советский народ признал его своим героем. Крупный ученый, обновивший науку фортификации, профессор Военно-инженерной академии, генерал, Дмитрий Михайлович не изменил своей привязанности к рядовым труженикам войны с лопатой, топором, киркомотыгой. Когда на фронте Великой Отечественной были для нас трудные дни — Карбышев поспешил в огонь войны, к войсковым саперам, чтобы, изучая повадки врага, помочь им совершенствовать работу.

Но не уберегли его. Немецко-фашистские генералы, пленив Карбышева, ликовали: попался в руки знаменитый фортификатор! Но Карбышев отказался работать на захватчиков, не изменил Советской родине... И всем известно, как его казнили: обливали, обнаженного, на морозе водой, пока человек не превратился в ледяной столб...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Вот и кончились для меня светлые дни пребывания на Карпатах... Горное солнце, как известно, богато ультрафиолетовыми лучами, оно целебно. Когда смотрю на Карпаты уже издалека — солнце это в моем сознании сопрягается с обликом Дмитрия Михайловича Карбышева. Дни общения с этим глубоко интеллигентным, с открытой душой человеком оставили впечатление праздника труда, исканий и находок в науке.

Но вот я вместе с ротой возвратился в батальон. И словно из солнечного края попал в мрак ненастья. Никому ни до кого нет дела, каждый озабочен лишь собственной персоной. Впрочем, по первому впечатлению, и здесь был праздник. После того как свергли царя, все в войсках бурлило. Всенародная радость — не сразу и насытишься счастьем жить без самодержавия, столь это счастье огромно. Солдаты в батальоне то и дело сбегались на митинги, случались и заезжие ораторы, при этом каждый расхваливал свои взгляды на будущее России. Поди тут разберись, какой строй принять для государства, чтобы всем стало жить хорошо!

Полковника Фалина уже нет. Исчез к чертям. Узнав об этом, я готов был «ура» прокричать. Убежало за ним и его прозвище: «Филин»; «Филин-Фалин» — называли за глаза этого держиморду. Взамен появился новый командир батальона. Вступил он в должность по мандату Временного правительства. Сияет в улыбках, а на груди красный шелковый бант такой величины, что, казалось, не бант прицеплен к человеку, а человек к банту. Саперы и самого его, как только распознали, прозвали «Бантик». Молодой, а уже подполковник. Между тем, пороху не нюхал, хотя пошел четвертый год войны. Это всех удивило, и в батальоне распространился слух, что Бантик удостоен подполковничьих звезд за особые (о которых вслух не говорят) заслуги перед кем-то из Временного правительства.

Бантик сразу же отгородился от офицеров батальона. Офицерским собранием пренебрегал; опытных старослужащих офицеров обидел, не вняв ни одному из советов этих боевых, заслуженных ветеранов войны. Бантик, как оказалось, озабочен одним: снискать симпатии солдат, даже

черня в их глазах офицеров. Однако тут-то он и погорел: актерства не хватило.

— Сует руку, здравствуйте, присаживайтесь, — рассказывал Ребров. — А я, может, не согласен на такое обращение. Ты мне не кум, не сват, и уголь вместе не рубали. Чего же в приятели навязываешься? Поставлен командиром батальона — так и соблюдай свое звание...

— Гордей Иванович, — вставил я, — а можете передать ваш разговор? Мне это интересно.

Солдат ответил не сразу. Нахмурился. На грубом, словно вырубленном из каменной породы лице его заходили желваки — значит сердится. Похоже было, что с Бантиком они в самом деле не поладили. Это меня обеспокоило. Мы же не знаем человека: может быть, он мелочен, мстителен.

Ребров на мое замечание улыбнулся и поглядел на меня с хитрецей.

— Бог, как говорится, не выдаст — свинья не съест, господин прапорщик... Эх, побалакать бы нам с вами с глазу на глаз...

— Так расскажите же о разговоре с Бантиком. — И я поискал глазами, куда бы сесть. Около кухни увидел колоду для раскалывания дров. «Та самая, — мелькнула мысль, — где Ибрагим свою руку...» И я уже не в силах был оторвать взгляда от темного пятна когда-то впитавшейся в торец древесины крови. Странное, болезненное любопытство сковало меня...

А Ребров:

— Почекайте-ка... — Заставил меня посторониться. Тут же тяжело-весную колоду взвалил себе на плечо и за поленицей выбросил. С глухим шумом колода покатилась в овраг. А сам он прихватил из поленицы два кругляша.

— Эти-то стулья почище будут. — Ребров смахнул с кругляшей пыль. — Седайте, господин прапорщик.

Сели друг против друга, в сторонке от движения людей.

— Тютюном солдатским не побрезгуете?

Свернули мы по сигарке, закурили.

— Руки я ему не подал, — объявил Ребров и строго посмотрел на меня: одобряю ли? — «Выбачайте, — кажу, — господин подполковник, помыть не управился. Вестовой-то ваш так и сдернул меня с верстака: мол, не задерживайся, геть, живо! Вот я и грязный...» А Бантик глазки наставил на меня — и сверлит, сверлит, как сверлышком. Понимаю: бывшему высокоблагородию желательно высверлить, что у солдата на уме.. Сели, вот как сейчас мы с вами. На столе чай, печенье городское. И начинает Бантик меня обхаживать. «Вы, — говорит, — господин Ребров, хотя и в малом звании — всего ефрейтор, но солдаты к вам прислушиваются, человек, выходит, вы разумный. Оттого и пригласил я вас для до-ве-ри...» Ну, понимай, для разговора.

— Для доверительного? — подсказал я.

— Во, во, для этого самого. Ну, и водит меня, водит, как рыбак щуренка, чтобы тот поглубже жало заглотнул... «Россия, — говорит, — воспряла ото сна, это еще поэт предсказывал... И пришло время вступить России в свое великое будущее. Малого, мол, не хватает: наша доблестная армия обязана сломить Германию!» И дает, значит, мне поручение: уговаривать в батальоне солдат — воевать до победы.

А я ему:

— С чужого голоса, господин подполковник, говорить не умею. Вот вместо меня пригласили бы сюда краснобая...

Подполковник как одернет меня:

— Что вы городите!

А я ему:

— Если горожу, то дозвоьте и догородить. Есть же у вас главноуговаривающий — ему бы с руки...

Подполковник как топнет да кулаком по столу как стукнет:

— Прочь! Чтоб про господина Керенского, верховного главнокомандующего армией революционной России... Да я вас...

Тут Ребров, по его словам, выскочил из кабинета с таким проворством, что кусок печенья в горле застрял.

Мысленно аплодирую Реброву, но выдать свое восхищение им не вправе: я офицер, и военная субординация для меня — закон.

Ребров поплевал на докуренную сигарку, затоптал ее в песок. Бросил и я свою.

— А вы, господин прапорщик, сами-то за войну до победы или как?

Вопрос застиг меня врасплох. Разумеется, совсем недавно еще я был за победу. К этому обязывали офицерские погоны, этого намеревался достичь, отправляясь в действующую армию; верил, что мы, молодежь, пополняющая офицерские кадры, способны переломить ход злосчастной войны... Да, так было. А сейчас?.. Мрак последовавших затем разочарований в устройстве армии, в ее командовании, в бессмысленности боевых действий, где видишь повальное истребление собственных солдат и только...

Ребров с виду спокойно ждал ответа, а я путался в мыслях: «Кто я в самом деле? Как понять себя? Что сказать солдату и другу, чтобы честно?..» И вспомнился Дмитрий Михайлович Карбышев. Сразу сказал себе: «Как он, так и я». И принялся перебирать наши встречи на окопных работах в Карпатах. Новые идеи в фортификации... Да, это Карбышев. Заботы о надежном укрытии солдата в обороне... Да, это тоже он. Вера в то, что в сегодняшнем приниженном, забитом, замороженном солдате — дай ему только расправить плечи — воскреснет суворовский чудо-богатырь... Да, да... Но речь Карбышев держал об обороне Отечества. И ни слова о завоевании чужих земель. «Война до победы» — нет, такого мы не услышали из уст Дмитрия Михайловича!

Я попросил у Реброва еще табаку на закрутку. Он предупредительно раскрыл передо мной кисет. Я вновь закурил, и вдруг мне стало так жалко себя, парня в погонах и в шпорах, жестоко обманутого жизнью, что я, дався дымом, взмолился:

— Гордей Иванович, не надо... Не пытайте меня... Будь оно все проклято! Ничего я не хочу. Никаких побед, никакой войны...

А в мыслях: «О, если бы мне снова надеть студенческую фуражку. Быть может, она даже ждет меня, припрятанная отцом...»

Наш подполковник обнаружил способности оратора. Красиво выступал на митингах. Но ни публичные, обращенные к саперам батальона речи, ни беседы с ними же с глазу на глаз — ничто не сломило в солдате недоверия к этому человеку с великолепным шелковым бантом. Его призывы к войне до победы окончательно сделали его в батальоне чужаком. И Бантик это понял. Убрал печенье и стал заводить в батальоне строгости.

Солдатская почта принесла весть, будто в армии восстанавливаются военно-полевые суды...

И вот Керенский развернул наступление... Помню только, как мы бежали из Карпат. Каменная дорога превращена в пыль, словно не телегами развезена, а измолота мельничными жерновами. Пыль всюду. Едем как в белесом тумане; пыль слоями опадает с одежды, противно скрипит на зубах. Зной, духота. На дороге панически теснятся обозы, пушки, фургоны с ранеными, экипажи с начальниками... То и дело вспыхивает злобная перебранка, и глядишь: то подвода, то зарядный ящик и даже пушка, вытолкнутые из толпы, опрокидываются в канаву, калеча лошадей...

Я сижу на возу среди ящиков с пироксилином. Это пострашнее, чем

на пороховой бочке. Пироксилиновая шашка в основе своей из хлопка: высыхая, волоконца отслаиваются, и пыль — черт его знает, в какой момент! — способна взорваться. Проезжаем селами, и я с нетерпением меряю взглядом расстояния от колодца до колодца: вылить бы на ящики с пироксилином пять-шесть ведер воды! Пироксилин гигроскопичен, жадно впитает воду — и можно бы успокоиться, даже вздремнуть на возу. Но у колодцев драка, воду мигом вычерпывают. Заглянешь, когда дойдет твоя очередь, в глубину сруба, а там только грязь маслянисто отсвечивает... Единственная для меня победа в июльском наступлении Керенского это то, что я на своем пироксилиновом возу не взлетел на воздух.

— Пишись, господин прапорщик, на вольную жизнь, — как-то сказал мне Ребров. — И дробовичок прихватишь, что я смастерил, — поохотишься.

Я принял это за горькую шутку. Но Ребров, старослужащий батальона, уже рассказывал мне, что с начала войны всякий год по весне приходит в батальон требование от УПВОСО (Управление военных сообщений) на подрывные команды. Эти команды — легкие на подъем, мобильные, каждая не больше полувзвода — получают задание: обезопасить от ледохода стратегические мосты на прифронтовых реках. Командировка длится месяц-полтора, подрывники живут самостоятельно — батальон далеко, УПВОСО еще дальше. Чем не вольная жизнь?

Ребров назвал мне фамилии саперов, которые уже бывали на ледоходах, дело понимают. Большинство оказалось из моего взвода. «Знакомые ребята, — подумал я, — это уже половина успеха в деле, на которое отваживаюсь». И, не мешкая, подал рапорт своему ротному. Комроты внес кое-какие изменения в список, одобрительно остановился на фамилии Ребров, сказав, что ефрейтор — человек знающий, самостоятельный: «Ставьте его старшим в команде и своим помощником. Не подведет». И тут же вздохнул:

— Завидую вам, прапорщик. Будет весна, и вы — как птица на перелете...

...Выгрузилась моя подрывная команда со своими ящиками, тюками снаряжения и бочками с порохом в городе Каменец-Подольске. Тут же на вокзале наняли лошадей, и добрались мы до местечка Жванец, на берегу Днестра. Река широкая, многоводная, хотя и поменьше Камы. Сразу я и мост увидел. Мост деревянный, но, видно, ставился прочно и надолго — на сваях; перед устоями кусты свай, покрытые железом, — ледорезы. Прошелся я с подрывниками по мосту, прислушиваясь к замечаниям опытных людей, и понял, что мост задаст нам хлопот: конструкция балочная, пролеты узкие, и, когда река тронется, только гляди — как бы не натворили бед ледяные заторы!

Сойдя с моста, всей командой сели закурить. Тут я услышал, что еще до ледохода следует раздробить повыше моста ледяные поля.

Как это делается — я не знал.

Ребров хитро прищурился и предложил мне самый быстрый способ порушить ледяное поле. Надо выйти саперам на простор реки и разбросать заряды динамита. Бах-бах-бах — и в толще льда образуются воронки и трещины. Ледоход доломает лед. Это один способ.

— Работенка веселая, — подмигнул мне старый сапер, — дух захватывает. Но только на ловкача — с динамитом шутки плохи.

Докурив сигарку, продолжал:

— Теперь слушайте про другой способ. Там динамит, тут порох. Там бегом, тут с шилом в руках начинается работа...

И Ребров рассказал, как сладилось это дело еще в предыдущие года.

Саперы садятся шить картузы из картона. Сшил цилиндр размером чтоб голову просунуть — пришей донце и кидай готовый картуз в сторону. Там посажен некурящий. Перед ним раскрытая бочка пороху. Порох саперный, крупный, как грецкие орехи, не распыляется. Некурящий сапер зачерпнет деревянным совком пороху — и в картуз. Насыплет полпуда, пуд — смотря по тому, какой требуется фугас. Полный картуз пересовывается третьему. Тот закладывает в порох запал Дрейера, выводит наружу электрические провода и пришивает на картузе картонную крышку. А четвертый сапер — смоловик. Промазывает картуз со всех сторон смолой, чтобы не проникла в порох вода.

Рассказ свой Ребров завершил вопросом:

— Так який способ выберем? Перший чи другий?

Он заулыбался, и все подрывники, вижу, глядя на меня, улыбаются. «Ага, — смекнул я, — это солдатский экзамен командиру. Нельзя не выдержать!» Спешу припомнить пройденное в подрывном классе училища, а заодно устройство «Петергофских фонтанов» на Неве...

— Оба способа применим, сообразуюсь с обстановкой.

Глянул на лица саперов — экзамен выдержан. Осталось приступить к делу.

За день подорвали фугасами ледяное поле, что повыше моста; на второй день — пониже. Саперы взгромоздились верхом на ледорезы, встречали баграми крупные льдины и направляли их под мост. Когда вода очистилась, мост, казалось, стоит посреди зеркала.

К слову сказать, при установке фугасов я ухитрился провалиться в полынью — в шинели, сапогах, в зимней шапке. От холодного по всему телу компресса не мог и слова вымолвить, не то что закричать. А ведь мгновение — и меня утянуло бы под лед. Это мгновение опередил Ребров. Я успел увидеть только его в ужасе расширившиеся глаза и рот, зло выкрикнувший:

— Лови багор! Держись...

Ребров выволок меня на затрещавший лед. Отдышался я лишь в караулке на берегу. Здесь было жарко натоплено. Я выбрался из мокрой и липкой одежды, и Ребров жесткими своими мозолистыми ладонями, окуная их в миску со спиртом (полный бочонок стоял в углу), принялся растирать мое тело, пока я не взмолился: «Гордей Иваныч, пощади, весь горю, как бикфордов шнур!»

He ответил — все еще сердился... Наконец убрал руки, но лишь для того, чтобы наполнить из бочонка манерку... Пришлось хватить спиртяги.

Заснул я сном богатырским. С трудом продрал глаза, услышав шепот. Из слов забежавших погреться саперов понял, что на дворе глубокая ночь.

— А гремит что такое? — не понял я. И услышал взволнованно-торжественное: — Днестр тронулся — пошел... Дыбится, едва управляемся...

Ребята распили кружку спирта, утерлись рукавами и побежали обратно на мост. А я — к окну.

В черноте ночи словно праздничная иллюминация. Взад-вперед, как живые (людей не видно), бегают по мосту огни. Догадываюсь: факелы. Из-под моста несутся льдины, в темноте почти неприметные. Но вот одна со стеклянным шумом взгромоздилась на другую, подоспели третья, четвертая — и уже затор в пролете моста. Это опасно — мост расшатывается... «Динамитом бы по затору, эх, не прозевали бы!» И меня, закупоренного в караулке, словно услышали: взблеск пламени, караулка вздрагивает от мощного взрыва, и ледяная гора, расколовшись, ныряет в воду. Пролет очищен.

Спешу одеться, чтобы бежать на мост. (Спасибо Реброву, все мое уже сухое, сложено по-солдатски — стопкой.)

Едва я из караулки — как на мосту забил колокол, прихваченный нами с собой. Тревога!.. Что-то там, слышу, с треском рухнуло. Крики — и резанули слух слова: «Утонет, утонет... Эй, за бревно хватайся, слы-ышь!..»

И вижу я на середине реки что-то темное... Уже после различил, что плыл куст свай, вывороченный из ледореза, с цеплявшимся за скользкие бревна сапером. Но тут меня будто воздухом подхватило — и я уже в дежурной лодке. Это был тяжелый четырехвесельный рыбацкий баркас, по-местному — «дуб». Но я же, черт побери, с Камы! Схватился за весла и — без роздыха, без роздыха — вдогонку за тонущим человеком. «Держись! — кричал я в темноту. — Не тони! Иду на помощь!..»

Немного погодя я уже выхаживал в караулке спасенного мною человека. Это был парень из нашей подрывной команды. Посиневший от ледяной воды, он твердил в беспамятстве: «Багор-то, багор я упустил... Поймайте!..»

А я ему — кружку со спиртом:

— Пей, не помрем без твоего багра!

Прибежал Ребров, обнял меня, благодарит за спасение солдата.

Я отшутился:

— Это Кама пришла на выручку Днестру!

Уступил Реброву заботы об искупавшемся, а сам поспешил на мост.

Еще одна командировка в распоряжение УПВОСО, и я с подрывниками попадаю на реку Южный Буг. Было это в октябре 1917 года.

Кто мог представить себе в то время в нашей армейской глуши, в тысяче с лишним верст от столицы, чем явится для России и всего мира этот холодный октябрь семнадцатого года! В Питере грянула Октябрьская революция... Впереди — гражданская война, интервенция, невиданные лишения и — годы, годы борьбы...

А пока я со своими солдатами направляюсь в командировку на Южный Буг. Пока добрались — речку схватило льдом.

Южный Буг неширок: с берега на берег камешек забросишь. Пробивая пешней лунки, измерили толщину льда — крепко и здесь, на юге, оказывается, берет мороз. Но мост — коротышка, всего о двух свайных устоях.

Ребров сплюнул: «Курам на смех! И чего мост военным значится? Какая в этих местах война?» Но я не огорчился малостью предстоящей работы. Конечно, здесь не повторится днестровское ледовое побоище, но отдохнуть подрывникам ведь тоже неплохо.

Войска сюда не заворачивали, пользовались мостом крестьяне, приезжавшие на базар в здешнем городке, — и я очень удивился, узнав, что существует комендант моста. Он явился ко мне с визитом. Это был молодой, но весьма чопорный господин в форме «земгусара». Мы поговорили, чинно стоя друг перед другом, а напоследок комендант пригласил меня «пожаловать к обеду» и вручил визитную карточку.

Проводил гостя и гляжу: на карточке — золотой обрез, княжеская корона и громкая фамилия родовитого помещика.

Солдаты засудачили:

— Его сиятельство в комендантах... Чудно... Может, и метлу в белы ручки берет, мост-то надо прибирать от конского навоза... Аккуратный господин: устроился так, что и война мимо прошла!

В княжескую усадьбу я не поехал. Пообедал из котла вместе с саперами.

Наутро подрывники прислали Реброва ко мне делегатом.

— Ребятам непонятно, зачем мы здесь, — заговорил делегат, неловко переминаясь. — С передовой уже увольняют по чистой. По мосту то вон сколько вчера прошло, сами видели... Кому, значит, по домам, а нам, подрывникам, все еще службу служить?

Я возмущился: герои Днестра и вдруг — сговор против службы. Особенно больно кольнуло меня, что и Ребров заодно с остальными.

Я резко оборвал делегата. Сказал: уговаривать не стану, можете, мол, расходиться по домам, если потеряли совесть и ни в грош не ставите меня — командира.

— И в самом деле, — заявил я, едва скрывая обиду, — вам, солдатам, и делать-то тут нечего: ледяное поле пустышное, фугасы шить и изрывать я у вас научился... Скатертью дорога, один управлюсь!

Полные сутки митинговали подрывники в хате, отведенной воинским начальником для постоя. А я слонялся по городишку, где, кроме как на базаре, и людей-то не было видно. В конце концов солдаты все же решились разойтись по домам.

Грустно мне было расставаться с подрывниками. Свыкся с каждым из этих мужественных, простых и сердечных людей; чувствовал себя как бы в крепкой семье, где на младшем по возрасту скрещиваются заботы старших братьев... Бывшие солдаты уходили от меня крестьянами и рабочими. Все — украинцы, иным до дому и ехать не пришлось: котомку за спину, сапоги туда же — и пошел шагать босиком по пыльному шляху.

С Ребровым обнялись, расцеловались. Звал он меня с собой в Горловку:

— Инженером найметесь. На шахту.

А я еще и не думал о деле. Кончилась душевная каторга, которой обернулась для меня в армии царская служба, и хотелось просто пожить в свое удовольствие, ни перед кем ни в чем не обязываясь, наслаждаясь обретенной свободой.

— Гордей Иваныч, я же еще студент, не инженер. Да и в шахтных делах ничего не смыслю, приведете меня, а люди скажут: «Три года воевал наш Ребров, а трофей у него — пол-инженера!..»

Не понял моего каламбура или не пожелал принять. И странно, нам, между которыми в армии установилась отечески-сыновья близость, сейчас, когда каждый располагал сам собой, вдруг стало не о чем говорить...

Ушел Ребров, а я глядел ему вслед, пока его крупная, плотно сбитая фигура сделалась неразличимой. Еще раньше перестал видеть винтовку, притороченную к вещмешку. Что-то осталось между нами недосказанным... Что же именно? И почему словно камень лег на сердце?.. Упущенного не воротить. А ведь были попытки со стороны шахтера открыться мне, быть может, в чем-то очень важном для нас обоих. Но всякий раз я замыкался в себе, не смея переступить преграду: офицер — солдат... Как глупо...

Только дробовичок и остался на память о неразгаданном друге.

Проводил я своих саперов, разошлись солдаты по домам. Но ведь и я не бездомный: и Питер не выходит из мыслей, и родная Кама...

А домой не попасть. Внезапно между Украиной, где я оказался, и Россией возник кордон.

Случаются же чудеса на свете! В городке, до которого, как говорится, три года скачи — не доскачешь, в канцелярской рухляди обнаружился теодолит. Каков аккорд звуков: «Те-о-долит!» Прибор-дружнице, мы с тобой знакомы по институтской практике в поле.

Однако уместно сказать, где я и что я теперь. Застрыл — и, кажется, надолго — в маленьком захолустном городишке на Украине. Служу

в земской управе. Оказалась вакансия дорожного техника, а для этого моих путейских знаний больше чем достаточно.

Но продолжаю исследовать теодолит... Беру в руки зрительную трубу. Отскабливаю мышиный помет. Набравшись духу, заглядываю в окуляр, потом с другого конца трубы — в объектив... Целы оптические стекла! Можно работать.

Вглядываюсь в детали мерительные и не могу отказать себе в удовольствии произносить названия вслух: «Нониус... лимб... алидада...» Слова-то какие сладкозвучные — и здесь музыка! Чудо, что уцелели уровни. В стеклянную трубочку пойман пузырек воздуха, но в самой-то трубочке спирт. Повезло теодолиту — не добрался до него любитель выпить!

Дали мне мальчугана в подручные, и я, взгромоздив треногу с теодолитом на плечо, отправился за город... В чем обязанности дорожного техника? Ясно: поддерживать в проезжем состоянии местные дороги и мосты на них.

Взялись мы с хлопцем за дело. Для начала я показал ему на коровье стадо вдалеке, потом дал поглядеть в трубу. А он как шарахнется от окуляра и рукой глаза прикрыл. «Неужели уколосся?» — И я в тревоге стал трубу ощупывать, подозревая какую-нибудь острую, не замеченную мной заусеницу: на приборе, брошенном как хлам, всякое могло образоваться.

Но, по счастью, ни рваного металла на трубе, ни ранки на лбу или на глазу мальчугана.

— Не хóчу бильше! — И хлопец вырвался из рук, когда я, решив все же доставить ему удовольствие, снова подвел его к окуляру. И с такой обидой посмотрел на меня, что я понял: «Осуждает...» Видимо, у мальчугана свое твердое представление об окружающем его мире, и он не желает, чтобы корова приобретала размеры слона.

Впрочем, отношения наши быстро наладились. Босоногому моему помощнику уже нравилось вертеться у загадочного прибора. Охотно он и прочь отбегал, когда я давал знак взять в руки вешку или рейку. Издавали он смело пялился в нацеленное на него черное око трубы.

За месяц мы одолели полевые работы. Сел я за камеральные, и меня не покидало ощущение душевной приподнятости, которое вспыхнуло во мне, едва я набрел на теодолит. Листая пикетажный журнал и готовя чертежики к отчету, я ловил себя на том, что придерживаю руку с рейсфедером, чтобы полюбоваться штрихом, лежащим на бумагу. Сделаю вычисление — и передо мной не только цифровой результат: вместе с цифрами — одобрительная улыбка Гюнтера, вдохновенного и смешного нашего профессора... А сколько радостей пережито в поле! Бывало, выстукиваешь ветхий дорожный мостик и уже готов списать его на дрова, как вдруг от бревна звон — здоровая лесина! И это со звоном, и то... Да мост еще починить можно — будет служить! И тут же составишь на него дефектную ведомость. Или набредешь на карьерчик камня — уже материал для полотна дороги. Или... Да что говорить, сама причастность к труду то и дело вознаграждалась находками.

Результаты своих изысканий в виде обстоятельного доклада я представил земскому инженеру.

Это был средних лет выхоленный господин. Держался с большим достоинством. Строгий дорогой костюм его вынуждал меня краснеть за свой вид. Шикарный английский френч, в котором я вышел в офицеры, за два с лишним года выцвел, обвис; на локтях заплаты, рукава с бахромой... Брюки-галифе, которым, как уверяли, не будет сносу, протерлись в ходу до дыр. «Что значит дыры? — сказал местный портной, просовывая сквозь штаны сразу несколько пальцев. — Не будем плакать. Был сапер — сделаю вас кавалеристом». И портной подбил брюки

кожей. Теперь галифе при ходьбе поскрипывают, как старая калитка на ветру.

Впрочем, инженер, кажется, и не глядит, во что я одет, да и меня самого на службе едва замечает. По некоторым оброненным им словам я начинаю понимать, что он птичка залетная. А захолустный этот городишко понадобился ему, как он проговорился однажды, «чтобы перебыть погоду».

Письменный стол инженера обычно от деловых бумаг свободен. Здесь рождаются божественные ароматы. Приходя на службу, инженер выставляет на стол коробку крымского табака фирмы «Месаксуди», где под стеклянной крышкой, как в витрине, красуются золотистые табачные волокна. Коробка опрокидывается на стол, лицо инженера выражает вдохновение, и начинается священнодействие. Засучив рукава пиджака и постукивая о стол крахмальными манжетами, инженер, вороша кучу табака, сдабривает его пахучими травками, которые приносят ему с рынка. И добывается бесподобного букета.

Сам я перебивался «тютюном» — самосадам, который крестьяне привозили на рынок мешками и отмеривали покупателю ковшиками. Лучшего курева в городе не купить, а тут — «Месаксуди», как видение, как мираж... Эх, судьба!

— Прошу, — однажды предложил мне папиросу инженер прямо из набивной машинки, которая так и щелкала у него в руках. — Угощайтесь.

Я поблагодарил и отказался, выразив чувство неподкупной гордости.

Инженер вскинул на меня глаза:

— Вам не нравится «Месаксуди»? — Откинулся в кресле и принялся пускать кольца дыма. Это у него получалось виртуозно.

...И вот я перед земским инженером с отчетом о дорожном хозяйстве уезда. Едва нашлось для моей папки местечко на столе — кругом табак. Раскрыл он папку и, не утруждая себя особым вниманием, перелистал отчет.

— Неплохо, — заключил он, останавливаясь взглядом на чертежиках. — Я бы даже сказал — исполнено на «весьма».

Закурил свежую папиросу и уставился на меня:

— Однако на каком свете вы живете, господин техник? — Постучал пальцами по столу. — Вы в самом деле наивный мальчик? Или только прикидываетесь, что ничего не видите, ничего не понимаете?.. Твердой власти нет. Один заваривает кашу и, не доварив, бежит. Другой заваривает... Да кому же сейчас дело до ваших мостиков — с ригелями или без оных? И на какие шиши производить работы, нанимать людей, оплачивать материалы?.. Земская касса пуста. Я второй месяц не получаю жалования. Уж на что хлам — керенки, но и их казначей никак не наскребет...

На другой день меня уволили.

Институтское образование больше не кормило — пришлось изощряться, чтобы выжить. В студенческие годы доводилось мне репетиторствовать: исправлять лентяям школьникам знания по русскому, математике. Но было еще лето — для уроков пора не пришла. Подумалось: «И на простой работе сдюжу: дрова колоть, грести-копать...» Пошел по дворам — но ни землекоп, ни дровокол никому не понадобился. И продать с себя уже нечего: серебряный портсигар и карманные часы мигом проглотил рынок. Дотрепывал офицерскую экипировку. А брючный ремешок то и дело ослабевал — приходилось подтягивать его, прокалывая новые дырочки...

Наконец подвернулась стоящая работа. Какой-то помещик пожаловал городку локомотив. Это был двухцилиндровый «клеifton», английская машина в 25 лошадиных сил. Городские власти оказались в за-

труднении: не было заботы, так появилось порося. И решили обзавестись электрическим освещением. Я и набрел однажды на сарай, где стоял локомотив и где на первое время намечалась электрическая станция. Вспомнил я свои мальчишеские увлечения техникой... Чего только я не умел: портил и чинил дверные замки, переплетал книги, на рождество, масленицу и пасху делал бенгальские огни, ракеты, огненные колеса и стреляющих под ногами лягушек. А когда в нашей Перми с керосинового освещения стали переходить на электрическое, догадка за догадкой — и сделал в квартире проводку, выполнив все пожелания заказчика (отца).

Короче сказать, в локомотивном сарае я оказался как нельзя более кстати. Какие-то люди в рабочих фартуках, но не очень сведущие в деле, за которое брались, разглядывали и ошупывали старенькую динамо-машину постоянного тока. Я помог им снять кожух: «Вот теперь глядите. Все устройство на виду». Пришлось к слову, и я рассказал об открытии Фарадея, на основе которого и возникли динамо-машины.

Моя осведомленность в вопросах электричества произвела впечатление. Познакомились. Ребята в фартуках назвались служащими городской управы. А ковырялись они в машине из любопытства. Свели меня к городскому голове — и я опять в должности: на этот раз заведующий электрической станцией.

Однако, чтобы дать городу ток, потребовалось множество вещей, начиная с вольтметра, амперметра, рубильников и т. д. — для оборудования сарая и кончая роликами, шурупами, дюбелями, шнуром и, разумеется, лампочками для квартир. Но где искать такие вещи? Только в Киеве.

Но поездка не состоялась. В Киеве опять переворот. Царский генерал Скоропадский, которому помещики торжественно вручили булаву гетмана — символ власти над Украиной, на троне не удержался. Его спихнул Петлюра, стремившийся отторгнуть Украину от России, отдавший украинские земли на разграбление вильгельмовским войскам. Но и Петлюра недолго властвовал. Из деревень ударили партизаны, соединились с советскими украинскими войсками и погнали прочь петлюровцев заодно с солдатами Вильгельма.

Но еще до падения Петлюры я получил повестку: как бывшего офицера петлюровцы объявили меня мобилизованным в их полки-«курени». Не пошел. Меня арестовали. В тюрьме я увидел, что нас немало — бывших офицеров, не пожелавших больше воевать. Ждали, что расстреляют. Нет, не расстреляли: офицер все-таки ценность, решили, без офицеров армия невозможна. Принялись выискивать среди нас большевиков, мол, выведем в расход смутьянов. Потом появились уговорщики: чего, дескать, упрямитесь, не все ли равно, где служить, раз офицер — от военной службы не отвертись.

Моем полы, топим печь, выносим под караулом парашу — день за днем входим в тюремную жизнь. А уговорщики все звереют. Как бы, опасаясь, не начали выводить на расстрел. И мы забаррикадировались в своей общей камере...

Ночь не спали. Чувствовалось, что наутро может произойти расправа... Но едва рассвело — сквозь зарешеченное окно услышали мы песню. Затаились, пытаемся разобрать слова... Но и без слов, по игровому мотиву, по диho-соловьинному посвисту стало ясно, что в городок вошли победители! Кинулись мы к окованной железом двери, навалились на нее с такой силой, что, казалось, спины у всех затрещали. Высадили дверь.

И вот мы на воле... Была ранняя весна. От обилия света пошли в глазах оранжевые круги, и мы, вырвавшись из тюремной камеры, не

сразу отважились сделать шаг от ворот: с минуту стояли, как слепцы, держась друг за друга. Потом рассыпались кто куда.

Я вышел на улицу: тающий снег, грязь, но и в лужах — солнце... Тут впервые в жизни я увидел большевиков. На гарцующих конях сидели молодые и немолодые всадники, все в обычных солдатских шинелях, с карабинами за спиной и с шашками на боку. Но потрясающе необычными были их лица. Красные банты на груди, красные ленты на шапках — и, казалось, самые лица, сияющие, счастливые, родились от красных зорь!

Завидно мне стало. В конных рядах все больше молодежь, мои сверстники, но разве я похож на них? Забыл, когда и улыбался... Что-то, видать, у них сладилось в жизни — большое, настоящее... А я? Ведь и хотел-то самого малого: забыть свое офицерство, вернуться к теодолиту, рейке, пикетажному журналу, и чтобы никто не смел меня трогать. Только и всего... Но взломали мою маленькую жизнь, арестовали, швырнули в тюрьму — какая несправедливость! И вот теперь я опять на распустье...

Многие из сидевших со мной в тюрьме офицеров, как я понял, решили пробираться на Дон. Но это значило — опять воевать? С кем? За что? За царя-батюшку? Нет, таким я не попутчик... Явиться разве к большевикам, пока не сцапали как офицера? Самому-то лучше — может, выслушают, может, и просьбу уважат. Честно, без утайки расскажу все о себе и попрошусь на военно-ремонтные работы: петлюровцы при бегстве портят мосты, дороги, железнодорожные станции. Нужны же знающие люди, чтобы все это восстанавливать. Скажу: «Ставьте хоть техником, хоть десятником».

В городке, едва вступили красные войска, сформировали первое советское учреждение — ревком. Добрался я до председателя — им оказался пожилой человек, нескладно одетый в военное. Посадил он меня против себя — глаза в глаза. А расспросив, вдруг рассмеялся и сказал:

— Хорошо, дам вам сугубо мирное занятие. Будете в ревкоме письмоводителем.

Видимо, я пришелся к месту, потому что предревкома, получив вскоре новое назначение, предложил мне и дальше с ним работать. Переехали мы в приграничный город Проскуров. Начальник мой занял пост уездного военного комиссара, а меня уже не в письмоводители посадил, а доверил интересную самостоятельную работу, о которой скажу дальше.

Звали моего начальника Иваном Родионовичем. Но он требовал, чтобы говорили «товарищ Сеница». При этом ударение он делал на слове «товарищ». И даже подписывался: «товарищ Сеница». К этому росчерк птичкой. Токарь с киевского завода «Арсенал», он во многом напомнил мне моего дружка сапера Реброва. Такие же резко выраженные черты лица; держится твердо, иной раз и жестко, но вдруг из-под колючих черных усов улыбнется и приласкает тебя мягким взглядом. Мне особенно нравилась в нем, как нравилась и в Реброве, неспешная рассудительность, умение, как говорится, всесторонне обмозговать вопрос, прежде чем он выльется в решение и получит силу приказа.

В важных случаях, созвав сотрудников, товарищ Сеница любил поразмышлять вслух, как бы давал нам открытый сеанс работы своего острого и цепкого ума. Становился особенно оживленным, когда с ним не соглашались, спорили, горячились. Это напомнило мне Д. М. Карбышева. Выслушает всех, а кончается тем, что мы в недоумении только переглядываемся: «А ведь Сеница-то прав. Нате же — простой рабочий, не всегда умеет даже фразу правильно построить, а разметал все наши возражения, которые тут же и увяли...»

Напоследок улыбнется лукаво:

— Вы, други мои, народ сильно грамотный, иные из вас в универ-

ситетах да институтах обучались. Для военкомата это честь. А вот в драку лезть не умеете. А революция, други мои, нуждается в грамотеях драчливых!

О себе говорил скромно. Однако прошел и он, рабочий большевик, свои «университеты»: в подпольных битвах с политическими противниками отточил он силу своего слова и искусство с партийных позиций разбивать фальшивые суждения кого угодно, даже профессоров.

Но что такое «партийные позиции»? Это было для меня новым и весьма туманным понятием. Я обратился к товарищу Сенице за разъяснением.

— А такое готовеньким в рот не вкладывают! — И Сеница рассказал мне про большевистскую литературу, о существовании которой я и понятия не имел. А она давно уже жила в России, множилась, приводила в неистовство царя, но ни жандармы, ни полиция не в силах были ее уничтожить. Лишь после Февральской революции эта литература вышла из-под запрета.

— Вот она, — объявил товарищ Сеница, когда мы оказались в комнате, где на полках, на столе и даже на полу громоздились увесистые тюки, от которых пахло типографской краской. — Вот она, вот, вот... — говорил он, любовно прикасаясь к каждому тюку. — Одолеете эту литературу — и поймете, что к чему. — Он с достоинством подкрутил усы, которые тут же раскрутились. — Мы, самоучки рабочие, одолевали ленинское учение, а вы ведь студент столичный. Да не в подполье сядете читать, кашляя от копоты каганца, а при полном удобстве. Заодно и на пользу революции потрудитесь. — И Сеница ушел, оставив мне ключ от комнаты.

Осмотрелся я, читая этикетки на тюках, и вижу: присланы нам центральные газеты «Известия» и «Правда», различные брошюры, листовки, плакаты. Прибежал от товарища Сеницы парнишка, сказал, что будет мне помощником, подал список; по этому списку надо было распределить литературу между воинскими частями, небольшими заводиками и мастерскими, какие есть в городе; направить комплекты газет и брошюр в примыкающее к городу железнодорожное депо Гречаны и на станцию Проскуров, а также на село крестьянам... Словом, оказался я экспедитором периодической печати, единственным в городе.

За день эти непривычные дела так меня уходили, что ноги подламывались, а присесть нельзя: каждый посыльный ловчит набрать литературы побольше, не сообразуясь с разверсткой: «Давай, мол, сколько унесу. А то и самого меня раздерут на части!» Пришлось глядеть в оба — иначе мигом опустошили бы кладовую.

Только к вечеру, раздав последки из распечатанных тюков, я опомнился. Прибрали с пареньком помещение. Он ушел домой. А я облокотился о стол — да так и заснул, полустоя...

Проснувшись, распахнул окно, а навстречу теплынь, ароматы цветущего лета... «Тиха украинская ночь...» — лучше не скажешь и не почувствуешь. Высунулся наружу — над головой купол неба будто из черного бархата. А звезды здешние, по сравнению с нашими северными, неправдоподобно крупные, такие они, что, вздев глаза к небу, невольно улыбнешься. Как тут не вспомнить Рудого Панька, в рассказах которого быть переплетается с безудержной фантазией поэта. «Пасечнику Рудому, — подумал я, сам мысленно вступая в сказку, — с руки и звезды-яблоку разбросать по небу!»

Но хватит балясничать — пора и за чтение браться. Зажег я керосиновую лампу, но в комнате сразу запорхали, закружились ночные бабочки, обгорали и падали на стол. Пришлось закрыть окно. Устроился у лампы.

Привычки читать газеты у меня не было. Мальчуганом в родительском доме иногда заглядывал в «Русское слово» с хлестким фельетоном

Дорошевича, только и всего. И в студенческую пору газеты не интересовали меня, а в военное училище они, сколько помнится, вообще не допускались. Правда, в библиотеке к услугам юнкеров были «Русский инвалид» и «Новое время», но мало находилось охотников даже листать их. Скучища! В действующей армии кое-какие газеты приносила почта, но они залеживались, а потом солдаты разбирали газетную бумагу на курево... Короче сказать, сел я за газеты как начинающий читатель. И откровенно признаюсь: мир острых политических полемик, в который меня, читателя, приглашали, не пробудил во мне интереса. Да и мало что я понял из напечатанного. Конфузно, но факт: «столичный студент» сделал попытку приобщиться к политике, да ума не хватило. Перед рабочим-самоучкой спасовал. Вот уж посмеется надо мной товарищ Синица!

С досадой я отложил газеты. Взялся за большевистские брошюры, подбадривая себя тем, что брошюра — не газета, тонкая, но книга. Сяду-ка читать их с карандашом в руках, как, бывало, в студенческие годы сживал за учебниками.

...Карл Маркс, Фридрих Энгельс... Новые для меня имена. «Манифест Коммунистической партии», Лондон, 1848 год. Углубляюсь в чтение, и чувства мои напрягаются все больше и больше. А мысли, они устремляются ввысь, и эта высь так непривычна, что начинает кружиться голова... Какая сила интеллекта и какая страсть в каждом слове «Манифеста»!

Я ошеломлен. Распахнуты ворота в новый, неведомый мне мир коммунизма. Он влечет меня, как, бывает, человека влечет свет зари... Но мыслимо ли всех на земле сделать счастливыми? Побороть людские несчастья? Неужели наконец будут прокляты и исчезнут самые войны?.. Как хочется, чтобы такое свершилось! Но не продолжение ли это сказки сегодняшней ночи?..

Будущее человечества, гласит «Манифест», в его собственных руках. Капитализм должен быть свергнут, и могильщик его уже известен: это рабочий класс. Борьба классов движет историю, определяет все ее события... Так получается. Но почему же до сих пор я этого не знал? Ведь изучал историю. Знакомили нас в реалке со знаменитым «Курсом русской истории» Ключевского. Говорили об основоположнике исторической науки в России — писателе Карамзине. Настольной книгой у меня была «Русская фабрика» Туган-Барановского — тоже капитальный труд. Но чтобы борьбе классов придавалась столь значительная роль — такого не упомяну...

Мучительная ночь досталась мне. В голове — развороченные мысли, в чувствах — оцепенение и единственное желание: больше не залезать в дебри истории... Встретились с Синицей утром в военкомате, и по блестящим его глазам я понял: не терпится ему узнать, что почерпнул я из литературы.

— Ну как? — спросил он, придавая вопросу осторожную, шутливую форму. — Ум не зашел за разум?

Я не смог да и не пожелал утаить от рабочего большевика пережитое за ночь. Говорил я недолго, но высказался честно — и сразу полегчало. «Пусть даже накажет, пусть уволит, — подумал я, — но это же счастье — распрямиться душевно... Этакая тяжесть с меня свалилась!»

Однако в глубине души я верил, что кто угодно, только не большевики, способны наказать за честность. Многие мне у них нравилось, особенно их обращение друг к другу, простое и ласковое — «товарищ». Между собой они были на «ты». Мне Синица говорил «вы» и называл меня по имени-отчеству или по фамилии. Не без чувства горечи я утешал себя: «Что ж, вполне оправданно. Бывший офицер, происхождения не пролетарского... Каждому свое место».

Выслушал меня Синица со строгим лицом. Глаз не спускал. Вы-

ждал, пока я, теребя бахрому на рукаве френча, успокоился. И сказал вдруг:

— Товарищ...

Я оглянулся: кому? Но в комнате только мы двое. Значит... мне? Это произвело на меня такое впечатление, что дальнейших слов я не услышал. «Товарищ!» Во мне все ликовало, но я лишь таращил на Синицу глаза. Он продолжал говорить, я понимал это по шевелящимся губам... Наконец и звук прорвался ко мне:

— ...Начистоту — вот это ты правильно, товарищ, по-нашему, по-большевистски.

Мы встали. Синица уже улыбался:

— Не журись, хлопче, Ум за разум зашел — такое случается. Будем мозги раскручивать — да не в теории, а на деле.

Так разомкнулся для меня круг большевиков... А ведь казался недоступным.

Определили меня на должность заведующего культпросветотделом уездвоенкомата. Тут же я получил обмундирование: новенькую пару красноармейской одежды. Переодевался в бане и — о, с каким наслаждением я затолкал в горящую топку обносков английского френча! А когда от него остался только пепел, сунул туда же, в огонь, окончательно развалившиеся на мне брюки французского фасона галифе.

Простенькая красноармейская одежда — но почувствовал я себя в ней именинником.

Был мне предоставлен стол в отдельной комнате, а стены голые — неуютно. То ли дело кладовка, работа на людях! Там я и пребывал. Хлопоты с разгрузкой московского вагона с газетами и литературой, доставка тюков в военкомат, потом война с посыльными. Весело! Но на всякой работе приходит сноровка — и у меня все больше оставалось свободного времени.

— Где же мое заведование? — спросил я товарища Синицу. — В чем оно выражается?

— Соображай сам, — был ответ. — Не за ручку же тебя водить.

Но стал Синица брать меня на митинги, которые происходили в разных местах города чуть ли не каждый день. Пригляделся я к ораторам, пообвык показываться на подмостках перед множеством людей, проштудировал свежую литературу, и товарищ Синица выпустил меня с речью.

Держался я передовых статей центральных газет. Отважился однажды даже о III Интернационале упомянуть, который был только что учрежден в Москве и служил жгучей темой на всех митингах... Но тут досталось мне от товарища из центра. Выступил я, по его мнению, неплохо, но слова мои о значении Интернационала признал туманными.

— Что вы знаете, товарищ, об этом крупнейшем международном акте? Что учредительный конгресс Интернационала состоялся полтора месяца назад? Что через буржуазные кордоны, рискуя свободой, а иногда и жизнью, пробрались к нам делегаты из разных стран? Что с докладом выступил Владимир Ильич Ленин?.. А смысл этого события в международном пролетарском движении вам ясен, понятен?

Мне и ответить было нечего. Молчу, смущенный... Напоследок товарищ из центра сказал:

— Публичное выступление — дело серьезное. Надо так владеть материалом, чтобы не только растолковать каждому непонятное, но быть готовым дать молниеносный отпор враждебным против нас, большевиков, вылазкам. Запомните, товарищ: туманные речи идут не из нашего лагеря.

И я это запомнил, Крепко запомнил.

Товарищ из центра приехал в Проскуров, чтобы проверить, как справляются с работой советские учреждения. Его сопровождали два или три помощника. Он строго наводил порядки, однако больше улыбался, чем сердился. И этим располагал к себе. И наружность приятная. Было ему, вероятно, побольше сорока — виски седые, лоб с залысинами, борода клинышком, тоже с сединой. Звали Григорием Ивановичем. А фамилию назвал невнятно. Сеница сказал, что товарищ из центра предпочитает партийную кличку.

Закончив в городе проверку, Григорий Иванович наконец позволил себе отдохнуть. За обедом в столовке он рассказывал о сегодняшней Москве, чему все мы, сотрудники военкомата, жадно внимали. А когда убрали посуду и люди разошлись, между ним и Сеницей завязалась товарищеская беседа. Мне, к моей радости, разрешили остаться.

— Ты, товарищ Сеница, с какого года в партии? — спросил Григорий Иванович.

— С объединительного съезда, — сказал Сеница. — Как раз наши киевские воротились из Стокгольма. Считаю, приняли меня, ученика слесаря, в пополнение рядов партии. Товарищ, мол, Ленин призывает, чтоб в РСДРП побольше рабочих большевиков. И про самого Владимира Ильича Ленина рассказали нам, молодым, тогда.

— Ну, у меня стаж побольше, — улыбнулся москвич. Тут и началось для меня самое интересное.

— Дали мне, — приступил к рассказу Григорий Иванович, — с Обуховского конспиративное поручение к Ленину. Границу перешел в условленном месте с проводником, тот в руку сунул унтер-офицеру пограничной стражи... Привели меня в Женеве на улицу, где квартировал Ленин; название улицы французское да замысловатое, и тамошние большевики-эмигранты окрестили ее просто Давидкой. Так и сказали мне: «Владимир Ильич живет на Давидке». Ну, так... Сажу я у Ленина в квартире и дивлюсь: «Да уж полно — у вождя ли я нашей партии?» Квартирка из самых дешевых, точь-в-точь как у моего тестя в Питере, рабочего с Айваза. И тут и там две комнаты, каждая об одно оконце. Но у тестя квартира все же обставлена — и комод, и буфет, и шкаф платяной, а у Владимира Ильича в комнате кровать, небольшой стол (большому-то не уместиться) да три стула... Вот и весь гарнитур.

Узнав, что Григорий Иванович из Питера, Владимир Ильич стал с интересом расспрашивать его.

— Сам не ожидал, что столько знаю! — повернулся тут рассказчик к Сенице. — Удивительно, как умеет расспрашивать Ильич! Заставит нужного человека всю память, как говорится, под метелку обшарить.

Затем, продолжил Григорий Иванович, в комнату вошла Надежда Константиновна. Владимир Ильич тотчас представил жене гостя, затеял веселый разговор, и питерский рабочий почувствовал себя как бы совсем дома, в родной семье...

Слушаю я беседу двух большевиков, и мне уже не терпится узнать, как выглядит Ленин, — ведь портретов тогда, в 1919 году, не печатали и не рисовали. Москвич только еще собирался ответить, а Сеница — ко мне:

— Если с личности, то погляди на Григория Ивановича: борода у него, как у Ленина, клинышком. Волос на голове побольше, чем у Владимира Ильича, но дело ведь не в волосах...

— Правильно, — засмеявшись, подхватил москвич. И продолжал рассказ о Женеве тысяча девятьсот четвертого года: — Когда Надежда Константиновна здоровалась со мной, она переложила из правой руки в левую пачку заготовленных писем. Я понял, что она к Ильичу по делу. Куда деваться?.. Но тут поманила меня пожилая женщина, очень приветливая. Оказалось, это мать Крупской — Елизавета Васильевна. Старушка пригласила меня посмотреть кухню и принялась рассказывать

о хлопотах по хозяйству, какие выпадают на ее долю. И все это весело, с русскими и французскими присказками.

Потом Григория Ивановича позвал Ленин. Письма уже были запечатаны.

— А для обуховцев, — и Ленин вручил ему один из пакетов, — лично вам. Не попадитесь на границе!

Довелось Григорию Ивановичу пообедать в семье Ленина — не смог отказаться.

— Вот где я чуть не влопался... Срам вспомнить! Сидим, обедаем. На столе картошечка, зелень всякая, мясного или рыбного не заметил. Ничего сытного. Подумал: «Видать, по-заграничному так надо — сперва закуска к обеду». Но гляжу: Владимир Ильич снимает салфетку — была заправлена за жилет — и благодарит Елизавету Васильевну. Все встают, а я сижу, жду обеда. «Мало ли, — думаю, — зачем встали, меня не касается». Елизавета Васильевна наклонилась ко мне — еще сказать ничего не успела, по глазам понял, что обед кончен. Я вскочил, чуть стул не опрокинул.

Синица хохотал. А Григорий Иванович повернулся ко мне:

— Ивану Родионовичу не стану объяснять, сам знает, а вам, студенту, скажу, что такое обед для рабочего. Изрядная миска жирных щей, чтобы ложка торчком стояла. Выхлебаешь щи, а на дне мясо — и уж никак не меньше фунта. Иначе и обед не обед.

Синица перестал смеяться. Призадумался, покачал головой.

— Выходит, одна деликатность на столе... Да как же он мог жить, Владимир Ильич, с такой еды?

— И жил, — сказал наш собеседник, — и работал, не щадя себя. Ведь раздор был в партии. Сумел поднять партию на Третий съезд, где меньшевикам, как известно, дали по шапке...

Помолчав, рассказчик полуприкрыл рот ладонью:

— Только по секрету. От Ленина, голодный, я махнул к Лепешинским. Там, в столовой, сел среди политэмигрантов и поел досыта.

Слушаю я москвича — и вдруг в рассказе знакомая по Перми фамилия: Фотиева! Лидия Александровна, которую я мальчишкой запомнил как барышню в шляпе и лентах, оказалась в Женеве у Ленина... Григорий Иванович увидел Фотиеву за пианино, там же, в столовой Лепешинских, которая вечерами превращалась в партийный клуб. Молодая, скромно причесанная девушка, она завладела вниманием слушателей: так свободно, смело, вся отдаваясь музыке, играла она.

— Еще Бетховена, если не устали... — прозвучал в тишине сдержанный голос Владимира Ильича.

Музыкальный вечер продолжался до глубокой ночи.

Григорий Иванович в перерыве полюбопытствовал у товарищей, кто эта артистка и откуда.

— Наш партийный товарищ, — ответили ему. — Жила в Перми, училась в Петербурге, в консерватории, имела отличия. Но музыкальной карьерой не соблазнилась, ушла в революцию. Здесь, в Женеве, Владимир Ильич ее придержал. Девушка помогает Надежде Константиновне по «Почтовому ящику», но, видать, вернется в Россию на нелегальную работу.

«А я знал Фотиеву, — едва не вырвалось у меня, — еще до Женевы!» И хорошо, что не вырвалось. Григорий Иванович и Синица, конечно, заинтересовались бы моим знакомством с известной революционеркой, а знакомства-то ведь и не было. Мальчишкой, постеснявшись, даже лица ее не увидел. Глупо об этом упоминать... А вот повидаться с самой Лидией Александровной было бы интересно. Но ведь она в Москве — секретарь Совнаркома, работает с Лениным... Что ей до меня?

Никогда я не писал стихов. А тут Первое мая... В укоме партии разработали программу праздника. Ведь это — первая в Проскурове за все годы существования города легальная маевка.

Мне было поручено вывести на праздник единственный в городе легковой автомобиль, собранный из остатков себе подобных. Вспомнился «санбим» из «английского королевства», на котором я, прощаясь с Питером, надушенный, позванивая серебряными шпорами, катал по городу девушку, картинно соря деньгами... Смешной какой и глупый... Неужели таким был?

И, накачивая у рыдвана шины, я потешался над своим недавним прошлым. Ведь я теперь — другой человек. Даже внешность иная. Усы кренделем, как у Синицы, меня не соблазнили, а бородку я отпустил.

Пока я готовил рыдван к поездке, в него уже повлезали военкоматские девушки, шумные, веселые. На каждой праздничная ярко вышитая блузка, монисто, венок из полевых цветов. Появились среди девчат и парни, сиречь парубки. Посчитал я пассажиров: «Э, братцы, это слишком. Машина не потянет!» Но шофер лишь махнул рукой — мол, пропадать так пропадать — и захлопнулся в кабине.

После нескольких толчков рыдван раскачался, рванул с места и, стреляя дымом и вонью, покотился по городу. Он и сам был нарядный — густо убранный зеленью, с красным полотнищем по бортам, с плакатами, на которых горели лозунги дня. Мальчишки встретили появление машины криками «ура» и визгом (предел восхищения у детей, когда человеческая речь уже бессильна).

Я схватил рупор, чтобы призвать гуляющих построиться в ряды и шествовать на площадь для митинга. Но призывы мои, казавшиеся мне громopodobными, пропадали в гомоне толпы. А девчатам уже не терпелось «пустить голубя». Это выражение родилось накануне, когда я собрал помощниц в кладовке. Газеты уговорились раздавать всем с борта машины, а листовки подкидывать в воздух, чтобы, взмыв над головами, они подальше разлетались. Тут и обнаружилась выдумщица. Схватила листовку, мигом в ее бойких пальцах образовался бумажный голубь, даже с крылышками; еще миг — и птичка выпорхнула в открытое окно.

Подружки захлопали в ладоши:

— Умныця — хвályть вся вулыця!

Листовки заинтересовали публику. Только и слышалось:

— Квытквив, квытквив... Ще квытквив!

Майских листовок из центра было получено маловато, и в укоме партии разрешили пополнить «голубиную стаю» листками местного изготовления. Пошел я в типографию договариваться, гляжу: уже сочинители в очереди к наборщику и к тискальному станку. Неожиданно для себя начинаю диктовать экспромты вроде: «Миновали черные дни — наступили дни радости! Нет больше господ — есть товарищи!». Унес я из типографии кипу листовок с собственными текстами.

Понимал: никакие это не стихи. Но душа пела — и я, как сумел, это выразил...

Деятельность моего культпросветкабинета быстро расширялась. Приезжали из центра (из Москвы, Киева) докладчики, лекторы, бригады артистов. А ведь все это хлопоты, и немалые: надо было позаботиться, чтобы и доклады, и спектакли собирали публику, проходили в удобных помещениях, которыми Проскуров не богат. Крутился целыми днями, но когда работа нравится — разве устанешь?

Вскоре после того, как московский ревизор уехал, позвал меня к себе Синица.

— Садись, только нос не задирай. Григорий Иванович присмотрелся

к тебе и порекомендовал на работу покрупнее. Вакантное у меня место помощника по политической части... Потянешь?

Мне жарко стало — такая неожиданность. Но жар приятный. Только странно — я же беспартийный...

Но товарищ Синица объявил без объяснений:

— Согласовано в уюме партии. Возражений от тебя не слышу, отдаю приказ по военкомату.

Отпраздновав в Проскурове Первое мая, располагали мы пожить мирно, уютно. Но враг не дремал: выброшенные с Украины петлюровцы были собраны империалистами, переобучены, заново вооружены и для стойкости пополнены солдатами-галичанами, вышколенными еще австрийскими капралами...

Противостоять нашествию петлюровцев Проскуров сил не имел. Началась спешная эвакуация советских учреждений. Получил вагон и военкомат. Недолгим было наше с товарищем Синицей знакомство, а как расставаться — едва расстались... Оба понимали, что в этот грозный час место мое, бывшего офицера, в строю Красной Армии. Но лишь станционный колокол, дав эшелону отправление, разлучил нас.

Гляжу, здесь же, на станции, бронепоезд. Видал я пушки, но таких стальных гигантов, такой грозной во всем облике орудия устремленности против врага встречать не доводилось. Стою восхищенный — глаза не оторвать. Слонявшиеся на перроне железнодорожники, видя во мне красноармейца, то один, то другой просвещали меня. Оказалось, это — шестидюймовая гаубица. Весу в ней чуть ли не триста пудов, снаряд — два с половиной пуда. И о себе поведали рабочие: они из депо Гречаны, что близ Проскурова. Похвалились, что бронепоезд «зроблен» за одну ночь, — и только тут, оторвав взгляд от гаубицы, я увидел, что передо мной бронепоезд только по названию. Под гаубицей всего лишь четырехосный вагон для перевозки угля — железные полуборта его и пуля пронзит. К вагону притулился грудью паровозик ОВ («овечка»), и лишь за паровозом — бронированный вагон с амбразурами для пулеметов. Впереди и позади состава — платформы с рельсами, шпалами и инструментом на случай починки пути.

Один из деповских рабочих жарко дохнул на меня:

— А вы часом не артиллерист?

Оказалось, из гаубицы некому и стрелять... Озадаченный, я не знал, чем помочь людям. Смекаю: «А ведь на бронепоезде и подрывнику дело найдется». И вот я уже за городом, на огнескладе. Набираю в мешок свой боезапас. Нравится мне динамит — красив подлец: будто янтарь или загустевшее желе. Хрустящая конфетная обертка — умел фабрикант Нобель раззадорить потребителя. Идет в нашем деле и пироксилин, идет тол — вещества в работе менее опасные, но уважающий себя подрывник никогда не откажется и от динамита.

Нагрузился я взрывчаткой, возвращаюсь, а паровоз уже мурлычет, как закипающий самовар, и над трубой шапочка дыма. Вовремя вернулся. Только бы влезть в пультман, но внутренний голос предостерег: «А ведь на тебе клятва! Не ты ли вычеркнул из памяти свое офицерство, поклялся больше не братья за оружие — никогда, ни при каких обстоятельствах?»

Взволнованный, я почувствовал потребность разобраться в себе. Опустил мешок на землю. «Что же, не вступать на бронепоезд?» От одной этой мысли все во мне взбунтовалось. Перед кем же я клятвопреступник — перед богом, тем самым богом, который когда-то лишил меня друга детства? Умница, добрый и честный Юрка Василенко был расплюсчен в тамбуре вагона. При крушении поезда никто не пострадал, а Юрку в четырнадцать лет схоронили. Старушки бормотали:

«Божье наказание». А за что? Я требовал от бога ответа, поносил его страшными словами, жмурился, готовый к тому, что он разразит меня на месте, и злорадствовал, что богохульство сходит мне с рук. А больше ревел то в одиночку, то в обнимку с матерью Юрки...

Нет у меня бога — только совесть. Большевики приняли меня в свою среду. «Товарищ», — сказал мне, бывшему офицеру, рабочий киевского «Арсенала», и я был потрясен доверием. Грудь моя, как никогда, распахнулась для добрых дел...

Стою возле пульмана, размышляю. Беспощадно, будто в руках нож анатома, вонзаю и вонзаю в себя мысль, чтобы проверить, не гнездится ли где-нибудь в закоулках существа моего сомнение: идти или не идти на бронепоезд. «Готов ли, — допрашиваю себя, — взять оружие и воевать? Победить или погибнуть, жизнь отдать за знамя Октября?»

Замерев, прислушиваюсь к себе: если не тверд в намерении — честнее отойти прочь... Но в душе начинает звучать величаво-торжественная музыка, и узнаю я в ней услышанный от большевиков гимн будущей жизни на земле... Подхватываю мешок со взрывчаткой — и я уже в пульмане.

Мог ли я думать, что на тесной площадке неустроенного бронепоезда откроется мне истинное счастье?.. Но путь к познанию счастья не усыпан розами. Об этом пути — сейчас мой рассказ.

У железнодорожников в пульмане, гляжу, гость: почтенного возраста бородач в расшитой украинскими узорами, но выношенной до дыр домотканой рубашке, в соломенной с широкими полями шляпе («брыль» по-здешнему), в обшарпанных, сбившихся в гармошку портках и в галошах на босу ногу. Живописный дядька этот стоял, облокотившись на массивное колесо гаубицы. Именно так, подумалось мне, поставил бы его перед аппаратом провинциальный фотограф. К месту и глиняная с бисерными подвесками трубка во рту.

Каким-то случаем крестьянин этот попал на бронепоезд, назвался артиллеристом, и деповские шумно, с радостными восклицаниями устремились к нему. Заглядывали в глаза, ловили его руки, чтобы пожать; пошлепывая тут и там по орудию, принялись допытываться: «А это что?.. А это к чему относится?..»

— Не трывай гармату, — только и ответил бородач. Все с почтительным видом попятнулись, а тот, попыхивая трубкой, продолжал стоять у колеса, будто и в самом деле ожидал, что вот-вот щелкнет аппарат фотографа и увековечит его на бронепоезде.

Внезапно в пульмане появился Богуш, начальник милиции. Мы сдержанно раскланялись. В городе этот молодой человек был известен по преимуществу как заливчатый танцор, партнер за карточным столом, да и выпить не дурак, короче, любитель пожить в свое удовольствие. Встречались мы с ним по службе, но как человек он не вызывал во мне интереса.

Явился и вдруг объявляет, что он назначен командиром бронепоезда. Гляжу, Богуш и в самом деле в новой экипировке — бинокль, полевая сумка, болотные сапоги. Тут же вспомнилось, что состоял он в военкомате на учете как артиллерийский поручик.

Дает Богуш людям распоряжения, а на меня косится. Не вытерпел, отозвал в сторону и раздраженно вполголоса: «Помощник городского военкома по политической части... Чему обязан вашим присутствием? Это что же — мне недоверие?» Но от моего ответа сразу повеселел:

— Ах, рядовым красноармейцем? Своею охотой? Очень патристично, очень. — А узнав, что я со взрывчаткой, пожурил: «Здесь же артиллерийская установка — как можно!» — и спровадил меня в задний бронированный вагон.

Наконец бронепоезд двинулся навстречу противнику. Гаубица открыла стрельбу, и стальной вагон, где я, тут же превратился как бы в барабан. От каждого выстрела вагон гудит и содрогается, словно не игровыми палочками постукивают по этому барабану, а грохают двухпудовыми кувалдами. Но пулеметчикам хоть бы что: раскинув по полу ноги, они затаились возле своих «максимов», а у меня одно на уме: «Только бы не оглохнуть, только бы не оглохнуть». Мешок с динамитом заталкиваю подальше в угол и накрываю шинелью, тут же, впрочем, поняв, что в этой предосторожности никакого смысла.

Когда бронепоезд через час-полтора вышел из боя, Богуша в пульмане не оказалось. Железнодорожники, растерянные, вздыхали: «Ранило его, пересел в санитарную фуру». Позже стало известно, что наши санитары Богушу не подбирали, а вслед за этим удалось установить: поручик переметнулся к петлюровцам... Я был эшеломлен. Острый стыд за человека — ведь он моего круга — опалил меня. Какой же это подлец, какое ничтожество!

Позвали меня в будку стрелочника. Оказалось — пункт полевой связи. Беру из рук красноармейца трубку и называю себя. Слышу голос — говорят, а я не понимаю, нелепица какая-то. Прошу повторить. Нет, не ослышался — это комбриг подоспевшей к Проскурову бригады приказывает принять командование бронепоездом.

— Да я же, — кричу, — сапер, в артиллерии ничего не смыслю... Вы путаете меня с кем-то!

Но голос был жестким. В трубке отбой. Торжествует военная дисциплина.

Возвратился я в пульман, а не опомниться. Железнодорожники мечутся по вагону, крики, ругань — узнали и здесь об измене Богуша. Спокоен только один, новый для меня человек — матрос. На бескозырке чернильное пятно — вытравлена в названии корабля буква «ять» как отмененная в советской азбуке. Явился матрос с угощением: выставил команде корзину моченых яблок. Покусывал сам румяньенкое да посмеивался, дразня негодующих железнодорожников:

— Салажата вы, салажата... Кому поверили... Да мы на Черном море — эту гниль за борт! А кто из офицеров еще небо коптит — предатели революции, все до одного!

«Рано объявляться», — предостерег я себя, а что делать — не соображаю.

Гляжу — собирают подписи. За отсутствием чистой бумаги пустили по рукам телеграфный бланк.

— Тебя ставим командиром, Иов Иович! — объявили бородачу.

Голубой бланк все ближе ко мне, все ближе, а я внутренне все сжимаюсь, все сжимаюсь... Спасибо, матрос задержал:

— Почекайте, яблоко доем.

Стрельнул огрызком за борт, подкрутил рыжие усики — и только тут заглянул в подписной лист:

— Так-ак... Иов... По священному писанию в утробе кита побывал, да чудесно спасся... А фамилия так и не назначена ему?

Железнодорожники спохватились — и к бородачу. Тот степенно:

— Фамилие мое Малюга.

Сунулись к матросу восполнить в бумаге пробел, а он:

— Почекайте, хлопцы, это еще не все. А Малюга — грамотный? — И матрос, иронически сощурившись, оглядел бородачу с головы до ног: — Ясновельможный пан, если судить по штанам.

— Я — пан?! — вскричал бородач и, засучивая рукава, двинулся на матроса, тут же отшвырнув с ног галоши.

Быть бы драке, но матрос мгновенно схватил корзину с яблоками, выставил ее перед собой, и бородач, не рассчитав удара, попал кулаком по корзине. Яблоки рассыпались, и бородач в замешательстве остановился. Лицо его плаксиво сморщилось, и он принялся попрекать матроса. Гневной украинской его речи я не понял, лишь по отдельным словам догадался, что его, незаможного селянина, немецкие каратели ограбили, хату спалили, сам он бежал в лес.

— Не пан я, а партизан! — твердил бородач, топя босыми ногами. — Германца гнал с Украины, а зараз камень рушу по каменоломням. — И он вывернул наружу заскорузлые ладони. — Бач, чи таки у пана?

Матрос с виноватой улыбкой обнял бородача и что-то наговаривал ему на ухо, пока тот не успокоился. Затем спросил артиллериста про службу. Тот назвал Порт-Артур.

Матрос усмехнулся:

— Так это когда было! При царе Горохе да при царице Евдохе!

Каменотес смущенно затеребил бороду:

— Трохи и на германской...

— Да, небогато... — И матрос помолчал, раздумывая. — А скажи, товарищ, честно, как сам считаешь: годишься ли ты в командиры бронепоезда?

Бородач не ответил, а занялся своей трубкой: заправил свежим табаком, высек кресалом огня, помахал фитилем, чтобы раздуть искру, закурил и — скрылся в облаке дыма.

Железнодорожники забеспокоились. Попытки матроса поколебали их уверенность в старом артиллеристе. Забыли и про подписной лист. Но нашлись и заступники.

— Не дело это, моряк. Пришел, когда мы уже в бою побывали, а человека поносишь... — И принялись расписывать, как Малюга управлялся с орудием: — Дернет за шнур — гаубица козлом взбрыкнет. В пульмане весу поболее тысячи пудов — и тот ходуном ходит!..

— Понятно, — кивал матрос, поглядывая на гаубицу, — у этакого калибра отдача большая. А попадания-то были, куда надо? — Эти слова он обратил уже к бородачу. А тот вместо ответа запальчиво:

— Моряка надо ставить командиром! Как твое фамилие?

— Не, не, — отмахнулся матрос, — это не по мне. На эсминце сигнальщиком стоял. Винтовку дадите — вот и сгожусь на этом сухопутном корабле. А звать меня Матвей Федорчук.

Наступила тишина — и слышу я цокот копыт. Гляжу — всадник правит сюда. «Ко мне. Вот не вовремя!» И я перемахнул через борт всаднику навстречу. Так и есть — пакет из штаба бригады. В нем две полоски бумаги. Одна, с печатью, удостоверяет, что я командир бронепоезда. Другая — оперативная. «В сумерки, — сказано в ней, — привести в негодность железнодорожные устройства, отойти от станции на расстояние гаубичного выстрела». Прячу листки и возвращаюсь в пульман с мучительной думой: «Как же объявиться, как?..»

До этого матрос не останавливал на мне внимания, хотя я и выделялся среди деповских красноармейской одеждой. А сейчас так и кинулся ко мне:

— Из штаба пакет? Чего там?

— Ерунда, — сказал я с напускным пренебрежением, — накладная е огнесклада — сколько чего мне выдано. Я же на бронепоезде подрывник.

Остаток дня простояли без дела. Кто дремал, кто в картишки перекидывался. Малюга храпел на чехлах от орудия. Я засветло приготовил подрывные заряды и уложил их в корзину из-под яблок. Матрос не возражал.

— Бери, не жалко.

Но мне был нужен он сам, и, когда стемнело, я позвал его с собой.

— От скуки разве... — Матрос зевнул, взял винтовку, и мы пошли. Машинист тем временем оттянул бронепоезд со станции.

Рельсы в темноте угадывались по синим бликам от звезд. Вот и последняя стрелка. Грохот взрывов сразу привлекает внимание, настояраживает врага. Поэтому приходится действовать быстро. Крестовина стрелочного перевода — литая сталь, а от заряда динамита разнесло ее так, что только голое место дымилось. Кидаюсь взрывать стрелки уже на самой станции. Всякий раз, поджигая папиросой хвостик бикфордова шнура, кричу матросу: «Падай!» — сам валюсь рядом и прижимаю к земле и его голову, и свою. Следует взрыв, и со шмелиным гудом разлетаются куски рельсов.

— Здорово! — в веселом возбуждении удивлялся матрос. — Да у тебя все на секунды рассчитано! И ведь на часы не взглянешь!

— На часы — некогда, — сказал я, — а расчет простой: горение шнура — сантиметр в секунду. Вот мысленно и отмеряешь двузначным счетом: «Двадцать одна, двадцать две, двадцать три...»

— А если ошибешься? Ведь и пожалеть себя не успеешь. Вот это работа — не на всякого!

Знакомство с матросом — то, что мне нужно, — состоялось. Пора и к делу, и я, набравшись храбрости, предъявил ему удостоверение со штабной печатью. Посветил электрическим фонариком. «Командир бро-бронепоезда...» — читая, едва выговорил Федорчук и с удивлением поднял на меня глаза. «Смелее, — приказал я себе, — раскрываться, так до конца!»

— Да, — подтвердил я, — перед вами командир бронепоезда. Но должен добавить: сам я из бывших офицеров. Один офицер сбежал — другой перед вами!

Тот и рот разинул — столбик с человеком. А я откинул клапан кобуры, выхватил свой наган и матросу: «Держите! И чтоб глаз с меня не спускать, слышите? При малейшем подозрении, что намерен изменить, стреляйте — наповал!»

Матрос, ошеломленный, ничего не понимая (наваждение какое-то, офицер за офицером...), положил передо мной на землю наган и поспешил прочь.

Я пошел к бронепоезду. Уже я у пульмана, но никто меня не окликнул, часовые не выставлены. «Эх, вояки, вояки, — огорчился я, — бери вас голыми руками, вместе с гаубицей!»

Надтреснутый голос бородача в пульмане заставил меня прислушаться.

— Ты где, моряк?

— Ну?... — отозвался матрос.

— Людей налякалы, а як зробылы?

Матрос не упустил случая «потравить»:

— А добре, дядя, зробили. Стрелки, рельсы — все в яичницу!

Смех, возгласы удивления... А я жду: должен же матрос что-то сказать обо мне... Видать, мнется. Наконец выговорил:

— Мастеровитый человек делал дело. Сам из образованных. Считаю, потянет и на командира бронепоезда.

«Молодец, — восторжествовал я, — умница!» Тут же отложил свое намерение предстать перед командой и устремился к паровозу. Пришла пора расстаться с Проскуровом: «Прощай, друг-городок, не в добрый час мы покидаем тебя...» Седой машинист в фуражке с серебряной каймой выслушал мое распоряжение, деловито кивнул и повел бронепоезд за семафор. Я проехал на подножке паровоза, затем кликнул из пульмана матроса, и мы, теперь уже поделив работу, принялись взрывать оставшиеся стрелки.

Взошла луна, осветила отошедший в поле бронепоезд. Гляжу, железнодорожники оседлали борта пульмана, а в толпе у гаубицы по белой рубашке узнаю Малюгу. Любопытствует, что такое подрывник, как действует, а мне и на руку: поглядите, мол, поглядите, каков смельчак ваш командир! И уж я постарался: лихо укорачивал и без того в обрез рассчитанные хвостики бикфордова шнура. Это делало зрелище особенно эффектным: издали, с бронепоезда, могло показаться, будто пламя взрыва я пускаю чуть ли не из рук, как птицу.

Возвращался с матросом в пульман оживленные, довольные друг другом. Первая часть приказа комбрига — привести в негодность железнодорожные устройства — выполнена. Оставалась вторая: «Отойти на расстояние гаубичного выстрела». Но что это за расстояние, я и понятия не имел. И тут меня осенило: «Положусь на Малюгу — очень будет кстати оказать старому артиллеристу уважение. Пусть прикажет машинисту».

Не намеревался я оповещать людей о своей неосведомленности в артиллерии. К чему? Только встревожишь команду во вред делу. Но Малюга хитрый мужичок: вопрос, другой — и выведал, что в устройстве орудия я профан... Как он возненавидел меня! Выплыла наружу затаенная его уверенность в том, что именно ему нужно быть командиром бронепоезда. А тут круть-верть — какой-то ловкач переступает дорогу. Чего же, мол, стоит такой командир, кроме презрения!

Я понимал душевное состояние Малюги. Но нельзя же терпеть разброд на бронепоезде: только сплоченная команда боеспособна. А опереться не на кого. Железнодорожники открыто сочувствовали обиженному артиллеристу. На матроса? Но Федорчук и сам забеспокоился, что я, пришедший командовать бронепоездом, не артиллерист. Заподозрил неладное: «Бывший офицер... А вдруг и этот контра?» И тайком от меня побывал в штабе бригады. Явился товарищ из политотдела. Познакомились. Мне было приятно услышать, что в политотделе бригады знают меня и ценят по прошлой моей работе в военкомате и готовы всячески помочь освоиться на бронепоезде.

Я собрал команду. Политотделец, как принято, сделал доклад «о текущем моменте» и, говоря о накале гражданской войны, привел набатные слова Демьяна Бедного: «Товарищи, мы в огненном кольце!» Чтобы подбодрить встревожившихся слушателей, сказал, что в Красную Армию вступает много добровольцев, что рабочие на заводах день и ночь куют оружие. В заключение политотделец, указав на меня, объявил, что командовать бронепоездом поставлен проверенный и знающий военное дело товарищ.

Докладчику, как водится, похлопали. Хорошо выступил матрос — в глазах его на этот раз я читал доверие ко мне. Он поддержал рекомендацию политотдела. Словно спохватившись, что с первой встречи не узнали меня, оживленно заговорили двое железнодорожников: вспомнили, что еще будучи экспедитором в военкомате я выдавал им и для депо, и для станции газеты и литературу, за что они и посейчас мне благодарны... Малюга на собрании был, но к происходившему не проявил ни малейшего интереса. Я рассказал товарищу из политотдела о крупном между нами разногласии, и тот понял это так, что я хочу получить другого артиллериста. Но я решительно возразил против замены: «Не трогайте человека, это крестьянин, партизан, заслуживает уважения, и грош мне цена как командиру, если не сумею установить с ним правильные отношения».

Я понимал, что ни листок со штабной печатью, ни рекомендация политотдела еще не создали из меня командира. Пока не услышу

голоса признания от вольницы, в среду которой попал, я командир лишь по названию, а по существу — ничто.

Власть царского офицера держалась на уставах и свирепых военных законах. Сам он мог быть бездельником и даже негодяем, но посмей только солдат слово сказать против офицера... Вспомнилось мне, как пьяница ротный расправился с Ибрагимом; отличный плотник и образцовый солдат погиб ни за что... О, революционный командир, как я представлял себе, — это совсем, совсем другое! Это — человек дела, любимец красноармейцев и вместе с тем непререкаемый для них авторитет! Да, нелегкая передо мной встала задача... Так я размышлял, лежа в пульмане среди спящих людей команды. От железного пола, на который я смог только шинель постелить, ныли бока; со сна на меня навалились — кто головой, кто ногой, и все-таки мне с этими людьми было уютно, душе уютно... Темно-бархатное южное небо полно крупных звезд, будто светляки мне подмигивали из неведомых далей. Эх, сгрести бы их в пригоршню да кинуть вперед, чтоб посветили моим думам... В самом деле, с чего начать?

Наутро встал — и готово решение: избу срубить для гаубицы. «Есть, сварганим!» — подхватил почин матрос. Определился он к гаубице правильным — хвост лафета заводить вправо-влево, помогая Малюге поймать цель на мушку. Слов нет, работа на богатыря, но ведь не все же время бронепоезд в бою. А томиться без дела даже на отдыхе согласен не каждый. Короче, Федорчук мигом из железнодорожников и пулеметчиков сколотил строительную команду. Я набросал чертежи. В пульмане вдоль железных бортов поставили из сосновых плах внутренние стенки. Пространство между бортами и стенками завалили мешками с песком. Крышу срубили бревенчатую на два ската. Вышел я поглядеть снаружи на избу — и залюбовался гаубицей: будто красавица в оконце... Теперь ни пули, ни осколки снарядов ни ей, ни людям у орудия не страшны — повеселее стало воевать. Прибрали новое помещение, вымыли деревянный пол, каждый и в собственных вещах навел порядок.

Между тем хлопот под командирскую руку набиралось: бойцы должны быть сыты, обуты, одеты по форме, гаубица и пулеметы бесперебойно с боеприпасами, паровоз своевременно заправлен... На все это меня хватало. Но как превратить толпу в воинскую часть — оставалось задачей. А в мыслях заколдованный круг: чтобы люди поверили в меня, исполняли бы мои приказы, я обязан дело знать. А сунься-ка в бою командовать, ничего не смысля в артиллерии!

Короче сказать — в бою я зритель. Мучительное состояние! Легче, казалось мне, быть распятым — там хоть гвоздями прибит, оправдание, что двинуться не можешь, а тут — бездельник среди бойцов. Пробовал помогать людям: то ящик со снарядами вскроешь, то выбрасываемые гаубицей медные гильзы-кастрюли примешься откатывать. Но черт побери — я же не подручный в конце концов и не уборщик, а командир бронепоезда! И не выдержал я командирства по названию...

Конный доставил распоряжение комбрига: «Обстрелять станцию Проскуров». Мотивировка: «На станции замечены поезда». Местность, где держал позицию бронепоезд, холмистая, для противника мы не заметны, но и нам не видать станцию. Но Малюгу это не смутило. Пошелтался с прицельным приспособлением на гаубице — и давай стрелять. Раз бухнуло орудие, два бухнуло, три бухнуло. Мощный ствол резко откатывается, и похоже, будто гаубица, пугаясь ошеломляющего своего рева, всякий раз вжимает голову в плечи. А Малюга знай дергает за шнур, сплетенный из желтой кожи в елочку. Делает он это наотмашь, картинно приседая на одну ногу, явно, чтобы им любовались.

Стою беспомощный, и нарастает во мне возмущение бездумной тратой снарядов. Всякий раз, когда пополняет наши припасы вагон-

летучка, интенданты предупреждают меня, что ни снарядов, ни зарядов крупных калибров сейчас не вырабатывают — расходует и добываем уже запасы старых арсеналов. Только и слышишь: «Пожалуйста, поэкономнее в стрельбе».

На шестом снаряде я не выдержал, подошел к Малюге:

— Вслепую стреляете, желто-блакитным на потеху! — Да и сорвись у меня с языка: — Наблюдательный пункт нужен!

Бородач медленно ко мне повернулся. Был он теперь в красноармейском. Ткнул пальцем под козырек фуражки (мол, хватит тебе чести и в один перст), и лицо его расплылось в злорадной усмешке:

— А де ж у нас наблюдатель?

«Дерзну!...» — решил я и где ползком, где вперебежку стал пробираться вперед, забирая в сторону. И вот я уже на высоком дереве, сел, замаскировавшись в листве. Внизу — красноармеец с телефонным аппаратом; на другом конце провода, возле пульмана, готов принимать мои команды матрос. Навожу на станцию бинокль. Конечно, я не сомневался, что взорванные нами стрелки уже починены, но увидел то, чего никак не ожидал увидеть. Серое чудовище — ни окон, ни дверей, не сразу иобразишь, что это поезд. Наконец разглядел: стальной панцирь по самые рельсы, четыре орудия в башнях... Крепость на колесах! Невольно сравнил я эту заграничную черепаху с нашим тятляп бронепоездом... Страшен противник, но подбадриваю себя: «А ведь в незваную гостью достаточно вклеить гаубичный снаряд — один-единственный! — и черепаха лапки кверху. Но требуется точный артиллерийский расчет...» О, как казнил я в эту минуту из-за своей беспомощности! Но стрелять надо, приказ. Обрадовался, что при мне бинокль и компас, и следом в памяти воскресла и студенческая практика, и училищная глазомерная съемка в поле. Строю на планшете треугольник с вершинами: А — черепаха, Б — наш бронепоезд, В — я на дереве... Какие я подавал команды — срам, уши горели от стыда... Черепаха спокойно удалилась, но пути на станции я все-таки измолотил. Рельсы вздыбились штопором, и на них повисли вырванные из земли шпалы — будто ребра какого-нибудь динозавра.

Возвращаю в пульман. Встречают молчанием, но люди, чувствую, изнывают от любопытства: «Как, мол, оно там получилось?» А я будто и не замечаю никого и ничего. Говорю телефонисту:

— Отправляйтесь на пункт связи. — И составляю телефонограмму, выговаривая каждое слово так, чтобы все слышали: «Комбригу. Приказание выполнено. Станция обстреляна и вновь приведена в негодность. Обнаружен у врага бронированный поезд с четырьмя башенными орудиями, калибр не установлен».

Вилка... Простая вещь, но как мне ее не хватало... Говорю не о прибое к обеду, а о важном законе артиллерийской стрельбы. Ведь только подумать: зажмешь в вилку и — бац — приканчиваешь стальную черепаху с одного снаряда!.. Но это мечта. А события пошли так. Еще сидя на дереве, я понял, что между нашим избяным поездом и крепостью на колесах неизбежна схватка лоб в лоб. И все мысли к одному: что-то надо предпринять, надо действовать, действовать, пока не поздно!

Матрос опять мне: «Сварганим!» И кинулись ребята обивать железом бревенчатую крышу над пульманом, чтобы в бою не загорелась. Тешились самообманом; ведь понимали: кровельное железо не преграда снарядам. «Федорчук, — сказал я, — побудете на бронепоезде за командира». И поспешил на полевую батарею бригады. «Почитать бы, — думаю, — артиллерийские уставы, наставления...» Но куда там — пришел, а батарейцы сами без литературы. Довольствуются рукопис-

ным справочником, его составил командир батареи по памяти в школьной тетрадке. Дали мне тетрадку — чернила нынешние, бледные, почерк плохо разбираю, формулы непонятные, да и зачитано все до дыр... Отступился я от тетрадки, а с батареей не ухажу, упрямымствую, жду помощи. Ведь не в старой же я армии, где никому ни до кого дела нет, а среди товарищей! Кончилось тем, что командир батареи худобно, но просветил меня в артиллерии, а понятие о вилке я воспринял с восторгом. Вот чего не хватало мне, когда я взобрался на дерево наблюдателем: умения рассчитывать огонь! Сейчас иное, и я решаю показаться черепахе на глаза. Надо это, надо, а то в команде страшатся открытого боя: мол, там четыре орудия, у нас одно — враз и прикончит.

Еще стелется прохватывающий холодком туман, и все мы в пульмане поеживаемся. Не отрываясь, гляжу в бинокль и вдалеке, где рельсы сходятся в точку, начинаю в просветах тумана различать как бы маленький серый комок... Она, черепаха! Будто расступились холмы, открылась степная равнина, мы — два бронепоезда — друг перед другом на прямой. Взблеск выстрела, чуть приметный вдаль, — и накачивается, нарастает вой снаряда... Все замирают — мало радости чувствовать себя мишенью. Но — перелет, рвануло у нас за спиной. «Мимо-о!» — всплеснулось радостью в пульмане. Но я-то уже просвещен: это не промах, а начало пристрелки по нашему бронепоезду. Так и есть: теперь с треском лопнула шрапнель впереди пульмана. Два белых дымка в воздухе — мы в вилке.

Сейчас вражеский артиллерист начнет вилку половинить... Угадал: третья шрапнель — и вилка сузилась вдвое, пора убираться. «Вперед!» — скомандовал я в рупор, и машинист прямо-таки вытолкнул бронепоезд из вилки. Но враг маневра не заметил: расстояние между нами около четырех верст, а сократилось на какие-нибудь сто сажен. Артиллерист еще раз споловинил вилку и, уверенный, что мы пойманы, принялся бить залпами из всех четырех орудий... по пустому месту. От фугасных снарядов словно воздух сзади почернел, дым, смрад занесло и в пульман. Люди чихают, кашляют, но в восторге хохочут.

— Вот когда мимо-то! Соображать надо! — зычным голосом перекрыл шум матрос. — А то с пристрелкой спутали, кудаки! — И ко мне: — А, может, хватит волка дразнить? Мы ведь с вилкой только на пробу вышли, ребят подбодрить, а, товарищ командир?

— Завершим маневр и уйдем, — сказал я, — глядите, все идет как по маслу.

И в самом деле: обнаружив промах, вражеский артиллерист принялся строить новую вилку. Я дал ему возможность потрудиться, затем скомандовал: «Назад!» — и поезд опять выскочил из вилки. Черная буря поднялась уже впереди бронепоезда. Залетевшие в пульман осколки снарядов вреда не причинили. К слову сказать, по осколкам Малюга определил, что черепаха вооружена трехдюймовыми орудиями. Это уже полегче. И все-таки четыре против одного, к тому же преимущество трехдюймовок перед гаубицей — скорострельность. На чьей же стороне перевес — решить это может только бой.

— А черепаха-то ушла! — вдруг сказал матрос. — Верьте, ребята, глазу сигнальщика!

Я вскинул бинокль... Верно! Не отважилась идти на сближение с гаубицей. Только дымком, удаляясь, попыхивает на горизонте.

Чувство удовлетворения удавшимся в бою маневром не покидало меня весь день, с ним я и уснул. Но у каждого, кто на фронте, есть в подсознании молоточек. Часовой того не уследит, что уследит этот

инструмент. Стук-стук — и вскакиваешь еще до сигнала тревоги. Однако в этот раз не бдительный молоточек, а разбудил меня матрос — он спал рядом.

— Матвей Иванович, — отозвался я с досадой, — что это вы среди ночи?..

Одолеваемый зевотой, я не сразу проник в смысл жаркого его шепота. Улавливал отдельные слова: «Команда... Разговоры... Только...»

— А почему бы людям и не погудорить? — возразил я и повернулся на другой бок. — Давайте спать, Федорчук.

Но матрос не отступился. Он нащупал в темноте мою руку и принялся ее трясти. Заснешь тут!

— Да о вас разговоры! — шептал матрос. — После вчерашнего. Поддели их на вилку — вот и разглядели в вас командира...

Взволнованный, я сел. Новость-то какая, о ней не шепотом — в полный голос говорить! Но вокруг спящие. Вышли мы из пульмана — и остановились, вступая в вечно прекрасный храм природы. Аромат трав — не надыхаться, неохватное небо, хоромом звезды... И у меня на фуражке звезда — самая мне близкая, самая яркая на свете!

Сели за кюветом, возле телеграфного столба, да и потонули в некошеном разнотравье...

— Бразды правления натягивайте теперь покрепче! — заявил матрос.

«Вон как!» — я еле сдержал улыбку. Впрочем, в дружеском матросском слове даже штамп прозвучал для меня приятно.

Тут же выяснилось, что и на этот раз не обошлось без подписного листа. Каждый член команды подписью удостоверял, что согласен мне, такому-то, во всем подчиняться. Бумага должна стать в моих руках как бы векселем. Ослушался боец, а я ему вексель: «Твоя подпись?» Нетрудно было догадаться, что это затея Федорчука. Перестарался моряк. Не без труда, но уговорил я его этот неуклюжий документ уничтожить и отправил матроса спать.

И вот я наедине с собой... Продолжаю сидеть в траве. Надо многое, многое обдумать... Пала предрассветная роса, день будет хороший. Срываю перышки полыни. Люблю растереть их и понюхать — дух крепкий, бодрящий, а возьмешь полынную зелень на зуб — всего перебернет от горечи. С характером растеньице...

Но какая ночь! Подумать только — на бронепоезде рождается боевое братство... Как же случилось, что я стал нужен людям, что — как выразился матрос — мне вручают «бразды правления»? В самом деле — кто я такой для здешних крестьян, партизанивших против помещиков и иноземных грабителей, для деповских слесарей, чернорабочих на станции, стрелочников?

Глянуть со стороны — явился на бронепоезд бывший офицер, что в нынешней обстановке равнозначно чужаку. А тут еще измена негодяя Богуша... Попытка товарища из политотдела расположить ко мне людей бронепоезда ощутимого результата не дала — ведь и Богуш, всем понятно, прежде чем стать командиром, был проверен в политотделе и в других соответствующих местах.

Итак, я из «бывших», мало того, еще и русак, не умеющий объясняться с людьми. Конфузные вспомнились сцены... Вот одна из них. Работа при гаубице требует людей физически сильных, и я не препятствовал Малюге набрать себе в помощь односельчан. Любо поглядеть, что за парубки пополнили артиллерийскую команду: богатырь к богатырю, каждый к тому же и обстрелянный — повоевал в партизанах. Пришли босиком, полунагие, и праздником для них было, когда матрос каждому выдал обмундирование. Понравились мне ребята, но

всякий раз, когда я пытался с ними заговорить, тарасили на меня глаза, пугаясь, что я рассержусь, что им малопонятна моя русская речь. Обидно, что, оказавшись на Украине, я не усвоил языка народа. В Проскурове, как и в других городах, изъяснялись на русском, а среди селян я не бывал. Вот и потребовался, к стыду моему, на бронепоезде переводчик — прибежал я к помощи матроса. Но в бою — с переводчиком!..

Далее, я не артиллерист. В глазах Малюги — бессовестный ловкач, отнявший должность командира у него, артиллерийского наводчика. Затаил бородач на меня обиду, и не просто ее исчерпать — человек норовистый.

Разглядывая себя со стороны, я для счета пороков клал перед собой камешки. Изрядная образовалась кучка, но — раз! — пнул ногой, и камешков нет, я чист перед людьми! Но ведь так в жизни не бывает... Матрос сослался на чудодействие вилки. Слов нет, маневр удался, и люди имели возможность оценить во мне и самообладание, и верность глаза. Но эта пара черточек еще не делает командиром, тем более в представлении людей настороженных, мне не доверяющих. Нет, нет, жар ночных восторгов матроса был явно перегретым.

Конечно, были и другие случаи, когда я справлялся с задачей. Отважился же руководить стрельбой, не имея понятия, как это делается; но взобрался на дерево, поразмыслил — и выполнил приказ: снаряды легли куда надо. А лихие мои действия с динамитом в руках, когда потребовалось испортить станционные пути, — это же было зрелище, и опять мне на пользу!

Словом, люди постепенно обнаруживают, что я как военный кое-что стою. Но не желаю выглядеть «военспецом»! Военспец в буквальном значении — это бывший офицер, который не бежал от Октябрьской революции, но и не примкнул к ней. К услугам этих сторонних наблюдателей Советская власть вынуждена была прибегать при строительстве Красной Армии. Но разве я таков? В грозный час обострения гражданской войны не мыслил себя иначе, как в боевом строю с народом. Оставил военкомат и без претензий, рядовым бойцом вступил на бронепоезд. И не своей волей сделался командиром. Но если уж командир, то отдавай себя людям — всего, полностью. И отдаю. Отдаю с новым праздничным чувством, которого не ведал, будучи офицером в погонах. Воспитали его во мне большевики в Проскурове.

Дел невпроворот, но «силушка по жилушкам перекачивается», говоря словами сказки, руки тянутся к работе. А жизнь, что ни шаг, озадачивает... Вдруг обнаруживаю, что пришедшие воевать деревенские, в том числе и Малюга, не признают белья. Одно дело — в бою при гаубице, тут пропадешь, не оголившись до пояса. Но раздобытое мною белье вообще не разобрали. «У голытьбы да белье? — усмехнулся на мое недоумение матрос. — Батрачишь на помещика — только и думки, чтобы ребятишки с голоду не ревели. Какое уж тут белье, наготу прикроешь — и ладно...»

— Товарищ Федорчук, говорить об этом надо не ровненьким голосом, а с гневом! — заявил я. — Нищета народа — несчастье, но дважды несчастье, когда она перерастает в косную привычку жить в грязи!

Напустился я на матроса, кажется, с излишней горячностью, но Федорчук меня понял. Решили открыть поход за чистоту и для начала свести всех в «поезд Коллонтай».

Известная большевичка Александра Михайловна Коллонтай для обслуживания армии снарядила поезда, которым красноармейцы тут же присвоили ее имя. В каждом поезде баня, прачечная с протравливанием белья от насекомых, лекционный и зрительный залы, литература, газеты. Вагоны снаружи были пестро разрисованы — плоды буйства формалистов. Сцены изображали богатырей в буденовках, от пин-

ков которых вверх тормашками летели буржуи, попы, колчаки, деникины, пуанкарэ и керзоны вкупе с бывшим царем, который кувыркался прытче всех.

Прежде чем войти в вагон-баню, мы, команда бронепоезда, прошли вдоль состава. Мне было любопытно, как примут футуризм крестьяне, железнодорожные рабочие. Слов одобрения не услышал. Малюга подивился, как это красноармейцы с половинными клинообразными головами могут воевать. А племянник его, верзила, стоящий у гаубицы замковым, по дурусти запустил камнем в стенку вагона: не устоял против того, чтобы убить тифозную вошь. Надо отдать художникам должное: изображение этого омерзительного насекомого размером с борова вызывало у зрителя и содрогание, и потребность тут же кинуться на банный полок.

Побанившись, умиленные ощущением белья на чистом теле, ребята отсидели час в лекционном вагоне на беседе с врачом-гигиенистом. Молодая женщина врач по моей просьбе пострадала тех, кто гнушался белья.

А в заключение перед нами в этом же поезде выступили московские артисты.

Новобранцев, попадавших в царское время в артиллерию, сажали за парты и обучали грамоте. У Малюги от былой солдатской грамотности сохранилось только умение считать: не зная счета, около пушки и делать нечего. Расписывался старый артиллерист не привыкшей к перу рукой, отчего подпись-каракулька всякий раз выглядела по-разному. Матрос, разумеется, был грамотным. Дёповские рабочие читали — и то не все — по складам, но артельно одолевали половину передовой в газете «Беднота». Другую половину приходилось для них дочитывать. Пришедшие на бронепоезд деревенские ребята сказались неграмотными — все, как один. Газеты растаскивали на курево. Но невзначай обнаруживалось, что то один, то другой гудит голосом, разбирая печатное. Непонятная деревенская скрытность...

Обратился я в политотдел, и на бронепоезде стала появляться комсомолка. Самое слово было еще внове, звучало в ушах неожиданно и свежо — и слилось оно в моей памяти с обликом этой девушки, под грохот войны окончившей в Проскурове гимназию, от ножа петлюровских бандитов потерявшей семью, с глазами, в которых испепеляющим огнем загоралась ненависть при упоминании о врагах Советской власти, — но эти же глаза теплились добротой и счастьем, когда она, Манечка Шенкман, садилась заниматься с нашими бойцами. Она не только открыла на бронепоезде школу грамоты, но, добиваясь беглого чтения, сумела приохотить своих учеников к книжке. К ней уже обращались с вопросами, которые не решались задать мне, командиру; в сложных случаях она вопросы записывала, чтобы ответить на следующем занятии. Само ее появление на бронепоезде, аккуратно одетой, в белоснежном воротничке, магически истребляло в вагонах грязь, мусор, множило в команде актив борцов за чистоту и опрятность. Ее слушались, ей внимали, ее любила вся команда.

Малюга, распялив рот с прокуренными зубами, мне улыбнулся. Такого еще не бывало. Я быстро взглянул бородачу в глаза и убедился — улыбка не деланная, глаза засветились чувством приязни.

— Будь ласка, добрый тютюн... — И бородач, приятельски подмигнув мне, вынул кисет, украшенный, как и его фигурная трубка, бисером.

«Еще и табаком угощает, — продолжал я удивляться, — откуда та-

кая перемена в человеке?» Держался почтенный бородач на бронепоезде как чудодей, единолично владевший тайнами и загадками артиллерии; любопытных отвадил соваться к орудию, артиллерийскую прислугу подобрал сам. И вдруг передо мной, на кого обиду затаил, раскрывает кисет. Неужели та же вилка сработала? Видимо, начинает понимать чудодей, что он не единственный на бронепоезде, кто способен распорядиться в артиллерийском бою (о том, что продолжаю брать уроки на батарее, я ему, разумеется, ни гу-гу).

— Благодарю вас, Иов Иович, — сказал я и, проворно свернув из клочка бумаги козью ножку, потянулся за щепоткой крупно нарубленного самосада.

А тут — матрос:

— Стоп, товарищ командир, этак дело не пойдет! — И он возвестил команде: — Раскуривается трубка мира! — Вступив в роль церемониймейстера, матрос сам набил трубку из бисерного кисета, запалил и поддал мне. Затянулся я — и дыхание перехватило, слезы затуманили глаза, до того зверское в кисете зелье.

— Добрый тютюн, — отозвался Малюга на мои слезы. Теперь он и сам курнул трубку. Трижды трубка ходила ко мне и обратно, после чего матрос потребовал, чтобы мы пожали друг другу руки. Выполнили и это, и, когда Малюга, обняв меня, прошелся своей тяжелой дланью каменотеса по моей спине, я сквозь ожог и боль почувствовал: мир восстановлен! А как обрадовались «трубке мира» все до единого бойцы бронепоезда!

Бывает ли, что человек рождается вторично? Могу засвидетельствовать: бывает! На бронепоезде я, двадцатидвухлетний парень, стал новорожденным. Не случись такого со мной, я бы не поверил, что человек способен вместить заряд энергии, достаточный, чтобы сокрушить любого врага, вооружившегося против Страны Советов, не поверил бы, что в человеке неизбывный очаг высоких и прекрасных чувств, дай им только проявиться... Я готов был каждого, как Малюгу, обнять и каждого заслонить собственной грудью в бою. А люди заслоняли меня и порой падали от пуль и осколков, предназначенных мне. Я ограничивал себя во всем: если не хватало еды, не брал в руки ложку; если люди обнашивались (а на бронепоезде одежда и обувь горели на бойцах, иногда в буквальном смысле), вновь добытое обмундирование раздавал команде, сам оставаясь в заплатанном. И от себя и от бойцов я требовал, по обычной человеческой мерке, невозможного — дисциплина у нас утвердилась жесточе, чем требовали статьи известных мне уставов; но, несмотря на тяготы службы, в боях не иссякали задор и веселье.

Крепла вера в победу развевавшегося над бронепоездом красного знамени, и когда мы вкатили-таки гаубичный снаряд в «черепашку», отчего та развалилась на куски, бойцы восприняли это как должное, с великолепным чувством собственного достоинства.

Мне восемьдесят, но свет счастья в духовной моей жизни не иссякает. В лучах этого света сформировался мой характер. Я оптимист, мне радостно и жить, и трудиться, и, конечно, делать добро людям.

Здесь же, на бронепоезде, в боях и невзгодах, я понял наконец девушку, которую помнил с детства. Лидия Александровна Фотиева была счастлива — я в этом убежден. Счастье революционера в борьбе, и никакие силы — ни тюрьмы, ни ссылки, ни каторга — не способны омрачить это счастье.

Окончание следует

Лев Озеров

ПОСЛАНИЕ ГРУЗИНСКИМ ДРУЗЬЯМ

С детских лет душа летала
К вам, к зеленым крутосклонам.
Сакартвело, Сакартвело! —
Сердце пело упоенно.
Славен город Горгасала
В день погожий, темной ночью.
Все с мечтой моей совпало,
Что увидел я воочью.
Только в жизни это лучше,
Только в жизни это краше.
Взглядом обними, послушай
Землю нашу, время наше.
Присосеживаться тошно,
А соседствовать — чудесно.
На духу сказать нам можно
Все, что честно и уместно.
Перекрестны наши взоры,
Наши мысли и просторы —
Не разъединяют горы,
Сводят воедино горы.
Как не верить этой нови,
Не дивиться этой славе!
Доля есть и нашей крови
В Зангезури и Рустави.
Как сегодня не гордиться
В этом предвесеннем звоне!
Есть и наших сил частица
И в Кварели, и в Риони.
И душа поет, как пела,
Взмыв орлинно к поднебесью,
Сакартвело, Сакартвело —
Нескончаемую песню.

ПОДРАЖАНИЕ ОРБЕЛИНИ

Все, что в сердце накопилось, —
в слово вылилось, как есть.
Все, что разуму открылось, —
в слово вылилось, как есть.
Все, что жизнью осветилось, —
в слово вылилось, как есть.
Все, что страстью озарилось, —
в слово вылилось, как есть.

Что задумано — сказалось,
что сказалось, то со мной.
Ты была моей мечтою —
стала ты моей судьбой.
Только я глаза открою —
мир становится тобой.

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

Шеи вытянули олени.
Косы разбросаны по плечам.
Солнце не знает о благостной тени,
Радость не ведает, где печаль.
Линия, словно напев чонгури,
Увлекает меня за собой.
Она начинается там — в лазури,
Она завершается здесь — лозой.
Был в дремоте — меня оживили
Эти краски на полотне.
Седой маэстро Гудиашвили
Прикоснулся кистью ко мне.
И я почувствовал: побежали
По жилам моим соки земли,
И с нескрываемым обожаньем
Смотрел я на горы, что плыли вдали.

ВОСПОМИНАНИЕ О СТАРОМ ГОРОДЕ

— Здесь были Сирачханы! —
Сказал мне дед Симон.
И вдруг благоуханно
Из глубины времен
Повеяло, как будто
В духане были мы
И увидали смутно
Из влажной полутьмы
Лихого запевалу.
Как звать весельчака?
И вот мало-помалу
Сквозь сон издалика
Он вырос — юный резчик
По камню, наш Симон.
Он знал такие вещи,
Так пел чудесно он,
Что трудно было в этом
Согбенном старике
Признать того атлета
С такою в кулаке
Стремительною силой,
Что лучше помолчать...
Симон, спасибо, милый,
Что прожитые годы
Крепки, как эти своды,
И не уходят вспять.

* * *

Когда была агава слева,
А справа лилия была,
Волна грузинского распева
До слуха моего дошла.

Напев грузинский был волною,
Которая текла ко мне —
То серебристо под луною,
То золотом в голубизне.

Волна катилась прихотливо,
Медлительно, как суждено.
Такого терпкого мотива
Я не слышал давным-давно.

Не жалоба и не смятенье,
Была в той песне доброта.
Ее почуяв, во мгновение
Смыкались веки и уста.

...Волна плывет все выше, выше,
Где свет сливается со мглой.
Так пахота под небом дышит,
Так небо дышит над землей.

ПРИТЧА О РУБАХЕ

Мне сказитель Чагунава
Рассказал такое, — право,
Не услышишь никогда.

У царя стряслась беда.
Захворал. Врачи в смятенье.

Маломощно их леченье.
Ворожейка тут как тут.
— Если для царя найдут
Хоть рубаху из холстины
С плеч счастливого мужчины —
Сразу ж будет царь здоров...

Много дела — мало слов.
Мало слов, да больше проку,
Да еще поспеть бы к сроку.

Государевой земли
Люди царство обошли,
В сопредельные ступали
Земли. Но найти едва ли.
Где счастливцев?..

Но — стой!
Вот стоит старик простой
И твердит: «Теперь я счастлив!»

И слуга царя, участлив,
Подошел к нему: «Старик,
Дай сорочку!» В тот же миг
Тот ответил — точка в точку:
«Где найду тебе сорочку?
Нет сорочки у меня...»
— Что же ты при свете дня
Говорил, что счастлив будто...
— Кончил я пахать — минуту
Отдышался, счастлив я...

Государевы края,
Все углы его земли
Слуги честно обошли,
Всех счастливцев повидали,
Но сорочки не нашли.

Павел Соколов

* * *

Живу несуетливо, не спеша,
И, помня о твоей высокой чести,
К тебе все время тянется душа,
Никак не усидится ей на месте.
И по земле идущий столько лет,
Метелью да морозами палимый,
Гляжу я на тебя, как на рассвет,
Для радости моей необходимый.
А за вином, что я к тебе принес,
Его не называющий искристым,
Я слышу, как вершинами берез
Гудят леса под ветром норовистым.
И в эту пору тем я и живу,
Что надо мне с твоим встречаться
взглядом.
От глаз, у неба взявших синеву,
Не смог я заслониться листопадом.
И пусть шумят передо мной леса
О том, как всех, особенно под осень,
Высокие увидеть небеса
Манят нас кроны корабельных сосен.

Давай-ка чудо сотворим.
Когда метет пороша,
Присядем и поговорим
О чем-нибудь хорошем.
И словно глянем на луга,
Где можно трав коснуться,
И в сердце павшие снега
Росою обернутся.
И по велению зари,
Узнаем, как рискуют

В ОБОРОНЕ

Четыре дня мы были в обороне.
Пальнет и с той и с этой
стороны —
Снаряд над головой твоей
простонет,
И вроде снова нет ее — войны.
А на другом участке,
на соседнем
Такая шла жестокая стрельба,
Что думалось: вот там он —
край передний,
Там родины решается судьба.
В бою, где орудийные раскаты,
Твоих друзей
враг на землю кладет.
И знаешь ты всем существом
солдата,
Что без тебя победа не придет.

ВETERАНЫ

...И только бой. Под орудийным
ревом
Из пламени мы снова шли в огонь.
И пулемет системы Дегтярева
Нам обжигал ключицу и ладонь.
Солдатский путь,
нам жизнь укоротил он,
В Карпатах проходил через снега,
Где норовили мы достать тротилом
За скалами укрытого врага.
И перед нами наш рассвет дымится.
Нам кажется, припавшим к тишине,
Стремительно взлетающая птица
Снарядом, шелестящим в вышине.

* * *

Во имя жизни глухари,
Что по весне токуют.
Нас тронут щебетом леса.
И мы поймем друг друга,
Узнав, какие голоса —
Спасенье от недуга.
И перед ними не солжем.
Пока в закат не канем,
Живым опорным рубежом
Мы друг для друга станем.

Геннадий Николаев

Краники

Рассказ

В. И. Головачеву

После утомительного перелета, тряски в стылой электричке и блужданий по чужому городу Максим Тимофеевич наконец-то набрел на гостиницу — двухэтажный дом с крыльцом и верандой, где были свободны места. Койка вполне устраивала его, он надеялся побыть здесь не более суток.

В просторной комнате, куда определила его дежурная, было восемь коек с прикроватными тумбочками, в центре — круглый стол под клеенкой в окружении жестких стульев с гнутыми ножками, в углу, у двери рогастая деревянная вешалка на резной стойке с деревянными лапами, от двери наискосок — потертая ковровая дорожка.

Человек в спортивном костюме и меховой шапке, поначалу безучастно лежавший с книгой у дальней стены, отвел от лица книгу и показала на соседнюю койку:

— Советую, пока свободно, подальше от окна, а то там сильно дует.

Максим Тимофеевич поколебался из-за вечной своей недоверчивости и привычки не больно-то принимать заботу от незнакомых людей, но преимущества предлагаемого места были очевидны, и он согласился. Парень поднялся, приветливо улыбаясь, первый протянул руку:

— Лапенков, Сибирь, — представился он на спортивный манер.

— Кочегуров, — назвалса и Максим Тимофеевич, холодно оглядывая соседа, его длинные баки, оттопыренные уши, насмешливые глаза. — Из Москвы, — хмуро добавил он, чтобы парень не ввязался с распросами.

Эти гостиничные знакомства за долгую его кочевую жизнь сидели у него в печенках, и теперь он явно давал понять случайному человеку, что вовсе не расположен брататься с ним и вообще разводить пустопорожние разговоры. Лапенков, видно, почувствовал его настроение, снова улегся на кровать и раскрыл книгу.

Уже давненько Максим Тимофеевич понял простую истину: когда тебе плохо и даже очень плохо, то это тоже твоя жизнь, и, пусть скверная, но она неповторима, а главное — могло быть и еще хуже; так худо могло быть, что в пределе это называется смертью. А потому он научился использовать скромные удобства любого временного жилища и не роптать на судьбу. Верный себе, он прежде всего занялся устройством на новом месте. Не спеша разделся, вынул из чемодана походный набор; пижаму положил на постель, туалетные принадлежности отнес в ванную, разложил на стеклянной полочке.

Умылся, побрился и только тогда ощутил голод — весь день после раннего домашнего завтрака ничего не ел. Когда-то жена заботливо заворачивала в дорогу щедрые бутерброды, вареные яйца и яблоки, — теперь его Груняша трижды бабушка, хлопот полон рот, дома, можно сказать, и не бывает: то у старшей, у Татьяны, то у младшей, Анюты.

Он стал одеваться, собираясь на поиски какой-нибудь забегаловки. Сосед, не отрываясь от книги, сказал в пространство:

— Тут есть блинная, направо три квартала. Отличные блины, правда, без икры почему-то.

— Спасибо, — сухо поблагодарил Максим Тимофеевич, чуть покоробленный последними словами парня. «Без икры почему-то, — мысленно передразнил он. — «Почему-то!» Я б тебе сказал, почему...»

Парень этот, лежавший в шапке на застеленной кровати, сразу не понравился Максиму Тимофеевичу, и не столько тем, что лежал в одежде на чистом казенном белье (бог с ним, с бельем!) и носил старомодные баки (нынче парни завиваются, как девки, а девки стригутся под парней), а главным образом какою-то своей раскованностью: первый протянул руку старшему человеку, усмехается, советы дает, как ровне, наконец это «почему-то».

Максим Тимофеевич вышел из гостиницы в желчном настроении и машинально свернул направо, как советовал парень, но остановился, повернул налево... Опомился, плюнул с досады и пошел направо, искать блинную.

Три квартала по полутемной кривой улочке, по глубоким протоптаным в снегу тропинкам, сквозь морозную мглу, мимо старых кособоких изб, бывших купеческих лабазов, тесных современными пятиэтажными коробками, мимо темной церквушки с черными пустыми оконцами. Глухие заборы, за ними собаки, бегающие на цепи; помой и зола на улице — черные обледенелые горы; холодные уборные, водоразборные колонки за три квартала — глушь, тьма, полудикость. «Как много еще надо сделать на этом свете!» — с внезапной горечью подумал он, забывая и про соседа, и про свое недавнее раздражение на него.

После вкусных блинов со сметаной и горячего сладкого чая с лимоном погода, улочка да и сам этот уральский городок показались ему уже не столь убогими, какими казались на пустое брюхо. Теперь он различил и огни проспекта вдаль, и застекленное высокое здание, сияющее светом, словно там собирались отмечать какой-то праздник, и копошащихся в ярких лучах прожекторов рабочих, прокладывавших на одной из улиц, должно быть, трамвайные пути.

Сосед все так же в шапке лежал на мягкой постели, книга валялась на полу. Парень спал. Теперь и сосед не раздражал Максима Тимофеевича, как час назад. Он наклонился, поднял книгу — плотные синие корочки, видно, недавно была переплетена заново. Раскрыв книгу, Максим Тимофеевич удивился названию: «Антихрист». «Верующий, что ли?» — подумал он и с брезгливым чувством положил книгу на стол. Всяких видывал он на своем веку, и потому удивление его было мимолетным: от человека всего можно ожидать, есть такие фокусники, что десять — ноль дадут кому угодно, хоть знаменитому Кио. Этот читает «Антихриста», хотя по годам должен бы читать комсомольские книжки. «Читает — не пьет, и то хорошо», — заключил Максим Тимофеевич и принялся неторопливо, основательно стелить себе постель.

Максиму Тимофеевичу не нравилось, когда в снабженческих делах применяли нажим сверху, в этом он усматривал недоверие рядовому

работнику, пренебрежение к низовым слоям; он предпочитал, чтобы при решении вопросов обращались по инстанции снизу вверх, и сам в своей практике почти всегда выбирал именно такой путь, но в этот раз он с утра направился прямо к директору. Оснований, как он полагал, было более чем достаточно: он представлял столичную фирму с мировым именем, к тому же заказ международный, не говоря уж о самом главном — горящих сроках. Тут и кладовщику ясно, что дело нешуточное, не терпящее никаких отлагательств.

Директор оказался человеком невзрачного вида, с одутловатым лицом провинциального забулдыги. «На уровне нашего замначеха Кочкина», — подумал Максим Тимофеевич и, нагнав в голос металла, четко изложил суть дела. Директор начал было бормотать что-то с выражением боли и вины в сереньких усталых глазках, но Кочегуров повысил голос, и директор послушно закивал головой, шаркнул ножками в войлочных ботинках, с готовностью начертил на бумаге, предьявленной Кочегуровым, «300 шт. кранов отпустить немедленно».

На складе готовой продукции не оказалось ни одного готового крана. Кладовщица, в тулупе и огромных валенках, которые волочились по цементному полу, когда она прошла по тесной кладовке между пустыми, как в сельповском магазине, полками, безнадежно, даже как-то затейливо безнадежно махнула рукой: «Нэма!» Максим Тимофеевич не стал спорить и канючить у кладовщицы, зная, что коли были бы краники, получил бы — кладовщики народ известный: чем меньше у них на подотчете, тем лучше для них. Он лишь спросил, давно ли была выдана последняя партия и в каком количестве. На это кладовщица охотно ответила, что не далее как позавчера, пятьсот штук, «гарному парубку з Усоля».

За тридцать лет работы Максим Тимофеевич во всех тонкостях изучил взаимоотношения на разных участках и в разное время года, кто кому и когда, как у них говорили, наступает на хвост. Сейчас надо было заезжать с того конца, где было истинное начало: со сборочного цеха.

Начальник сборочного Говорушкин был тощим, бледным, задерганным, с рассеянным взглядом человека, которому систематически, годами не дают сосредоточиться на деле и на самом себе и который уже привык к вечному дерганью и вроде бы даже рад, что его дергают. Отложив какие-то бумажки, он прочитал кочегуровское письмо и, отмахнувшись от дожидавшихся его людей в промасленных спецовках, отвел Максима Тимофеевича на участок ОТК, в застекленную выгородку, к лысому кряжистому мужичку с тяжелыми сонными глазами, фамилия которого была Секач. Сам же двинулся дальше, куда-то в муть и синь отливочно-поковочного, где вздымался клубами дым и что-то бухало и стонало.

Секач с болезненным напряжением долго всматривался в Максима Тимофеевича, словно преодолевая мучительный приступ помутнения рассудка, наконец кивком головы показал на какого-то человека, скромно сидевшего в углу на лавке.

— Вот, собираем. Тоже три сотни, а тут, — он пнул зеленый армейский ящик у правой ноги, — двести пять.

Максиму Тимофеевичу стало ясно сразу все: и положение с краниками на текущие календарные сутки, и отношения между ОТК и сборочным, и цена директорской резолюции. Возмутило не то, что на заводе не оказалось для него готовых краников, а какое-то трусливенькое, мелконькое, несолидное поведение директора: ведь знал же, наверняка знал, что нет краников, когда накладывал резолюцию, а смолчал, пустил его, Кочегурова, трусцой по кругу. Вот что взбесило Максима Тимофеевича, которому мелкие производственные обманы были, разумеется, не в новинку, но который мирился с ними у себя

на заводе, как с чем-то своим, домашним, и никак не мог простить их в какой-то дыре, от какого-то директоршишки на уровне замначсеха.

Он ринулся в управление, намереваясь высказать директору все, что он о нем думает, но оказалось, что директор полчаса назад отбыл в областной центр, откуда вылетит в Москву утверждать фонды на строительство жилья. Так сообщила секретарша. Ее растерянный и виноватый вид несколько успокоил Максима Тимофеевича. Он сунулся было в кабинет к главному инженеру, но она предупредила, что и главного нет, будет под вечер.

Из личного жизненного опыта Максим Тимофеевич давно уже вывел одно правило: чем сильнее сотрясаешь воздух, пытаясь чего-нибудь добиться, тем дальше от конечной цели тебя относит собственная же струя. Правило подтверждали и судьбы друзей-приятелей, которые в свое время сильно сотрясали воздух и которых, увы, уже давно нет. Почти неукоснительно придерживаясь этого правила в столице, на родном заводе, здесь Максим Тимофеевич нарушил его. Выработанное опытом, болезнью и возрастом убеждение, что жить надо спокойно, плавно, оказалось не столь уж прочным, и он пошел сотрясать воздух из кабинета в кабинет, тыча в чьи-то лица своей важной бумагой и директорской резолюцией на ней. Его выслушивали, сожалели, сочувствовали, обещали сделать все возможное, но немедленно раздобыть для него краники никто не брался.

После обеденного перерыва Максим Тимофеевич с высоты заместителя главного инженера снова обрушился на Говорушкина и произвел буквально обыск на участке сборки. Прямо с верстаков он набрал пригоршню краников и бережно, в ладонях, словно то были хрустальные рюмочки, отнес в выгородку Секача. Тот бегло осмотрел их, нехотя, один за другим проверил на воздушном стенде, причем некоторые краники легкомысленно посвистывали, а некоторые неприлично хрюкали, что, между прочим, нравилось Максиму Тимофеевичу больше, и выдал кипящему от нетерпения Максиму Тимофеевичу результат: четыре, свистевшие, якобы годные — он их пододвинул Кочегурову, остальные, восемнадцать, хрюкавшие, — эти почему-то свалил в тот же ящик у правой ноги, где уже были две с лишним сотни готовых краников.

От этакой наглости Максим Тимофеевич полез за валидолом. Секач вялыми движениями тоже вынул баллончик из кармашка куртки и указал им куда-то в сторону. Максим Тимофеевич, переводя дух перед новой атакой, обернулся — на скамье в углу, уткнувшись носом в книгу, сидел человек. В отсеке было сумрачно, тусклый свет сочился откуда-то из-под самой кровли, от мутных, закопченных стекол «фонаря». Лампочка на длинном кронштейне под колпаком освещала лишь стол Секача, воздушный стенд, ящик справа и желтые туристские ботинки сидевшего с книгой человека. Как там в полутьме можно было читать, уму непостижимо.

Человек поднял от книги голову, улыбнулся Максиму Тимофеевичу, и Кочегуров узнал соседа по гостинице: белые молодые зубы, старомодные баки, темные, близко сидящие глаза.

— В порядке живой очереди, — шутливым тоном сказал Лапенков, жестом приглашая присесть рядом с собой.

В жесте этом и в словах не было насмешки, но Максим Тимофеевич вдруг страшно обозлился: ему предлагают сидеть в очереди! «Там, понимаешь, насосы, сэвовский заказ на волоске, а тут... Ну, погодите, я вам покажу очередь!» Вслух он, разумеется, ничего не сказал, но посмотрел на Секача так, что тот кисленько, виновато скривился, дескать, он-то, Секач, тут ни при чем.

По пути к главному инженеру Максим Тимофеевич завернул в ка-

кую-то комнату, взял с чьего-то стола лист чистой бумаги и, злорадно предвкушая реакцию местного начальства, тут же, на краешке стола нервным почерком набросал текст телеграммы:

«Москва Министерство химического машиностроения министру тчк Копия Госкомитет народного контроля председателю тчк Копия Министерство внутренних дел министру тчк Заводе арматурного оборудования волокитят заказ предприятия химнасосов зпт тянут выдачу трехсот байпасных кранов малой серии тчк Прошу решительных мер пресечения волокиты выполнения важнейшего экспортного заказа тчк Начальник техснаба предприятия химнасосов находящийся служебной командировке Кочегуров».

Едва он вошел в приемную, секретарша, наверное, по его лицу угадала, что дело пахнет скандалом, и метнулась в кабинет главного инженера. Максим Тимофеевич был принят немедленно. Проект телеграммы произвел на главного инженера впечатление.

Лет около сорока, щеголеватый, в ярком галстуке, обшлага белой рубахи выдвинуты, будто для банкета, лицо чистое, здоровое, холеное, главный перечитал телеграмму, судя по движению его искрящихся глаз, трижды. Потом внимательно, уже менее искрящимися глазами посмотрел на Максима Тимофеевича, тоже очень вдумчиво прочел первоначальную бумагу с резолюцией директора, без лишних слов соединился по телефону с одним подчиненным, с другим, негромко поговорил о чем-то, упомянув при этом Говорушкина и Секача, — у Максима Тимофеевича при этих его переговорах вдруг почему-то случился почти полный провал слуха, он словно бы погрузился в дрему. Главный инженер кончил переговоры, открыл бутылку минеральной, на приставном столике слева, за коммутатором налил полстакана, протянул Максиму Тимофеевичу:

— Товарищ Кочегуров, вам плохо?

Максима Тимофеевича ударило в пот, слабой рукой он взял стакан, отпил воды, придержал дыхание — полегчало. Прояснилась голова, чуть отпустило сердце. Главный смотрел на него как-то бесстрастно, оценивающим взглядом выдавшего вида врача.

— С кранами так, — перешел главный к делу, — на данный момент имеется двести сорок восемь, для одного тут представителя. Но вы не волнуйтесь, к утру будут три сотни, мы их вам передадим. Я уже дал команду. Как вы их будете отправлять, самолетом?

— С собой, — пробормотал Кочегуров, чувствуя, как вспухает, наливается зловещей немотой нечто круглое и тяжелое между лопатками. — Каждый час дорог.

— Понятно, — кивнул главный. — Вас проводить?

— Нет, нет. — Помедлив, выигрывая время, Максим Тимофеевич пояснил: — Простыл в самолете, в электричке добавил. Когда-то спал на снегу, в одной шинелишке и без костров — насморка не было, а тут...

Главный изобразил на сытом лице нечто среднее между удивлением и почтением. Чувствуя, что «плывет», Максим Тимофеевич все же пересилил себя, поднялся, протянул главному руку:

— Спасибо. Только еще одна просьба: дайте команду, пусть затавят и отнесут в гостиницу, прямо сейчас, сколько есть, а остальные утром — в сумку. До вокзала на такси, а там как-нибудь.

— Договорились! — оживляясь, воскликнул главный. — Сейчас же и упакуют. С доставкой на дом!

Они пожали друг другу руки с положенными при этом улыбками. Были сказаны традиционные «Приезжайте к нам» и «Приезжайте еще», и Максим Тимофеевич, чуть клонясь на левый бок, вышел из кабинета. Он нес свою левую половину тела — тяжелеющую руку, но-

ющую лопатку, ребра, выемку под ключицей и все, что за ребрами,— как несет аист вывернутое крыло.

В коридоре он опустился на диван, положил на колени папочку с бумагами и, делая вид, будто изучает их, весь сосредоточился на дыхании. Не хватало воздуха, хотелось вдохнуть полной грудью, но из-за сильной стерегущей боли он не мог сделать полного вдоха. С ним и раньше случалось такое, участковый врач называл это пренебрежительно «стенкардией», поэтому он не растерялся, не впал в панику, а просто стал ждать. Ждать, отдавшись неподвластным разуму силам организма, который сам вырулит, куда ему надо, если его не сбивать и не раскачивать страхами.

Прошло около получаса, пока Максим Тимофеевич сидел в коридоре, сам не зная, что станет с ним в следующую минуту. И все же мысль его стала налаживаться в том направлении, в каком и должна была наладиться у целенаправленного делового человека: из полудремотного небытия вдруг выплыло решение проверить, намерены ли Секач и Говорушкин выполнять указание главного инженера, и если нет, то немедленно вмешаться по горячему следу. И он встал, преодолевая слабость в ногах, борясь с соблазном прилечь тут же, на диване, оделся и спустился во двор. Мимо него Говорушкин с каким-то парнем пронесли заколоченный и обвязанный веревкой зеленый ящик, тот самый, что стоял у правой ноги Секача. Максим Тимофеевич прошел вслед за ними и вскоре понял, что ящик несут ему в гостиницу. Значит, главный не обманул: с доставкой на дом.

В проходной комнате на восемь коек состоялась немудреная церемония подписания накладных и дачи расписки. К приятному удивлению Кочегурова, в ящик были затарены все триста штук. Дотошный Максим Тимофеевич пересчитал при свидетелях получаемую продукцию и лишь после этого отпустил заводчан, тут же пожалев, что не попросил у них машину. Теперь надо было заказывать такси, вернее, ловить на улице что подвернется — такси, частника, любую машинешку — и срочно двигать на вокзал: еще была возможность поспеть к ночному самолету.

Он присел на койку перевести дух и вдруг от резкой острой боли в груди повалился на бок, в лунку продавленной сетки и затих с вытаращенными глазами.

История его теперешней командировки была проста и даже банальна. Конец года, а на сборочном участке осела партия насосов. Внезапно обнаружилось, что нет байпасных краников со специальными защитными втулками. Пустяк, копеечное изделие в пятитонном агрегате, а ОТК не пропускает: некомплект. Обшарили цеховые кладовки, заводской склад и даже базу — нет краников. Поднялся шум, насосы экспортные, сроки подпирают, план горит со всеми вытекающими отсюда последствиями. ОТК, бывало, пропускал в таких случаях условно, но тут начальник вдруг уперся, надоело, говорит, врать, осточертело, говорит, ваше вранье. Сборочники рысью кинулись за спиртом, а он, видно, не надеясь на себя, закрыл кабинет на ключ, ушел домой, на больничный по радикулиту — от греха подальше. Были у начальника рычаги, чтобы поприжать отэковцев, заставить и на этот раз сделать поблажку, однако не решилось оно на силовые приемы — времена не те, да и слишком явные козыри были на руках у контролеров, можно было крепко получить по носу. Тогда после некоторого замешательства пошла писать губерния: застрочили объяснительные — дружно, цехами, отделами, начали, эй-ухнем, переваливать вину с одной головы на другую, с отдела на отдел, с цеха на цех, пока не раздался по селектору усталый голос директора: за краниками в срочную команди-

ровку направляется Максим Тимофеевич Кочегуров, главный снабженец завода.

Максим Тимофеевич был человек тертый, выдавший за свою долгую жизнь разные виды, поседевший на снабженческой работе, битый за промахи почти столь же часто, сколько и премированный за тихие снабженческие подвиги. Последние годы директор берег старого снабженца, не перегружал поездками, и если бы насосы были не сэвовские, то в командировку полетел бы кто-нибудь помоложе.

Высокий, поджарый, сухолицый, Максим Тимофеевич имел характер твердый, въедливый, всепамятливый. Эпоха да и собственная его жизнь учили жесткости, не поощряли мягкотелости и миндальничанья с людьми. Глубокие складки поперек лба, крепко сжатый рот, постоянная хмурость — Кочегуров производил впечатление человека, с которым лучше не связываться. Профессия снабженца тоже наложила на его лицо печать: казалось, так и светились на нем все пробивающие знаки: «Надо! Срочно! Давай!» Он и шел на людей с таким, точно соответствующим внешности напором: решительно, без колебаний открывал двери в любые кабинеты, всегда точно зная, чего ему надо и как это важно, то, что ему надо. Ни у кого не спрашивал разрешения, не улыбался всуе, не мельтешил с пошлыми сувенирами и не заискивал, как иные снабженцы и не снабженцы, — шел как важная персона, не обращая внимания на ожидающих очереди в приемной. Если бы для добывания каких-то дефицитов надо было попасть на прием к папе римскому, можно было бы не сомневаться, Максим Тимофеевич добился бы высочайшей аудиенции. «Надо» двигало им всю жизнь, и он не задумывался над тем, действительно ли надо то, что он добывал, — таких вопросов у него не возникало, ему говорили «надо», и он соображал сразу практически: как, где, через кого, каким образом, лишь бы выполнить поручение, добыть, обеспечить.

Из множества талантов, обретаемых смертными при их рождении, Максиму Тимофеевичу достался талант высокой обязательности, соединенный с бескорыстием. Пользовался он своими способностями только и исключительно для блага производства, не позволяя себе не то чтобы замочить кончики пальцев в тех бочках меда, которые доставал для завода, а даже и помыслить о чем-либо корыстном. Тут Максим Тимофеевич был безупречен и почитался у себя на службе как человек несомременный, а по мнению некоторых, был просто чокнутый. Возможности его были действительно почти безграничны: деловые связи протягивались от завода во все стороны света, в союзные республики и многие страны СЭВ. Намекни он, только шевельни бровью, и шустрые нынешние прохиндеи завалили бы его жену, двух дочерей и внуков самыми дефицитными товарами, начиная от губной помады и кончая дубленками. Нет, безгрешен был Максим Тимофеевич, чист и праведен, как многострадальный протопоп Аввакум, потому что имел крепкие принципы, нарушать которые не мог и не хотел. В молодости он строил Магнитку, учился в комвузе, был шустр, смекалист и деловит. После вуза руководил группой запчастей во Внешторге. В годы войны обеспечивал фронт боеприпасами, организовывал снабжение переднего края. А теперь, вот уже более тридцати лет — на заводе. Жена и дочери и не помышляли, чтобы он доставал для них барахло. Четыре года назад он мог бы уйти на пенсию и своевременно подавал заявление, но директор попросил его поработать еще, сколько сможет, и вот, пожалуйста, опять приходится выручать завод...

Позднее, когда чуть отпустило и он задышал, ему стало боязно, но не очень, самую малость — видно, сказывалось то, что всегда, всю жизнь был в упряжке и тянул на совесть, потому что времени не оста-

валось обращать внимание на такие мелочи, как покальвания и постукивания в сердце. Потому-то и не ощутил ни особого страха перед тем, что подступало к нему, ни особой радости оттого, что оно отошло. «Значит, вот как оно бывает,— подумал он почти равнодушно.— Пронесло». «Везти далековато, поэтому...» — мелькнуло следом, и тогда он усмехнулся, чувствуя, что знает, что не умрет сейчас, и потому лукавит. «Пока не привез краники, никакой холеры со мной не будет». Да так, наверное, оно и было: сейчас его держали краники, зеленый армейский ящик, стоявший у изголовья. «Пора ехать под венец, а жених в сиську пьян»,— вспомнилось давнее, деревенское, и снова усмешка тронула его посинелые губы.

Он смотрел в потолок, но видел не серую потрескавшуюся штукатурку, а дивное поле, отороченное с двух сторон светлыми лесами. Ровное просторное поле после жатвы: тут и там сложенные скирды соломы, желтые вблизи и блестя отсвечивающие вдали. Высоко-высоко над полем мельтешила какая-то черная точка, должно быть, жаворонок, однако пения не было слышно. От поля, от дальних нагретых солнцем увалов струился поднимающийся воздух — как в летнюю жару. Поле отдыхало после страды, делало выдох, и простая картина эта была хороша и неизъяснимо щемяща. Максим Тимофеевич зачарованно глядел на нее внутри себя, и ему казалось, будто он стоит в теплой придорожной пыли босиком.

Хлопнула входная дверь. В комнату вошел Лапенков, расплывчатым пятном постоял у окна, снял дубленку, бросил на стул.

— Ну, вы шустряк, коллега,— сказал он, как показалось Кочегурову, насмешливо.— Это же грабеж!

Максим Тимофеевич возмущился, хотел сказать, что тот еще молодкосос, чтобы так с ним разговаривать, но лишь невнятно замычал — губы плохо повиновались. Лапенков стянул шапку, высокий лоб его с залысынами заблестел под электрической лампочкой.

— Что вы бурчите? Совесть-то у вас есть?

Он бросил шапку на кровать, прошелся вокруг стола, остановился над Максимом Тимофеевичем.

— Что с вами? — В голосе Лапенкова прозвучала растерянность.— Вам плохо?

— Сердце,— прошептал Максим Тимофеевич.— Что-то...

Лапенков потрогал его пульс.

— Погодите-ка, не вставайте, вызову врача.

«Скорая» была в этот час свободна и находилась недалеко от гостиницы. Кочегурову подключили дыхательный аппарат, сделали какие-то уколы, и первым его ощущением, когда проявилось в голове, было чувство досады, как будто из-за каких-то пустяков его оторвали от чрезвычайно важного и приятного дела, которое надо было закончить во что бы то ни стало. Врач и сестра облепили, обвязали его датчиками, включили прибор. Он заметил, что обе они молоденькие, симпатичные. Хотя и проворны, но озабочены, напряжены, явно еще неопытны и трусят.

— Ну, кажется, попался,— сказал он, желая подбодрить их.

— Помолчите,— бесцеремонно оборвала одна из них, явно врачиха.— Лежите спокойно, не шевелитесь.

Зажужжал приборчик на столе, из него быстро полезла полоска миллиметровки — кардиограмма. Обе женщины, перебирая ленту руками, зорко следили за кривой. Врачиха заметила что-то в кардиограмме, отчеркнула ногтем. Сестра кивнула. Лапенков тоже принялся рассматривать кривук, будто что-то понимал.

— Поможете донести до машины? — спросила его врачиха. Она бы-

ла в собольей шапке с торчащим сбоку пышным хвостом, и когда говорила, то качала головой, отчего шапка съезжала ей на глаза, а хвост смешно подрагивал, как у живого зверька.

Лапенков, разумеется, готов был помочь. Сестра пошла за носилками и заодно — позвать на помощь шофера. Максим Тимофеевич следил за передвижениями вокруг себя как-то отрешенно, словно все это его не касалось, но когда врачаха попросила его приготовиться к транспортировке в больницу, он как бы очнулся.

— В больницу?! — удивился он. — Завтра должен быть в Москве, а они — в больницу! Прекрасно себя чувствую, оставьте меня в покое!

— У вас, видимо, инфаркт, — сдержанно сказала врачаха. — Понимаете?

— Понимаю, но ничем не могу вам помочь.

— Инфаркт — у вас, а не у меня, — настойчиво, как непослушному ребенку, толковала врачаха. Хвост на ее шапке вздрагивал и пушился. — Вам нельзя двигаться.

Максим Тимофеевич помолчал, глядя на нее с недоверием, и упрямо замотал головой:

— Не могу, обязан завтра привезти в Москву государственную продукцию. Срывается международный заказ.

— У вас инфаркт, а вы несете бог знает что! — не выдержала она. — Вы поедете в больницу, заказ подождет.

— А кто дал вам право? — обозлился и Качегуров. — Что я вам, бессмысленная тварь какая-то? Взять и насильно запечатать в больницу... Нет, со мной такой номер не пройдет. — Он вдруг приподнялся на локте и заговорил, взмахивая указательным пальцем: — Вы врач, молодая еще, медицину свою вы, может быть, и знаете, а человек — это не только почки, кишки, селезенка. Человек — это сознание и долг, ответственность, да! Что проку мне от вашей медицины, если этого-то, самого главного, не понимаете? Инфаркт! Ну и что? Да может у меня их еще восемь впереди? Теперь из-за этого — всё замри, производство остановись, так? Не-ет, милая девушка, вы ни черта не знаете про человека. — Он отвалился на подушку и, закрыв глаза, твердо произнес: — В больницу не поеду, незачем. К утру приду в норму...

Лапенков присел перед ним на корточки.

— Минуточку! — Он потрогал Максима Тимофеевича за плечо, привлекая его внимание. — Послушайте. В прошлом году от инфаркта скончался мой отец. Поверьте, я знаю, что такое инфаркт. Вам нельзя волноваться, нельзя двигаться. Лучше всего поехать в больницу, там и лечение и уход...

Максим Тимофеевич пронизательно-хитро посмотрел на него, усмехнулся:

— Вам-то, ясное дело, выгодно спихнуть меня в больницу. Краники будут ваши. — Он скривился, погрозил Лапенкову. — Хитер бобер! Только и я не лыком шит, не лыком!

— О чем вы говорите! В вашем положении, — начал было Лапенков, но Максим Тимофеевич не дал ему досказать.

— В моем положении я, а не вы. Вы в своем положении, я же не лезу к вам с советами, тем более с нотациями.

Лекарства чуть пьянили его, и Максим Тимофеевич был возбужден, говорил громко, взмахивал руками.

Шофер в белом халате и сестра внесли носилки. Пахнуло морозом, бензином, лекарствами. Врачиша решительно поднялась.

— Больной, вы должны поехать в больницу, иначе вам будет плохо, — сказала она строго. Хвост на ее шапке замер по стойке «смирно»

— Не поеду, — живо откликнулся Максим Тимофеевич, — отказываюсь.

Шофер, пожилой тучный человек, не скрывая любопытства, заглянул в лицо Максиму Тимофеевичу, добродушно сказал:

— Вера Дмитриевна, не хочет человек, зачем насильно везти? Больница и так забита. Пусть даст расписку, и все дела.— И как бы извиняясь перед Кочегуровым, добавил: — Не хочешь — распишись.

— Пожалуйста! — с готовностью согласился Максим Тимофеевич.— Дайте бумагу и ручку.

— Это же безумие! — возмутилась врачиха.— Милицию вызывать, что ли?

— Дайте бумагу. Никакого черта со мной не будет. Я лучше знаю,— сказал Кочегуров и требовательно помахал рукой: — Эй, сосед, ну-ка! Давай бумагу и забудь про ящик.

Неодобрительно покачивая головой, Лапенков нашел лист бумаги, ручку, подал Кочегурову.

— Не ведаете, что творите.

— Ведаю! Я-то все ведаю: и что я творю и что вы намереваетесь.

Врачиха беспомощно всплеснула руками:

— Впервые в моей практике!

— Может, и правда, оставить? — робко предложила сестра.

Врачиха поджала губы, скорбно глядя в пол. Хвост на ее шапке повалился на бок.

— Получите! — Максим Тимофеевич передал Лапенкову бумагу и ручку.— И можете отправляться, вас ждут действительно больные.

Врачиха выжидающе смотрела на Лапенкова, тот внимательно читал написанное Кочегуровым.

— Как вы считаете? — спросила она.

— Оставьте. Если станет хуже, я позвоню.

— Но у нас в «скорой» нет сиделок, а ему надо провести курс... Да и вообще: еда, стул, гигиена.

— Я могу делать уколы, ухаживал за отцом. Оставьте стерилизатор, ампулы, немного спирта.

Сестра взялась было за баул, но вопросительно посмотрела на врачиху — та чуть заметно кивнула. По этому знаку сестра извлекла из баула стерилизатор, ампулы, флакончик со спиртом и пакет ваты. Все это аккуратно разложила на чистой марлевой салфетке. Шофер поволок носилки в машину. Врачиха, присев к столу, написала целую инструкцию на первые часы и обещала заехать ночью. Лапенков проводил ее до выхода, о чем-то долго разговаривал с ней в вестибюле гостиницы. Максиму Тимофеевичу были слышны сквозь приоткрытую дверь их голоса, ему казалось, что они сговариваются увезти его, когда он заснет, в больницу. Он боролся со сном, придумывал, как бы позаковыристей поддеть Лапенкова, поядовитее сказать, что, де, напрасно стараешься, парень... «Хочешь сделать Кочегурова обязанным себе? Все равно этих краников тебе не видать!» Но он так устал от всего пережитого, что едва отвернул лицо к стене, как тотчас уснул.

Проснулся он ночью от укола — над ним покачивалась меховая шапка врачихи, поддрагивал пушистый хвостик. Потом еще несколько раз просыпался и видел возле себя Лапенкова — тот поил его каким-то густым терпким отваром совершенно без соли. Максим Тимофеевич плевался и ворчал, что подобной гадости не пробовал за всю свою жизнь.

На рассвете Максим Тимофеевич почувствовал себя уже настолько бодрым, что заворочался, намереваясь встать. Пружины под ним заскрипели. Лапенков, дремавший на соседней койке, легко поднялся, мягким движением руки придержал Максима Тимофеевича.

— Вам нельзя вставать по крайней мере дней десять. Ворочаться тоже рановато, завтра начнете ворочаться. Но вообще-то повезло вам: инфаркт задней стенки.

Максим Тимофеевич скопил на него глаза, стараясь по лицу определить настроение своего соседа, потому что голос того был бесстрастный и вялый, просто-напросто никакой. Лапенков выглядел усталым, лицо его еще больше осунулось, заострилось, глаза в темных полудужьях бровей и теней были мутновато-красными.

Максим Тимофеевич молчал, осваивая умом то, что услышал, катая-перекатывая про себя слово «новезло», вдумываясь в него, примеряя к нему свое глубинное чувство и постепенно приходя к выводу, что все-таки действительно повезло. Острой боли, какая резанула его вечером, он не ощущал, дышалось легко (если молчать), в голове спокойно, он жив, не надо будет жене и друзьям возиться с трупом. А главное — краники: добыты, тут должны быть, возле изголовья, если прежний хозяин не покусился на них, пока он спал. Максим Тимофеевич с подозрением взглянул на Лапенкова.

— Так вы что, всю ночь со мной валандались?

Лапенков не ответил — посмотрел на часы, принялся готовиться к уколу: надрезал и щелчком отбил кончик ампулы, ловко собрал шприц, вынув его части из кипятильника; набрал лекарство, выпустил струйку, как это делают из медсестры, смочил ватку спиртом и подступил к Максиму Тимофеевичу.

— Что вы со мной возитесь? — капризно спросил Максим Тимофеевич.

Лапенков молча сделал укол в руку, разобрал шприц, промыл над тарелкой из чайника, сложил части в кипятильник, включил его и лишь после этого ответил:

— Как нынче говорят, у меня нет другой альтернативы. Мы с вами вдвоем, в больницу вы отказались. Пользуйтесь услугами случайного человека и не ропщите, если что не так. Зато бесплатно.

Максиму Тимофеевичу не понравился ответ, в душе гнездились недоверие к этому человеку, и ему хотелось повернуться, свеситься с койки и проверить, на месте ли злополучные краники, не утянул ли сосед под кровать зеленый армейский ящик. Но спрашивать прямо в лоб про ящик было все же неловко, и Максим Тимофеевич, затаив дыхание, медленно повернулся на бок, глянул краем глаза вниз — ящик стоял на месте. Когда он откидывался на подушку, то на какое-то мгновение встретился глазами с Лапенковым — тот застыл с полотенцем в руках, лицо его было напряжено, во взгляде так и сквозили те нелестные эпитеты и междометия, которые ему, видно, не без труда удавалось сдерживать.

— Убедились? — болезненно кривясь, спросил он. — Это могло вам дорого стоить. Я не врач, но тоже кое-что понимаю.

Максим Тимофеевич вдруг поймал себя на том, что как-то очень туго соображает: то, на что намекнул Лапенков, дошло не сразу, а лишь через какое-то время, когда он вроде бы уже и думать перестал о том, что сказал сосед.

— Не врач, а здорово получается. Учились, что ли? — спросил он, решив, что лучше не затевать про ящик.

— Когда альпинизмом занимался. А потом, я же говорил про отца, — ответил Лапенков. Помолчав, он сказал с грустью: — О первых двух инфарктах отец вообще не знал, на третьем кардиограмму сделали, только тогда и обнаружили.

— Здоровый мужик был? По вам не скажешь.

— Работа у него в основном сидячая была. Сидячая и нервная.

— Бухгалтером?

— Историком. Доктором был исторических наук, в университете работал.

Максим Тимофеевич подумал и согласился:

— Да, история — дело нервное. Казалось бы, прошло-пролетело, из-за чего нервничать-то, а жизнь — она вся на истории стоит, как дом на фундаменте. Горячее дело — история.

Лапенков вытер руки, аккуратно повесил полотенце на спинку кровати, задумался о чем-то своем, устремив глаза в далекую точку за окном.

— А вы, случаем, не из богомольцев? — спросил Максим Тимофеевич без обиняков, вспомнив про книгу, с которой парень, похоже, не расставался ни днем, ни ночью.

Лапенков удивился:

— Богомолец?! С чего вы взяли?

Максим Тимофеевич пояснил свое предположение:

— Волосы, как у попки, книги странные читаете.

Лапенков потрогал свои спутанные космы, погладил залысины ото лба, осторожно взял со стола книгу, словно она была тем вещественным доказательством, которым его полностью уличили.

— Волосы — хм, пожалуй, вы правы. Пора в парикмахерскую, да все некогда, — признался он, рассеянно улыбаясь. — А книга... Это же Ренан, история Нерона. Был такой изверг в Древнем Риме, устраивал кровавые спектакли.

— Слышал я про Нерона: был Нерон да весь вышел.

— Увы, не весь.

Лапенков полистал книгу, собираясь, видимо, прочесть из нее что-то, но передумал, махнул рукой.

— Отца и многих его коллег интересовало в истории главным образом то, что разъединяло народы, а я стараюсь понять, что их объединяло.

— А чего тут понимать, давно все понятно, — уверенно сказал Максим Тимофеевич. — Богатство разъединяет, бедность объединяет. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Все ясно. Или вы по-другому думаете?

Хотя он и не хотел, но вопрос его прозвучал с нотками угрозы. Лапенков с насмешливым прищуром взглянул на него, отвел глаза — не спорить же с инфарктником...

— Не волнуйтесь, я думаю так же, как и вы. Не совсем точно так же, но в принципе так же.

— Что-то вы юлите.

Лапенков пожал плечами, дескать, ваше право думать что угодно. Максим Тимофеевич сердито засопел, как обычно, когда начинал заводиться, а мысль еще не прояснилась настолько, чтобы выразить ее словами.

— Рано списываете нас, стариков, — проворчал он, мысленно напрыгаясь в попытке поймать то, что крутилось где-то близко-близко.

Видно, задетый за живое ранее брошенной репликой соседа, Лапенков лег было, но тут же вскочил и запальчиво произнес:

— Вы, я вижу, придерживаетесь того взгляда, что человечество, как крест, состоит из четырех частей: бедные — богатые, старые — молодые. А не кажется ли вам, что возможны другие, более усложненные вариации? Например, «или — или» и «и — и» — такие категории людей?

— Бред собачий, — с ходу определил Максим Тимофеевич.

— Вот как? Бред, да еще и собачий? — Лапенков пытливо, даже с каким-то интересом посмотрел на Кочегурова. — Излишком вежливо-сти вы не страдаете.

— Обиделись? — насторожился Максим Тимофеевич. — Бросьте! Мы же мужики, к тому же я старик. Стариков надо понимать. И прощать. Как детей.

Он выспался, отлежался и теперь чувствовал себя благодушно. Ему

показалось, что Лапенков ждет от него откровенности, тем более, что Максиму Тимофеевичу вдруг захотелось поговорить. Задел его чем-то сосед, какой-то своей манерой странно усмехаться, говорить полунамеками, показывать головой, отводить глаза и в то же время явно показывать свою независимость. «Молокосос по сути дела, а держится на рупь двадцать»,—подумал он, примериваясь, каким тоном лучше всего начать. Он хотел уж было отступить от парня, бог с ним, случайный человек, но вспомнил, как неоднократно сам же выступал на собраниях, рьяно призывал к тому, чтобы они, старики, учили молодежь не только тонкостям профессии, специальности, но и передавали верный взгляд на жизнь, верный, то есть их, стариков, потому что он проверен временем и закреплён жизнью, потому что по-другому просто-напросто нельзя, невозможно... И он заговорил о том, что действительно волновало его и многих его товарищей-сверстников: о расхлябанности на производстве, об отсутствии дисциплины как главной причине всех наших бед. По его мнению, все дело сводилось к одному: чтобы поправить положение, надо снова закрутить гайки, ввести строжайшую дисциплину на заводах, в колхозах-совхозах и учреждениях, за малейшее нарушение—строгое наказание вплоть до суда.

Когда он закончил, огоньки интереса в глазах Лапенкова совсем погасли, он глядел на Максима Тимофеевича уныло, с разочарованием, которое и не пытался скрыть. Тогда у Максима Тимофеевича созрел вопрос из чистого любопытства:

— Отец—доктор, а вы, извините, по снабженческой части? Так я понимаю?

Лапенков усмехнулся, но в усмешке этой не было ехидства, скорее—грусть.

— Я не снабженец. Инженер, работаю руководителем группы в НИИ.—Лапенков назвал город, но Максим Тимофеевич не расслышал.—Временно вывели из цеха, на неделю, перебрал норму по вредностям. Парни вкалывают, а я вот, за кранами. У меня ведь, между прочим, мандат на них, правда, не заполненный. Не успел заполнить.

Максим Тимофеевич знал, что значит иметь мандат, и потому задумался обескураженный. Лапенков, выключив закипевший стерилизатор со шприцем, прилег на койку. Когда, казалось, оба заснули, Максим Тимофеевич вдруг спросил:

— У вас эти краны—что, в изделие какое идут? Или как? Если не секрет.

— У нас установка, много контрольных точек по газовой фазе. Отборные трубки отсекаются кранами, среда агрессивная, пять-шесть переключений, и кран выбрасываем. Вот так и катаемся сюда, лучшего пока ничего не придумали. Да и незачем, установка опытная, скоро разбирать, тогда и краны эти чертовы отпадут.

— Понятно,—задумчиво пробормотал Максим Тимофеевич. Хотелось, чтобы сосед еще что-нибудь рассказал о своей работе, но спрашивать было неловко, а сам Лапенков лежал молча, тихо, и вскоре по его ровному глубокому дыханию Максим Тимофеевич понял, что тот уснул.

Максим Тимофеевич Кочегуров был патриотом своего завода и готов был постоять за его интересы, но все же, когда надо было, мог посмотреть на дело и пошире, не только с колокольни завода и ведомства. Тут сказывалась прежде всего его биография—человека, прошедшего огонь и воды и медные трубы и ухитрившегося сохранить в себе заповедный уголок души, свободный от цинизма и равнодушия; сказалась и хозяйственная жилка неглупого руководителя, общавшегося по службе с людьми большого масштаба; и наконец, вьевшееся

в кровь и плоть уже чиновнице почитание субординации. Короче, по долгом и мучительном размышлении он пришел к решению, что обязан передать краники по первой принадлежности — человеку, имевшему на них право именем мандата. Мандат Максим Тимофеевич уважал, потому что мандат был для него символом той самой чрезвычайной производственной необходимости, которой он служил всю свою сознательную жизнь и не признавать которую было бы для него столь же абсурдно, как не признавать самого себя. Мандат выдавался в исключительных случаях и давал право получать продукцию любого предприятия без предварительного заказа и без очереди. И чем больше думал Максим Тимофеевич о краниках и о соседе, тем больше недоумевал. «Как же так, — думал он, — у человека мандат, следовательно, дело до чрезвычайности важное и срочное, а тот посиживает себе на лавочке, почитывает, понимаешь, книжечку про Нерона и хлопает ушами, когда у него, можно сказать, из-под самого носа уводят жизненно необходимую продукцию. Заводские олухи тоже хороши! Этот Сукач, или как там его, Стекач — Секач! Кусок вяленой воблы, а не работник». У Максима Тимофеевича такой не высидел бы и недели, сам бы подал заявление, но собственному бы желанию...

Максим Тимофеевич разгорячился настолько, что заговорил вслух. Чутко спавший Лапенков проснулся от его бормотанья, тревожно уставился на него, встрепанный и помятый со сна.

— Послушайте, как вас, извините, не помню, — грубовато обратился к нему Максим Тимофеевич.

— Не имеет значения. Вам плохо?

— Хорошо мне, — проворчал Максим Тимофеевич. — Скажите, почему вы не предъявили заводчанам мандат?

Лапенков удивленно посмотрел на него, вздохнул, покачал головой, дескать, безнадежный случай, и ответил:

— Какой смысл размахивать мандатом, если я был тут один, краники отбирали для меня прямо с верстаков. Зачем было трясти бумажкой?

— «Бумажкой!» — в сердцах передразнил Максим Тимофеевич. — Это же мандат!

— Ну и что что мандат? Люди и так работают напряженно. Видел, не первый раз здесь, знаю этих людей.

— Но раз мандат, то у вас не только право, но и обязанность! — не унимался Максим Тимофеевич. — Вы должны были предъявить мандат. Тогда и другие реагировали бы соответственно.

— Да, наверное, я дал маху, — легко согласился Лапенков. — Но насчет других... Хм, другим было сказано, что в цивилизованном обществе принято соблюдать живую очередь.

— Ну, знаете ли, это в баню соблюдать, а тут производственная необходимость. У меня, например, сэвовский заказ. Что ж я буду равнять себя с какой-то шарашкой?

— Ну, не знаю. Для меня важнее, чтобы люди не унижали друг друга, где бы они ни служили. Шарашка не шарашка — это уже вопрос десятый.

— Этак можно договориться бог знает до чего! — возмутился Максим Тимофеевич. — Это называется уравниловкой! Вообще, слушайте, у вас же мозги набекрень!

Лапенков даже привстал от такого выпада соседа.

— Что это вы распетушились? — насмешливо сказал он. — Вам лежать надо и помалкивать. Краны я у вас не собираюсь отбирать, лежите себе и тихо ликуйте, оснований у вас для этого предостаточно. Все! — резко оборвал он себя и взглянул на часы. — Через четверть часа откроется почта, схожу, дам вашим телеграмму. У вас есть кто-нибудь, кто мог бы прилететь сюда?

— Обойдусь без вашей помощи,— сердито огрызнулся Максим Тимофеевич, отворачивая лицо к стене. Лапенков был ему неприятен, и он этого не скрывал. К тому же и чувствовал он себя уже вполне, как ему казалось, сносно. Единственное, что смущало его,— мандат, право Лапенкова на получение краников вне очереди.

— Ну что ж,— сказал Лапенков,— спрошу ваши координаты у дежурной.

Он сходил умылся, вернулся посвежевший, бодрый, улыбающийся. Насвистывая, собрал шприц, подступил к Максиму Тимофеевичу.

— Ну-с, прошу вас.

Максим Тимофеевич глянул на него угрюмо, затравленно.

— Я же сказал, отстаньте,— желчно пробурчал он.

Лапенков невозмутимо, с решительностью, от которой Максим Тимофеевич спасовал, отвернул сбоку одеяло, чуть стянул трикотажные кальсоны Максима Тимофеевича и ловко сделал укол в бедро. Прижав место укола ваткой, смоченной спиртом, сказал:

— Вы настолько одичали на нашем столичном предприятии, что разучились принимать простую человечность. Впрочем, все мы такте! Из-за железок глотки готовы друг другу перегрызть. Думаем, чем больше машин, тем лучше жизнь людей.

— Поклеп возводите — и на меня и на других,— раздраженно сказал Максим Тимофеевич, резко отвел руку Лапенкова, отбросил ватку.— Много болтаем, потому и худо живем. Болтать надо меньше. А вы, молодой человек, покажите-ка ваш мандат — так, на всякий случай.

Лапенков снисходительно вздохнул, вынул из куртки паспорт, из паспорта сложенный вчетверо лист. Максим Тимофеевич с ревнивой дотошностью рассмотрел мандат с той и с другой стороны, отведя его подальше от глаз (у него была дальновзоркость), и вернул Лапенкову.

— Такой документ и не заполнили!

— Если бы не вы, он вообще не потребовался бы,— возразил Лапенков.

— Вы обязаны были предъявить его!

— Это мое дело.

— Ну и работнички пошли. В три шеи гнать!

— О! В этом вы правы, только не гнать, а списывать по инвалидности. В тридцать два года...

Максим Тимофеевич, сбитый с толку, начал было что-то говорить, но запнулся на полуслове. Лапенков нервно, дерганно одевался — дубленка, шарф, шапка. У двери встряхнулся, поправил шарф, пересилил раздражение.

— Иду на почту, отобью телеграммы, на ваш домашний адрес и на завод. По-моему, другого выхода нет.

Он ушел, мягко прикрыв за собой дверь. Максиму Тимофеевичу вдруг стало обидно: какому-то шалопаю, физику-лирику, болтуну дали этакую бумагу — мандат! — а старый снабженец-работяга вынужден биться головой об стенку, надеяться на собственное горло. Хотя он и чувствовал, что несправедливо думает о Лапенкове, но по-другому думать не мог — обидно было так, что он даже устал от обиды, обмяк и задремал.

В дреме вспомнился ему разговор с начальником заводской лаборатории Михайловым поехать по первому хорошему снегу за зимним зайцем на Вологодчину, в лесной район. И вспомнились удочки Груши, жены, всякий раз, когда он собирался в командировку или на охоту, ворчавшей, что-де, смолди, Максим, не по годам живешь, не молоденький, шел бы, как люди, на пенсию, нянчился бы с внучатями — трое их! Ее-то политика полюбила: осадить хочет, дома на веревочке

держат — ишь, в няньки его! Да на него молодухи управленческие еще посматривают, он еще гоголем по управлению ходит.

И захотелось ему очутиться сейчас в своем родном отделе, среди бойких веселых женщин, занятых невидной, совсем негероической работой — беготой, письмами, заявками, телефонными переговорами, бесконечными подсчетами и руганью то с цехами, то с поставщиками оборудования. Вновь возникшая за грудиной боль придавала его мыслям горьковатый привкус страдания.

Вспомнились места, очаровавшие его прелестью неповторимого момента. Всплыла в памяти лесная поляна, валит крупный снег, белый и лохматый, и вдруг — солнце, яркое, весеннее, горячее. На пенке торчит заяц, то ли спит, то ли очумел от появления человека, смотрит пылающим глазом прямо в глаза, не мигая, не шевелясь. Потом почудилась длинная просека, повеяло смолистым хвойным духом жаркого летнего дня — вьющаяся тропка вдоль просеки, жужжание шмелей, хлопотливый стрекот, пение птиц. Идти бы вечно по этой пронизанной солнцем просеке, то в легкой, подвижной тени, то под жаркими лучами...

По тихому звуку бережно прикрытой двери, по осторожным шагам, донесшимся из прихожей, Максим Тимофеевич догадался, что пришел Лапенков. Максим Тимофеевич устало отвернулся. Лапенков молча разделся и вышел в коридор.

За окном между неплотно задвинутыми шторами обозначилась серая полоса. Рассветало томительно медленно, морозный туман качался за стеклом — казалось, будто где-то рядом выбивается из трубы пар или дым. Мглистый рассвет, туман, казенная койка и сама комната с голыми обшарпанными стенами — все это напоминало Максиму Тимофеевичу злые сибирские зимы, и на душе у него было холодно и уныло. Ночью сосед укрыл его еще тремя одеялами, но от них не было теплее, они давали только тяжесть — холод был внутри, в нем самом. Потому-то и грезились летние солнечные поляны, стрекот кузнечиков и знойное покачивание разогретого воздуха.

Лапенков тронул его за плечо, протянул дымящуюся кружку:

— Чай, со сливками. Вам не повредит. Только не поднимайтесь.

Максим Тимофеевич помедлил в растерянности: надо же, чай со сливками! Где-то раздобыла заварку, сливки, сахар. Растроганный, Максим Тимофеевич взял обеими руками горячую кружку и лишь поглядел на Лапенкова повлажневшими глазами. Лапенков снова вышел, сказав от двери, что варит манную кашу и что примерно через полчаса будет полноценный завтрак.

Максим Тимофеевич глотал чай и давился от подступающих слез. Тут были и жалость к самому себе, ко всей своей жизни, от первой вставшей в памяти картины осеннего отдыхающего поля, поразившей его в бог весть какие давние годы, до этих серых казенных стен со следами раздавленных клопов и этой вдруг подкатившей слабости; тут была и открывшаяся в душе какая-то створка, которая бывает открытой в человеке очень ненадолго, по молодости, а потом захлопывается от людской черствости, злобы и несправедливости; и чувство вины было тут перед этим парнем, доверчивым еще и, видно, совсем зеленым в таких делах, как снабженческие, где если хочешь чего-нибудь добыть, не зевай и уж, конечно, не миндальничай.

Держа кружку в ладонях, он отхлебывал чай и вместе с чаем глотал слезы. Этакое, чтобы плакал, не случалось с ним давным-давно. Сколько друзей-товарищей схоронил, не плакал, а тут — на тебе, расклеился.

Постепенно чай отогрел его и успокоил, он испытал давно забытое

чувство умиротворения, какое бывало, пожалуй, только в ранней молодости, после покоса, когда сено уложено в зароды, до жатвы еще далеко и впереди воля вольная: речка, песчаные плесы, рыбалка, леса с первыми опятами-колосовиками, по вечерам игры и девичьи хоры воды вокруг жарких костров на пустоши за поскотиной.

Покой нарушился от внезапного и смутного еще желания отдать краны Лапенкову. Конечно! Как все просто и справедливо: он ему — краны, а тот взамен — мандат. Таким образом, отдав краны Лапенкову, он успокоит совесть, а получив взамен мандат, обеспечит себе право на последующие три сотни — тут уж, как говорится, колом не отшибешь. Тогда можно спокойно болеть, не сегодня-завтра кто-нибудь прилетит с завода, может быть, прилетит и Груша, скорее всего, прилетит — не будет же он тут валяться без присмотра! Конечно же, не бросят, помогут, никаких сомнений!

Теперь он уже с нетерпением ждал Лапенкова и сердился, что тот так долго возится где-то там, на гостиничной кухне с какой-то кашей. Вариант, придуманный им, казался ему необыкновенно хорошим, пожалуй, первым в его жизни случаем, когда он будет получать продукцию по такому важному мандату. Не горлом, не нахрапом взять дефицит, а по праву, разве это не счастье для порядочного снабженца!

Лапенков принес кастрюльку каши, оловянную допотопную миску всю во вмятинах и царапинах и такую же выдавшую виды ложку. Максим Тимофеевич не притронулся к еде, пока не выложил Лапенкову свою идею. Лапенков помедлил с ответом, недоверчиво и чуть с усмешкой поглядывая на Максима Тимофеевича, пожал плечами:

— Я не возражаю, если вы...

— Давай мандат, — перебил его Максим Тимофеевич, — и все разговоры.

Лапенков освободил руки от кастрюли и миски, вынул мандат, отдал Максиму Тимофеевичу. Тот еще раз придирчиво обглядел и обшупал документ: мандат был настоящий, солидный, с четкими гербовыми печатами, номером и прочими положенными знаками по всей форме. Он сунул его под подушку и сделал знак Лапенкову, дескать, с этим вопросом порядок и можно приступать к еде.

Позднее, когда Лапенков накормил его сваренной на молоке кашей и рассказал, какие и куда дал телеграммы, Максим Тимофеевич совсем размяк, расчувствовался и принялся убеждать Лапенкова, чтобы тот перетасил ящик с краниками к своей койке.

— Пожалуйста, если вам спокойнее, — согласился Лапенков и перенес ящик к своей кровати.

— Так будет вернее, — сказал Максим Тимофеевич с легким и приятным чувством, как будто взял да так просто и сделал подарок хорошему человеку.

— Вот что, молодой человек, — заговорил он, помолчав, — не тратька ты на меня время, езжай восвояси. Ждут, поди, краны там, ждут?

Лапенков взглянул на часы и, словно время подсказало ему ответ, кивнул:

— Ждут. Но ничего, не горит.

— Горит! — воскликнул Максим Тимофеевич. — Ты просто чудак! Разгуливаешь тут, когда на руках мандат! Мандат — значит краны нужны. Нужны или нет?

— Ну, разумеется, нужны, хотя...

— Ну, так какого черта! Иди на завод, объясни там, как мы договорились, и — с богом! Как ты: самолетом, поездом?

— Самолетом.

— Ну вот! Одевайся и — ходу!

— Не могу же я вас бросить одного. Вот кто-нибудь прилетит, ваша жена или сослуживцы, тогда и...

— К черту! Жми на завод. Ничего со мной не сделается, к вечеру встану. Каши ты мне наварил, чай будет, а больше ничего и не надо. Врачи обещали подъехать?

— Часов в десять утра.

— Ну и все, можешь катиться колбаской.

Они оба рассмеялись: Максим Тимофеевич в знак того, что пошутил, Лапенков в знак того, что шутку понял.

— Ну хорошо, раз вы настаиваете.

— Настаиваю!

— Ладно, схожу, отмечу командировку... Видите, при желании можно договориться по-человечески.— Лапенков пнул ящик с краниками, стоявший у изголовья его кровати.— Мертвый металл, а как обволакивает. И не заметишь, как станешь шестеренкой. В экстазе покорения, так сказать.

Неторопливо одевшись, он вышел.

И снова царапнули Максима Тимофеевича слова парня. Это что же, Кочегуров — шестеренка?! Так понимать этот намек? Из жизненного опыта Максим Тимофеевич знал: по-настоящему хороший человек не может думать плохо, хороший человек и поступает и думает хорошо. А парень-то ведь хороший. Молод еще, кое в чем, конечно, переживает по молодости, но ведь хороший парень-то, человек! Значит, что же получается? Максим Тимофеевич Кочегуров — шестеренка? А сам парень не шестерит разве по снабженческой части? Как не быть шестеренкой, коли надо, чтобы машина крутилась исправно?! Раньше, еще вчера, такой довод мог бы полностью восстановить его душевный покой,— теперь Максим Тимофеевич, как тот человек, который высовывается за мнимый купол неба на картинке в учебнике астрономии, увидел вдруг, что там, за куполом, есть иные дали...

Он перебирал в памяти прожитую жизнь, словно прощупывал в подкладке старого пальто схоронившуюся заветную монетку, которой как раз не хватает до полной суммы. И, конечно же, хитрил перед собой: разве дело в каком-то случае, в какой-то ошибке? Мало ли было у него оплошностей в жизни — и по его вине, и по «дядиной» — всякое бывало. Никаким случаем, никакой оплошкой не объяснишь себе, почему отошли от него старые друзья, почему дочери так рвались из дому замуж, почему Груша так и норовит улизнуть к дочерям, хоть и несладко ей там: как домработница у них. Почему сам он чувствует в себе неладное, какую-то вымороженную сухость, холод и равнодушие ко всему, кроме... своих снабженческих забот. Дело! А как же иначе?

Но парень упрекал его не за то, что вкалывает на совесть. Тот и сам, видно, работяга, коли не гнушается и черновой работы, к тридцати двум так измахратился. Дело тут в чем-то другом...

Максим Тимофеевич оцепенело лежал в холодной комнате гостиницы, и мысли его постепенно вернулись к оставшейся в далеком прошлом родной деревне, которую он помнил смутно-смутно, к полям и лесам, небу, воздуху и теплу. Ему захотелось сейчас очутиться на родине, постоять в горячей пыли босиком на краю просторного поля колосющейся пшеницы, чтобы не было ни ветерка, ни тучки, а в небе пели бы жаворонки...

Ему верилось, что побывай он там, на родине, и все в нем возродится и зарубцуется, перегорит и восстанет из пепла, он омоется живой водой и начнет новую жизнь. Только бы выружить на этот раз, только бы выбраться из этой гостиницы, из этого холодного города, только бы вернуться домой в Москву. И плевал он на краники — пусть молодые приезжают и выколачивают тут эти железки головой об стенку! Он мечтал, как тотчас по приезде оформит выход на пенсию, соберет дома шумное застолье, как рад будет всем и каждому, как потом начнут собираться с женой в родную деревню, покупать гостинцы

полузабытой родне. В мечтах он уносился еще дальше: веселое раздольное село в цветущих вишнях и яблонях, чистый домик с палисадником, смолистое крыльцо, пять-шесть ульев, рядом лес, речка или озеро, лодочка, удочки...

Из коридора донеслись хлопанье дверей, тонот ног, скрипы лестничных ступеней, тяжелые шаги на втором этаже. Вскоре наверху снова забухало: кто-то протопал к лестнице, спустился на первый этаж, сильно ударил в дверь, она с треском **распахнулась**, стукнув ручкой по дверной ручке в ванную. В комнату **ввалился** человек в черном полубубке, волчьей огромной шапке, мохнатых унтах. Руки его были заняты: в правой он держал массивные рога сохатого, обернутые бинтами, в левой — большой кожаный чемодан с ремнями и застежками, дорогой, добротный чемодан. Понизу несло морозный воздух — парок так и клубился вокруг человека.

— Дверь-то закрыть бы надо, — ворчливо сказал Кочегуров, снизу искоса разглядывая вошедшего.

Человек согласно кивнул, зорко озирая внутренность комнаты и явно приглядывая себе место.

— Сделаем, отец, — сказал он, подмигнув при этих словах. — Это мы сделаем, дай только руки освобожу.

Он бросил рога на неразобранную постель, грохнул чемодан на стул и пошел в прихожую закрывать дверь. Дверь он закрыл с такой силой, что Максим Тимофеевич почувствовал лицом холодную волну, дошедшую из коридора. Человек вернулся в комнату, сбросил на кровать полубубок, шапку, собачьи рукавицы. Поваяло крепким запахом псины, водки, пота и табака.

— Отдыхаем, значит? — спросил человек, глядя не прямо на Максима Тимофеевича, а как-то все озираясь, отворачивая красное ядреное лицо, словно был косоглазым.

— Отдыхаем, — нехотя сказал Кочегуров.

Незнакомец весело **рыкнул**, **взъерошил** **слежавшиеся** под шапкой влажные волосики, **отчего** стал казаться **помоложе**, лет этак сорока.

— А я на завод, менять свое дерьмо на местное, — сказал он и затрясся в приступе короткого искреннего смеха. — Я им рога и кое-что еще, они мне байпасные краны малой серии.

Похохатывая, человек **рыхлой трусцой** **кинулся** в ванную. Максим Тимофеевич сплюнул и даже **застонал** с досады: еще две минуты назад все было ему ясно с кранками — теперь же расклад резко менялся. Он словно забыл то, о чем только что думал. Сама мысль, что этот хапало с рогами может опередить его, была для него невыносима.

Человек долго шумел водой и плескался в ванной, отфыркивался, как лошадь, взрыкивал и свистел, наконец вернулся в комнату голый до пояса, мокрый, волоча за ворот свои одежды — нательную рубашку, верхнюю, свитер и **пиджак**. У него оказался розовый выпуклый живот и отвислые груди в рыжих курчавых волосиках. Швырнув одежду, он вытерся сразу двумя полотенцами, льняным и махровым, скомкал их и так, комом, бросил на кровать.

— А ты, отец, не занемог ли? — спросил он небрежно.

Максим Тимофеевич пробурчал, что, дескать, никого не касается, занемог он или замог. Незнакомец игры слов не оденил и продолжал допрос на полном серьезе:

— Геморрой?

— Грыжа.

— Ух ты! Один — ноль. У меня лет пятнадцать, так кажется, что у всех он. Выспрашиваю, может, кто средство какое знает, хочу излечиться.

— Жрать надо меньше, — посоветовал Максим Тимофеевич.

Незнакомец уловил, что подразумевалось под словом «жрать»!

— Эх, батя, разве ж можно без любви прожить? Кабы бросить, тогда вообще никаких проблем. Как излечиться не бросая?! Ее, подлюгу, стороной обходишь, она сама находит. Друг, брат, сват, ты — мне, я — тебе, тыры-пыры носом гири, два по двести — кило вместе. Нашему брату как без нее? Жизнь замрет, и производство встанет. Век-то энтээр: нальешь — тогда работаю.

Болтая, он ловко между тем одевался и, напялив пиджак, сказал: — Вот сейчас пару бутылей на карман и — куда? С визитом доброй воли! Метишь из угла в ворота, бей вертуна.

Открыв чемодан, он извлек оттуда две плоские бутылки, наполненные бесцветной жидкостью, название которой не оставило у Максима Тимофеевича никаких сомнений. Незнакомец сунул их в боковые карманы пиджака в приговорочкой:

— Пыты — вмэрты и не пыты — вмэрты, так лучше уж пыты и вмэрты, чем не пыты — и вмэрты.

Расческой и ладонью он пригладил редкие свои волосы, нахлобучил шапку, влез в полушубок, взял рога и помахал рукой:

— Ауфвидерзина!

Когда за ним с грохотом закрылась наружная дверь, Максим Тимофеевич приподнялся на локтях, повернулся и, придерживая дыхание, сел, опустив ноги на пол. Сердце билось ходко и неправдоподобно шумно, оно словно бы вскидывалось там, как вскидывается попавшая в силко небольшая птица. Удары его толчками оттопыривали на груди плотно облегающую трикотажную рубашку, и казалось, не будь этой сиреневой пружинящей ткани, оно так и выскочило бы наружу.

Вынув из-под подушки мандат, Кочегуров осторожно поднялся, постоял, держась одной рукой за поясницу, а другой сжимая сложенный вчетверо лист, потом сделал шаг, другой, пошел, семеня и покачиваясь. У койки Лапенкова он остановился, положил мандат на подушку — пусть сразу заметит! — присел над ящиком с краниками, взялся за оттянувшуюся веревку и на корточках мелкими бережными шажками попытался к своей койке. Он дышал прерывисто, осторожно, чуть схватывал воздух перекошенным ртом и тут же выдыхал. Движения его были медлительны, но неуклонны. Он чуть откидывался на спину короткими рывочками — вслед за ним скользил, двигался тяжелый армейский ящик. На полпути ящик вдруг зацепился за что-то, движение застопорилось, и Максим Тимофеевич бухнулся на колени.

Он долго стоял на коленях, с неуклюже вывернутыми ступнями, упираясь дрожащими руками в ящик, пережидая, пока сердце не войдет в обычный размеренный ритм. Сейчас оно билось с какими-то пугающими провалами, от них мутилось и путалось в голове, темнело перед глазами, и он как бы терялся в пространстве. Он стоял, как лама на молитвенной доске, и в его то темнеющем, то светлеющем сознании сам собой молитвенно плелся невнятный словесный речитатив. «Сейчас, сейчас, подожди, подожди», — бормотал он, сопротивляясь соблазну припасть к манящей твердости холодного пола. Жизнь до срока состарила его, но и развила в нем упорство сродни неживой природе — камню, металлу, мертвой древесине. Сам он не смог бы ни понять, ни объяснить такого упорства в себе. Ему было немного стыдно: ведь по сути во второй раз покушается на чужие краники, нарушает свое же собственное слово, скатывается в прежнюю колею жизни.

Но стыд этот ничуть не трогал его, скользил где-то поверх его души, не проникая в нее. Да, он сознавал, что снова поступает дурно, нечестно, но сознавал и другое: если бы не было перед ним этого тяжелого ящика с краниками, если бы не связан он был через эти краники с огромным заводским механизмом, работающим за две с половиной тысячи километров отсюда, то, наверно, еще вчера околел бы в этом глухом заштатном городке. Он подобрал поудобнее ноги, уперся одной ру-

кой в пол, а другой начал поталкивать ящик в обратном направлении, пока тот не сдвинулся и не сошел с мели, на которой сидел. Налегая на него всей тяжестью, он отпихнул его еще дальше и в сторону, чтобы обнаружить помеху и обойти ее при следующей попытке. Увидев шляпку гвоздя, торчащую из облупленной половицы, он обрадовался так, что защипало глаза.

Теперь, прежде чем браться за ящик, он осмотрел путь до своей койки, тщательно и дотошно проверив каждый сантиметр. Удобнее всего оказалось двигаться ползком, сидя на боку и упираясь рукой в пол. Чтобы обойти шляпку, пришлось сделать зигзаг, но это не смутило Кочегурова, теперь он не спешил — наоборот, он как бы смаковал каждое свое малейшее передвижение, как бы любовался своей тонкой работой, словно рисовал или складывал из мозаики большую картину. Он не чувствовал ни ледяного холода, исходившего от пола, ни сквозняка, который шевелил его седые встрепанные волосы, и не замечал пота, что каплями висел на бровях и кончике носа. Он знал, что дотянет ящик до передней ножки изголовья и что, пока не сделает эту работу, ни черта с ним не случится, а что будет дальше, об этом не думал, хотя и предчувствовал, что лучше бы ему тащить этот отлично сбитый армейский ящик как можно дольше.

После каждого неторопливого рывка он краем глаза поглядывал через плечо — спинка кровати казалась еще вполне в безопасном удалении, но чем ближе он подбирался к цели, тем все короче становились рывки, тем все тяжелее казался ящик, все слабее руки. И наконец наступил момент, когда, обернувшись, он чуть не стукнулся лбом о торчавшую возле самого лица ножку кровати. И тогда в невольном страхе он стал двигать ящик под койку, стыдясь своего страха, но не имея сил совладать с собой. Он тут же придумал оправдание: так надо было, так он задумал с самого начала: поставить ящик не в изголовье, а под койку и как можно глубже! Чтобы не сразу заметили...

— Что с вами? Что вы делаете?!

Голос донесся до него глухо, смазанно. Он расслышал его с трудом, словно говоривший прикрывал рот полотенцем или варежкой.

Сильные руки подхватили его, бережно подняли с пола. Голова его запрокинулась, и в сумеречной полутьме он различил над собой напрягшееся молодое лицо. Оно показалось ему знакомым. Он попытался взглянуть в него, но оно уплыло куда-то, потом снова мелькнуло, проявившись сквозь яркие пляшущие пятна. «Это парень, — догадался он. — Опять валандается...» И будто внутри себя услышал глуховатый, с нотками отчаяния голос Лапенкова: «Не поверил, перетащил отсюда вот сюда». — «Чудовищно!» — откликнулся женский голос.

Ему представилось, будто сердце его вынули у него из груди, положили на армейский ящик и тащат сквозь густое поле колосющейся пшеницы. Колючие стебли царапают его, покалывают, спелые колосья раскачиваются мохнатыми метелками, зерно осыпается, падает. Черная полоска земли обильно посыпана зерном и смочена кровью, его кровью. Смятые стебли выпрямляются и снова смыкаются ровной стеной, словно никто никогда их не тревожил.

Его вернули с того света. Когда он очнулся, его осторожно переложили с койки на носилки. Мутными умоляющими глазами он отыскал Лапенкова, склонился на ящик с краниками. Лапенков нагнулся над ним, чтобы расслышать то, о чем он просил. «Ящик... со мной... пусть со мной... пойми, тут приехал... со спиртом... мандат у тебя... беги на завод... предъяви...»

Его внесли в машину «скорой помощи», и он все силился приподнять голову, хотел убедиться, что краники не остались в гостинице. Лишь когда Лапенков с шофером втащили в машину и ящик, он с облегчением закрыл глаза.

Александр Сазонов

ГЛУБОКОЙ НОЧЬЮ

Дом напротив повылкочил окна,
Словно канул в провальную вьюгу.
От настольного света волокна
Заструились по малому кругу.

В этом круге, единственно сущем,
Ночь связала, как будто нарочно,
И просторную мысль о грядущем,
И тоскливую память о прошлом.

Все вдруг видится четко и крупно.
И приходит такое мгновенье:
Недоступное — сразу доступно,
И в душе настает просветленье.

Да! Ничто в этом мире не вечно.
Но не надо других измерений.
Смерть мгновенна,
А жизнь бесконечна
Даже в муках своих превращений.

БОНЕЦ ЖАТВЫ

Вот и поле — последнее — скошено.
Долгий взгляд из-под красных век.
И в тени от комбайна умолкшего
Лег ничком на траву человек.

Положил кулачице под голову —
Будто слился с простором родным.
В зыбких звонах,
В обрывках разговоров
Спрокинулось небо над ним.

И поплыло туманами редкими,
И повисло на ближних кустах.
Тише, травы,
Близко под ветрами:
Человек засыпает...
Устал...

Сон спокойно ложится на душу.
Пахнет свежей стерней.
Никого...
И земля, как родимая матушка,
Потихоньку качает его.

* * *

Соловьи поют за Хопром,
От избытка любви изнемогли.
А на небе Медведицы ковшик
Донце сушит над нашим костром.

Соберу луговую росу
В этот ковшик по маленькой капле
И, чтоб души добром не иссякли,
Вместо чарки друзьям поднесу.

Мать-земля!
Разреши, не жалея
Твоей силы отпить хоть немного,
Чтоб на будущих наших дорогах
Отчий край
Становился милей.

И какой бы ни грянул гром,
Пусть бы он позабыть не заставил —
Хоть в падении горьком,
Хоть в славе, —
Как поют соловьи за Хопром!

* * *

Без мечты и без придумки
Ты подобен нищей судьбе:
Ничего в дырявой нет.
Чтобы жить не вполовину,
Надо выдумать машину,
Пусть она —
Велосипед.

Можно выдумать заботы
И еще такое что-то,
Что в душе посеет новь.
Если дни пустыми стали,
Можно выдумать печали,
Можно выдумать любовь.

Жить захочешь интересней,
Сказку выдумай
И песню,
Дело выдумай, любя...
Но на маленькую малость,
Как бы сладко ни казалось,
Не выдумывай себя.

* * *

Не морочьте голову,
Кто и сколько нажил.
Как родимся голыми,
Так и в землю ляжем.

Станем прахом в замяти...
Только то и суще,

Что оставим в памяти
На земле живущих.

А живущим дорого
В памяти неближней,
Кто и сколько доброго
Совершил при жизни.

* * *

Своих друзей
Встречая хлебом-солью,
Ты память и о том побереги,
Что мужество,

уверенность

и волю

Нам обрести
Способствуют враги.
И сам не бойся
Недруга обидеть.
Уж так оно
Велось из века в век:
Тебя должны любить
И ненавидеть,
Тогда —
Ты настоящий человек.

Олег Юрков

ОЧКИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Загорелись вечерние краски.
Над водою — громады сетей.
Все музеи похожи на маски
дорогих и далеких людей.

Летом кто только здесь не бывает?
Ярок свет, обстановка проста.
Дом как дом. За окном проплывает
многозное тело моста.

Прохожу от экскурсий в отрыве,
слева женщина в сером платке.
Ярче прочих предметов в витрине
два овальных стекла в ободке.

Из Вилуйска, должно быть,
вернулись
в золотую приволжскую степь.
Не сломались очки, не погнулись.
Им веками под солнцем блеснуть!

В них —
готовность к любым испытаньям,
в них — простор необъятной страны.
Мы глядим на очки со вниманьем
то с одной, то с другой стороны.

И, пройдя сквозь года, расстоянья,
земли многих народов и рас,
свет борьбы, а не свет покаянья —
взгляд оттуда пронзает и нас.

Входят школьники, по двое, по три.
Молодежь заполняет крыльцо.
Светлый сон Вера Павловна смотрит,
над очками склоняя лицо.

* * *

Не знаю, что останется в итоге,
но верю в современность, в чудеса.
По узенькой коричневой дороге
плывут друзей далеких голоса.

Умолкшие, они звучат поныне.
Так звезды угасают в вышине,
так солнце тает в ледяной теснине,
джигит летит на вороном коне.

В магнитофоне — перезвон металла,
знакомый говор на краю села.
Метель коня с дорогой сочела,
дорогу с ледником переплела.

Ни выстрела, ни слез,
ни разобщенья.
Над пропастью поющие мосты.
И вновь прохлада Бзыбского ущелья
и глинистые камни Гумисты.

Уйти от звуков — под какую крышу?
Подъем и спуск.

И каждый всадник лих.
Я вижу снова тех, которых слышу,
люблю, дышу и думаю за них.

Реки и моря трепетно слиянье.
Песок, рукопожатий теплота.
И кажется ничтожным расстоянье
от Невки до Кавказского хребта.

* * *

В малиннике пылают свечи,
над яблоней кружится шмель.
Безшумным парусником вечер
врезается в морскую мель.

С опушки слышится гитара.
Запевочки невдалеке.
Под медный шепот самовара
сидят хозяйки налегке.

Они забыли про лопаты.
Работа — вечно впереди.
Их плечи бронзовые, покаты,
глубокий вырез на груди.

Друг другу души отворили.
Косынки по ветру летят.
Уж обо всем поговорили,
а расходиться не хотят.

Лохматый пес ложится в ноги.
Сынам по восемнадцать лет.
Какие радости, тревоги
подарит завтра белый свет?

Какой конверт разлуку скрасит?
Кто тайны сердца сбережет?
Кто свечи старые погасит,
кто звезды новые зажжет?

Три рассказа

СЧАСТЛИВЫЙ

— Да плюнь ты! — говорю я ему. — Плюнь!

Я беру бутылку и наполняю бокалы.

— Давай!

Я киваю ему, и мы выпиваем, не чокаясь.

Мы сидим в кафе в центре города и пьем «Гурджаани».

Сколько времени прошло с нашей последней встречи, не помню. Может, год, а может, два. Это не имеет значения. Потому что и прошлый раз, и позапрошлый мы так же сидели здесь, в этом кафе, и раньше, когда тут еще не было кафе, а была обыкновенная столовая. Мы сидели друг против друга, и я разливал водку или портвейн, или не помню уж что, и так же говорил ему:

— Да плюнь, старик, плюнь!..

...Лет десять назад. Мы сидим в столовой. Вокруг едят, разговаривают, разливают под столиками.

Он держит в руках книгу.

— Понимаешь, — застенчиво говорит он, — она сказала, что не знать про импрессионистов стыдно. Вот, я купил...

Я беру у него книгу, листаю.

— Старик, она права, — говорю я. — Импрессионистов, старик, надо знать...

С моей стороны это чистой воды лицемерие. Все, что я знаю сам про импрессионистов, — это что там были два художника с одинаковыми фамилиями, только один через «а», а другой через «о». Кроме того, Ван-Гог отрезал себе ухо, про это я тоже слышал...

— Ну вот, — обрадованно говорит он. — И она так сказала...

И теперь, ясно, он возьмется за живопись. Он будет читать книги, ходить в музей и посещать лекции. Через месяц он уже сможет писать диссертацию об импрессионизме, а заодно — о кубизме, о передвижниках или о наскальных рисунках.

Над ним все издевались еще в институте. Все, кроме меня. А она на него вообще не реагировала. Никак. Сначала я тоже над ним посмеивался. А потом он стал со мной всем этим делиться. И я стал советовать ему плюнуть,

Проходит несколько лет. Мы уже закончили институт, распределились. И снова мы с ним сидим за тем же столиком. На небелоснежной скатерти стоит полупустая бутылка. Я разливаю и говорю:

— Старик, это уже просто смешно. Сколько можно? Плюнь! Пора!

— Я ей письмо послал,— говорит он.

— Ну? — спрашиваю я.

— Не ответила,— говорит он и пожимает плечами.

— Может, не получила? — говорю я умную вещь.

— Получила,— серьезно говорит он.

— Слушай, старик,— энергично говорю я.— Пора с этим кончать. Что такое, черт подери? Езжай на юг! Море, солнце! Кипарисы, абрикосы!

Я наливаю, мы пьем. Я чувствую себя стреляным воробьем. И действительно, рядом с ним...

— Я все понимаю,— говорит он.— Идиотство, конечно...

— Вот-вот! — подхватываю я.— Идиотство! В наше время... Чтоб свет клином... Чтоб столько лет... Вот я, например...

— Ты — другое дело,— говорит он.

Он прав. Я — другое дело. Говорят, у меня в глазах есть что-то такое... Что-то такое в глазах, и еще волосы с проседью. В общем, я-то могу позволить себе плюнуть...

Проходит еще год или два. Место действия — то же. Стучат ложки, звенят рюмки, шаркают между столиками официантки. За пыльными окнами — улица. Он смотрит в окно и говорит:

— Она замуж выходит.

«Слава богу»,— думаю я.

— Он какой-то военный. Вроде моряк...

«За тех, кто в море»,— хочется мне сказать, и я говорю:

— Старик, поверь, это к лучшему. Ты наконец посмотришь и увидишь, как прекрасен этот мир, понял? Смотри, какие девочки пошли! Понял? Все, старик! Встряхнись!

— Да,— откликается он.— Наверное, так лучше.

— Давай! — говорю я, и мы пьем.

— А как Лиля? — спрашивает вдруг он.

Я не сразу вспомнил, что прошлый раз, когда мы встретились, со мной была девушка Лиля. Из консерватории. Это был период, когда я пересчитал все люстры и колонны в Филармонии, в Капелле и в Концертном зале...

— Нормально,— говорю я.— Давно не видел.

Мы допиваем остатки вина, выходим на улицу.

— Пока,— говорит он.

— Звони,— отвечаю я.

И мы расходимся.

Время идет, потому что седины у меня прибавляется. Следовательно, чего-то такого во мне все больше.

Мама, правда, волнуется, говорит, что в моем возрасте уже пора иметь нормальную семью. Я хороший сын. Я попробовал иметь семью, она оказалась нормальной — просуществовала четыре месяца.

Про него я узнаю через общих знакомых. Он вроде тоже женился. Потом вроде тоже развелся. Потом вроде куда-то уезжал. Потом вроде вернулся.

Вернулся он не вроде, а точно, потому что мы сталкиваемся с ним у входа в эту самую столовую, только она теперь уже не столовая, а кафе.

— Ну вот,— говорит.— Вот такие дела.

А дела такие, что уезжал он куда-то на север. А уезжал он потому, что ее мужа перевели на север, и, ясно, его тоже потянуло к полюсу.

— Вы виделись? — спрашиваю я.

Он не отвечает.

Подходит официантка, я заказываю бутылку «Гурджаани».

— А я женат был,— говорит он.— Не слышал?

— Слышал,— говорю я.

— Вот такие делишки,— говорит он и замолкает.

Официантка приносит бутылку, ставит на столик.

Тогда-то я и наполняю бокалы, говорю, чтоб он плюнул, киваю ему, и мы выпиваем, не чокаясь.

— А знаешь,— говорит он после молчания. — У нее девочка. Большая уже.

И он смотрит на улицу.

Я беру бутылку, снова наливаю вино в бокалы и снова хочу сказать ему привычное «плюнь!». Но в этот момент он поворачивается, и мы встречаемся взглядами. И в его глазах я вижу что-то такое, что нельзя объяснить, а можно только почувствовать. И я это чувствую. И еще я чувствую против него раздражение, злость и обиду и не могу признать-ся — отчего.

Не могу, потому что в зависти — не признаются.

И потому я ничего не говорю ему, а пью молча.

СУББОТНИЙ РАССКАЗ

Мне тут сказали: «Вы, знаете, стали какой-то злой. Вот раньше вы добрее были, и сатира у вас была добрая, не говоря уже о юморе. А теперь все это не такое доброе. Нехорошо как-то получается, товарищ».

Действительно, нехорошо. Сам чувствую. И поэтому пишу добрый рассказ. Все герои тут будут добрые. И конец жизнеутверждающий.

Начать с того мужика. Он мало того, что добрый был. Он еще был жутко везучий. Потому что вообще-то он уже замерзать начал. Он возле троллейбусной остановки в снегу лежал, и его уже слегка припорошило. Ну, люди, конечно, видели, но, конечно, внимания не обращали, потому что думали: «Лежит, ну и лежит. Суббота».

Но он все-таки жутко везучий был, потому что на его счастье мимо одна старушка шла. Она была добрая. Но только очень сгорбленная. И благодаря этому она услышала, что тот мужик стонет.

Она ему ласково и говорит:

— Ну что, сынок, веселись?

А он ей говорит:

— Сердце у меня. Вызовите «скорую», пожалуйста.

Вот слово «пожалуйста» старушку так ошеломило, что она перекрестилась и попятилась.

И тут — опять-таки на счастье этого мужика — мимо шли два добрых энтузиаста, которым всегда до всего есть дело.

И они старушке говорят:

— Что, бабка, он к тебе пристаёт?

Она им говорит:

— Он мне «пожалуйста» сказал.

Они тоже удивились:

— Ты скажи,— говорят,— до чего доился! А вот сейчас мы его в пикет!

А старушка-то дальше пошла, думая, что, наверное, человек навеселился так с радости, потому что — с чего ж еще?

А мужику тем временем, видать, снова стало хуже, потому что он стонать даже уже перестал.

Тут первый энтузиаст наклонился, носом поспеел и второму говорит:

— А запаха-то не чувствуется!

А второй энтузиаст ему говорит:

— Запах не чувствуется — это потому, что мы с тобой сами от мороза слегка приняли. Вот у нас обоняние и притупилось.

И они уже хотели его поднять, но на счастье того мужика мимо как раз шел его сосед по лестнице, и он увидел, что энтузиасты над кем-то хлопочут, и поближе подошел, чтоб поинтересоваться. И он им говорит добрым голосом:

— Ребята, я этого мужика знаю. Он на нашей лестнице живет. Он профессор.

А энтузиасты ему и говорят:

— Знаем! Как на тротуаре нарушать, так все профессора!

А он им говорит:

— Нет, ребята, он точно профессор. Только раньше он от этого дела всегда отказывался. Говорит, нельзя из-за сердца. А сам вон значит как — в одиночку. Вы, ребята, его в пикет зря не тащите, а по-хорошему — прямо в вытрезвилку.

И сосед мужика, сказав такие слова, пошел своей дорогой, слегка покачиваясь.

И тут как раз мимо проезжала машина с красным крестом, но не «скорая», а та, которую в народе называют «хмелеуборочная». И энтузиасты махнули ей рукой, чтоб она остановилась. Но она не остановилась — была уже полная. Тогда энтузиасты попытались мужика сами поднять, но не смогли.

Первый энтузиаст говорит:

— Он прямо, как комод, тяжелый. Давай-ка, может, нам кто подсобит.

Но никто из прохожих не захотел им помогать тащить мужика, потому что — кому охота?

И тогда первый энтузиаст говорит другому:

— Я пойду в пикет, за подмогой, а ты здесь оставайся.

И он пошел, а второй остался. А мужик, видать, снова в себя пришел и даже приподнялся на локте.

Тут его и увидела одна добрая женщина с сумкой. Она с самого утра ходила, искала мужа, потому что он как ушел вчера с друзьями, так до сих пор и не пришел. И она этого мужика издали увидела и решила, что это ее муж, и к нему побежала, чтоб его трахнуть сумкой по голове. Но подбежала поближе, видит, что обозналась, и на счастье этого мужика не трахнула, а только закричала:

— Вот ироды!

А мужик ей говорит:

— Плохо мне.

А она ему:

— Еще б тебе не плохо! Плохо ему!

И дальше пошла — искать.

А мужик опять лег в снег.

Тут энтузиасту, который его сторожил, одному стоять надоело, и он пошел искать своего товарища, и мужик один остался лежать. Но лежал он уже недолго, так как на его счастье та старушка, что его первая нашла, все-таки доковыляла до автомата и «скорую» вызвала, потому что ей все не давало покоя, что он ей сказал «пожалуйста». А за добро добром платят.

И вот «скорая» приезжает, и врачи видят: мужик в снегу. И они сперва разозлились, потому что они тут ни при чем, это милиция долж-

на их забирать, но потом смотрят — тут другое дело, и они его тут же подобрали и увезли.

Так все и кончилось по-хорошему. Только неизвестно, что с тем мужиком врачи сделали, чтобы он выжил.

А он точно выжил! Потому что, во-первых, врачи, конечно, попались хорошие. Во-вторых, мужик очень уж везучий был. А в-третьих, рассказ, повторяю, добрый, и значит, должен быть со счастливым концом.

ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ

Сначала я пустил горячую воду. Затем, постепенно добавляя холодную, установил свою любимую температуру: не слишком горячо, но в то же время — чтобы руки интенсивно прогревались. Я намылил руки душистым мылом. Мылил долго и тщательно. Затем мыло смыл. Потом вытер руки насухо полотенцем махровым; полотенце было жестковатым, но приятным на ощупь. Повесив полотенце на изогнутую теплую трубу, чтобы оно скорей высохло, я сделал разминку пальцами рук — сгибал их и разгибал. Затем со стеклянной полочки левой рукой взял ножницы — блестящие, новые, слегка изогнутые на концах, продел в кольца ножниц большой и средний пальцы правой руки и пощелкал ножницами в воздухе. Чуть туговаты были ножницы, но щелкали хорошо.

Начал я с левой руки. Подогнув все пальцы, я оставил вытянутым вперед один мизинец и принялся аккуратно стричь, медленно поворачивая мизинец так, чтобы линия среза была ровной и закруглялась плавно. После горячей воды ноготь стал мягким и хорошо поддавался, не крошился на отдельные кусочки, а отходил сплошной тоненькой стружкой, таким светлым полумесяцем...

Мизинец удался! Ни малейшей зазубрины, ни мельчайшей неточности. Тут было изящество, которое не бросалось в глаза, но тем не менее не могло остаться незамеченным. Мизинцем можно было гордиться.

Перед тем как приступить к безымянному пальцу, мне пришлось сделать небольшую паузу: я куда-то поступал, потом что-то окончил, кажется, институт. Но это было, пожалуй, даже кстати: ведь безымянный палец очень труден, он гораздо менее подвижен и послушен, чем остальные, к нему нужно приступать отдохнувшим, свежим. Разумеется, самое сложное — это безымянный палец правой руки (если вы не левша), но и левый тоже не подарок...

Когда наконец я вытянул безымянный палец вперед, мизинец тоже поднялся вверх, будто был связан с безымянным каким-то соглашением. Это меня позабавило и даже как-то тронуло.

Я уже поднес к пальцу ножницы, уже развел кольца, как вдруг ударил телефонный звонок. Сердце заколотилось.

Я снял трубку. Какой-то женский голос. Из разговора я понял, что звонила моя невеста. Ну, разумеется, я не забыл, что сегодня наша свадьба. Нет, нет, не забыл... Впрочем, оказалось, что свадьба состоялась накануне. Там положили трубку.

Этот звонок внес какое-то смятение, и, вернувшись в ванную, я долго не мог успокоиться. В самом деле, если свадьба уже была, значит, все хорошо, тогда звонить было незачем. Если же свадьбы не было, то тем более нечего звонить... Все это было странно.

От нервного возбуждения руки стали холодными. Я снова открыл кран и подержал руки под горячей водой, вытер высохшим уже полотенцем и вновь взял ножницы. Вновь вытянул я безымянный палец,

отчего мизинец вновь поднялся немедленно — и это меня немного успокоило.

Я весь погрузился в работу. Кажется, снова что-то звенело — телефон или дверной звонок. Впрочем, быть может, это мне просто казалось. Однако, когда я закончил этот нелегкий палец и смог перевести дыхание и расслабиться, я услышал, как за дверью кто-то сказал:

— До свиданья, папа!

Потом шаги простучали в коридоре, хлопнула входная дверь.

Кто это был? Кто с кем прощался в моей квартире? Может быть, со мной? Но почему — «папа»? Очень любопытно...

Со средним пальцем не было абсолютно никаких хлопот. Четкое движение ножниц — и эта линия среза могла бы соперничать с линией мизинца.

Так же славно удался и указательный палец. И тут какое-то неприятное предчувствие заставило меня вздрогнуть. Предчувствие не обмануло. В тот самый момент, когда я был уже готов приступить к ответственному большому пальцу, дверь ванной распахнулась и какая-то женщина с порога закричала:

— Я уйду! Я больше не могу! Я хочу еще немного пожить нормально!..

Она была, пожалуй, средних лет, в ее гневном лице было что-то знакомое. Я не успел ничего сказать, я даже не успел положить ножницы на полочку, как она резко повернулась и исчезла за дверью. Потом я услышал голоса, какой-то шум — кажется, выносили мебель. Это было ужасно — нет ничего хуже, чем шум, когда требуется сосредоточенность и внимательность.

Тем не менее мне удалось довольно быстро и качественно закончить большой палец, и, придирчиво осмотрев все, сделанное на левой руке, я остался весьма удовлетворен.

Я не мог бы точно сказать, когда именно впервые услышал звуки рояля. Кажется, это произошло сразу после того, как я переложил ножницы из правой руки в левую. Да-да, кто-то методично выводил гаммы, хотя я точно помнил, что у меня нет рояля. С этого момента музыка не прекращалась. И не только музыка!

Теперь я часто слышал из-за двери самые разные звуки — причем они, по-видимому, шли даже не из комнат, а вообще откуда-то извне.

Звуки то усиливались, то слабели — это были возгласы, топот ног, тархатенье трактора, гул толпы. Гремели марши, раздавался плеск аплодисментов, слышался шелест деревьев, завыванье ветра... Прежде я этого не замечал, а теперь, возможно, где-то открылось окно, или случилось что-то другое. Во всяком случае как плотно ни прикрывал я дверь ванной, как ни затыкал щель под дверью тряпкой — избавлялся от шума я не смог.

Ничего не оставалось, как приспособливаться. Это было непросто, потому что, когда уже привыкало к возгласам, тархатенью и аплодисментам и переставало их замечать; фортепьянные гаммы становились особенно раздражающими.

Где-то между большим и указательным пальцами правой руки я впервые почувствовал боль в пояснице — сказалось, видимо, постоянное напряжение спины. С этого времени я стал работать сидя. Сидел я на краю ванны, это было неудобно, но так поясница болела меньше. После указательного пальца снова пришлось прерваться — что-то случилось с моей матерью... А затем возник новый фактор — в доме появился маленький ребенок. Чуть не ежечасно слышался плач. Зато прекратились гаммы: вместо них теперь звучали довольно сложные пьесы.

Однажды я совершенно отчетливо услышал незнакомый мужской голос, который сказал: «Попроси его. В конце концов, это его внук!» А женский голос, также незнакомый, ответил: «На него нельзя оста-

вить даже собаку». Да, несомненно, в доме завелась собака. В дверь неоднократно скреблись, и часто раздавался залиvistый лай.

Трудности множились. К среднему пальцу ножницы сильно затупились и почти сплошь покрылись ржавчиной. Неизвестно отчего стали дрожать руки — сперва мелкой, почти незаметной дрожью, а затем все сильнее. А ведь мне предстояло заняться безымянным пальцем правой руки — самым сложным из всех!

Призвав всю волю и весь опыт, я приступил к делу. На рояле в этот момент превосходно играли Двенадцатую рапсодию Листа. Трудно было не слушать, тем более, что слух мой обострился до чрезвычайности. Скорее всего это было связано с тем, что к этому времени я уже полностью потерял зрение. Контролировать качество работы я мог теперь только ощупью. И, судя по всему, безымянный палец правой руки удался даже лучше своего левого собрата.

Итак, оставался только мизинец правой руки — последний!

И тут случилось непредвиденное — я уронил ножницы. Превозможная боль в пояснице, которая была теперь уже постоянной, я опустил на корточки и стал шарить руками по полу. Сквозь щель доносились всевозможные звуки — чириканье, шум листвы, детский смех, удары по мячу, журчание воды... Надо всем царил ноктюрн Шопена.

И вот, когда я наконец нащупал ножницы левой рукой, что-то остро кольнуло меня в грудь. И я почувствовал, что куда-то лечу... Потом меня несли. Я лежал строго и прямо. Левая рука сжимала ржавые ножницы — видимо, их пытались отобрать у меня, но не смогли.

Если бы я мог еще чувствовать, я бы чувствовал удовлетворение: не каждому удается выполнить задуманное на девять десятых, как удалось мне.

Если бы я мог еще слышать, я бы услышал, что ноктюрн Шопена перешел в какую-то другую мелодию. Кажется, в его же траурный марш.

С ЛЕНИНЫМ, ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ!

В преддверии 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина в селе Шушенском состоялась Всесоюзная конференция «С Лениным, по ленинскому пути». Ее открыл секретарь правления Союза писателей СССР В. Озеров. «Слово о Ленине» произнес Б. Полевой. Участники заслушали доклад доктора филологических наук В. Баранова «Художественный опыт Ленинианы и наша современность».

На конференции выступили представители всех писательских организаций страны и зарубежные гости. Ниже публикуются выступления писателей Ленинграда.

Анатолий Чепуров

ВЕЛИКАЯ, НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ТЕМА

Свое выступление мне приятно начать с того факта, что между Ленинградом и Шушенским давно проложена поэтическая магистраль.

В 1970 году один из ветеранов ленинградской поэзии Всеволод Рождественский посвятил Шушенскому свои стихи, а совсем недавно наша поэтесса Надежда Полякова в главах своего «Лирического дневника» сделала краткую, но выразительную запись. Обозначив село с кабаком и острогом, она продолжает:

Туман над топями болот,
До неба — кедры головами,
...А Родина вершит полет,
Окрылена его словами,

Дело Ленина изменило весь мир. Сегодняшнее Шушенское, как мы успели заметить и всеми силами сердца почувствовать, не идет ни в какое сравнение с тем глухим сибирским селом, где отбывали ссылку борцы за счастливое будущее человечества. Но здесь в неприкосновенной чистоте сохраняется все, что может нам рассказать о великой судьбе, о начале начал нашей революции. Поэтому нам, ленинградцам, многое здесь видится родным и знакомым.

Нам посчастливилось жить в городе, носящем имя Ленина, жить среди площадей и зданий, ставших зримым образом революции. Это ощущение живет в нас всегда: проходим ли мы

по Университетской набережной, которая помнит шаги молодого адвоката Владимира Ульянова, вышедшего из университетских стен в 1891 году, или возлагаем цветы к памятнику у Смольного, откуда в исторические Октябрыские дни Владимир Ильич Ленин руководил восстанием.

Ленинградцы всей своей жизнью, военным и трудовым подвигом оправдали высокую честь.

В Ленинграде с особой силой ощущаешь неразрывную связь времен, гармоничное сочетание современного социалистического бытия с памятниками истории и культуры. Возможно, поэтому писатели нашего города издавна тяготеют к исторической и историко-революционной тематике. Мы очень дорожим традицией, заложенной М. Горьким, В. Маяковским, А. Блоком, подхваченной К. Фединым, А. Толстым, О. Форш, Ю. Тыняновым, В. Шшшковым, А. Чапыгиным. Характерно, что именно в Ленинграде появляются первые опыты научно-художественной биографии Ленина, и знаменательно, что часть из них адресована детям. Назову хотя бы книгу З. Лилиной «Наш учитель Ленин», увидевшую свет еще в 1924 году, и книгу Андрея Иркутова «Ильич и пионеры», образ В. И. Ленина в повести Николая Каткова.

Успехи советской литературы в историческом осмыслении настоящего и в художественном исследовании прошлого с высоты современности общеизвестны и неоспоримы. Историзм нашей литературы отвечает важнейшим духовным запросам современника. Мы хотим дойти до истоков наших побед, постичь процесс, диалектику истории. Мы стремимся к обобщениям, к точным и обоснованным выводам. И, естественно, взор нашей литературы постоянно обращается к Ленину и его соратникам, к творцам новой эры, в которую нам посчастливилось жить. О том, насколько неисчерпаема эта тема, говорит хотя бы тот факт, что лучшие книги, составившие Лениниану последних 10—20 лет, — всем известные произведения М. Шагинян, Э. Казакевича, В. Катаева, А. Коптева, М. Прилежаевой, С. Дангулова, — не только ни в малейшей степени не дублируют друг друга, не только несут печать авторской индивидуальности, но и каждый раз открывают новые грани великого образа.

Ленин и его эпоха не удаляются, а приближаются к нам благодаря широкому художественному исследованию, проводимому литературой. Все ярче высвечиваются образы революционеров, соратников Владимира Ильича и продолжателей его дела. Мы знаем замечательную серию «Пламенные революционеры», выпускаемую Политиздатом, мы имеем обширную документальную литературу о семье Улья-

новых. Должен сказать, что и Ленинградцы внесли существенный вклад в развитие ленинской темы. Для нас работа над образом Ленина и его соратников всегда была пробой гражданской зрелости. Немало творческих сил этой теме посвятил Леонид Радищев. Георгий Холопов создал в книгах «Огни в бухте» и «Грозный год» образ пламенного ленинца С. М. Кирова. Дстойное место в советской Лениниане заняла повесть Петра Капицы «Завтра будет поздно», рассказывающая об исторических днях Октября. Сегодня эстафету от них принял прозаик более молодого поколения — Борис Никольский. Не могу не вспомнить удачных работ наших драматургов — Александра Попова и Даниила Аля, автора киносценария «Ленин в Финляндии». Художественную летопись революции дополнили книги Евгения Воеводина, Николая Кондратьева, Александра Шевцова, Николая Брыкина, стихи и стихотворные циклы Семена Ботвинника, Леонида Хаустова.

Особо хочу остановиться на произведениях последних лет. Совсем недавно советская литература обогатилась рядом научно-художественных книг о семье Ульяновых. Три из них принадлежат ленинградцам: это документальные повести Николая Григорьева «Отец» (об Илье Николаевиче); «Повесть о матери» Елены Вечтомовой (посвященная Марии Александровне) и повесть Владимира Дягилева «Сестра Ильича» (о Марии Ильичичне).

Наша советская Лениниана уже имеет свою историю. Есть основание говорить о ее новом этапе. У нас есть замечательные книги о Ленине-вожде, Ленине — политике, организаторе, литераторе и ученом. С удивительной живостью и полнотой воссоздана глубоко человеческая личность Владимира Ильича. Ныне писателей с особой силой влечет исследование нравственных и гражданских корней ленинской биографии. Отсюда — большой интерес к духовной атмосфере семьи Ульяновых, атмосфере глубокой порядочности, товарищества, демократизма, подлинной интеллигентности. Нравственное воспитание советского человека, как учит партия, важнейшее условие построения коммунистического общества. Жизнь семьи Ульяновых в этом смысле поистине бесценный образец. И слово художника, способного воссоздать ее живой, эмоционально действенной, играет ни с чем не сравнимую роль. Именно поэтому наши литераторы взяли за разработку темы, первопрородцем которой, как мы знаем, является М. Шагинян. Надо сказать, что ленинградцы оказались на высоте поставленной задачи, — таково мнение читателя, критики, научных консультантов. Мне думается, что достоинство книг Григорьева, Вечтомо-

вой, Дягилева не только в богатстве фактического материала: когда читаешь повествование о семье Ульяновых, все очевиднее становится неразрывная связь между высокими моральными принципами и делом революционного пересоздания мира.

Ленинская тема поистине неисчерпаема. Я понимаю ее не только как создание образа вождя в конкретно-историческую эпоху его жизни, но и как дело Ленина, устремленное в будущее, как личное восприятие его гения художником каждого нового поколения, как повторение его духа в живых людях и их свершениях.

Лирика обладает преимущественно глубоко личного, душевного отношения к теме. Наверное, не было и нет настоящего советского поэта, который бы не был призван сердцем сказать свое слово о Ленине. И в Ленинграде могут гордиться тем, что здесь под пером Николая Тихонова, Александра Прокофьева, Виссариона Саянова, Ольги Берггольц, Михаила Дудина, Сергея Орлова родились прекрасные, искренние строки, посвященные Ленину. В исповедальных словах поэта мы переживаем свое отношение к Ленину. Сила поэтического волнения с непреложной убедительностью говорит о том, что значит Ленин для нашей истории, нашего народа. Я вспоминаю строки Сергея Орлова:

Он знамя нес среди сражений,
Там, где коробилась броня.
И я горжусь навеки, что Ленин
В атаку лично вел меня.

Тот же мотив звучит в «Стихах о шалаше» Михаила Дудина, написанных в суровом 1942 году. Говоря о Михаиле Дудине, я могу утверждать, что идея Ленина проходит через все его творчество, неотделима от всего мироощущения поэта. Мы помним его известную поэму «Тепло». В основу ее сюжета положен действительный случай: в студеную зиму 1919 года крестьяне-ходоки решили наладить отопление в кремлевской квартире Ленина. В поэтическом осмыслении этот маленький эпизод встает на стезю исторической закономерности. Огонь, зажженный в квартире Ленина, становится как бы духовной субстанцией советских людей, он идет через пространство и время, согревает у костров строителей Комсомольска, фронтовиков, становится маяком, на свет которого идут корабли будущего. Такое историческое восхождение от образа Ленина к нашим дням характерно для всего творчества Дудина. Предметом его лирического переживания становится сам ход истории, измеримой ленинской мерой, мерой коммуниста. И когда мы читаем «Песню моим комиссарам», «Зерна», «Песню Воронежской горе», то неизменно ощущаем ленинскую правду в раздумьях поэта

и суровых и героических страницах истории.

Пользуясь метафорой Дудина, я хочу обратиться к тем героям нашей литературы, которые несут в себе огонь, зажженный Ильичем.

Я говорю об образе коммуниста в литературе. В его непрерывном развитии образ Ленина является главным ориентиром. Мы говорим: «человек ленинского типа», имея в виду бескомпромиссную принципиальность, политическую мудрость, нравственную чистоту, безграничное человеколюбие. Советской литературой накоплен классический опыт в решении этой темы. В нашу духовную жизнь прочно вошли герои-коммунисты из произведений Горького, Серафимовича, Шолохова, Фурманова, Николая Островского, Лациса, Гусейна, Полевого, Николаевой.

Роль коммунистов во всех свершениях нашего народа, в созидании социализма и коммунизма находит талантливое воплощение в произведениях современных мастеров литературы. Достаточно назвать «Сибирь» Г. Маркова, романы К. Симонова, «Соленую падь» С. Зальгина, повести Ч. Айтматова, «Вечный зов» А. Иванова, «Барбинские повести» С. Сартакова, «Хлеб — имя существительное» М. Алексеева, «Человек и оружие» О. Гончара. Вот далеко не полный перечень примеров такого рода. Я назвал произведения, которые отличаются широкой эстетической звучностью. И это не просто жанровый показатель. Образ коммуниста в нашей литературе вырастает на путях художественного осмысления узловых, эпохальных и наиболее трудных моментов истории.

Коммунисты первыми принимают на себя тяжесть исторических испытаний, ведут народ дорогой нелегких побед в сложнейших коллизиях нашего века. Путь коммуниста — это живая история нашей страны в действии. В этом нас убеждают замечательные книги Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», ставшие для нас эталоном воплощения ежедневного подвига советского коммуниста. Каждая из трех книг открывает эпоху, громадный исторический этап со своими, казалось бы, непреодолимыми трудностями. И мы видим, что залогом всех наших побед было и остается ленинское, партийное отношение к делу. Главное качество коммуниста нашей эпохи, как явствует из этих книг, состоит в умении быть на высоте стратегических задач, в точном понимании диалектики социального процесса и в то же время — в чутком внимании к живому человеку. Для коммунистов человек никогда не был абстракцией. Образ коммуниста в нашей литературе по-ленински человечен, несмотря на то, что

коммунисты первыми вступают в схватку с мировым злом.

Не могу не вспомнить в этой связи книгу ленинградца Даниила Гравина «Клавдия Вилор», за которую автор был удостоен Государственной премии СССР. Когда читаешь это ledenящее повесть повествование о женщине-политруке, о человеке, не сломленном никакими муками фашистского ада, о Клавдии Вилор, чья фамилия происходит от дорогих нашему сердцу имен — Владимир Ильич Ленин и Октябрьская революция, — то поражаешься поистине неисчерпаемому резерву моральной силы и оптимизма советского человека.

Если мы обратимся к циклу романов Федора Абрамова «Пряслины», тоже удостоенному Государственной премии СССР, к его обширному повествованию о судьбах советского крестьянства в годину суровых испытаний, то здесь перед нами раскрывается подвиг тружеников земли, созидательный смысл их жизни. Логика жизни, глубоко ощущаемая художником, говорит нам о конечном торжестве дела Ленина и партии.

Ленинградцы могут гордиться творческими удачами наших писателей в создании образа коммуниста. Такими писателями являются и Георгий Холопов (кстати, должен сказать, что журнал «Звезда», главным редактором которого он является, организовал активно работающий писательский пост

на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС), и Петр Капица, написавший роман «Неслышимый зов» и повесть «Затемненные моря», и Александр Розен — автор романа «Времена и годы».

Надо особо отметить успехи ленинградцев в публицистическом жанре. Целую галерею образов комсомольцев и коммунистов — строителей знаменитого комбината «Апатит» открывает книга Юрия Помпеева «Хибинская Спарта». Его же перу принадлежит книга «Чистый сорт», посвященная прокатчику Кировского завода Герою Социалистического Труда Ивану Яковлевичу Прокофьеву. Очерк Ю. Помпеева принадлежит к числу лучших произведений выпускаемой Лениздатом серии «Время. Люди. Мораль», которая пропагандирует нормы коммунистической морали. Примечательны очерки о сибирском и дальневосточном краях, написанные Иваном Виноградовым, Семеновым Бытовым.

Сделано немало, но мы хорошо понимаем, что те достижения, о которых здесь говорилось, далеко не исчерпывают возможностей большого отряда ленинградских писателей. Надо признать, что мы не так богаты большими творческими удачами, как нам хотелось бы. И мы никоим образом не снимаем с себя обязательства трудиться над ленинской темой *по-ленински*.

Ленин вечен. В имени — Ленин — все наши мечты и чаяния, смысл нашей жизни.

Георгий Холопов

...ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Всесоюзная творческая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения В. И. Ленина, вызывает много размышлений — о Владимире Ильиче, человеке и вожде, теоретике и практике коммунистического строительства, основателе нашей партии и Советского государства... О том, насколько глубоко отображается ленинский образ в книгах советских писателей, как выполняются ленинские заветы по коммунистическому строительству и, конечно, как наша литература запечатлевает на своих страницах героический труд советских людей...

Мысль В. И. Ленина, заложенная в классической формуле «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны», получает свое яркое воплощение особенно на сибирской земле, где возведены Братская, Красноярская, Усть-Илимская и

где сегодня сооружается одна из крупнейших гидростанций века — Саяно-Шушенская ГЭС. Есть что-то символическое в том, что эта уникальная гидростанция строится недалеко от села Шушенского, где Владимир Ильич провел три года царской ссылки, где он выработал организационный план создания партии и издания газеты «Искра», где он написал свой классический труд «Развитие капитализма в России».

Саяно-Шушенская ГЭС, гигант советской энергетики, проектировалась в Ленинграде, ленинградскими учеными и инженерами. Мощные турбины, генераторы и другое энергетическое оборудование для станции тоже изготовляются в Ленинграде, на его прославленных заводах «Электросила», «Ленинградский Металлический завод», «Ижорский завод», «Красный выборжец» и других.

С февраля 1976 года журнал «Звезда» ведет постоянный журналистский пост «Ленинград — Саяно-Шушенская ГЭС».

Все наши толстые журналы выбрали для себя объект, который позволяет им следить за поступью времени, грандиозным строительством — на БАМе, в Тюмени, на Атоммаше, в Нечерноземье... Так стремительно меняется облик целых регионов, что осознать, какие перемены несут с собой в жизнь того или иного края прокладка магистрали, освоение недр, рождение мощного источника энергии, можно только, если внимательно, на протяжении долгого времени наблюдать, анализировать один такой объект.

«Звезда» выбрала Саяно-Шушенскую ГЭС не только потому, что здесь по почину ленинградцев родилась совершенно новая форма соревнования — содружество 28 предприятий, которое теперь разрослось и объединяет уже свыше 170 предприятий и организаций. Нам, ленинградцам, радостно видеть, как сегодня у нас на глазах воплощается ленинская мечта об электрификации Сибири, о превращении этого богатейшего края с прекрасной природой и мужественными людьми в край высокоиндустриальный, высококультурный, в самом хорошем смысле слова — *современный*.

Энергия саянского исполина в шесть раз превзойдет ту, что вырабатывали все станции, построенные по плану ГОЭЛРО, но идея, родившаяся в то далекое время, жива и сегодня: как и в ленинском плане ГОЭЛРО, на орбите мощного энергетического ядра вырастает грандиозный комплекс — более 100 крупных предприятий тяжелого машиностроения, транспорта, алюминиевый и фосфорный заводы, целый город Электроград. А вместе с этими предприятиями растут жилые массивы, культурные центры, словом — новая жизнь, которую мы строим по заветам Ленина. Совсем не случайно в дни решительного штурма Енисея строители сбрасывали в речную воду скальные глыбы с надписью: «Мечта Ильича сбывается».

На строительстве Саяно-Шушенской ГЭС введен в действие первый агрегат, идут подготовительные работы по установке второго и третьего агрегатов. За несколько дней до отъезда ленинградской писательской делегации в Красноярск в объединении «Ленинградский Металлический завод» с опережением сроков завершено изготовление рабочего колеса весом в 140 тонн для третьей турбины Саяно-Шушенской ГЭС. Может случиться так, что это рабочее колесо уже к концу нашей конференции и поездки по районам Красноярского края специальное судно «Советская Якутия» успеет доставить по Северному морскому пути на берег Енисея. Тем самым будут со-

зданы условия, чтобы пустить в 1979 году два последующих агрегата гидростанции.

Известны слова Л. И. Брежнева, сказанные по поводу пуска первого агрегата Саяно-Шушенской ГЭС:

«Примечательно, что именно эта стройка дала новые примеры коммунистического отношения к труду. Вся страна знает сегодня о сотрудничестве 28 предприятий и организаций Ленинграда со строителями Саяно-Шушенской ГЭС. Центральный Комитет партии внимательно следит за развитием этого сотрудничества, потому что оно ведет к сокращению сроков строительства и обеспечению высокого качества работ. Практика убедительно показала, что именно такой подход к решению народнохозяйственных задач дает наибольший эффект».

В городе на Неве координационный центр, созданный в рамках коллективного договора, оказывает большую помощь строительству станции в Саянах. В меру своих возможностей делаем это и мы в «Звезде».

За несколько лет на страницах журнала было напечатано немало интересных материалов о Саяно-Шушенской ГЭС. Их авторами были строители, инженеры, журналисты. «Звезда» печатала выступления секретаря Красноярского краевого комитета КПСС В. Плисова и первого секретаря Саяногорского городского комитета партии В. Толупы, в которых познакомила читателей страны с перспективами развития края.

В разное время на стройку выезжали пять ленинградских писательских бригад. Писатели Иван Виноградов, Геннадий Николаев рассказали на страницах «Звезды» о своих впечатлениях и мыслях, которые родились на стройке. Вскоре мы смогли напечатать и первую документальную повесть. Я имею в виду «Легкий воздух Саян» Германа Балуева.

Выезжали на строительство Саяно-Шушенской ГЭС и работники журнала. Мы бы это делали гораздо чаще, но, к сожалению, не позволяет скудность редакционной сметы. Тут мы ждем помощи от секретариата СП СССР!

Журналистский пост «Звезды» продолжает свою работу — ведет летопись строительства Саяно-Шушенской ГЭС, помогает контактам строителей и проектировщиков, пропагандирует передовой опыт строителей, показывает лучших людей. Публицистика остается боевым разделом журнала!

Но мы собираемся идти дальше, мечтаем опубликовать и крупное, масштабное произведение о подвиге рабочего коллектива, возводящего Саяно-Шушенскую ГЭС. Я не знаю, кто именно из героев великой стройки войдет в будущий роман, но не предста-

вляю его себе без таких прославленных бригадиров, как Михаил Лесников, Валерий Позняков, Вячеслав Демиденко, ленинградец Владимир Чичеров из объединения «Ленинградский Металлический завод»...

Мы хорошо знаем Героя Социалистического Труда старшего прораба, бетонщика Михаила Яковлевича Лесникова — его статья «Плацдарм наступления» была напечатана на страницах «Звезды». Отец Михаила Яковлевича, коренной сибиряк, в годы войны защищал осажденный Ленинград, был тяжело ранен, а Михаил Яковлевич сейчас рука об руку с ленинградцами возводит эту гидростанцию дружбы. Мы знаем, что он мастер высокого класса, и, по словам первого секретаря Саяногорского горкома КПСС В. Толюпы, если бы гидростроители имели возможность ставить личное клеймо Знака качества, то это право одним из первых получил бы Михаил Яковлевич Лесников. Этот строитель понимает главное: саяно-шущенская плотина будет служить людям века. Она будет достойным памятником В. И. Ленину.

Между лучшими участниками строительства ГЭС в Ленинграде и Саянах заключаются договоры о соревновании.

Вот Герой Социалистического Труда, ленинградец, бригадир слесарей-сборщиков объединения «Ленинградский Металлический завод» Владимир Чичеров. После перекрытия Енисея он начал соревноваться с бригадиром бетонщиков Саяно-Шущенской ГЭС Валерием Позняковым.

Что заставляет передовых рабочих и строителей добиваться новых рубежей, бороться за эффективность и качество своего труда? Об этом хорошо сказал Чичеров:

«Как рабочий считаю, что ими движет чувство высокой ответственности за порученное дело. На производстве ли, в конструкторском ли бюро советский человек не поденщик, а хозяин. Он кровно заинтересован в конечном результате деятельности своего предприятия. Вот почему мы говорим: у меня на заводе, в цехе».

У самого Чичерова настоящая рабочая биография. Кончил ремесленную училище, на заводе прошел хорошую выучку у наставника, слесаря старой питерской закваски Бурмистрова. Почувствовав, что парень окреп, Бурмистров добился, чтобы его оставили работать в цехе. Чем больше сил Чичеров отдавал производству, тем больше удовлетворения получал от своей работы, от отношения к нему товарищей по коллективу. На заводе Чичерова приняли в партию, он стал Героем Социалистического Труда. Но Чичеров не останавливается на достигнутом. Здесь, на строительстве гидростанции, все знают, что они с

Позняковым наметили для себя новые рубежи в социалистическом соревновании.

Валерий Позняков, с которым соревнуется Чичеров, тоже достойный, замечательный человек. Его жизнь — прекрасный пример того, как в нашем обществе люди имеют возможность выбрать свою судьбу и осуществить свои самые дерзкие замыслы.

Мог ли мальчишка, ремонтировавший пружинные весы для магазинов, мечтать о том, что станет прославленным строителем, известным всей стране? Но он понимал, что в нем есть силы, чтобы добиться чего-то большего в жизни, чтобы дать своим рукам работу большого масштаба. После армии уехал из родной Латвии строить Красноярскую ГЭС, стал бригадиром бетонщиков, потом работал на Нурекской, строил и эту ГЭС — и всей бригадой махнули на Саяно-Шущенскую.

Чем замечателен Позняков? Он не просто работает. Он великолепный организатор, относится и к людям, и к делу ответственно и с душой.

Мы знаем, что работа у бетонщиков нелегкая. Много всяких трудностей. И грязно, и мокро. И тувинские вместе с хакасскими ветры продувают насквозь. Но когда есть цель, когда с тобой рядом верные товарищи, когда ты знаешь, что за тысячи километров с тобой соревнуется бригада таких же энтузиастов, то, наверное, и куртки быстрее подсыхают на ветру, и руки не так ноют от вибрации, и кубы бетона укладываются быстрее.

Знакомы мы также с бригадиром монтажников Саяно-Шущенской ГЭС Вячеславом Демиденко. Он был у нас в редакции в Ленинграде. По его богатырскому виду подумали, что сибиряк. Оказалось: с Украины, из-под Полтавы. Так вот и проявляются на практике в нашем государстве советский патриотизм и наш интернационализм.

Демиденко начинал монтировать первый агрегат с нуля — и ушел с монтажа последним. От работы монтажников во многом зависел досрочный пуск первого агрегата. А теперь очередь за вторым и третьим.

Вячеслав Демиденко — настоящий представитель современного рабочего класса, умный, начитанный, хорошо разбирающийся в технике. Советский рабочий века научно-технической революции. Начальство утверждает: чем бы ни занимался Вячеслав Демиденко — разметкой, сваркой, шабровкой или резкой, все у него делается без суеты, вроде бы даже медленно, а на самом деле рассудительность, точность и рациональность каждого его жеста максимально сокращают затраченное время. Он отличный коммунист, бригадир и человек.

Вот, дорогие товарищи, какие замечательные люди работают на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС и ленинградских заводах! Вот они, герои, которые должны занять достойное место в книгах советских писателей!

Нетрудно планировать для журнала статью или очерк. Во сто крат труднее планировать роман или повесть.

Но мы, в «Звезде», надеемся на некоторые произведения, начатые ленинградцами. Хочется думать, что кто-то из литературного объединения строительства Саяно-Шушенской ГЭС «Стрежень» здесь, в Саянах, отважится написать роман или повесть.

Возлагаем мы большие надежды на писателей-сибиряков. Писатели старшего поколения, например Г. Марков, С. Сартаков, С. Залыгин, В. Астафьев, создали немало масштабных произведений о Сибири. Слово теперь за молодыми! Талантливых людей среди них достаточно. И живут-то они здесь, рядом, им не надо, как ленинградцам, лететь к героям стройки за пять тысяч километров! Мы с удовольствием опубликуем их книги на страницах «Звезды».

Не теряем мы надежду и на случай... Может быть, где-то скромно пишется та заветная книга, которую мы ищем?

Сослужу на пример писателя Евгения Воробьева. Его творческий метод очень старый, но, может быть, единственно верный. Хочешь написать серьезный роман о рабочем классе — целиком отдайся этому делу, живи на стройке среди своих героев. Е. Воробьев написал книги о гидростроителях, но на материале Братской и Усть-Илимской станций. В прошлом году мы напечатали его роман «Охота к перене мест». Роман Е. Воробьева «Погода на послезавтра», над которым он сейчас работает для нашего журнала, продолжает его излюбленную тему уже на материале Богучанского строительства.

Вспомним: по такому же ведь принципу создавались всем известные романы Мариэтты Шагинян «Гидроцентр» и «Время, вперед!» Валентина Катаева...

Короче: слово за писателями. Какими бы путями они ни шли к цели, важен результат — хорошая книга. И

не обязательно эпопея, пригодится и скромная повесть, если она будет написана со знанием дела, с глубоким исследованием человеческих характеров, с активных гражданских позиций.

В последнее время мы испытываем большой голод вообще в книгах о рабочем классе. Причин, почему мало таких книг, наверное, предостаточно. Но одна из них, по-моему, заключается в той обстановке, которая сложилась в нашей печати вообще, и в литературной критике в частности, по отношению к так называемой «производственной теме». Даже от хорошей книги порою отделяются скороговоркой, в худшем случае — вообще замалчивают. Предпочтение отдается книгам из деревенской жизни, обильно насыщенной драматическими коллизиями, нагнетанием всяческих, порой надуманных, осложнений, далеких от жизненной правды современной деревни, и даже деревни первых послевоенных лет.

Я не хочу делить литературу на деревенскую и городскую. Мне важна тенденция ее развития в целом. Как отражается наше время в творчестве советских писателей? Отражается пока что однобоко. Мало книг, в центре которых стоял бы герой — положительный, идеальный, современный! — назовывайте его как угодно, но Герой с большой буквы, строитель, созидатель, которому хотелось бы подражать, с которого хотелось «делать жизнь».

Вот обо всем этом нам стоит подумать и на конференции, и после нее.

Все мы слышали трогательную историю о том, как в 1924 году крестьяне соседних с селом Шушенским деревень в память о пребывании здесь в ссылке В. И. Ленина решили построить гидростанцию мощностью в 20 киловатт. И не смогли. Не из чего было строить!

А теперь в этих же ленинских местах строится уникальная Саяно-Шушенская ГЭС мощностью в 6 миллионов 400 тысяч киловатт. Вдумайтесь в эти цифры!

Вот как далеко мы ушли вперед! Но и сегодня мы говорим:

— Время, вперед!

Литература должна поспевать за временем!

Юрий Рытхэу

МЕРИЛО ЦЕННОСТИ

Домик Дуайта Мылыгрома — одного из жителей крохотного американского островка в Беринговом проливе — всего лишь в четырех километрах от Со-

ветского Союза. Он построен из упаковочного материала, в котором года три назад сюда привезли здание начальной школы. Домик прилепился к

крутому скальному берегу, открытый ветрам и бурям, не прекращающимся здесь, как гласит древняя эскимосская легенда, с момента сотворения мира, с той поры, когда Великан-Созидатель захватил со дна пролива горсть камней и песка, отжал в сильном кулаке воду и кинул остаток, сотворив таким образом острова Диомиды и остров Святого Лаврентия.

Дауйт, как и его предки, — морской охотник, неутомимый ловец моржей и китов, добытчик тюленей на зимнем льду пролива. И еще — известный в этих местах певец.

Жизнь для него — вечный, тяжкий, но любимый труд на благо продолжения и утверждения человеческого существования на этом крохотном куске голой скалы, на котором нет даже маленького ручья.

И, естественно, наши разговоры, как людей, причастных к древней культуре охотников на морского зверя, в основном и были об этом важном деле.

И вот однажды вечером мой собеседник вдруг заторопился, кинулся в угол, где у него стоял небольшой транзисторный приемник, и включил его.

Я услышал голос знакомого диктора из Анадыря, столицы Чукотского автономного округа.

Это была обычная, рядовая передача анадырского радио: в основном новости из совхозов, дальних сел, горняцких поселков. Назывались имена охотников, строителей, рабочих совхозов, мастеров резьбы по кости. Эти новости повторяются дважды — на чукотском и эскимосском языках. И оба раза Дауйт Мылыгрок слушал внимательно, и я, грешным делом, подумал: «Что он нашел необычного в этой рядовой передаче?»

Я спросил Мылыгрока:

— И часто вы слушаете наше радио?

— Почти всегда, когда есть возможность.

— Что же вам больше всего нравится?

Я почти был уверен, что Мылыгрок, как один из самых знаменитых певцов Берингова пролива, отметит фольклорные передачи, литературные чтения, новости культуры...

Но вот что сказал мне Мылыгрок:

— В ваших передачах есть то, чего по американскому радио вы никогда не услышите...

Это меня несколько озадачило: за два месяца пребывания в Соединенных Штатах Америки я убедился в том, что средства массовой информации, в том числе и радио, говорят здесь обо всем, даже о том... о чем не принято говорить вслух в приличном обществе.

— Я люблю слушать, — сказал мне Дауйт Мылыгрок, — когда по вашему

радио рассказывают о том, как человек работает.

И, развивая эту мысль, он продолжал:

— Когда слышишь, как житель Уэлена или Ново-Чаплина вернулся с охоты с добычей, или о том, что в Сириениках построили новую школу и банно-прачечный комбинат, когда узнаешь, что в верховьях Кольмы строят мощную гидроэлектростанцию, — понимаешь, что там, — Мылыгрок кивнул в сторону пролива, который хорошо был виден из окна его домика, — человек живет! Живет настоящей, достойной жизнью.

Воистину порой надо несколько отойти подальше, чтобы в истинном свете увидеть то или иное привычное явление.

И в самом деле, что может быть более важным содержанием жизни человека, как не созидательный труд, в общем-то являющийся главным отличием человека от других существ?

Тема труда, становление человека труда как главного героя литературы социалистического реализма восходит к самым истокам ленинского учения о пролетарской культуре, о культуре нового человека.

Иначе и не могло быть в стране, в которой главным хозяином стал трудящийся человек и жизнь которой определяется прежде всего отношением к труду, достижениями трудовой деятельности всего народа.

Правдивость в ее высшем понимании уходит корнями в отношение человека к своей деятельности, к людям труда.

Как же мы, литераторы, отразили в своих произведениях высшее достоинство человеческой личности — труд? В последние годы все чаще мне приходится слышать рассуждения о том, что вот мы недостаточно сильно изображаем вечные человеческие страсти — любовь, ненависть и даже секс. В этом упреке есть доля истины. Точно так же есть доля истины и в том рассуждении, что трагедия в ее подлинном и высокохудожественном исполнении всегда оказывала на людей огромное воздействие (впрочем, как и хорошая комедия!). Есть упреки в недостаточном проникновении в глубины человеческой души, вплоть до тех ее укромных уголков, которые соседствуют уже с сумерками сознания. Все это, на мой взгляд, верно лишь отчасти. Ибо все эти страсти, глубокие переживания, взлеты вдохновения, вольные и невольные погружения в глубины сознания — суть продолжение той сферы человеческой деятельности, которая обеспечивает саму жизнь, является главным условием существования человека как такового, — его созидательного труда. Не будь человеческого труда — не было бы самого человека, и формула Эн-

гельса о том, что главным условием возникновения человека был труд, целенаправленный, сознательный, — это истина, которую никто не опроверг и никогда не опровергнет.

И все же почему во всей мировой литературе изображение и воспевание труда занимает так непропорционально мало места, за исключением, быть может, устного народного творчества?

Мне кажется, хотя я и не теоретик, что возникновение классового общества, эксплуатация человека человеком в корне изменили изначальное, священное отношение к трудовой деятельности человека. Идущие следом за эксплуататорскими классами религии поспешили объявить труд божьим наказанием, проклятием.

Рабовладельческий строй, феодализм, изощренные формы капиталистической эксплуатации — казалось, все это могло вконец убить святое и высоко нравственное отношение к труду у самого человека труда. Но в том и заключается бессмертность человека и всего человечества, что оно, несмотря на все это, и в глубинах своего сознания, и в своем обиходе сохранило верное отношение к труду.

Кстати, ряд успехов современной так называемой деревенской литературы отчасти объясняется и тем, что герои ее лучших произведений — это труженики, сохранившие первозданное, истинное представление о ценности труда.

Лишь один общественный строй в современном мире — социализм — ставит все на свои места, ибо только при социализме человек труда становится подлинным хозяином своей судьбы, своей страны.

Казалось бы, как говорится, нам и книги в руки, все условия для того, чтобы человек труда у нас нашел достойное отражение в литературе, занял такое место, чтобы его политическому и общественному положению соответствовало и положение в искусстве.

Внешних признаков этого у нас довольно много.

Но есть вещи, которые, как мне кажется, вызывают недоуменные вопросы.

Вот, скажем, такая вещь, как престижность профессий. Здесь шкала ценностей, существующая в сознании масс, часто не соответствует общепринятым понятиям. Рабочий класс — общественная прослойка, представляющая собой создателей материальных ценностей, людей, от которых в прямом смысле зависит укрепление материальной базы коммунизма, — по всему должен быть на первом месте.

Но почему до недавнего времени многие родители своих детей пугали ремесленными училищами?

Я хорошо помню послевоенные годы в Ленинграде. Страна только что

оправлялась от трудных лет, лучшая часть рабочего класса не вернулась с войны. Наша партия и правительство делали все, чтобы восполнить эту убыль: были открыты ремесленные училища, интернаты для учеников при крупных промышленных предприятиях. Но вот до сих пор я с какой-то внутренней неловкостью вспоминаю тогдашнюю форму ремесленников, немислимые ватники, часто сшитые не по росту, и девочек, почти уже девушек, которые ходили в этом уродливом наряде. Скажут — многого не хватало, не до нарядов было... Но вот рядом вышагивали, гордо и высоко держа головы, суворовцы и нахимовцы, в прекрасной, ладно сшитой форме. Будущих военных учили иностранным языкам, бальным танцам, а будущего хозяина страны, наследника престола Его Величества рабочего класса, часто обучал какой-нибудь дядя Вася, изгнанный из цеха за пьянку и неспособность справиться со станком. Я ничего, разумеется, не хочу сказать против военных училищ. Они безусловно достойны горячей любви и всяческой заботы народа и нашего народного государства. Но такой же любви, такой же заботы достойны и училища производственные. Если уж рабочий — хозяин нашей страны, а труд его — главное достоинство советского человека, то отношение к этому должно быть соответственное. И — не только на словах.

Священное отношение к труду воспитывается с самого детства. Я помню, что в нашей семье, в чукотском селении Уэлен, никогда не относились к труду, как к игре. Это было святое и важное дело, не терпящее легкомысленного отношения. И так было со всяким трудом — воспитывалось уважение к любому работающему. Никаких престижных и непрестижных профессий не было — все зависело от того, как работает человек.

В связи с этим хотелось бы высказать несколько замечаний по поводу так называемого трудового воспитания наших детей. Иногда у меня возникает вот какое сомнение: правильно ли мы делаем, стремясь облегчить жизнь детей до такой степени, что повсюду раздаются голоса о перегруженности учащихся школы? Может, это у меня от недостатка воспитания, но часто я спрашиваю себя: почему детям, причем далеко уже не маленьким (в таком возрасте я уже был охотником, каюром), предоставляют лучшие дворцы, пионерские лагеря, не столько трудового или, скажем, туристского, сколько чуть ли не курортного типа? Почему наш маленький, пытливый человек в такого рода организации подчас прежде всего получает не трудовые навыки, а уроки карьеризма, постигает стратегию продвижения по иерархической лестнице превосходства

над своими товарищами, превосходства не в силу своих качеств как лучшего по работе, а по другим соображениям?

Инвалид Великой Отечественной войны, ветеран труда, да просто бабушка и дедушка ютятся в каком-нибудь сарайчике, сданном за большие деньги предприимчивым дачевладельцем, а их внук нежится и холится в благоустроенном, снабженном горячей и холодной водой загородном дворце... А потом удивляемся, почему у молодого специалиста потребительские наклонности намного превышают иногда его творческие и созидательские способности.

Человеку труда принадлежат создание, выработка нравственных, моральных правил, которые составляют золотую сердцевину личности человека.

Каким бы великим ни было творение, созданное, воздвигнутое, сооруженное, законная гордость творца, созидателя, работника никогда не перешла границ разумного, а чаще всего оставалась в рамках скромного удовлетворения, сознания результатов своего труда. Скромность — это ленинская черта, в высшей степени присущая человеку труда. И его, естественно, и коробит, и ставит в неловкое положение пустое бахвальство, раздувание до неприличия значения того или иного события, громогласие и бесстыдное использование святых, высоких слов не к месту и не ко времени. Хвастовство — это ржавчина, которая разъедает мораль и душу, унижает достоинство рабочего человека.

Это совсем не значит, что советский человек не гордится и не понимает всего величия прежде всего даже простого факта существования в современном мире такого государства, как страна трудящихся — Союз Советских Социалистических Республик, что нам чужда гордость за освоение и преобразование Сибири, за такие стройки, как Саяно-Шушенская ГЭС!

И в основе всего этого — труд миллионов, гигантская сила не только в физическом, но и в моральном, нравственном плане, сила, на которой держатся в конечном итоге могущество и величие нашей страны.

Ленинская мечта о полном высвобождении главной нравственной ценности человека воплотилась в Великой Октябрьской социалистической революции.

И вполне естественно, что при всех понятных различиях в художественных особенностях, в языках, в конкретной исторической обстановке тема труда, тема главного достоинства человека, является ведущей во всей нашей советской литературе.

Ярким свидетельством тому — книги Леонида Ильича Брежнева, особен-

но «Возрождение» и «Целина», где наш современник показан в его естественном состоянии, которым для него является труд. И что интересно: в этих книгах нет противопоставления одних профессий другим — человек ценится по его отношению к труду, по качеству его труда, будь он хлебороб, сталевар, летчик или партийный работник.

В одной из работ Энгельса говорится о будущем так называемых творческих профессий в коммунистическом обществе, где художник — не только художник, а и художник наряду с другой его работой.

Но это дело далекого будущего. В настоящем есть сферы человеческой деятельности, где индивидуальный талант, редкое умение являются определяющими, главными, основными. Но это не значит, что такой человек в нравственном отношении выше других.

Интересно в этом плане рассуждение Федора Михайловича Достоевского в его «Дневнике писателя».

«Представьте себе, что в будущем обществе есть Кеплер, Кант и Шекспир; они работают великую работу для всех, и все сознают и чтут их. Но некогда Шекспиру отрываться от работы, убирать около себя, вычищать комнату, выносить ненужное. И поверьте, непременно придет к нему служить другой гражданин, сам пожелает, своей волей придет и будет выносить у Шекспира ненужное. Что же он будет унижен, раб? Отнюдь нет... „Честь тебе и слава, скажет он ему, и я рад послужить тебе; хоть и каплей, и я послужу тем на общую пользу, ибо сохраню тебе часы для великого твоего дела, но я не раб. Именно сознавшись в том, что ты, Шекспир, выше меня своим гением, и придя к тебе служить, я именно этим сознанием моим доказал, что по нравственному достоинству человеческому я не ниже тебя нисколько. И как человек тебе равен...“» И Достоевский добавляет: «Да он и не скажет этого тогда, уже по тому одному, что и вопросов таких не возникнет вовсе, да и немислимы они будут».

Как можете видеть, высочайшего мнения был великий русский писатель о нас, о своих потомках.

Коммунизм по-разному видится людям. И это понятно: всечеловеческая мечта многогранна и красочна. Но в этой мечте есть один, на мой взгляд, непреложный оттенок: в будущем коммунистическом обществе труд, какой бы он ни был, не будет наказанием, ибо не может быть наказанием главное достоинство и отличие человека, главное мерило его социальных и нравственных ценностей.

Георгий Молотков

БАЛТИЙСКИЙ ЩИТ

В Кронштадте, на тихой глади канала, установлен футшток — геодезический знак, означающий уровень Балтийского моря. От его нулевой отметки идет отсчет высоты над уровнем моря любой точки на территории нашей страны. Так вот, Нева у Горного института всего лишь на одиннадцать сантиметров выше уровня Балтийского моря. Это ее официальный, ординарный уровень. Он, разумеется, постоянно колеблется. Но эти колебания не вызывают опасения. Когда же воды Невы поднимаются выше ординара на 150 сантиметров — городу грозит наводнение.

Как часто обрушивает свои грозные и коварные удары морская стихия на берега Невы? Еще в новгородских летописях упоминаются наводнения, случившиеся в 1300, 1541 и 1691 годах. Со дня основания города на Неве и до наших дней около 250 раз с большей или меньшей силой река выходила из берегов. Существует, правда, очень условное, деление наводнений на малые и средние, большие и катастрофические.

Самыми катастрофическими считаются наводнения в 1777, 1824 и 1924 годах. Тогда уровень воды соответственно поднялся выше ординара на 3 метра 10 сантиметров, 4 метра 10 сантиметров и 3 метра 69 сантиметров. Наводнение 18 ноября 1824 года памятно еще и потому, что картины морской стихии, обрушившейся на город, запечатлены гениальной рукой Пушкина в «Медном всаднике».

Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова.

Но не ветер с залива — виновник наводнения, не он преграждает путь водам Невы в залив и поворачивает ее вспять. Правда, еще в петровские времена высказывались мнения, что кроме ветра есть и другие причины наводнений. Так, академик Российской

Академии наук Лейтман возлагал часть вины на морские приливы. Несколькими годами позднее другой академик, Крафт, изучая наводнение 1777 года, устанавливает примечательную закономерность: повышению уровня воды в Невской губе предшествует резкое падение атмосферного давления. Но все это были лишь гипотезы, довольно робкие поиски первопричины наводнений.

Вплотную к разгадке их истинных причин подошел талантливый ученый, директор Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения профессор Базен. Современник Пушкина, очевидец катастрофического наводнения 1824 года, он обратил внимание на характерные особенности колебаний в реке Неве и Невской губе. Они отличались от обычных ветровых волн. Не зарождаются ли далеко от Петербурга, где-то на просторах Балтийского моря? Гипотеза профессора Базена была подтверждена дальнейшими исследованиями ученых, выяснивших механизм образования наводнений в дельте Невы.

Отчего же происходят наводнения в Невской губе? Если не ветры, то какая сила гонит, переграживает, запирает Неву, поворачивает ее воды вспять?

Морские нагонные наводнения — результат сложных метеорологических и гидрологических процессов, действующих на Балтике. Поднимают невискую воду, выталкивают ее на берега не штормовые ветры, а само Балтийское море. Циклоны, которые зарождаются в районе Исландии, нарушают равновесие водных масс в Балтийском море и Финском заливе. Циклоны пересекают Скандинавию, проходят над Балтикой, устремляются на сушу, а вслед за ними появляются нагонные длинные волны, которые достигают невиских берегов.

В море рожденная циклоном «длинная волна» не выглядит грозной, и беды от нее невелики. Но, попадая на мелководье, в узкую горловину Финского залива, гребень ее повышается.

Чем ближе к Ленинграду, тем грознее и опаснее становятся «длинные волны». Так, их высота на пути от берегов Таллина к набережным Ленинграда возрастает почти в 2,5 раза. Идет нагонная волна со скоростью до 100 километров в час. Вносит лепту и штормовой ветер, один из существенных виновников бедствия: скорость его при порывах достигает 30—40 метров в секунду, он образует еще и свои ветровые волны огромной разрушительной силы. Из Финского залива порой в Невскую губу попадает в 50 раз больше воды, чем несет в море Нева. Надо только представить: за время одного штормового нагона через створ Горская — Кронштадт — Ломоносов к Ленинграду проходит до 100 тысяч кубометров воды в секунду, Нева же навстречу несет лишь 2,5 тысячи кубометров. Противоборство явно не равное. Вот та страшная сила, которая перегораживает, плотно, наглухо запирает Неву, заставляет ее выходить из берегов. Подсчитано, что в случае неблагоприятного сочетания метеорологических условий высота нагонной волны может достигнуть пяти метров!

Постоянная и грозная опасность сторожит огромный город на Неве.

Никто не может предсказать, когда и каким будет следующее, очередное наводнение, какие по своим масштабам беды оно может принести городу. Но достоверно другое. Каждое небольшое наводнение в наши дни обходится все дороже, ущерб от него куда больше, чем от более грозного наводнения, случившегося несколько десятилетий назад. Причем «удорожание» наводнений закономерно. На месте пустырей у побережий теперь появились кварталы жилых многоэтажных домов. Вода обрушивается на город со сложными, жизненно важными подземными коммуникациями. Под угрозой метро, подземные переходы, тоннели. Стихия угрожает морскому порту, городской территории, в которую вложены сотни миллионов рублей. Слишком велика цена риска, чтобы с ним можно было мириться.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление, и уже начались работы по сооружению сложного гидротехнического комплекса защиты Ленинграда от наводнений. На работы отпущено двенадцать лет.

Но прежде немного истории. Вода была главным врагом первостроителей Северной Пальмиры. Когда решался вопрос о строительстве крепости, — чтобы преградить путь в Неву иноземному флоту, — то выбрали для нее место не на правом берегу Невы при впадении в нее реки Охты, а поближе к морю — на Заячьем острове. Только начали сооружать Петропавловскую крепость, как наводнение смыло с острова заготовленные строительные ма-

териалы. Но построили не только крепость, «наперекор стихии» стали закладывать город. Диктовалось это интересами государственными. Россия становилась великой морской державой, и где, как не здесь, на выходе к Балтийскому морю, быть ее молодой столице.

Земляные валы, как редуты, защищали от воды первые кварталы нового города. В первом плане застройки Санкт-Петербурга, разработанном в 1716—1717 годах архитекторами Доменико Трезини и Жаном-Батистом Леблоном, предусматривалась подсыпка низменной территории Васильевского острова и Петроградской стороны. В дело должен был пойти грунт, полученный от прорытия вдоль улиц города густой сети каналов.

Позднее фельдмаршал Миних, будущий строитель Ладужских каналов, предложил проект создания защитных дамб и высоких набережных, которые до четырех метров возвышались бы над ординаром Невы. Этот сложный и очень дорогостоящий проект так и остался на бумаге. Да и претворив его в жизнь, город не получил бы все равно надежной защиты от наводнений.

После катастрофического половодья осенью 1824 года русское правительство объявило международный конкурс на проект защиты города от морской стихии. В нем, кроме отечественных, приняли участие английские, французские и немецкие специалисты.

Но среди множества поступивших проектов лишь один принципиально по-новому решал проблему ограждения города от наводнений. Это был прежде всего дерзкий и грандиозный по тем временам проект. Предлагалось возвести в Финском заливе гигантскую дамбу длиной в двадцать два километра и на три метра возвышающуюся над уровнем залива. Дамба начиналась от Лисьего Носа, подходила к северо-восточной части острова Котлин и заканчивалась у Ораниенбаума.

В ней предусматривались водосливное устройство и камерный шлюз для пропуска морских судов.

Автором этого проекта был служивший в России профессор Базен. Тот самый Базен, который первым разгадал природу нагонных наводнений в Невской губе. Он же предложил и принципиально новый метод для защиты от них. Но осуществить смелый проект ученого тогда было просто не по силам.

Многочисленные, вплоть до курьезных, проекты, рождавшиеся в последующие годы, или строились на неверном представлении о природе наводнений или исходили из ограниченных инженерно-гидротехнических возможностей того времени. Один из них

был осуществлен и оставил свой след в нашем городе. Отцу фельдмаршала М. И. Кутузова мы обязаны появлением в Петербурге двух каналов — Екатерининского (канал Грибоедова) и Крюкова. Это по его проекту они были прорыты, чтобы служить во время наводнений водоемами, понижающими уровень Невы.

Почти три столетия город на Неве противоборствует стихии. В принятом проекте защиты Ленинграда от наводнений сфокусированы, изучены на новом уровне все идеи, поиски, исследования многих предшественников, обобщен огромный научный и инженерный опыт.

Еще в 1925 году была создана межведомственная комиссия при Государственном гидрологическом институте, объединившая усилия многих научных коллективов. По инициативе С. М. Кирова был разработан эскизный проект защиты Ленинграда от наводнений, определены три варианта, меж которыми следовало сделать выбор.

В основу первого (западного) легла идея профессора Базена, по второму предполагалось сооружение защитных устройств непосредственно у стен города. Война помешала сделать выбор, начать строительство защитных сооружений.

Теперь же пришло время решения этой проблемы, начато сооружение комплекса, который раз и навсегда надежно защитит Ленинград от наводнений.

...В Ленинграде не один десяток проектных институтов союзного значения. По их проектам строятся новые города, воздвигаются дамбы, прокладываются трубопроводы, изготавливаются уникальные станки и машины. Но среди них все же особое место занимает Ленгидропроект. Его имя связано с рождением гигантских электростанций на реках страны, а появление каждой из них — примечательная веха в трудовой биографии всего советского народа.

В доме на Петроградской стороне были созданы проекты, по которым поднимались плотины на далеких Енисее, Зее. Теперь утвержден проект сооружения уникальной плотины, которая станет у родного Ленинграда, надежно прикроет его от морских атак Балтики. Героями дня стали те, кто около десяти лет непосредственно был занят работой по созданию проекта гидротехнического комплекса для защиты Ленинграда от наводнений.

Но то, что сделано проектантами, — лишь начало большой работы, которую придется вести институту до последнего дня сооружения уникального комплекса.

О проделанном за десятилетие не так просто рассказать, ведь в разработке комплекса защиты принимали

участие специалисты 52 организаций: Гидрологического, океанографии, Политехнического, Ленгипрогора и других, не менее именитых и крупных научных учреждений. Это не была камерная кабинетная работа ученых, специалистов и инженеров-проектантов. Ей предшествовали многолетние и очень трудоемкие изыскания на натуре. Все полученные результаты надо было не только изучить, но и определить закономерности, позволившие сделать выбор оптимального варианта. Десятилетие поделилось на два трудоемких этапа — подготовка технико-экономического обоснования, а после его утверждения — разработка технического проекта. Он прошел тщательную и весьма придирчивую экспертизу Госплана СССР, Госстроя, ряда заинтересованных министерств и наконец был утвержден Советом Министров СССР.

Что означает эта работа для самого Ленгидропроекта — генерального проектировщика грандиозного строительства? Сказать, что это было для института обычным делом, — будет неверно. Хотя по объему работ в годовом плане института он занимает всего лишь седьмую часть.

Стройка уникальна. А разве по чертежам Ленгидропроекта сооружались хотя бы два одинаковых объекта? Нет, все, им созданное, было в свое время уникальным, единственным. Быть может, защитный комплекс — плотина в Невской губе — дело для него новое, незнакомое? Но разве не он проектировал плотины на Зее или на Енисее? Например, плотина в Карловом створе на Енисее ничуть не проще в гидротехническом отношении. И объем работ на Саяно-Шушенской больше. И все же эта работа и для Ленгидропроекта, и для всех, кто участвовал в проектировании защитного комплекса, была очень сложной, небывало ответственной. И опять же не только потому, что не было в отечественной, да и в мировой практике аналогов и нельзя было опереться на опыт предшественников.

Главная трудность состояла в том, что, решая проблему защиты города от наводнений, надо было оптимальным образом справиться с очень сложной многомерной задачей. Когда, например, выбирается место — створ для новой гидростанции, то собирается многочисленная межведомственная комиссия. За ней последнее слово. И произнести его очень не просто.

Инженеров-проектантов створ устраивает — отличное скальное основание для будущей плотины, а вот местным хозяйственникам хотелось бы, с их позиций выгоднее, если бы станция расположилась чуть выше или ниже по течению. Каждое ведомство оставляет свои и всегда в чем-то аргумен-

тированных позиции. Цель у всех одна, но интересы разные. Вот здесь и сложность — выбрать оптимальный вариант, сохранить главный государственный интерес, не нанеся вред ни одному ведомству.

Представляется, как сложна была эта задача у тех, кто должен был выбрать и обосновать оптимальный вариант. Ведь речь шла о защите от наводнений крупнейшего промышленного и культурного центра страны.

Пожалуй, ни одна работа Ленгидропроекта не вызывала еще на стадии технико-экономического обоснования столь активного обсуждения. Никто не выступал против идеи — создать прочную защиту города от наводнений. Дискуссии возникали, страсти разгорались, когда речь заходила о том или ином конкретном варианте. Например, предлагалось обезопасить город, оградив затопляемые территории высокими дамбами или набережными, или подсыпать низкие участки, приподнять их на 4—5 метров. Эти проекты были отклонены еще в начальной стадии проектирования.

Постепенно остались два варианта — западный и восточный. По западному варианту предусматривалось сооружение защитного комплекса в створе Горская — Кронштадт — Ломоносов на границе Невской губы и Финского залива. Для справедливости надо отметить, что здесь была использована идея ученого Базена, первым предложившего прикрыть город плотной в Невской губе.

Сторонники восточного варианта предлагали возвести защитные сооружения непосредственно в устье Невы и на приморских набережных. По этому варианту надо было одновременно построить и гидроузел на Неве. В часы наводнений водосливная плотина должна была перекрывать сток реки.

Предпочтение было отдано западному варианту. В чем же его преимущества? Их несколько, и каждое само по себе имело немаловажное значение. Неоспоримо главное достоинство западного варианта — его надежность. Плотина в Невской губе надежно защитит город от наводнения, независимо от того, будет на Неве гидроузел или нет. Немаловажно и то, что сооружение комплекса в створе Горская — Кронштадт — Ломоносов не нарушит обычный ритм жизни города. Его строительство можно вести поэтапно, и обойдется оно дешевле.

По восточному варианту осуществлялась защита только самого Ленинграда. По-прежнему незащищенной оставалась большая территория побережья. По западному варианту город приобретает в защитной зоне акваторию площадью в 400 квадратных километров. Она не только повысит надежность системы защиты, она орга-

нично впишется в городскую черту и со временем будет так же обжита, как ныне Нева, ее каналы.

Не случайно горячими сторонниками западного варианта стали архитекторы, градостроители. В пользу проекта высказались транспортники, энергетики — защитный комплекс сулит им немалые выгоды.

Особенно горячие споры возникали, когда решался вопрос о воздействии защитного сооружения на окружающую среду. Раздавались голоса, и довольно авторитетные, что, мол, столь бесцеремонное вмешательство в сложившийся природный мир не обойдется без пагубных последствий. К решению этой важной проблемы, решить которую было не под силу одним проектантам, были привлечены специалисты самых крупных в этой области научно-исследовательских учреждений страны — ихтиологи и медики, гидрологи и биологи, гидравлики и экономисты. Решение было принято после того, как были проведены многочисленные натурные и модельные исследования. Была сделана оценка не только современного гидрологического и санитарного состояния Невы и акватории ее дельты, но и прогноз: какими они будут в 2000 году — если появится защитное сооружение и если его не будет.

Результаты исследований убедили: сооружения защиты не окажут отрицательного влияния на гидрологический режим и санитарное состояние акватории Невской губы. Так, например, было выяснено — плотина не помешает свободной миграции рыб из Финского залива в Невскую губу или из Невы в залив. Она отрицательно не повлияет на рыбное хозяйство в Неве и Ладожском озере. А вот чтобы восполнить рыбные запасы в период строительства, проектом предусмотрено возведение рыбоводного завода.

Защитные сооружения обеспечат нормальное надежное функционирование общесплавной системы канализации и бесперебойную работу всех очистных сооружений города. Их не затопит при наводнении.

Более того, гидрологический режим и санитарное состояние Невской губы с появлением защитных устройств станут лучше. Будут ликвидированы застойные зоны, частично выправлена береговая линия. Маневрируя затворами водопропускных отверстий, можно будет частично перераспределять сток Невы.

И это при том, что решается главная глобальная задача — безопасность города с четырехмиллионным населением.

Итак, западный вариант. Теперь уже не вариант, а принятый во всех инстанциях технический проект защиты Ленинграда от наводнений. Что же представляет собой этот сложный гид-

ротехнический комплекс? Объекты первой очереди — защитные сооружения в Невской губе Финского залива, вторая очередь — гидроузлы в среднем течении Невы.

Прежде всего, это плотина, которая по линии бывших фортов Кронштадтской крепости соединит в створе поселок Горский — остров Котлин — город Ломоносов, берега Финского залива — северный и южный. Длина защитной дамбы 25,4 километра. В защитный комплекс входят судопропускные и водопропускные сооружения, а также объекты вспомогательного и эксплуатационного назначения, размещенные в Невской губе Финского залива, на берегах Невы и на острове Котлин.

Защитный комплекс, собственно гигантская плотина, охраняя город с залива, перекроет вход в Невскую губу. А как же с судоходством? Ведь Ленинград — крупнейший морской порт на Балтике.

Корабли по традиционному фарватеру будут входить в Невскую губу и швартоваться у грузовых и пассажирских причалов Ленинграда. Для них будет устроено два судопропускных сооружения — одно в южных, другое в северных воротах Невской губы. Через судоходный пролет в южных воротах у форта Константин пойдут крупные морские суда. Мелкие суда, курсирующие между Ленинградом и портами на Финском заливе, пойдут через северные ворота.

Судоходству защитный комплекс не помеха. А сохранит ли свободу передвижения невяская вода, не нарушится ли водообмен между Невой и заливом? Об этом, разумеется, проектировщики позаботились прежде всего. Присмотрели шесть водопропускных сооружений. В каждом по 10—12 отверстий шириной по 24 метра и глубиной 5 или 2,5 метра. Это по расчетам должно обеспечить хорошую проточность воды и не нарушит естественный режим и уровень воды в дельте Невы.

Участки между бетонными водопропускными и судопропускными сооружениями заполнят каменно-земляные дамбы. Они же прикроют и остров Котлин. Защитные дамбы поднимутся на 8 метров над обычным уровнем моря. В час опасности на пути нагонных волн встанет могучая плотина, надежно ограждающая город. По сигналу тревоги Невская губа в створе Горская — Котлин — Ломоносов будет перекрыта. Из док-камер выйдут откатные металлические затворы в судоходные пролеты, сегментные металлические затворы закроют отверстия водопропуска. Прочный балтийский щит встанет на пути стихии, принимая удар на себя. Нагонные наводнения, как правило, кратковременные, они не продолжаются более суток.

И хотя за это время невяская вода аккумуляруется в замкнутой акватории Невской губы, это не вызовет нежелательного опасного подъема ее уровня.

Но у защитной дамбы, соединившей берега Финского залива, есть еще и «мирное» назначение. По ее гребню будет проложена автомагистраль. Эта дорога первой категории шириной в шесть полос движения войдет в состав внешнего автомобильного кольца вокруг Ленинграда, замкнет его. Судоходные каналы автомагистраль пройдет в подводных тоннелях, а водопропускные сооружения пересечет по железобетонным мостам. Вряд ли стоит говорить о том, как нужна и полезна будет автомагистраль с одного на другой берег Финского залива.

Автомагистраль на гребне защитной дамбы позволит разгрузить, освободить город от транзитного, главным образом грузового транспорта, и воздушный бассейн над Ленинградом станет чище.

Предстоит огромное строительство. Оно должно быть закончено за двенадцать лет. Срок, учитывая объемы и уникальность объекта, совсем небольшой. Предстоит переместить — вынуть и насыпать — миллионы кубических метров мягкого грунта, уложить тысячи кубометров железобетона, установить тысячи тонн металлоконструкций.

Немалую техническую сложность представляет изготовление оборудования, например невиданно мощных откатных стальных затворов в судопропускных сооружениях. Строительные работы будут вестись в море: летом — волны, зимой — лед. Чтобы иметь широкий фронт работ, отряды строителей пойдут навстречу друг другу от берегов Финского залива и острова Котлин.

И еще одна особенность предстоящей стройки. Не нарушит ли строительство экологического равновесия в Невской губе и в Финском заливе? Разумеется, вмешательство это не произойдет бесследно — ведь только земснарядами предстоит вынуть со дна миллионы и миллионы кубометров грунта. И если по основательным расчетам ученых и проектантов появление защитного комплекса послужит во благо природе, то возводить его придется очень осторожно и продуманно.

В Гидротехническом институте имени Веденеева на Выборгской стороне начато строительство специального павильона, в котором будут проигрываться отдельные операции строителей. В исследовательском павильоне ученые-гидрологи и гидротехники проследят за тем, как отреагирует река на вмешательство человека. Тщательные наблюдения будут вестись и на месте всех работ в акватории Невской губы. Такого рода исследования на модели и натуре знаменуют начало за-

ботливой опеки и постоянного изучения бассейна Невы. И, конечно, это — еще одно свидетельство полноты ответственности, с которой отнеслись к вопросу о защите города от наводнений.

Когда готовят проект любого сооружения, то прежде всего занимаются обоснованием его целесообразности, экономической выгоды. Так, когда проектируется, например, мощная гидростанция, точно подсчитывается, через сколько лет она окупит себя, сколько миллионов киловатт-часов энергии получит от нее народное хозяйство. Ну, а какой экономический эффект даст народному хозяйству защитный комплекс? Какая выгода от плотины — ведь в ней не будет турбин, она ничего не будет производить.

Проектировщики скрупулезно подсчитали и доказали: расходы на строительство комплекса — не только плата за отсутствие риска, огромные капиталовложения оправдают себя. Защитный гидротехнический комплекс прежде всего сэкономит немалые государственные деньги. Оказывается, ежегодно в среднем — независимо от того, случилось или не случилось наводнение, — потери города составляют несколько десятков миллионов рублей. Это и восстановительные работы, и простой станков, и ремонт домов. И получается, что дорогостоящее сооружение экономически выгодно! Оно оправдывает себя всего лишь за шесть лет! Срок весьма небольшой для возврата столь крупных капиталовложений.

Есть еще одно, и очень немаловажное, обстоятельство, потребовавшее незамедлительного строительства дамбы для защиты города от наводнений.

Без надежного щита, прикрывающего город с моря, нельзя полностью и успешно осуществить генеральный план развития Ленинграда, утвержденный Советом Министров СССР в 1966 году, ибо этим планом предусмотрен выход Ленинграда к морю, создание его морского фасада. Смело и дерзко задуманный как морская столица государства, город все же исторически сложился как центр на Неве. Река стала его главной улицей, ее берега одеты в гранит, в ее воды смотрятся зеркальными окнами дворцы. А морской берег, Финский залив оказались на задворках огромного города.

По генеральному плану развития Ленинграда эта исторически сложившаяся «несправедливость» должна быть устранена. Город выходит к морю, формируется его морской фасад на побережье Невской губы от Ольги-на до Стрельны. Город осваивает набережные, готовит их под застройку. Причем делается это с размахом: за несколько лет со дна морского намывто более 50 миллионов кубических метров песчаного грунта. Около пятна-

дцати квадратных километров намывной территории сдано под застройку.

К 1990 году уже около 50 квадратных километров будут готовы для застройки. Для этого придется поднять на берега со дна Финского залива около 125 миллионов кубических метров песчаного грунта. Тут вырастут новые кварталы, сотни домов жилой площадью в 20 миллионов квадратных метров.

Преобразится морское лицо Ленинграда: набережные оденутся в гранит и несомненно станут любимым местом горожан.

Как видите, город еще до сооружения балтийского щита начал осваивать финское побережье. Правда, принимаются некоторые меры предосторожности. Берег поднимается довольно высоко — на 2,5 — 3 метра. Когда же появится защита, можно снизить высоту намывных берегов. Заметно уменьшится объем работ, что сэкономит 100 миллионов рублей. Это будет чистый «доход», который принесет защитный комплекс.

Все, что делается сейчас на морской стороне Ленинграда, все, что предусмотрено его генеральным планом, рассчитано на надежную защиту от морской стихии.

«Невы державное течение...» — как удивительно верно сказано. Нева действительно величавая, неторопливая, могучая река. Она неторопливо несет свои воды в устье. И амплитуда колебаний уровня в реке совсем незначительна — всего 15—20 сантиметров. Это когда ничего не возмущает Неву, не пытается остановить ее на пути в Балтику. Главный возмутитель — нагонные «длинные волны» с моря, перекрывающие горловину Финского залива. Но, оказывается, есть еще один неприятель у Невы. Во время ледостава в русле реки скапливаются шуга и лед, образуются зажоры. Они преграждают течение реки и вызывают довольно большой подъем воды. Об этих осенне-зимних наводнениях многие из ленинградцев и не знают, так как происходят они на Неве значительно выше города. А меж тем с зажорами всякий раз борются — ледовые заторы взрывают, очищают невский фарватер ледоколами. Но все это — дело хлопотливое, а главное, оно малоэффективно.

Чтобы избавиться от зажорных наводнений, в ее среднем течении надо построить гидроузел.

Гидротехнический комплекс — это прежде всего водосливная плотина с двухниточным шлюзом для судов. Воду, которая устремится через плотину, заставят работать, вращать лопасти гидротурбин. Однако главное назначение невской плотины — регулировать речной сток и уровни Ладожского озера. А это позволит ре-

шить целый комплекс довольно важных народнохозяйственных задач.

Появится возможность предотвращать зимние зажорные наводнения. А главное, река станет управляемой, человек сможет регулировать ее работу, по-хозяйски распорядиться ее водами. Во время наводнения затворы защитного комплекса будут закрыты, это уменьшит подъем Невы в Невской губе.

И наоборот, чтобы промыть в санитарных целях дельту и Невскую губу, удастся, когда это потребуется, усилить сброс воды из Ладожского озера в Неву. Появление гидроузла, несомненно, улучшит и судоходство на реке.

Нева очень обильна и без ущерба

для себя может поделиться водой с Волгой и Днепром. Осуществление переброски по Волго-Балтийскому каналу части стока Ладожского озера в бассейны Волги и Днепра также станет возможным лишь после сооружения неевского гидроузла.

В возведении защитного комплекса примут участие организации девяти министерств и ведомств страны. Но всесоюзная стройка эта прежде всего ленинградская, город в ответе за ее успех. Опыта и сил ему не занимать. Значение стройке придается огромное — она, несомненно, сыграет выдающуюся роль в судьбе города Ленина.

Балтийский щит надежно прикроет город.

Лина Глебова

В ПОЕЗДКЕ И ДОМА

Дневник журналистки

Серый туман липнет к окну. За окном мокрый и зябкий ленинградский октябрь. Да, снова октябрь. Год спустя. Ровно год. А мой долг «Пахтаабаду» так и не выплачен.

В совхозе «Пахтаабад» сейчас поздний вечер. Контора почти опустела. Освещены немногие окна. Окно планового отдела. Там негромко играет в приемнике хорошая музыка, Қаримов готовит приказ о премиях. А в кишлаке уж погасли последние огни в затемненных садах домах. Еще день прошел, еще один день.

И у меня в Ленинграде еще день прошел.

И опять не скажешь, что пустой, напротив, забитый до предела, но опять в нем ничего не сделалось из того, что сделаться должно. А ведь каждый день, в который не сделано то главное, что сделаться должно, — это не просто упущенный, пропавший день, это день, который отнял что-то очень важное. Отнял безо всякой надежды возврата...

Иногда мне смертельно хочется очутиться совсем одной на дымчато мокрых вечерних камнях города, в котором я выросла; иногда мне представляется, что случись такое, — во мне бы открылись силы свершить тот рывок, тот переворот, который бы все в моей жизни либо поломал, либо привел в равновесие... Но и это невозможно, он так далек от меня, мой старый город. На карте — один кружок, а в жизни — далек недостижимо. Да и где он теперь, город моей молодости? Где тот Васильевский — тихий, скромный, задумчивый, что бормотал глуховатым голосом дождя, тумана, солнца давнее, тайное в переулках у Академии художеств, что-то силился припомнить в тех фонариках и балкончиках, что нависли над булыжниками узких улиц на задах университета, с чем-то прощался у дровяных складов на Тучковой...

А ведь это был мой город. Он вошел в мою плоть и кровь, моя настольная книга, мой учитель, мой поводырь. Он был мне замена всего —

поля, леса, черной пахучей земли, даже тех шкур и войлоков, что увидела в прошлом году в «Пахтаабаде». И когда, вернувшись после войны из Ташкента, мы с братом пускали на сызых торцах набережной в бурливых талых потоках бумажные кораблики и зачерпывали воду в ладони, и когда потом на спусках у моста вылавливали из Невы — как только не свалились в воду! — сосульчатые воздушные замки тающих льдинок, — он лежал в моих заголодавших, красных ладошках весь целиком, перевернутый и десятки раз отраженный. И когда мы бродили по тем послевоенным залам Эрмитажа, до того безлюдным и гулко пустынным, что мы рвали в висячем саду щавель и высасывали сок из жестких волокнистых стеблей, и когда наконец добирались до серой с черным, облитой красным ковром итальянской лестницы, мы, дети военного времени, потрясенно вглядывались в мраморных итальянских мужчин и женщин, в их руки, груди, плечи, торсы, не веря, что на свете когда-либо существовали такие явно вечно сытые, вечно чистые, вечно беззаботно обращенные к одной лишь любви люди. Мы не ведали, что перед нами боги, мы такого еще не проходили, но сердцем мы постигали тайное тайных искусства: подобное чудо художник мог создать лишь в сердце своем и потом изваять в камне увидевшееся в лунном луче.

Я только зернышко на твоих плитах, мой город, который подарил мне так неоглядно много! А чему-то я так и не смогла научиться... В школе нас обучали «силе воли», помогающей «грызть гранит науки», обучали даже начаткам теории относительности, но «не проходили» с нами такого, что человек создан, между прочим, для любви и семьи, и что любовь — всегда забота, труд, способность и умение преодолеть себя, отказаться от себя ради другого человека.

Впрочем, я что-то слишком отвлеклась, а уж если рассказывать, то все по порядку. Началось это год назад,

В тот вечер я встретила мужа радостной новостью: «Ты посмотри, какую мне предлагают интересную работу!» Да-да, тогда я все так и ощущала: радость, интерес, надежды, уверенность... Муж осторожно взял протянутый мною длинный узкий листок, стал читать вслух с ощутимым недоверием в голосе:

«Аннотация на хлопковый совхоз „Пахтабад“ Дархандарьинской области Узбекской ССР, представленный к награждению Красным знаменем ВЦСПС... Совхоз — пример для других хозяйств в деле организации труда... Победитель Всесоюзного и республиканского соревнований...»

— Нет, — говорит мой муж, — я категорически против. Я просто не понимаю, зачем тебе туда ехать. Хочешь работать — работай дома. Разве не о чем писать в Ленинграде?

— Но я уже сдала ленинградскую книгу!

— Ну и что? Ленинград — неисчерпаемая тема. Крутись себе дома и пиши потихоньку.

— Нет, не примирюсь! Два несоместимых мира! Мой дом, мой муж, мой ребенок. «Крутись себе дома» — это другой мир. И он вытесняет работу. Мне сначала казалось — ну на полгода, на год, на два. Ну на три... Теперь, боюсь, на всю жизнь!

— Я же не о себе. Не о Даше. Я о тебе. Ты посмотри, куда ты едешь!

Я как раз этим и занимаюсь. «Пахтабада» на карте нет, естественно, но есть Денау. Это действительно другой край страны. Близко-близко придвинулись коричневые распльвы предгорий Памира. Рядом синий извив Дархандарьи, впадающей в Аму. Чуть опустить карандаш — и все, граница, Афганистан. Чуть вправо карандаш — Памир, рядом Индия. Окраина из окраин, земля, которая даже в Бухарском ханстве считалась провинцией, колонией...

— Ты там будешь одна. Ты там можешь заболеть. Тебя могут обидеть. И мне не прилететь! Тебе там будет трудно, черт побери!

Он всегда прав, мой умный, мой хороший, мой добрый муж. Мало ли что может со мной там случиться? Но так ли уж безопасно и спокойно сидеть дома? Ведь это — тоже жизнь, здесь тоже можно и заболеть, и попасть под машину...

— И вообще, зачем ты стала заниматься этим сейчас? Имею я право спокойно поужинать вместе с женой? Неужели нет другого времени?

И он опять прав, мой муж. Он действительно устал и, придя домой с работы, имеет полное право спокойно поужинать вместе со своей женой. А что для того чтобы съесть ужин, его сперва надо приготовить, а через полчаса уже пора укладывать Дашу

спать, — это ведь не так просто понять.

— Мама! — кричит Даша. — Посмотри, я сделала из флажка восклицательный знак! Мама, а что такое зависть? А скудость?

Сегодня днем она гуляла с большой Леночкой, уходила за школу, на ту сторону двора, я видела в окно, но раз с большой Леночкой, не стала звать. За обедом она рассказывает: «Я с Леной ходила к тому дому, ты видела?» — и осторожно и хитро на меня поглядывает. Я не ругаю, она вдохновляется. «А еще мы с Леной ходили в универсам и там купили шоколадку. А еще мы ходили в „Прометей“ и там смотрели три мультфильма. Про девочку, про собачку и про такого смешного коротышку. Да! Да! Я не выдумываю. А потом мы поехали с тремя пересадками и были на улице, на которой всегда Праздник. Там флаги, огоньки, корабли, она так и называется Праздничная. И на этих островах, ну, которые мы с тобой в автобусе проезжали, мы тоже были. Смотрели цирк... Откуда у нас деньги?. А он бесплатный. Потому что там нет никаких дрессировщиков и укротителей. Звери сами приходят из парка, показывают свои штучки и уходят. Лев показывал. И лисичка».

Она так возбудилась от полета фантазии, что уже не спала днем, и дальше весь день пошел наперекос. «— Выпей сок. — Не хочу. — Тогда я умираю. — Нет, дай. — На. — Я больше пить не хочу». Ну что с нею делать? Что тут наказывать? Вечером выпустила гулять, и не затащить домой. Привела, наконец, насильно, — но в каком виде! Пузо голое, на подбородке ссадина, рот в песке. Теперь ей грозят ангина и насморк, и желудочное расстройство. А еще ей грозят ветрянка и скарлатина, и свинка, и корь... Сколько ей всего грозит и грозить еще будет! Спать она тоже не желает: мама, почитай; мама, спой; мама, застегни кукле пуговицу...

А у мужа завтра сумасшедший день, с утра — экзамен, потом — защита. «Ты погладила мне рубашку? А где носовой платок? Да, наверное, кто-нибудь будет к обеду, так что ты не забудь, купи...»

— Послушай, — говорю я робко, — в воскресенье я бы съездила в библиотеку, столько накопилось, хоть бы посмотреть...

— Но с кем же останется Даша? — искренне огорчается муж. — В это воскресенье наконец-то я могу выбраться в филателистический клуб...

Филателия — хобби моего мужа. Хобби, как известно, занятие в свободное от работы время, начисто освобождающее человека от свободного времени. Различные хобби охватывают все более широкие круги образованного человечества. Словом, мужчина

не может без хобби, иначе какой же он мужчина.

— Конечно, поезжай, — соглашаюсь я, безуспешно пытаюсь подавить вздох. — Ну а я? Когда же я начну новую жизнь?

— Какую новую жизнь? — тревожно удивляется мой муж.

Действительно, о какой новой жизни может идти речь, когда нам наконец-то так хорошо: обжита квартира, обстроился район, разделились с долегами. Даша здорова. В самом деле, чего еще? Тем более, что надо разобрать шкаф, повесить тюль, накопилась стирка, пора купать ребенка...

Господи, ну зачем женщине образование? Тем более высшее? Зачем ей интеллектуальные запросы? Живешь так, что вздохнуть некогда, не то чтоб подумать. Ну зачем, зачем было быть молодой, рваться к чему-то, искать, голодать, стремиться... Мотаться по белу свету, знаться с умными, прекрасными людьми, из которых многих уж и в живых нету, и только память о них, их мысли, заветы еще живы в тебе...

— Мы так тебя любим, мама!

— Конечно же, радость моя, и я люблю вас.

...В самом деле, почему именно туда? Так далеко? Откуда во мне это чувство, будто несостоявшаяся моя жизнь где-то там существует и может состояться?

Была эвакуация. Ташкент. Тезикова дача.

Огромное ореховое дерево посреди двора, и лучи сквозь крону прямо в середину большущих ирисов у корней. Ирисы в этих лучах будто из темного золотистого стекла. Я многое сейчас вспоминаю с трудом. И то, как бомбили под Волжовом наш последний, еще проскочивший чудом двадцать восьмого августа эшелон, и тот чемодан, что свалился мне на голову, — наш чемодан. в нем везли в Ташкент только весной купленную навьюрот, надоевшую мне потом шубу; и солнечный удар на привокзальной площади, и как нас обокрали. Чтобы это вспомнить, надо напрячься. А пронизанный солнцем орех и ирисы — во мне. И ничего мне не стоит вызвать то ощущение чистой, светлой легкости, свободы и простора наполовину ничьих тогда садов Тезиковой дачи, до того неожиданных после старого дома на Васильевском острове, где на стене снаружи желтела потрескавшаяся доска: «Здесь помещалась подпольная динамитная мастерская „Народной воли“». Внутри этого старого дома даже летом не просыхали белые разводы плесени, а зимой разрастались между рам ледяные сталактиты и сталагмиты. В том доме весь последний год перед войной я болела без передышки, так и не выздоровела окончательно. А тут, среди этих садов, перед чудом светящегося

ореха, — будто кто-то снял с меня внутренние оковы, освободил, и я всплыла. Всплыла и увидела мир. Да-да, там, в Средней Азии, на ташкентской Тезиковой даче, потом в Соцгородке и случилось самое яркое, самое памятное в моем детстве...

— Мама! Мама! Посиди со мной!

Нет, сегодня Даша не уgomонится.

— Дашенька, пойми, я устала, у меня еще много дел.

— Все равно посиди, а то я не засну!

Она не успокоится, пока не заставит меня сидеть возле нее в темноте. Ну что за бесчувственный ребенок!

— Даша, а ведь ты не убрала перед сном свои игрушки.

— Не могу я столько убирать.

— И когда я попросила тебя помочь мне накрыть на стол вечером, ты тоже отказалась.

— Не могу я столько работать.

— И сейчас опять не слушаешься.

— Не могу я одна, мне страшно.

Что тут делать? Как, не затуркивая, не ломая ребенка, добиться, чтоб мои слова доходили до нее? Чтоб она жалела меня? Чтоб мой опыт становился ее опытом? Откуда в ней эта невосприимчивая бесчувственность, эта жестокость? На днях иду из универсама — в одной руке кошелка, в другой пакет с картофелем. Даша играет у дома и не подумает подбежать, предложить помочь. А когда пакет разорвался и картошка просыпалась, посторонняя женщина наклонилась помочь, а Даша стояла руки в боки и смеялась: «У мамы дырявые руки!» Подарили ей котенка, чтоб заботилась, — она выстригла бедному животному бок и до того загаскала, что он спрятался в шкаф и даже есть выходил только ночами.

Детское? Пройдет? А если не пройдет? Мне кажется, что я в ее возрасте была куда добрей и сознательней. Я отлично помню, как мы с братом кидались достать родителям, когда те возвращались с работы, тапки из-под кровати, а Даше я сама достаю тапки по сей день.

— Нет, — говорю я, — довольно. Больше сидеть не буду. Засыпай сама. Хватит надо мной издеваться.

И уйду из комнаты злая, даже не поцеловав ее на ночь, не пожелав спокойной ночи. И тут она наконец засыпает. Бесчувственный ребенок!

А посреди ночи она вдруг просыпается в слезах, повторяя:

— Мама всегда кричит на меня. Целый день кричит, с самого утра. Мама не поцеловала своего ребенка! Бабушка, заведи меня навсегда!

Я, сама испугавшись, укачиваю ее, повторяю ласковые слова, она переспрашивает недоверчиво, потом укладывается поудобней, поворачивается на бочок, лицом к стенке.

— Посмотри, мама, — говорит она уже сквозь сон, — посмотри, какие пчелки.

Я вглядываюсь в рисунок обоев, особенно фантастичный при свете ночника, и хоть с большим трудом, но нахожу там розовую пчелку. А ведь и я в детстве разглядывала узоры обоев, листьев, цветов и трав, подолгу смотрела в небо или на землю, — и чего я там только не видела, чего только не открывала.

Дашенька, капля моя, мой неоткрытый материк!

И с той же силой, с какой когда-то ощутила, что человек, не родивший ребенка, — незавершенный человек, понимаю теперь другое: человек, не сумевший постичь и взрастить в своем ребенке родную душу, — тысячи раз несчастный человек.

Да и была ли я уж такая социально сознательная в Дашинюм возрасте? Экая важность — тапки! Я росла вместе с братом, мне, наверное, было легче, чем Даше. Даша! Как мало я знаю о ней. Как она представляет себе меня? Отца? Как воспринимает наши заботы, болезни, споры? Как заглянуть в душу своего ребенка? Быть может, для этого надо суметь заглянуть в ту единственную детскую душу, которая была мне некогда открыта до самого дна? В ту детскую душу, которую я до какого-то рубежа всегда ощущала в себе, а тут — именно, когда она так понадобилась, — оказалось, утратила.

Путь от моей души к душе моего ребенка. Тут все непросто и неоднозначно. Мне кажется, я слышу, как в чуткой тишине этой бессонной ночи встают рядом, сливаясь со мной, моя мама, мой отец, моя бабушка... Все те, с кем — я поняла это только с рождением Даши — я связана накрепко бесчисленными связями. Все в жизни связано — это точно. Но в человеческом сознании связи быстро — опасно, преступно быстро — рвутся, путаются, становясь непонятными и загадочными. Жизнь записывает — время стирает. Я хочу, я должна связать в одно, казалось, безнадежно разорванные части своей жизни, чтоб соединить свою жизнь и жизнь моего ребенка. И жизнь тех, кто прожил прежде нас... Почему-то мне кажется, что я обрету эти связи там, в стране моего детства, в далекой Средней Азии...

— Ну, в конце концов, — говорит наутро мой муж, — если ты считаешь, что так тебе лучше, мы постараемся здесь не очень скучать без тебя. Мы постараемся здесь нормально жить и работать. Что ж, поезжай.

А я вдруг чувствую, что не могу уехать. Да, она позарез нужна мне, эта зависимость от меня их жизнью, и моя зависимость от жизни, которые через меня живут, тянутся своими ветками и веточками, опираясь о меня, а, случается, меня уже и попирая. Много

ли потеряет человечество, если я не состою, не напишу еще одну книжку? Человечество не потеряет ничего. А они без меня что-то потеряют. И за детством своим стоит ли гоняться так далеко? И возможно ли вообще соединить разорванное, разобраться до конца? Это все из ночных, бессонных, бредовых мыслей, а теперь утро, и меня обступает ворох реальных забот. Нет, я не имею права уезжать, оставлять их. Но еще я не имею права и на то, и на другое... И как мне все эти бесправия соединить?

— Послушай вот этот абзац, — говорит мой муж, — тебе интересно?

Да-да, мне интересно, но это его жизнь. Я отдаю им свою жизнь и ничего не имею против. Я лично убеждена, жизнь на то и дана, чтобы ее отдавать. Но ведь в конце концов, чтобы отдавать, ее все-таки надо иметь! А мне уже начинает казаться, что недалек день, когда отдавать будет нечего.

И все-таки... Почему я так сразу уверилась, что в совхозе рай и благополучие и что источник всеобщего процветания именно директор Усманов? Ну, во-первых, та аннотация. А потом, ведь мне сказал об этом сам Каримов — главный экономист совхоза. Тот самый Каримов, что сопровождал меня и был так понимающе внимателен, тактичен, предупредителен, Каримов, который всегда заранее знал, что будет мне важно и интересно, а что непонятно, и умел показать, умел объяснить. Каримов, всей душой преданный хозяйству. Каримов, мечтающий, помимо экономического, получить еще образование агронома и юриста: «Без такого не станешь хорошим плановиком!» Словом, тот самый Каримов, которому я верила безоговорочно. Сказал так четко и определенно, что фразы запомнились, как формулировки. Впрочем, эти формулировки прочитывались двояко... Я выбрала прочтённое из прочтений.

Он сидел передо мной за обычным канцелярским столом, густые волосы с сединой подстрижены вполне по-европейски, рубашка с короткими рукавами, защитные брюки, мягкие сапоги, кепка искусственного меха, точно такая, какую мы купили прошлой осенью мужу. Казалось, мне все понятно в этом человеке, но я вдруг всем естественным почувствовала: я на другом краю страны, за окном, за густыми тополями — пыльные улицы кишлака, а над ними смуглые отроги Памира, и говорят вокруг на языке, которого я не знаю, и мысли здесь движутся по каким-то своим орбитам, не очень пересекающимся с моими.

— Зачем я сюда приехала? — вдруг вырвалось у меня.

Каримов взглянул на меня внимательно. Даже будто сочувственно. В лице его что-то изменилось.

— Значит, поедемте, — сказал Каримов, — взглянете на наш совхоз.

Мы поехали.

И, может, дело тут даже не столько в прямолинейности моего мышления, сколько в разнообразии обрушившихся впечатлений. И вот в этом-то разнообразии совсем неожиданно для меня самой то, что всегда, сколько себя помню, представлялось делом третьестепенным, куда как незначительным против вопросов хозяйствования, создания материальных ценностей, — вопросы семьи, детей, родственных отношений, домашнего этикета — вдруг, перевесив в сознании все, что прежде считала первостепенным, совершенно отвлекли мое внимание. В самом деле, куда мы ни поедем с Каримовым, куда ни придем, — всюду так много детей! Дружных, ласковых, внимательно тихих, послушных. И матери рядом — молодые, красивые, спокойные, умиротворенные.

Семья отдыхает на краю поля. Мать и восемь дегишек. Они работали на уборке, а теперь у них завтрак. Пьют зеленый чай из ведра, запивают лепешки. Мать поднимается мне навстречу, выпрямляясь крупным, легким телом, протягивает пиалу и лепешку, и в улыбке — доброта, просветленность.

И еще женщина на уборке. Турсун Хамраева. Она шла над кустами высокого хлопка, чуть откинув назад голову, и невесомым казался груз, который покоился на ее голове. А груз был не из легких, немалый тюк — фартук собранного хлопка. Рука слегка придерживала тюк, спина в пояснице чуть изогнута, и, повторяя этот изгиб, летели ей вслед, словно приспущенные крылья, край платья, широкие рукава кофты, концы платка, опущенного за спину. Малиновое узбекское платье с расплывчатым зубчатым узором, такие же шальвары и платок, а кофта на ней была синяя. Она вышла из зелени — справа муж, слева сыновья-подростки, сверху синева неба, по сторонам рамка гор, она шла, а мне казалось, что я приближаюсь к картине, а на картине той — танец, праздник, сбор урожая, плодов. И я понимаю, Турсун не просто работает с сыновьями, эта работа — умный, навсегда запоминающийся, красивый урок.

Я протягиваю руку Турсун, и она неумело берет ее. Я говорю, как красиво она работает, как хочу написать о ней. «Ах, какая у вас жена красивая!» — говорю я ее мужу.

Внешность узбекской женщины не принято хвалить в глаза, на людях. Я чувствую, что совершила неловкость, Турсун отворачивается, неяркий румянец проступает сквозь загар

на щеке, на скулах. И мне вдруг открываются прелесть и обаяние узбекской женщины: неловкая грация, бесхитростная застенчивость, какая-то эманация нежности, разлитая вокруг.

— Лучшая сборщица! — наклонившись, негромко говорит мне Каримов. — И ведь не какая-нибудь холостячка: мать семерых детей.

То ли от движения, то ли от ветра свободное платье Турсун прилегает к тонкой, хрупкой фигурке, и я понимаю — Турсун беременна, не меньше как седьмой месяц.

Захотелось вздохнуть глубже, не вышло, будто что-то зажало, ожгло внутри. И то, что только-только представлялось мне праздником, обозначилось совсем по-другому. И тут же ловлю внимательный, изучающий взгляд Каримова. Да, он приглядывался ко мне с самого начала. Да, почему-то ему было важно, важно с самого первого дня, так ли я вижу, верно ли понимаю. Быть может, через меня, моими глазами, он проверял, сравнивал свое и Усманова отношение к этим людям? Но я видела только, как светились радостью понимания его глаза, и ощущала за этим доброту. То созвучное, то необходимое мне счастье — дарить, отдавать. Счастье доброты — простой и бесхитростной, как березонька в поле. «Некому березу заломати, некому кудряву зацципати...» Ерунда, всегда найдутся умельцы. Но доброта живуча. И покуда она жива — живы и люди. Ею и живы. И встреча с нею — всегда радость.

По утрам я просыпаюсь в начале седьмого от щелканья падающих орехов. Если я накануне возвратилась поздно или долго возилась со своими тетрадами, я остаюсь лежать, прислушиваясь к звукам кишлака. Но чаще я накидываю халат и выхожу. И тогда всякий раз я вижу чудо. Кристальная прозрачность утра, и в синеве — четкие, близкие, нависающие уступами черно-белых граней — горы. Ближе других гора Сёна. Сёна по-таджикски — грудь женщины. Гора и в самом деле напоминает женскую грудь — чуть приплюснутая, телесно смуглая, как, впрочем, и все холмы в октябре, с припухлой, слегка оттянутой вершиной. Но в этот утренний час Сёна словно парила в воздухе, отлитая из света. Стоящая впереди других гор, Сёна принимала одна весь напор низких солнечных лучей, все оттенки светового потока, излучала матовое сияние. А над ней громоздились слепящие вершины, озорные, гордые, смелые, как головы и шеи летящих коней.

И еще было в утре. Октябрьские розы в саду перед террасой. Они раскрывались по утрам. Такие большие, что не с блюдце — с тарелку. Их

крупные, твердые лепестки повторяли тона утренней Сёны.

Да и все вокруг в этот час было молодым, свежим. Даже поблекшие листья чинар, абрикосов, орехов. Даже поздние мелкие помидоры в траве у корней. И я сама поддавалась воздействию утра. Лепестки плавали в умывальнике, осы слетались на водопад, я растирала шею и руки, и словно бы чьи-то умные, чуткие пальцы заново лепили меня, освобождали от лишнего, возвращали ясность зрению и собранность мыслям — все, что казалось утраченным необратимо.

Сегодня мы с Каримовым едем в гости к Меккам Рахмановой.

Мы уже были у нее на ферме. «Рахманова — это такая труженица, — говорил зоотехник, — своим трудом она создала особую группу коров. Такие труженицы жизнь улучшают».

А сегодня мы едем к Рахмановой домой. В кишлак. В узбекский дом. Нет-нет, я хочу туда поехать. Хочу и страшусь: словно бы собираюсь переступить какой-то запрет. Откуда это во мне?

Говорят, человек полностью обновляется каждые семь лет. Ни одной прежней клеточки. И, значит, давно умерла во мне та диковатая девочка с лопатками, выпирающими, как у котенка, и темными, в пол-лица, кругами у глаз. Умерла. А табу живет. Значит, верно ли, что умерла?

Это было в детстве. В Ташкенте. Когда маму направили из цеха директором ФЗУ — что-то вроде теперешних профучилищ, мы перебрались с Тезиковой дачи в Соцгородок, в каменный дом. В училище к маме как раз привезли девушек-каракалпачек. Каракалпачки эти никогда не видели большого зеркала, не знали электричества. Их волосы, заплетенные в двадцать косичек, которые в чистой каракалпаческой пустыне были всего лишь украшением, здесь, в перегруженной тесноте общежития, оказались источником инфекции. Когда появились сыпняк, мама с замполитом отвезли заболевших в больницу. Замполит заболел, мама нет. Девушки возвращались остриженные, но здоровые. И тут же, решив приобщиться к электрическому глажению, они сожгли ФЗУ. Красивое, постройки тридцатых годов, здание горело костром.

Наш дом не горел. Он стоял огромный, многоэтажный, выстроенный буквой Г. Длинный фасад на улице, короткий — торцом в пустырь, где протекал большой арык: с обрывистыми берегами. На той стороне арыка шли сплошняком густые сады — то были, как я теперь понимаю, просторные окраины лепленного из глины, тесного и пыльного старого Ташкента. Наш двор с развесистыми уроками (уже в середине февраля деревья превращались в розовые облака!), улица, до-

рога к школе, госпиталь, пустыри и закоулки по дороге — все вспоминается мне сейчас как объекты накопления жизненного опыта.

Ограда госпиталя. По ту сторону ограды растут белый экран, когда стемнеет, будут показывать фильм «Пышка». А мы в нетерпении уже расселись, как воробы, на ограде, готовые смотреть фильм с изнанки.

А за этим углом меня однажды били портфелями. Второгодница Валька и девчонки, которых Валька подговорила. Та самая Валька, что отбирала у меня завтраки и обзывала эвакуированных «выкавыренные». Было не столько больно, сколько стыдно. До того обидно и стыдно, что я не видела нестерпимого Валькиного лица с круглыми злыми глазами и скошенным ртом, а только слышала ее запах. Только отчаянно, всем сердцем желала осилить, одолеть. И одолела. Не я — сказка. В свои девять лет я читала много. Но от взрослых книг трудно и тесно становилось сердцу. Сказка же распрямляла, приподнимала. Я стала рассказывать сказки. На большой перемене в тесном углу, где были свалены негодные парты. И в нашем несомном детстве, таком не отгороженном от наготы жизни, засветился волшебный фонарь. От его лучей вошло в нашу жизнь праздничное, сроднившее нас тепло. Позже других, но стала слушать сказки и Валька.

В жару мы не отходили от большого арыка, вся наша компания. Купались в арыке, играли, оберегаемые его прохладой. Иногда вверху перекрывали шлюз, и арык обезвоживал. Мы ждали воду. И вода шла. Валом, стеной в два, три наших детских роста, гнала перед собой пыльные воронки, черные язычки вырывались вперед, а мы — маленькие, верткие — с визгом восторга бежали перед самой бурлящей стеной. Вода догоняла, настигала — успевай, не споткнувшись, не сорвавшись, уцепиться за землю, выбраться наверх! И бегом назад, к месту, годному для купания.

Но все это было по одну сторону арыка.

И ничего — по другую.

Там, казалось, — другая планета. Даже споткнувшись, даже чувствуя спиной настигающий вал, мы никогда и подумать не смели выскочить на тот берег.

Оттуда, из неведомого мира, приходил в наш двор седой старик в калате и косматой шапке, приносил корзиночки со сладями. У меня и сегодня тают во рту те, редко доступные, но зато особенно вкусные — белая халва, перекрученные леденцы, воздушная кукуруза, сушеная дыня. Оттуда, из тридцатого царства, случалось, проходили наш двор женщины, окутанные паранджой со страшной черной сеткой вместо лица. Молодые

узбечки паранджу не носили. Они шли с корзинами фруктов, круглолицые, яркие, в своих свободных, надувающихся парусом платьях. Устав от жары, они входила в арык, подыая, чтоб не замочить, края платья, шли дальше, так и не заметив ни нас, ни наших взглядов. На том берегу не было заборов — да и какой бы забор нас остановил? — и злых собак там не было слышно. Но существовал какой-то запрет внутри, в душе. И мы ни разу не переступили границ старого города.

И вот открывается дверца в дувале. Я перешагиваю порог. И попадаю в неожиданный мир.

Неожиданный и одновременно знакомый. Откуда-то известный мне. Как вдруг оказываются известными иные главы вечных книг, когда читаешь их впервые.

...Утрамбованный, чистенький дворик усадьбы, налево дом, направо навес. Под навесом за плетеной оградой — арбузы, дыни, там сушатся бараньи и козьи шкуры, разложены плоские плетеные корзины, высокие кувшины. Затененный виноградником, айван покрыт ковриками. Старик в халате и чалме, скрестив ноги, — пиала в руках — спокойно щурится на просторный двор, на круглую иву над колонкой, на негустой сад, где деревьям просторно и каждое смотритса само по себе, на огород с высокой кукурузой и кудрявой люцерной. И во всем, что открылось взгляду, такое особое тонкое изящество, такая точность пропорций, какие достигаются лишь строгим отбором деталей, долгим выбором композиции.

В дверях дома кланяется нам пожилая статная женщина. Она держится достойно, величаво. Это свекровь Меккам.

Сняв обувь с ног, мы проходим темным коридорчиком в светлую комнату для гостей — михмонхону. Меня усаживают на голубой простроченный матрас под окном против двери, подкладывают под спину, под локти атласные подушки, а мои ноги прикрывают платком. Свет не бьет в глаза, и я могу спокойно рассматривать убранство комнаты. Пол устлан кошмами: красный, оранжевый, синий цвет. Поверх них — паласы. Местная выделка. Поверх паласов — ковер. Но ковер, как я догадываюсь, импортный. Зато постельные принадлежности, сложенные на полках до самого потолка, все самодельные. Какие там пестрые одеяла из кусочков бархата и атласа, уголки тканей чередуются, словно рыбки пляшут в искрящемся хороваде. Подстилки, сшитые из длинношерстных шкур ярких оттенков — синие, коричневые, апельсиново-оранжевые, густая охра. Я осторожно глажу рукой, пробую на ощупь атлас, войлок, пушистую жестковатость шкур — ощущение

незнакомые такие разные, словно вокруг часть природы, замена леса, поляны, реки.

А тем временем комнату заполняют гости. В грубых носках — сапоги за порогом, в пиджаках, тубетейках, меховых шапках. Здесь и бригадир, и животновод отделения, и участковый милиционер. Свекровь, опустившись на корточки, замерла у дверей, гордая, неподвижная. Старик свекор присел с другой стороны. Гости разместились кружком на матрасах, одеялах.

В дверях, откинув занавеску, стоит Меккам Рахманова. Она молода, приветлива и привлекательна милостивым, розово-смуглым умным лицом. На ней узбекское платье, платок, шальвары охватывают ногу у шиколотки пестрой тесьмой, в руках — кувшин для омовения — кумган: Меккам подносит кувшин каждому гостю, из высокого горлышка бьет струя. И мне вдруг хочется отыскать в сумочке программку с именами талантливых постановщика и художника — так пластичны и гармоничны движения, так сочетаются, переливаются краски. Меккам протягивает вышитое крестом полотенце. Красные грифоны. Твердый клюв, размах крыльев. Крылья грифона — охранный символ древнеиранских царей. Но не это, другое стучится в память. Эти крылья словно с тех полотенец, что до войны привезла со Смоленщины моя няня. Только были там не грифоны, а красные петухи. Те полотенца давно истлели. Они остались в том мире, почти забытом, по которому прошелся каток войны. И моя старая няня уже не ездит на Смоленщину. Но вот они — те же взметнувшиеся крылья, те же твердые красные клювы — здесь, в Дархандарье.

Меккам расстилает дастархан — скатерть, на ней угощение: лепешки, кишмиш, изюм, мед, конфеты. Я пробую изюм — крупный, прозрачный, медовый, кишмиш темно-синий, чуть серебристый, он с легкой кислинкой; я пью чай и ем лепешку с медом, совсем не подозревая, что следом будут и кислое молоко, и лук, и баранина. К этому я до конца не привыкну, до конца буду наедаться чаем с лепешкой, на собственном опыте убеждаясь в стойкости и живучести предрассудков. Всегда держалось во мне подозрение, что после чая ничего не принесут. Но всегда приносили. Меккам присела на корточки у самых дверей, почти за занавеской. Каримсз ополаскивает пиалы на кошму, разливает чай. Разговор уже идет по-русски, специально для меня.

— Узбекистон — якши, — говорит бригадир. — Какой фрукт есть на земле, все здесь растет. Земля хороший, климат хороший, вода мало; будет вода, сколько есть людей на земле, — на всех хватит.

А до моего не слишком поворотливого сознания доходит наконец: вокруг меня совершается обряд. Магический ритуал приема гостя. Будто приотворилась задвижка в бездонную древность, пространство вокруг населилось лицами, сердцами, бывшими прежде, их неповторимыми голосами, уже слившимися с голосами травы, земли, космического пространства. И вот они — рядом.

И сколько мне ни случится бывать в таких домах, меня всюду будут сажать под окном против двери, давать мне время освоиться, приносить кувшинчик для омовения, расстилать дастархан, плавно вести традиционную беседу. И многое, многое еще в чуть приоткрывшейся мне жизни — в поступках, во взаимоотношениях — строится согласно древним канонам.

Я гость, но я здесь и по делу. И, уважая мои заботы, беседу опускают от общечеловеческого до конкретного — до невестки хозяйки дома.

— Замужние на ферму не идут, — говорит бригадир, — им неудобно утром рано вставать, вечером поздно ложиться. А эта многодетная, восемь детей, а лучше холостых. — И мужчины вокруг дастархана согласно кивают.

Меккам сидит у занавески, опустив глаза в пол, будто говорят не о ней.

— Мы знаем, кто сам работает, кому помогают, — говорит животновод. — Эта сама работает. Как пришла после школы на наши курсы, взяла коров, все время им отдает. Так работать, животных любить надо, разбираться в характере. У Рахмановой обязательство три тысячи литров, а у нее по четыре тысячи от каждой.

— Выдержит так еще месяц, будет ей автомобиль, — говорит Каримов. — Муж у нее механизатор, очень ценный для совхоза человек. Со всеми машинами умеет.

Мне хочется расспросить Меккам о другом. О чем спрашивать при всех, наверно, неловко. Семь детей, восемь детей — меня оглушают эти цифры. Как можно еще и работать, когда у тебя восемь детей? Я все-таки прошу Каримова спросить и об этом. Оказывается, вопрос мой вполне уместен. Лучшего я и задать не могла. Лица становятся проще, словно лампочки зажигаются в глазах.

— Свекровь у нее молодец, помогает, — говорит бригадир, — готовит, кормит детей, моет.

— Наверное, дети в садик ходят, — уточняю я, потому что не вижу, не слышу детей.

Но Меккам и свекровь машут руками.

— Нет-нет, в садике дети болеют. Дома растут, вырастают дома. Старшей уже шестнадцать, на ферму ходит, матери помогает.

— Дояркой станет?

— Не знаю, — осторожно отвечает Меккам. — Учиться если дальше захочет, противиться не станем, пусть едет.

Я снова оглядываю михмонхону, кружок людей вокруг дастархана, пластику под...

Поднималось в небе безжалостное солнце, ветры не приносили ни снегов, ни дождей, иссыкала в арыках вода, земля становилась пылью, и не кочевники — самые оседлые земледельцы поднимались с давно обжитых мест, шли к новым долинам, благо еще земля была просторной. Руками и кетменем корчевали неподдающийся кустарник, выдирали режущий руки камыш, копали каналы, месили глину, резали кирпичи, сваливались без сил от голода, труда, лихорадки, забыв в бреду, зачем пришли в эти гиблые места. Но выверенный веками обычай жил в крови и вел из безнадежности в будущее уже и помимо собственной памяти.

Спокойным становилось солнце, от сажenceв, привезенных из прежних мест, поднимались молодые сады, стада тучнели на богатых лугах предгорий, и от обильной пищи тяжелели сердца мужчин, а сердца женщин ссыхались от однообразия и монотонности многих покорностей жизни, в которой сама любовь становилась всего лишь еще одной покорной обязанностью. И вновь вековые обычаи становились опорой сердец. Потому что хранили они праздничность и поэзию, приобщение к тем многим-многим, кто прежил свое прежде нас.

Так было. Но теперь-то, теперь...

Вон в углу телевизор последней марки и рядом проигрыватель.

Бабай в чалме собирается запрятать «Жигули». И запряжет.

Дети все до одного получают образование.

Так чем же живы сегодня те древние обычаи? Да и живы ли? Может, умерла их бывшая сердцевина и осталась только привычная декорация?

Закат сгущал по кромке неба гнетущие багровые краски, разбрасывая красные блики по всем бугоркам и возвышенностям земли. И тут же безо всякого перехода, без полутонов, разливал по небу легкую лимонную желтизну, протягивал от горизонта до самого зенита пронзающий душу изумленьем и грустью отчетливый изумрудный луч.

— Какие у вас здесь большие семьи! Семь детей, восемь детей... А у вас сколько, Раим?

— У меня шесть, — отвечает Каримов. — И все сыновья, одна девочка.

— И это в тридцать три года! Зачем вам так много, Раим?

— Совсем не много, у Бекамова — мой ровесник — десять детей. Я вас

потом познакомлю — друг мой, руководитель лучшего в совхозе отделения.

Раим смеется. У него редкостная улыбка. А смех не очень-то приятный, грубый, отрывистый. Чем-то противоречащий улыбке.

И так во всех моих ощущениях от него.

Противоречивость. Непредугаданность.

Простодушие и — недоговоренность. Трогательность, доброта и — жесткость.

У него сухая, прозаическая профессия. День-денской считать тонны, копейки, рубли. Переводить деянйя людей в проценты. Но он как-то сказал мне: «У нас старые говорят: деньги слиты с жизнью. И еще у нас говорят: деньги не унесешь с собою, лишь дела твоей жизни пойдут за твоим телом».

Он не знает ни Жерара Филипа, ни даже Ходжи Насреддина. На все одна реакция: «А кто такой?» Когда по телевизору показывают кино или спектакль, он переключает программу. Но если по радио поют девушки из самодеятельности, если в телевизоре народный оркестр, и тысячелетние трубы карнай и зурнай открывают мелодию, и поет гижак, и подпеваает дутар, и дойра и нохар отбивают ритм, — как загораются его темные глаза, как ходят сами длинные гибкие руки. Он слушает трепетно, глаза его светятся, туманятся, теплеют. И весь он красив, полон силы и веры в жизнь.

Когда мы едем с ним по совхозу, он то и дело останавливается. С ним все раскланиваются, у всех до него дело. И ему приятно, что он нужен, его уважают. Он сильный человек, он настоящий мужчина, уверенный, властный. Он легко улыбается, часто смеется. По вечерам в гостинице он ест с удовольствием, с удовольствием смотрит футбол в телевизоре. Шутит. Ему хорошо.

Но только иногда в лице прорезается другое что-то. То ли ущемленность, то ли страдание. Хотя си сам этого словно не замечает.

Случайный мой гид, неожиданный попутчик. Приедь я не в такое горячее время, и на его месте мог бы оказаться любой другой. Но моим гидом оказался Каримов, и сам стал частью того, что показывал. И поэтому мне так необходимо понять, постичь этого человека настолько, насколько вообще возможно другого человека постичь.

Знаю ли я о ком-нибудь больше? Пожалуй, да...

Но вот о директоре, о Касыме Усмановиче Усманове, я знаю так немного. И даже в том, что знаю, никак не прийти к одному знаменателю.

Конечно, Усманов — полновластный хозяин в «Пахтаабаде». Это сра-

зу видно. Он здесь коренной, он всех вокруг знает — отсюда в нем это основательное чувство права каждому указать, с любого потребовать. Ростом Усманов не высок, но широк в плечах, тяжелоат, даже грузен, крупные черты его большого лица выражают уверенность в своем праве и силе. Это массивное лицо вызывает во мне чувство почтения и даже робости. Но Усманов умеет так легко превращаться в милейшего, легкого, открытого, трогательно заботливого человека, который от полноты души любит и пошутить, и угостить, и позабавить. Такое его свойство впечатляет тем сильнее, чем разительный контраст с его суровой внешностью.

Да и весь Усманов целиком, душой и телом, предан совхозу, отдан работе. «Такое напряжение! Нервотрепка! Где выдержать?» — делится он со мной в минуту открытости. И сердце мое сочувствует Усманову, сжимается жалостью к нему. Да ведь и в самом деле, плотное, квадратное тело Усманова с короткими ногами и вздымающейся грудью слишком грузно, не приспособлено для постоянного движения и суеты. И когда он вылезает из «газика» в помятом костюме с налипшим хлопком, в запылившейся шляпе пирожком, то и лицо у него помятое, усталое. Еще бы, он и ночью успевает перехватить самый чуток сна, до того тяжким трудом дается ему хлопок. Нет, Усманов себя не жалеет.

Но все-таки, что он за человек? Не на виду, а чуть поглубже? Каков с людьми, в работе? Как поднял совхоз? Воспитал коллектив? Как ни бьюсь, ничего такого не знаю и узнать не могу.

Вот и сейчас подхожу к гостинице и еще на террасе слышу торопливый, с захлебом, голос Усманова: «Вчера с хлопкозавода уехали в четыре часа! Я Чары не послал домой, пусть у нас спит. А в шесть поднялся, уже забыл, где Чары ночует, нервничаю, где шофер...» Но это не мне, это другому корреспонденту.

В гостинице сегоднялюдно. Вокруг длинного стола, кроме обычных здесь ревизоров — худенького и полного, — людей скромных, сдержанных, есть еще гости. Из Термеза. Это Азатов из областного радиокомитета и Виктор Адамович Смирновский, заместитель директора областного краеведческого музея.

Азатов, по-журналистски расторопный, уже готов записывать Усманова. Смирновский в стороне. Он молчалив. Высокий, худой, в легком свитере с воротником стоечкой, с вьющимися густыми светлыми волосами и неожиданными — молодо, яростно синими — глазами.

Они едут в соседний колхоз, там не так давно был раскопан город Холчян — первый век до нашей эры. В том

городе дворец — восток плюс строгость античности — с глиняными раскрашенными скульптурами. Шедевры древнего зодчества. Еще один всплеск в бездонной воронке народов и царств долины Дархана, где так много «темных мест», что всякое новое открытие лишь прибавляет тайн и загадок.

С чего начался тот разговор? Не помню. Помню только, что мне предложили гранат, я отказалась. Я была уверена, что гранатов не люблю. Даша как-то пристала на рынке, я купила и убедилась, что труд отколупывать шелуху, высасывать кислый сок из бледных зерен не соответствует высокой рыночной стоимости этого фрукта. Каримов взял гранат, проколол ножом отверстие. Он обнял гранат ладонью и медленно сдвинул. Пенная кровавая струя ударила по дну пиалы, и пиала наполнилась. Боже ты мой, что это был за вкус. Вкус дархандарьинского граната! В нем сочетались прохлада отдыха и радость веселья, аромат меда и терпкость вина. Нет, пить просто так этот напиток было немислимо. Его надо было выпить за что-то хорошее.

— За успехи вашего совхоза, за благополучие каждой семьи, — предложила я.

Нет, у меня и в помыслах не было сказать что-нибудь особое. Но как откликнулся Каримов, как горячо и просветленно отозвался всем лицом!

— Вы это верно сказали, Дина-хон, успехи совхоза и благополучие каждой семьи. Я об этом день и ночь думаю. Готовая диссертация: рост благосостояния рабочих совхоза и как это отражается на положении всего совхоза. О, еще Алишер Навои сказал: «Тот не человек, кто не думает о судьбе, о благе народа!»

— Экономист, думая о благе народа, может перерасходовать премиальный фонд, — вполне серьезно сказал худенький ревизор.

— Ерунда, — азартно потрянул головой Каримов, — было бы из чего перерасходовать, хуже, когда не из чего платить.

— Но если это готовая диссертация, то почему вы не написали ее? — спросила я.

— Он поэт, — сказал худенький ревизор, — поэтому он и не написал диссертации. Наше время — не время поэзии. Было время, что выражало себя через Омара Хайяма, через бухарские мечети, через древние дворцы; сегодняшней день — через технический прогресс.

— А по-моему, дело в другом, — сказала я. — И ни при чем здесь технический прогресс и поэзия. Я сама жена и мама, и я не представляю, как можно писать диссертацию, учиться чему-то, расти творчески, когда у тебя шесть, семь, восемь детей! Им по-

требна вся твоя жизнь. Зачем же так закабалять себя?

За столом воцарилась неловкая пауза.

— У нас любят детей, — сказал худенький ревизор, не глядя на меня, — у нас не уважают тех, кому не нужны его дети.

— Да, у нас любят детей, — повторил за ним Каримов и улыбнулся.

— Тот, у кого мало детей, мало братьев, родни, — тот одинок, он не коренной, чужак, бегона, — презрительно скривив рот, сказал Усманов. — Когда той, семья соберется, триста человек в круг сядут — настоящий праздник! А если еще больше родни и сосед пришел, и друг — тысяча человек! — значит, тебя уважают, ценят, корни твои широкие, прочные, тебе упасть не дадут, землю вокруг укрепляют.

— А я бы из всех местных традиций оставил только узбекское гостеприимство и старинный обряд свадебный, — сказал Азатов. — И тот хорошенько помыв и почистив. Сегодня не нужна такая большая семья. Она в самом деле обременительна. И кому нужны эти халаты и юрты, эта жизнь, скрестив ноги на кошке. Подумайте, дети учат уроки не за столом, а на полу! Оторвать зад узбека от пола — вот что надо! Поселить его в каменном доме, на втором этаже.

— Но на втором этаже не живут. Да и рядом с одноэтажным каменным летом ставят юрту. И в этом свой резон: в юрте в жару прохладнее, легче дышать, — мягко возразил Смирновский.

— Держатся на земле большой семьей, — неожиданно заговорил молчаливый полный ревизор. Он заговорил весомо, с чувством знания существа вопроса, потом я узнала, что раньше он был председателем колхоза. — Маленькой семье много не надо. Заработка хватит. Маленькой семье и не справиться с землей, скотом, садом, хозяйством. Маленькой семье — все трудно. Другое дело семья большая. В большой каждый новый человек — помощник. Большой семье все по плечу, все нужно — земля, скот. И хранить этот родовой обычай ей нужно, это ее устои.

— Устои. Именно, — подхватил худенький ревизор. Он говорил несколько суетливо, но серьезно. Даже озабоченно. — Да-да, скромность, вежливость, преданность семье. И трудолюбие. Обязательно трудолюбие. Трудолюбие я в детях воспитываю неуклонно. Жена может дать без меня поблажку. Сам — никогда.

— Устои, родовые обычаи! Ломать психологию — вот что надо! — Азатов не очень выслушивал возражения. — Ах, большая семья! Ах, традиции. Ах, патриархальность! Общеизвестные черты узбеков — наивность, горяч-

ность, доброта! И, вернувшись домой, приезжая журналистка примется описывать патриархальных, наивных узбеков, которые давно уже не наивны.

— Ломать, отбрасывать тысячелетнее прочее всего, — все так же мягко вел свое Смирновский. — Нельзя с порога отвергать всякое старое, то, что сложилось веками. Древние обитатели Дархандарьинской долины свято чтители чистоту воды, земли, каждого дерева. А когда мы вырубали в горах реликтовые леса, обмелели реки. Вы только представьте эти леса — древоидный тамариск — редчайшие деревья, огромные, их было много, их рубят. Можжевельные леса. Тысячелетняя арча. Только-только сняли поставки дров, но добиться действительной охраны не удалось. Говорят, при чем здесь леса, когда речь о воде, а вода с ледников. Но леса задерживали снег, давали дополнительный паводок! Сколько раз решали отбросить местный сорт хлопка — гузу. Но новые сорта поражаются болезнями гораздо больше, чем старые. Традиции меняются, в них многое отмирает. Следует поддерживать, помогать. Искать более совершенное, современное. Но не ломать захватски, бездумно. Добрая традиция помогает жить. Человек — звено в длинной цепи жизни — совсем не то, что человек сам по себе. На каком-то острове в Индийском океане живет народ, который, восприняв современную цивилизацию, сохранил все родовые обычаи, культуру, даже народные промыслы. Может быть, в самом деле возможно осуществить такую утопию — вознестись к космическим вершинам цивилизации и сохранить верность тем стародавним, прогрессивным традиционным ценностям, с которыми человечество прошло — лучше ли, хуже, но прошло — свои тысячелетние пути. Справедливость и честность. Никто не бывает сам по себе — все мы вместе — родня, соседи, товарищи...

— Верно, — сказал Усманов, — у нас говорят: «Занози мизинец, болит все тело».

Мы шли с Каримовым. Улицы были пустынные. Ветер набегал и стихал.

Каримов был будто расстроен. Досядал на худенького ревизора:

— Гоняет людей бригадами: получал, не получал! А у нас хлопок, каждая минута на счету. Хочешь проверить, иди на поле. Такой барин, терпеть не могу...

А я почти не слышала, не воспринимала. Меня поглотило одно ощущение, одна мысль: да, жизнь без ребенка — пустыня, но нельзя же ставить на себе крест. Большая семья, доброе отношение родственников, уважение окружающих — благо. Но ведь есть и такие люди, для которых глав-

ное — не семейное счастье, а духовный рост, творчество; не собственное материальное благополучие, а потребность совершенствования, деятельность для блага других.

— Шесть детей в тридцать три года! — вдруг сказала я, продолжая вслух свои мысли. — И ведь в каждого надо душу живую вложить. И не нужна сейчас такая большая семья. Рудимент. Да и что за дом, в котором вечно нету покоя? А судьба женщины? Как любить женщину, которая вечно носит, рожает, кормит...

— А я не люблю жену, — сказал Каримов. — Никогда не любил.

— Да? А когда женились?

— Как женился? Приехал из института. У меня тут родни много. Дяди собрались. Надо жениться. Ту невесту предлагают. Эту. Я говорю: не хочу жениться, — как жениться, не зная человека? Тут такой шум пошел, такие скандалы, один дядя кричит, другой кричит, мать кричит: «Ты будешь жениться или так жить собираешься? Наши отцы и деды так женились, а ты закон нарушаешь!» Такое поднялось, хоть совсем уезжай! Мне надоело. Я говорю: оставьте только, женюсь на любой. Они выбрали, я женился. Она была лучшая сборщица хлопка. Сын родился. Она работала перестала. Дома сидит. Я вижу: жить не могу. Она меня ни в чем не понимает. Мне тогда одна хорошая девочка нравилась. С женой поссорился, она ушла, живу один. Тут мать: «Как можно! У тебя сын!» Привела ее обратно. Так и осталось. Теперь шестеро детей. Куда денешься? Придешь домой: «Ата джан!» Старший сын начал буквы писать, плачет: «Не получается!» Совсем как я...

— А вы любили когда-нибудь?

— Любил... Девочку, нашу соседку, это еще там было, в том кишлаке. Мы на хлопке работали, в поле, там и подружились. Вместе ходили, разговаривали, за руки держались, убежали вместе, прятались, но ничего между нами не было. Только никогда заснуть не мог, покуда ее не увижу или хоть голос не услышу. Встану на бугор и смотрю за их дувал. Нам по шестнадцать было. Ее отдали замуж за своего, за родственника, она была за него сговорена, у нас такой закон... Она не хотела, так меня прсыла: убежим, Раим! А куда убежим? Я был слабым и хотел учиться. Ее и выдали...

Он замолчал. Только трещали в траве цикады. Раим снова заговорил:

— Я в этом году взял десять дней отпуска, на своей машине повез мать в родные места. По дороге в тот кишлак заехал, был у нее в гостях. Народу много пришло, расселись. У нас не принято, когда много мужчин, чтоб женщина входила, а она не побоялась, вышла и руку мне подала. И долго не отнимала. Да... И еще потом одна хо-

рошая девочка была. Молоденькая, после школы. Я ее до Нины статистиком взял. Очень хорошо ко мне относилась. Я с женой тогда и поссорился. Но тут мать приехала, родственники, напали на меня... Все осталось прежнему.

Боже, какой банальный сюжет. Но не в сюжете была здесь суть. Такая за ним обнажилась рана. Такая несомненность трагедии.

Еще не раз — и в эту, и во вторую поездку — доводилось мне выслушивать исповеди, вариации на эту же тему. Но там сверх сюжета не было ничего, кроме простейшего желания поделиться, вызвать сочувствие. Не секрет, что, и женись без любви, человек может обрести в семье необходимое пристанище, успокоение. Память же о несостоявшемся становится так часто лишь эгоистическим оправданием себялюбивого поиска разнообразия, дешевого самоутверждения.

В Каримове же светилась такая сила чувства! Высокое беспокойство, неудовлетворенность, метания — удел неустроенных, одиноких. Отец шестерых детей, человек, окруженный родными, — одинок? Возможно такое?

Лицо Каримова жило рядом. Сейчас — отмеченное печатью печали. Но лицо это так легко переменялось. Теперь оно было серьезным, будто ждало ответа. Что я могла сказать ему еще?

Я подумала вдруг, что, наверное, все не случайно. И не случайно он согласился жениться, а не уехал туда, где нет родни, где можно искать судьбу долго, как вздумает. Он — дехканин, он корнями своими в кишлаке, земле, традициях и обычаях. И хоть живет в нем что-то другое, что рвет его душу надвое, но и другое невозможно без родного и привычного. Сознывая свое бессилие, я позвала на помощь. «Раим, — сказала я, — я прочитаю вам стихи. Слушайте».

«Ничего, что серебрится волос, я веч-но так же юн и так же стар, как самый юный и самый старый в этой деревне.

Одним дана улыбка простая и милая, другим лукавство прищуренных глаз.

Одним даны слезы, что льются ручьями при свете, другим даны слезы, сокрытые во тьме.

Я всем им нужен, и нет мне времени задумываться о грядущей жизни. Я одинок как каждый. Что из того, что серебрится волос».

— Понравилось? — спросила я. — Это написал почти что земляк ваш, индийский поэт Рабиндранат Тагор. Но он сказал и такое: «О, женщина, ты не только произведение Бога, ты дело рук мужчин. Они вечно украшают тебя красотой своих сердец». В вашей власти создать из вашей же-

ны те, что вам нужно. Почему хотя бы не попробовать? Она — молодая женщина. Потратьте на нее время. Она ваша жена!

Он засмеялся. Тем грубым, отрывистым смехом, который был мне так неприятен в нем.

Большая семья. Такая, как у Каримова. Хорошо ли это? Нужно ли? Нет! Все бунтовало во мне.

Каримов. Его бережная предупредительность. Стремление оградить, предугадать. Его твердость и властность. Весь комплекс чувств, прав, обязанностей, которые воскрешали позабытое значение слова «мужчина» и делали мужчину хозяином и главой. И у такого мужчины неустроенный дом. Жена, которая удерживает мужа только родней и многодетностью. Жена, которая, видимо, не понимает, что за человек волею случая достался ей в мужа.

Мне вдруг вспомнилась пьяненькая бабешка в автобусе, голос уверенно нахальный, с визгом на вдохе. Голос, который оскорблял меня тогда: «Ко мне Галя вчера приходила, десятку одалживала. Нарожала четверых и сидит дома. Морда пухнет. А мужик вкальвает. Есть такие бесхарактерные. Я ей так и говорю: „Я что, я бы и десять нарожала. А я вкальваю. Нечего у мужика на шее сидеть“».

Тогда меня корбило, а сейчас я вдруг чувствую чуть ли не солидарность. Даже если твой муж и не видит в тебе человека, преодолей, хотя бы попытайся!

Да и сам Каримов. В нем что-то незавершенное. Он словно бы не знает, на мой взгляд, азбучного, прописного. «Ата джан!» «Мы любим детей!» Разве любовь в том, чтобы произвести на свет? «Человек, у которого двенадцать детей, не может быть эгоистом». Так, кажется, у Юрия Трифонова. Вот именно, что очень даже может. Сделать детей и быть им отцом — разные вещи. Сколько Каримов бывает дома? Сколько он видит своих детей? Рожать так много детей — просто не представлять, что есть отцовство. Как и я не представляла, что есть материнство, пока не родила Дашку. Как не представляют иные, дожив до седых волос.

В день отъезда я забежала в магазин. Очередь порядочная, одни мужчины, за вином стоят. И вдруг протягивает чек женщина. «Простите, — говорит, — мне пачку чая. У меня ребенок дома один». И так просительно говорит, словно извиняется. А в очереди никакого отклика. Даже, напротив, парень с глазами навывает аж покраснел, за рукав хватает, отталкивает. «Ты, — кричит, — ребенком не прикрывайся!»

И так мне этот парень жалок стал, как только может быть жалок человек, что вырос, не узнав, не запомнив, что же это: мать и ребенок. И всего-то дела было на две секунды: пачка чая.

Не-по-нима-ние. Отсутствие всякого интереса к тому великому чуду и сложнейшему процессу, который называем «ребенок».

Врач в консультации говорила: «Надо есть творог».

Я возражала: «Творог не люблю».

Врач взглянула уничтожающе и как припечатала: «Материнство — состояние жертвенное».

Но я и тогда не поняла. Была уверена: самое трудное в материнстве — родить. А растут дети сами, это естественный процесс. Ведь именно такое я читала во многих книгах. А в одной очень даже популярной, обращенной к молодежи, была мать — я это очень запомнила, — которая, имея двух крохотных малышек, не только за два года доросла до весьма ответственной должности, но и стала учиться в институте (заочно, правда) и еще пела в самодеятельности так успешно, что охладивший было возлюбленный раскаялся. И я верила в это.

И вдруг переломилось. Так перевернулось, что я с трудом вспоминала себя ту, которая не родила.

Половина шестого. Первое кормление. За окном развевалось февральское утро. Оно было синим-синим. Только ветви деревьев чернели. И когда дуги первых троллейбусов, несильных, как рыбы в аквариуме, высекали из проводов голубую искру, ветки обозначались на больничном стекле отчетливо черным по синему.

Санитарка Катя с немолодым, добрым лицом соучастницы протянула мне с каталки Дашу. Сказала: «Вот мы какая. Кругленькая. Беленькая. А ресницы-то, ресницы!» Я осторожно взяла спеленутый сверток, и через все обертки дошло до меня тепло моего ребенка. Она лежала рядом на подушке и шевелила бровками. И какие-то мысли, размышления, соображения уже явственно бродили в ее синих глазах под высоким ясным лобиком.

Я смотрела на нее впервые. И узнавала своего отца.

Сжидался мальчик. Мальчик Миша. В память отца моего мужа. Которого я никогда не видела, но которого любила так преданно, о котором мне столько рассказывали. Кроме того, Миша должен был походить на брата моего мужа, талантливого физика и музыканта, погибшего совсем молодым в ополчении под Лугой. А родилась девочка, похожая на моего отца, с которым я никогда не была особенно дружна. И в моем первом чувстве к ней я ощутила привкус горечи обмана. Она словно что-то отняла у

меня. Я ведь не знала тогда, что Даша станет самой большой любовью моего отца, что она откроет мне моего отца, каким я его никогда не знала. Что мой отец будет стоять возле меня и неуверенным голосом просить: «Дай поддержать девочку». Что отец мой скоро умрет, дожив только до второй ее годовщины, всей последней любовью своей перелившись в память и душу моего ребенка.

Тогда я ничего этого не знала, как не знала, что Даша ничего не отняла у меня, а только подарила.

Но одно я поняла уже тогда: что в любви моей к ней ничего нельзя предсказать и запрограммировать, что любовь эта будет не похожа ни на одну из известных прежде. Что это будет нелегкая любовь. И что главным в ней буду — не я.

— Приступайте к кормлению, — говорила Катя, — время, время, режим — главное для ребенка.

И начался новый труд — учить младенца повернуть головку, втянуть в крохотные губы сосок и тянуть, сосать из него свою насущную пищу.

— Не берет! Не сосет! Кусается! — плачет моя молодая круглолицая соседка Люба. Она плачет, и парень ее надрывается.

— А ты терпи, причай, — говорит Катя. — А не можешь, бери дитенка из дома малютки. Там, правда, очередь, но зато не рожать, не кормить.

А Даша сосет. Деловито так, деликатненько, трудолюбиво. И темные бровки ее шевелятся.

Ребят увезли. Светало.

— Люба! — кричит под окнами Любин муж. — Когда за ребенком приходите? — От его баса дребезжали оконные стекла.

— Ой, девочки, — блаженно улыбается Люба, — он мне письма слал: почему ты мне не пишешь! А я тогда еще в родилке была. Я и прочла-то уж только потом, здесь. Ой, думаю, тебя бы туда, миленький, в родилку, посмотрела бы я, как ты письма сочиняешь. У меня схватки начнутся, я считаю, до сорска сосчитаю — все. А мне кажется — прошел час... Он рад, что мальчишечка, а я девочку хотела. Мальчик вырастет, в армию уйдет, а после армии не жди. Девочка, та всегда при тебе.

— А я бы девочку и не взяла, — говорит другая моя соседка, немолодая, с тяжелым, усталым лицом. — Я бы девочку сразу в дом малютки отправила. Сама нажилась, на других насмотрелась, не хочу заново мучиться. Хорошая девка, дурная — все одно крест. И обуза тебе до гроба.

Крест. Пройти по жизни женщиной — крест.

И, быть может, оттого, что у меня молочная лихорадка, я вспоминаю весь свой путь по жизни женщиной. Все трудности, все боли, помехи, оби-

ды, недоданности, которые в моей жизни именно и только оттого, что родилась я женщиной.

Мы слишком много знаем о жизни и слишком много от нее ждем. Так где же набрать сил, научить свою девочку одолеть то, что и сам не осилил.

А рядом возникают другие слова. «Быть женщиной — великий шаг, сводить с ума — геройство». И у больших поэтов бывают неточности. Здесь бы не «сводить с ума», а иные слова, чуть более близкие смыслом — «и счастьем озарять». Да, создавать счастье, быть счастливой самой — геройство.

Крест и геройство — они неотделимы.

Пусть Дашка растет длинноногой и ироничной, интеллектуальной и умелой. Пусть будет ей по силам и крест, и геройство. Только где же мне-то взять сил на все это?

Я лежала, отвернувшись к стене, — не всхлипывая, не вздрагивая лицом, плакала.

— Раим, — прошу я, — хотелось бы посмотреть сад. Настоящий, дархандарьинский. Такой, чтоб на всю жизнь запомнить!

— Сад, говорите? — Раим на миг задумывается. — Ну тогда надо ехать к Мингбаю Юлдашеву. Этот — мастер. Уста!

Мы шли с Мингбаем Юлдашевым по гранатовому саду. Огромные, с детскую голову, светящиеся плоды лежали на земле и трескались, не выдержав напора собственных соков. Солнце вырывалось из трещин снопом лучей.

С землей в «Пахтаабаде» туго, нехватка. «Каждый приличный гектар, — говорит Мингбай, — под хлопок. Под новые сады пошли земли по краям сая. Сай по-русски овраг называется. Одни бугры да ямы. Колючка росла да полынь, баран ползал». А уж себе под дом взял Мингбай из негодной земли самую негодящую, что никак не распрямить, не расправить.

Стоит дом Мингбая на высоком кривом бугре. Хорошо на бугре, далеко кругом видно, ветерок, простор. Дом у Мингбая глиняный, полы земляные, войлоками крытые. На войлоках дети матрасики расстилают, когда спать им пора. Десять детей у Мингбая — десять таких, как у него, округлых лиц, десять пар ореховых, светящихся радостью жизни глаз. Усадьбы у Мингбая, такой, какие видела, — нет. Как разместить ее на бугре? Но Мингбай своих детей не обидел. Есть у него для них и: сад, и огород, и сарай с коровой, и загородка для арбузов и тыкв, и загончик — для баранов. Только все на террасках, на уступах холма. А сад у Мингбая,

хоть и на терраске, с пятачок, но это настоящий опытный участок: и мандарины у него там, и лимоны в открытом грунте, и орехи всех сортов, и черный перец, разве что бананов и ананасов нету.

— Дети у меня хорошие, — говорит Мингбай, — у меня труда много, что им скажешь, все помогают. Вот за это и выдерживаю. Старший сын больше других помогает. Учиться поедет. Совхоз будет деньги платить. Садоводом станет. Он мне много с лимонарием помогал...

Сад — защита человека. Живые витамины сада, рожденные землей и солнцем, надежно противостоят болезням. Сад — это природа, это живая, здоровая, горячая кровь, это сильные руки, в которых спорится любое дело.

Уста. Мастер. Этим высоким словом издревле именуют в долине Дархана умелого садовода. Уста. Этим словом называет Раим Каримов Мингбая.

Солнце спускается к горам. Дети Мингбая собираются ужинать. Они уже полили площадки перед домом, отнесли траву баранам, рассаживаются теперь на помосте, что на терраске пониже нашей. Мне хорошо видно, как старшая девочка ставит посреди кружка миску и всем раздает ложки.

Но есть не начинают. Может, ждут мать?

Нет, мать занята своими делами. А девочка голосом тихим и звонким, как журчанье струи, напевает что-то. Вот ритм переменялся, стал отрывисто четким, девочка быстро и легонько постукивает всех детей по очереди. Да ведь это считалочка! Она просто считает, кому первому начинать. И в самом деле, едва она закончила, все быстро-быстро, но по очереди, чтобы не стукаться ложками, принялись черпать из миски.

И вот они уже умываются перед сном. Старшая девочка принесла таз с водой, кувшин. Кружком вокруг таза, не ссорясь, не брызгаясь, только тихо смеясь чему-то, они моют в тазу сначала руки, потом из кувшина умывают лицо, потом в тазу дружно моют ноги. Старшая переодевает меньших. И убегают в дом. Никто не напоминает им, не уговаривает, не кричит, что пора идти спать. Они все знают и делают сами. Раскладывают матрасики на кошке, расстилают одеяла, укладываются. Они устали.

Мингбай оглядывает вечернюю землю, свой дом, свой сад, и столько доброты в этом взгляде окрест, что, кажется, тепла и энергии той доброты хватит на всех и запасы никогда не иссякнут.

Телефонистки соединяют меня с домом, протягивая автоматический телефонный шнур через всю страну: «Пахтаабад» — Денау — Термез — Ташкент — Ленинград.

Здесь уже окончился наряд, а в Ленинграде еще ранний вечер. Наверное, Даше еще не пора ложиться. И в самом деле, трубку берет моя дочь. У меня вдруг сжимается сердце.

Да, конечно, телефон меняет голос, но я чувствую, здесь дело не в одном телефоне. У Даши в самом деле переменялся голосок, переменялась сама интонация. Это уже не лепет малышки, это голос ребенка, подрастающей девочки.

— Мама! Мамочка! — кричит в трубку Даша. — Я уже хожу в садик. Меня там Таистов бьет! Кира меня защищала! А Максимка стал подобнее.

Я говорю ей что-то в трубку, сама не помню что, а сердце все так и не может разжаться.

Оттого, что она уже большая, хотя и такая еще маленькая.

Оттого, что она у меня одна, а я и мой муж совсем не молоды.

Оттого, что расти ей у меня одной.

И жить одной после меня на свете.

Оттого, что у меня такая маленькая семья, когда существуют другие большие семьи.

«Мама, — просила меня Даша еще недавно, — вот будет у меня день рождения, ты не покупай мне двухколесный велосипед, а купи мне братика или сестричку». — «Ну, Даша, ну подумай сама, откуда у меня такие деньги?» — «Не можешь купить, тогда роди». — «И родить не могу: где мне справиться с двумя, когда ты одна вон какая непослушная!» — «Мамочка, я буду очень послушная, я буду помощница. Не можешь братика, тогда роди мне собачку».

Мы сошлись на котенке. О нем я уже упоминала.

Нет, я всегда считала, что мне не надо второго ребенка. Все, что смогу, я должна отдать одному-единственному, а остальное — работе. Мне всегда казалось, что так я дам больше и ребенку, и делу. Я была уверена, что права, и не предполагала, что можно думать иначе. А сейчас что-то дрогнуло, подорвалось в моей уверенности.

Большая семья. Чем пристальней вглядываюсь, тем больше граней открываю. Просто я слишком мало знала о жизни, которая не такая, как моя.

Как часто я слышу в той, своей жизни от подруг, от знакомых, как часто повторяю сама: «До чего трудно поднять ребенка, одного ребенка!» Может, оттого-то и трудно, что одного?

Вот играют во дворе усадьбы дети. Узбекские дети большой семьи. Младшие. Старшие — кто на хлопке, кто в школе. Мальчишки играют вместе, они и поют, и шалят. Даже если спорят, то без злобы, без враждебности. И очень тихо. На всех — ни одной покупной игрушки, кроме старого трехколесно-

го велосипеда. Вот малышка подsunула палец под кран греющегося самовара — ведь в капле солнышко раскаляется на столько звездочек! — отдернула руку, хнычет. Мальчик постарше ведет ее к матери, та приложила что-то к пальцу, погладила — снова спокойно.

...Две девочки лет восьми-однанадцати чистят чугуны. Как стараются они, как полощут тряпки, отжимают. Мать доит корову, девочки тащат воду в ведре, охапками сено. Уже разводят огонь в очаге.

...В бане моются пять сестричек. Старшей лет двенадцать. Она моет самую младшую с такой нежностью, так бережно относит ее под душ, так радуется ее радости, спрашивает: «Еще хочешь?» А остальные трут друг друга, и если та, что чуть помладше, начнет баловаться или хныкать, та, что постарше, шлепнет, — и никакого рева, обиды.

В большой семье дети сами справляются со своими делами.

Воспитание — по традиционным законам. Мать ничего не открывает для себя. Жизнь заранее продумана, пропрегаментирована. Воспитание девочки. Воспитание мальчика. Взаимоотношения родителей и детей. Невестки и свекрови.

Побывала я и в полноценно сохранившейся патриархальной семье, в которой не выделяли сыновей до женитьбы внуков. Большая семья, тридцать шесть человек, жила в четырех домах. Все зарабатки — в общий котел. Оттуда уже отец выделяет на личные расходы. Дома строили, машины покупали, студентов поддерживали — на общие средства. Свекровь распределяет домашнюю работу между невестками: одна готовит, другая стирает, третья шьет на всех. Но при этом невестки работают, успевают. За всеми детьми присматривает свекровь. Родственные, внутрисемейные обязанности в ранге закона.

Конечно, чтоб жизнь в такой семье была приемлемой, взаимоотношения должны быть не только строгими чувством, но и подчинены строжайшему уставу, дисциплине. Такая семья сковывает, но зато сколько сил она экономит. Быть может, именно потому, что человечество тысячелетиями жило такими семьями, у него и хватило сил совершить такой колоссальный рывок в могущество, который свершился в последние столетия.

Переменка. Во дворе новой (четыре года как построена) школы носят мальчишки точно так же, как носятся они во дворе любой школы Ленинграда. Девочки в сторонке. Кто в узбекском платье, со множеством косичек на голове, кто в школьной форме.

Директор школы — пышноволосяя, в национальном платье, доброжела-

тelle строгой — охотно беседует со мной:

— Узбекские дети растут в труде. Заботятся о себе сами. Вода, дрова, скот, младшие — все на них. И с самого раннего детства — хлопот. Семейные традиции очень крепки, но они меняются. Раньше у нас девочек в школу не посылали. После войны стали посылать, но — чуть исполнилось шестнадцать — замуж: так здесь принято, чтоб детей раньше поднять, чтоб родители, пока молодые, тоже помочь могли. И невесту, и жениха выбирали родители. И теперь нередко выбирают. Но теперь девочки десять классов, как правило, кончают. И убегают теперь часто, если их раньше времени выдать хотят.

Я прошу разрешения и в шестом классе предлагаю написать сочинение на тему «Наша семья». Пишут охотно. Вот одно из них:

«У меня есть мама. Она не очень молодая и красивая, у нее уже волосы немного с сединой, но у моей мамы необыкновенно доброе сердце. И она все умеет делать. Нас у мамы восемь детей, и у мамы есть медаль материнства. Моя старшая сестренка Наташа и я всегда хотим маме помочь, чтоб ей не было трудно с нами. Когда мама была в больнице, я научилась доить корову. Папа держал, а я доила. И готовить научилась.

Мой папа работает ветеринаром. Но хоть у папы много дел на фермах, он и дома ухаживает за скотиной, мама этим не занимается.

Летом по воскресеньям папа везет нас в горы или на водохранилище. Маму мы сажаем на самое лучшее место. Я хочу, чтоб моя мама всегда была здорова и чтоб у нее было хорошее настроение.

Каршьева Зухра.

Найдутся ли у Даши, когда она подрастет, такие же добрые слова обо мне?

«Мы идем по асфальту времени, скрывшему от нас наше собственное прошлое», — писал Пастернак в одном из писем Марине Цветаевой.

Пристально глядяваясь в туман своего раннего детства, я вдруг вспоминаю свою прабабушку — ведь у нее было десять детей! Вспоминаю тот день, недалекий от ее кончины, когда меня привезли в гости. Припоминаются пышные седые волосы, чепец, скамеечка под ноги, локти, твердо опирающиеся о подлокотники кресла. Но это — смутно. А совершенно отчетливо — ощущение нескладности своих рук-ног, некрасивости своего платья, какой-то неуместности всего нелепого, некрасивого в этом торжественном спокойствии.

Да ведь еще к своей бабушке я обращалась на «вы» и по имени-отчеству. Иначе было невозможно. Дистанция, уважение — они возникали внутри всякий раз, когда я видела эту высокую, державшуюся исключительно прямо до последних своих дней женщину. Быть может, это чувство рождало ее длинные платья? Ее прекрасные длинные волосы? Ее манера держаться? Потому что биографии бабушки — ни участия ее в революционных демонстрациях, ни того, что принадлежала она к когорте первых в России женщин-врачей, — я ведь не знала ребенком. Но эта дистанция, эта перегорка между нами всегда явственно ощущались. И, как мне теперь кажется, они даже немного угнетали бабушку, мешали ей в последние годы жизни, но с этим ничего нельзя было поделать.

С мамой было иначе.

Мама спешила. Работать. Учиться. Выполнять партийные поручения.

Мамы мне не доставало.

Но вокруг всегда были дети. И земля. И трава, которая пробивалась даже между бульжниками мостовой.

Наша детская жизнь и жизнь взрослых текли каждая своим потоком.

И если пересекались эти параллельные, то в пространстве очень отдаленном.

Я росла с братом. Но и кроме брата была вокруг своя группа, своя жизнь, без которой расти немислимо.

Сначала вспоминается длинный коридор огромной коммунальной квартиры в особняке на улице Петра Лаврова. То было время коммунальных квартир, спаянных братством и равенством, где не было места завистливым дрязгам, изматывающим придиркам. В том коммунальном коридоре, в славном сумраке пыльных шкафов и сундуков, подвешенных под потолок корзин и велосипедов мы дружно росли, не ведая одиночества и скуки.

А потом вошел в жизнь старый вассилеостровский двор. С зарослями сирени и рябины, аптечной ромашки и мяты, с таинственными закоулками, с ветхими флигельками. С дровяными сараями, обведенными галерейкой, на которую вели шаткие лесенки с прозеленью на чуть живых перилах. Все это сменилось асфальтом и гаражами, и теннисными кортами не так уж давно, но так же бесповоротно, как ушли не только понятия, но и слова, обозначающие те понятия, что составляли жизнь моей прабабушки, родившей и вырастившей десятерых.

А потом была дача в Луге на самой опушке корабельного бора. Того самого, что вырублен в войну фашистами.

И ташкентская Тезикова дача. И Соцгородок. С арыками, садами, шумом базара, толчеей у киношек и танцплощадок в парке и у госпиталя. У госпиталя, куда мы приходили со своими самодеятельными концертами.

И деревня под Красными Стругами с гуляньем на престольные праздники, когда гости рассаживались по лавкам вокруг дощатого стола, пили настоянный на травах самогон, ели из одной миски, где в пляске на толчке мешались пестрота нарядов, чашушек, кадрилией. Где под вечер, умаявшись, засыпали беспробудно вповалку на чердаке.

И никогда я не была одна. Всегда нас было много, детей-погодков. И все эти годы были плотно заполнены: мячики, классы, скакалки, палочка-выручалочка, прятки, пятнашки, жмурки, а потом лапта, ножички... И все эти годы были битком набиты чудесными и страшными историями, домовыми, чертями, прочей нечистью, и гаданиями, и сказками...

И близостью земли. Ее запахами, сохранившимися во мне на всю жизнь. Запахами глины и мокрого песка. Сока вишневого дерева. Свежего листа. И ромашки, и мяты.

И все это уместилось в первые десять-двенадцать лет моей жизни.

А потом окончилась война, и пошла совсем другая жизнь.

Один ребенок в семье. Кажется, так просто. И воспитательные проблемы, и семейные обязанности отодвигаются в сознании на второй план. А просто ли? Ребенку нужны сверстники, коллектив. Даша может научиться от меня говорить. Но уже одеваться, есть, сидеть за столом, вовремя вставать и ложиться, обращаться с игрушками и еще многому-многому ей не научиться от меня, слишком велик интервал.

Когда Даше исполнился год, мы стали обладателями удобной квартиры в панельном кооперативе в новом районе севернее Мурунского ручья. До войны сюда ездили на дачу, в первый год под моими окнами еще простирались поля совхоза «Лесное», бродили коровы. Теперь здесь выстроились кварталы одинаковых домов, между которыми быстро идут в рост тощие, как козий корм, веточки молодых посадок.

Я счастлива новой квартирой. А вот Даша в ней — затворница.

На нашей лестнице (теперь говорят «секции») четыре ребенка Дашиного возраста. С двумя из четырех семей мы даже дружны. Но чужая квартира — не общий коридор. Иногда я беру Дашу и иду с ней в гости к Неле и ее сыну Диме. Пока Неля раскладывает по тарелкам мясо с картошкой, распечатывает баночку грибов, пока говорим мы с Нелей все о том же —

как долго не строят садик и какая длинная очередь (хотя куда им в садик, вечно болеют, простужаются), и что Нелина мама пожила тут три месяца и обратно в деревню, — пска мы говорим обо всем этом, дети играют. Как самозабвенно играют Даша с Димой! Как торопятся они и порисовать, и рассмотреть картинки, и усадить кукол, и побегать по квартире, потужить хорошенько друг друга. И все им мало. Их не растащить.

Но такие удовольствия не часты, где мне рассказывать по гостям. И все общество Даши — я. Сначала она огорчалась: «Вам с папой хорошо, вы вдвоем, а я одна. С кем мне играть?» В конце концов сработал инстинкт самозащиты.

Поначалу она примеривалась, осторожно интересовалась: «Мама, у этого гуттаперчевого мальчика братья или сестричка есть?» Когда увидела по телевизору «Веселых ребят», уже было решила: «Пусть эти веселье ребята тоже будут твои дети, мама, и я буду веселый ребенок? Да?» Наконец, произошло стопроцентное попадание, ей подарили книгу норвежской писательницы Вестли «Мама, папа, восемь детей и грузовик». Потому она ее и потеряла, что повсюду таскала с собой. И в гости, и на улицу. Но и потеряв, не отказалась от этой дружной большой семьи. Теперь она не одна. Встают они все ввосьмером и все ввосьмером идут сами умыться. Тарелку супа она делит на восьмерых и еще оставляет горошину, чтоб малыш Мортен мог угостить будильник. Увидела на столе шесть кедровых шишек, обрадовалась: «Я думала, папа одну принес, а здесь тыща! Разделим на восьмерых!». Мы собираемся к бабушке на Васильевский. «Мама, какое такси! Поедем на трамвае! Как же мы поместимся в такси ввосьмером?» Она живет среди этих детей, развивается с ними. «Мы ввосьмером будем стирать». «Мы все восемь будем копить и делаем тебе подарок».

Но сколько можно играть с придуманными партнерами, а единственный партнер во плоти — опять я. А как же я не гожусь, как не соответствую требованиям! Где мне встать вровень с ребенком, который не то что три, все двадцать часов подряд может без остановки танцевать и прыгать, и слушать пластинку, и выворачивать содержимое ящиков. И совершать без передышки одно открытие за другим. «Мама, я думала, бывают только морские коньки, а бывают еще морские ежи, и морские коты, и морские змеи!» «Мама, какое хорошее кино, почти солдатское! Там солдаты-моряки спасаются от воды!» «Мама, а что такое блокада о солдате?» — «Не блокада, а баллада». — «А что такое баллада?» Только поспевай отвечать.

Но есть время, когда Даша может

заставить меня играть с нею. И она прекрасно знает это время. Для того чтоб она хорошо поела, я готова на любую авантюру.

— Мама, я буду есть яичницу, но только в той комнате и с пластинкой... Мама, я буду пить чай, но только с ложечки. Нет, эта ложка большая и чашка большая. Хорошо, я выпью глоточками и возьму ручками, а теперь ты попой меня. Теперь дай ложечку, я сама поболтаю.

Я честно стараюсь в игру включиться. Но когда в конце концов чашка с чаем перевернута, моей выдержки не хватает. Я кричу на ребенка, хотя и знаю, что этого делать нельзя. Что я обижаю ребенка, у которого кроме меня никого, и некому пожаловаться. Да, нет у меня того терпения, изобретательности, которые нужны постоянно. Да, мне не заменить ей других детей. На мне обед, магазин, уборка, и надо разморозить холодильник, и надо сбегать в аптеку, а на столе листы корректуры и незаконченная статья. Так где же мне взять тот покой, ту вдумчивую сосредоточенность, то внимание, которые необходимы постоянно?

От сознания своей несостоятельности я раздражаюсь. Мое раздражение тут же передается Даше. И мне еще трудней сладить с ней.

Я чувствую себя полным ничтожеством. Да-да, я ничтожество и есть. И не за что ребенку меня уважать. И с какой стати слушаться!

Она и не слушается.

— Даша, спать.

— Я только досмотрю телевизор.

Я только чуть-чуть поиграю с матрешкой. И еще чуть-чуть с котенком. Мамочка, почитай, ну хоть одну страничку Шарова, без Шарова я не усну!

Я укладываю ее и читаю рассказ о пятилетнем мальчике, у которого нет отца и вот умерла мама. Я нарочно читаю ей этот рассказ.

— А почему, почему у него умерла мама? — с глазами, полными тревожного блеска, допытывается Даша. — Потому что он не любил свою маму? Да? Мамочка, я всегда буду тебя любить! Всегда буду слушаться! — Она пылко обнимает меня, целует в щеки, в нос. Собственно, чтение и было рассчитано на такой эффект. Но эффект затягивается. — Мамочка, не уходи. Мне страшно. Спой песенку. — Я пою. Не одну, а две, три. Теперь все. Дверь к Даше закрывается. Наконец-то можно полчаса посидеть спокойно. Но не тут-то было.

— Хитренькие, сами вдвоем, а я одна. И котенок у вас, и телевизор смотрите.

Мой муж смеется. Это возмущает меня больше всего!

— Я сейчас же уеду. Уйду от вас куда угодно! Это ты, ты во всем виноват! Не можешь заставить ребенка.

Ты сам у нее в подчинении! — Я чувствую, как мой голос, который так всегда любил мой муж, становится отвратительным, звучит невыносимо, пронзительно, резко.

— Ну что ты кипятишься? — пытается успокоить меня мой муж. — Они все такие, эти поздние, единственные. Ты всегда говоришь, что Никита — отличный отец, а знаешь, как Ниночка хамит своему отличному отцу? И Женечка у Наташи такой же, и Саша у Ады... Да, она нахаленок, неслух, эгоистка, но ты знаешь, как с этим бороться?

— Нет, делать что-то надо. Она совершенно с нами не считается. Какие ни есть, но мы родители. А мы для нее не существуем. Сколько сил мы вкладывали в каждую ее болезнь, а когда ты нездоров, она бежит по квартире и кричит! Нет, мы должны встать на другие рельсы! Мы должны переменитьсь!

И что-то в самом деле меняется во мне. Я по-иному вглядываюсь в свое детство, словно изменилась точка зрения, и вот — иной ракурс, другая проекция. Если раньше я болезненно ощущала, что не смогла стать такой, как хотела, то теперь я мыслю иначе: я все-таки стала тем, что есть, а вот она, Даша, какой станет она? Да, у меня был строгий отец, а ей мы все позволяем. Все трудности, помехи собственной жизни, которые представлялись бедой, теперь оказываются ценностью. «Спасибо тем, кто нам мешал, и слава тем, кто сам решал...» Да, я должна быть с ней тверже, требовательней, жестче.

Опять она не слушалась, прыгала по лужам, промочила ноги, а через день заболела. Температура под сорок, рвота, такая форма гриппа. Ни я, ни отец от нее не отходили. Через день ей становится лучше. И она уже скачет по постели, прыгивает на пол. «Не хочу чая, хочу того, что и вы!» — «Принимай лекарство!» — «Нет, я буду спать!».

И когда снова высокая температура, я срываюсь. Мне жалко Дашу. Мне жалко себя. Мне жалко страниц, разбросанных по квартире, я уже забыла, что там в них есть. Мне жалко, что она не пойдет на детский балет на льду, на который с таким трудом ей достали билет, что я не пойду на фильм, который давно уже все видели и хвалили, и вот выпал было случай и мне посмотреть. Мне жалко всей нашей жизни, измотанной ее непослушанием. Мне страшно, что конца-края этому непорядку не предвидится.

— Ты всегда будешь болеть, — говорю я ей, — ты всегда будешь несчастным человеком, потому что ты не хочешь слушаться взрослых. Ты будешь болеть, и я тебя не буду лечить. Оставайся больной или уезжай от нас в больницу. — Я хочу только, чтоб она

поняла, что произошло, чтоб ощутила хоть какое-то раскаяние. Но я выбрала неподходящий момент: больной, измученный ребенок. Она мне верит. Она жестко отвечает:

— Ты меня подлизываться и прихвораживать. Уходи от меня и из этой комнаты. Здесь мои игрушки. Они заразятся и будут повторять за тобой плохие слова.

Я прихожу в себя.

— Даша, — говорю я, — ты меня не так поняла.

— Я поняла, что я одинокий ребенок. Меня никто не любит, ни ты, ни папа, ни бабушка.

Она горько плачет. Лоб у нее совсем горячий. Нет, ничего я не умею. Вся боль рикошетом возвратилась ко мне. И поделом.

В чем же моя главная ошибка? Основная неправильность? Да, я хотела, чтоб она была одна. Я считала, что так смогу дать ей больше. А на деле я обделила ее, лишила чего-то очень важного. Потому что, как оказалось, что же я могу ей дать? Какую культуру, образование, воспитание? На самые необходимые внимание и любовь у меня и то не хватает ни знаний, ни времени, ни сил. Даже войти как следует в ее детство не могу. Все жду, когда она станет старше. А ведь большая она еще будет, а вот маленькая — никогда. Значит, ничего особого, значительного я ей не дам, с этим надо смириться. Ей все придется брать в жизни самой, когда подрастет. Значит, самое то ценное, что она может обрести в детстве, будет то, из чего возникнет потом эта способность воспринимать, брать, обогащать душу. И не только брать, но и дарить. И тут всего важней, чтоб не скопились в душе черствость и бездушные эгоизма, та самовлюбленность, которая всегда бесплодна и пагубна, что бы там к ней ни добавляли позже — любые культура, знания, положение... А ведь для этого и надо ей жить среди других детей — думать о них, смотреть на себя их глазами.

А дни бегут, и работа моя движется своим чередом.

Я уже знаю не так мало о людях хозяйства. Об инженерах, зоотехниках, бригадирах, рабочих, начальниках отделений. И во всех этих людях улавливаю, узнаю — понятное мне, созвучное! Сколько в них сдержанного достоинства, неторопливого, осознанного уважения к своему делу, словно любой из них прямо с курсов современных методов организации и ведения хозяйства. И ото всех я слышу о взаимопонимании, внимании друг к другу, чуткости. Мне даже приходит

в голову, что, быть может, свойства эти не столько врожденные, сколько воспитанные традицией большой семьи, где люди с детства привыкли сосуществовать — сдерживать, обуздывать себя, уживаться. И чем больше я вглядываюсь в местную традицию с ее прочными законами заботы о близких, взаимной поддержки, где так сильно ощущение своей семьи, своего рода, своих соседей, — чем больше вглядываюсь в традиционное в человеческих взаимоотношениях, тем отчетливей слышу, как перекликаются традиция и современная психология.

И только директор иной. Ужасно замотанный работой человек! Спешит. Торопится руководить.

Пришла старая узбечка. В галошах на босу ногу. Встала посреди директорского кабинета и, не смущаясь, посыпала, посыпала слова. А директор? Возражает, протестует, возмущается... Мне переводят, что вот у «мамашки» четыре сына, один тракторист, с ней, двое в армии, а младший женился и уехал куда-то... Старухе предложили освободить большой дом. Ну, а она выезжать не хочет.

Выселить мать четырех сыновей только из-за того, что два ее сына в армии?

И такое встречается постоянно.

Вот ночью на хлопкозаводе директор вызвал по телефону главного агронома Бобоходжанова и стал при всех — и секретарь райкома тут был — называть бездельником. Дескать, тот дома спит, когда надо быть в полях. А я помнила, что агроном отпросился вчера к врачу в город, да и все знали, что он ногу расшиб.

— Почему вы не возразили директору, не напомнили, что он сам вас отпустил? Почему хотя бы перед посторонними себя не обелили? — спросила я потом Бобоходжанова.

Он махнул рукой.

— Ай, о чем говорить с директором, который наивно убежден, что все хорошее в совхозе делается лишь единственно его собственными усилиями, а все плохое — по вине нерадивых подчиненных. Ему ведь необходимо убедить в этом и всех вокруг. — И лицо агронома замкнулось...

— А вы не думаете, Раим, что ваш главный агроном уйдет из совхоза?

— Уйдет, значит, так ему лучше.

И я вновь, не в первый уже раз понимаю, что есть в жизни совхоза нечто мне недоступное. Скрытое от меня. И я не в состоянии постигнуть, что!

— Дина-хон, — вдруг предлагает Каримов, — а вы не хотите съездить в Термез? Поеду на два дня. В трест.

— Еще бы не хочу! Конечно, хочу! — обрадованно откликаюсь я. — Меня Смирновский приглашал!

Окончание следует

*Майк Дэвидов,
американский журналист*

ТАИНСТВЕННЫЙ УБИЙЦА

Только что отгорел еще один июньский день в январе. С такой испепеляющей силой солнце не обжигало добрую землю Калифорнии уже семьдесят лет. Калифорнийцев не оставляла ужасная мысль, что за сегодняшние радости придется расплачиваться завтра, но, к счастью, это «завтра» только брезжило где-то вдалеке. Нам, новоселам в Сан-Франциско, этом Париже Тихоокеанского побережья, да еще после шести зим, проведенных в России, где я был корреспондентом, это рождество и Новый год в Калифорнии казались какими-то нереальными. Настоящая идиллия, и все же так хотелось увидеть деревья в их зимнем снеговом уборе.

Мы поужинали, и я пошел в спальню-кабинет, чтобы просмотреть заметки для новой статьи. Из соседней комнаты я слышал голос Гейл — она с кем-то говорила по телефону. Вдруг я почувствовал сильное головокружение и звенящий шум в голове. Сердце забило так сильно, что удары крови гулом отдавались в висках. У меня никогда не болело сердце, но из многолетней литературы на эту тему и красочных рассказов друзей я знал достаточно, чтобы прийти к выводу, что у меня начинается сердечный приступ. Я попробовал пульс, он действительно был сильно учащен. Головокружение тоже быстро усиливалось. С трудом я поплелся в другую комнату, чтобы не оставаться одному и сказать Гейл, как мне худо. Но к своему изумлению и ужасу я обнаружил, что и она испытывает те же страшные ощущения. Ее к тому же еще сильно тошнило. Мы смотрели друг на друга с недоумением, которое быстро переходило в тревогу. С нами происходило что-то ужасное. Больше всего пугало то, что таинственный враг обрушился на обоих сразу, лишая нас способности двигаться и разумно оценивать происходящее.

Но одно мы поняли: чем бы Оно ни было, это Оно не оставляет нам времени для раздумий. У Гейл хватало присутствия духа сообразить, что

надо позвонить моей сестре Рут, медсестре с многолетним стажем. С трудом собрав силы, Гейл набрала номер Рут. С тяжелым сердцем мы слушали безответные гудки в трубке. Что делать теперь? Тут Гейл вспомнила, что сестра собиралась в тот вечер навестить одного из друзей. Гейл была уже не в состоянии подняться с кресла. Спотыкаясь, я добрался до спальни и нашел там записную книжку с телефонами. Далекие гудки мы слышали уже словно в кошмарном сне. Наконец-то голос сестры. Гейл с большим трудом рассказала, что с нами происходит. Едва она положила трубку, как у нее начался приступ рвоты. «Оботри меня!» — крикнула она в отчаянии и потеряла сознание. Но к этому времени я уже не мог двинуться с места.

Часто стараешься себе представить, о чем думает человек в свой смертный час. Мне кажется, что ответ на этот вопрос бесконечно многообразен и зависит от того, как приходит смерть: вцепляется ли она в тебя и медленно, но верно выпивает до дна все жизненные соки, как во время «тяжелой и продолжительной болезни», или внезапно подкрадывается и наносит молниеносный удар. Могу только сказать, что мне она почти не дала возможности осознать свое приближение, не оставила времени, чтобы встретить достойно самую ужасную из реальностей, какую может внезапно осознать человек: как же я, полный таких чудесных планов на этот только что начавшийся год, вдруг перестану существовать?

Но в событиях, о которых я хочу рассказать, встреча со смертью вовсе не главное. Ведь в конце концов не мне первому довелось увидеть ее в лицо: все это довольно старая история. Самое страшное, что этому таинственному убийце почти удалось прикончить нас с Гейл и, как потом выяснилось, уйти из нашего дома не с пустыми руками.

Когда моя сестра услышала крик о помощи, она немедленно предупре-

дила городскую больницу Сан-Франциско, а сама вместе с другом бросилась через весь город к нам на помощь (мы живем в другом конце Сан-Франциско). Наша квартира на первом этаже, поэтому через окно была видна Гейл, без чувств скорчившаяся в кресле. Нижняя дверь в дом, через которую можно попасть во все четыре его квартиры, всегда запирается. Войти можно, только имея ключ, или если кто-нибудь из жильцов нажмет у себя в квартире кнопку, открывающую замок. У сестры не было ключа, и она стала звонить во все звонки. Наш сосед по площадке, крепкий мужчина средних лет, всего за несколько дней до того желавший нам счастливого рождества и хорошего Нового года, выглянул из окна. Он никогда прежде не видел сестру, поэтому Рут назвалась и рассказала соседу, что увидела в нашей квартире. Но соседа это не тронуло. Он отказался открыть дверь. Сестра плакала, умоляла его, пытаясь объяснить, что каждая лишняя минута может стоить нам жизни. Но и это его не убедило. Он захлопнул окно и вернулся к «своим делам». Это происходило ранним вечером, примерно в половине девятого, но уже стемнело. Вместе с темнотой пришел страх, который в наших городах превращает каждого незнакомого человека в потенциального врага, даже если этот незнакомый человек — вполне уважаемый вид женщины средних лет, как моя сестра.

Сестра и ее друг решили лезть в окно, которое я по счастью оставил открытым. Но сначала надо было достать лестницу, а драгоценные секунды уходили. Рут и ее друг бросились к дому напротив. Рут в отчаянии постучала в одну из дверей. Плача, она кричала, что ее брат и невестка умирают в квартире напротив. Дверь открыли. Рут попросила лестницу, и хозяин квартиры принес ее. Рут бросилась назад, друг ее как мог быстрее тащил лестницу. Они влезли в окно. Воздух в комнате был настолько тяжелый, что наши спасители чуть не задохнулись. Рут стала делать нам искусственное дыхание, а ее приятель распахнул настежь все окна. Потом он побежал в пожарную часть, которая, к счастью, находилась всего в полутора кварталах от нашего дома.

Как я обнаружил впоследствии, находясь в отделении «скорой помощи» городской больницы, у выездных медицинских бригад этого отделения постоянно «час пик». Девиз нашего социального обслуживания — «экономика». Если учесть при этом уличные преступления, ограбления, наркоманию, пьянство и попытки к самоубийству, число которых катастрофически растет, служба «скорой помощи» вынуждена работать со все большей на-

грузкой. Вызванная моей сестрой машина приехала только через двадцать минут. Если бы сама Рут не была у нас вовремя, «скорая» оказалась бы уже бесполезной.

Пожарники Сан-Франциско заслуженно пользуются доброй славой за свои действия в подобных обстоятельствах. Они специально обучены приводить в чувство людей, задохнувшихся в дыму, и жители города доверяют им больше, чем «скорой помощи», и, уж конечно, уважают их больше, чем полицию. Но у пожарной службы постоянно урезают фонды и сокращают штаты, и порой она не в состоянии справиться даже с огромным количеством пожаров, не говоря уже об оказании первой помощи при несчастных случаях. На этот раз пожарники были готовы помочь хотя бы потому, что находились совсем рядом. Трое здоровенных мужчин сменили сестру, дали нам кислород и продолжали делать искусственное дыхание.

«Скорая помощь» и полиция прибыли одновременно. Сестра рассказала о том, что увидела, когда попала в комнату, и особенно подчеркнула, какой тяжелый в ней был воздух. Она сказала врачу «скорой», что обнаружила у нас все признаки удушья. К этому времени благодаря открытым настежь окнам комната почти проветрилась. Нас привели в чувство, хотя дышать мы могли только в кислородной маске. У Гейл все еще не прекращалась рвота. Удушье исключается, так заявил врач «скорой помощи», на том основании, что в квартире работает электрический кондиционер. Его поддержали полицейские. Пожарные, вначале склонявшиеся к диагнозу моей сестры, также уступили авторитету врача. Но Рут, как опытная медсестра, обнаружила несомненные признаки удушья на наших лицах. Этот диагноз подтвердил и тяжелый воздух в комнате.

Врачу следовало бы посчитаться с мнением медицинского работника с многолетним стажем и большим и разнообразным опытом. Рут была медицинской сестрой в бригаде имени Линкольна в Испании. Когда индейцы организации «Борцы за свободу» заняли остров Алькатрас, эту бывшую тюрьму у берегов Сан-Франциско, она и там была медсестрой. Сейчас Рут ведет курс первой медицинской помощи в Калифорнийском университете. Тем не менее ее диагноз отвергли. Врач сказал, что «она впадает в истерику». Он не нашел в нашем состоянии ничего таинственного, просто у нас пищевое отравление. Полиция и пожарные поддержали этот «диагноз». В результате никто и не пытался выяснить, что происходит в других квартирах. Все это время сосед, отказавшийся открыть дверь сестре, был занят «своими делами». Ни

сирена «скорой помощи», ни шум в нашей квартире его, очевидно, совершенно не интересовали.

В приемном покое нам сделали анализы, все еще имея в виду пищевое отравление. Но анализы показали, что никакого пищевого отравления нет и в помине. Кроме того, в больнице знали и уважали мою сестру, которая когда-то там работала. Поскольку она настаивала на своем диагнозе, нам сделали еще несколько более тонких анализов и обнаружили у нас в крови окись углерода. Это решило вопрос для врачей, но оставалась неразрешенной загадка, *каким образом окись углерода попала в наш организм?*

Здесь я хочу вернуться к нашему соседу. Происходившее вокруг все же заставило его задуматься. Думал он медленно, однако в результате размышлений кое-что вспомнил. Примерно в 11.30, через три часа после того, как сестра обращалась к нему, сосед вспомнил, что слышал звук работающего автомобильного мотора в подвальном гараже под нашей квартирой.

Тут, очевидно, необходимо коротенькое пояснение. Сан-Франциско расположен на полуострове. Это придает ему особую неповторимую прелесть, но в то же время ограничивает возможность расширять город в стороны, и потому цены на землю для нового строительства очень высоки и постоянно растут. Каждый дюйм земли стоит денег. Большинство домов построено так близко один к другому, что между ними не проползет и таракан. Число автомобилей в городе почти приближается к числу его жителей. Найти место для этих машин — большая проблема. Поэтому тысячи домов стоят на таких, как у нас, подвальных гаражах.

Заподозрительные подозрения нашего соседа оказались не напрасными. Когда полиция и пожарные взломали замок и открыли дверь гаража, их чуть не сбilo с ног волной отравленного угарным газом воздуха. В гараже стоял пустой «олдсмобиль», мотор его действовал на полную мощность. Он, по видимому, работал так часов с четырех или пяти дня, потому что именно в это время хозяйка машины миссис Р. имела обыкновение ставить ее в гараж. Сама она жила на втором этаже. Мы знали, что миссис Р. практически глуха, поэтому, забыв выключить зажигание, она и не слышала, что мотор продолжает работать. Мы в своей квартире оказались в газовой камере.

Когда взломали двери квартир второго этажа, миссис С., занимавшая квартиру над нами, была найдена мертвой. Сама хозяйка машины, миссис Р., лежала без сознания. Впоследствии я узнал, что такого рода «несчастные случаи» не так уж редки. Окись углерода действует без всякого

предупреждения, не имеет ни запаха, ни цвета. Тысячи жителей Сан-Франциско живут на таких вот потенциально опасных газонасосах.

Автомобиль стал не только необходимым средством передвижения, но и безусловным источником опасности. Это приходится принимать как неизбежность. Автомашин убивают ежегодно 40—50 тысяч американцев на улицах городов. Опасность, которую несет автомобиль, прокрадывается и в дома. Что ж, и с этим риском мы вынуждены мириться.

Мы узнали подробности всей этой трагедии, когда Гейл заметила в палате «скорой помощи» нашу соседку миссис Р. О смерти миссис С. нам сказали только на следующий день. Всего за несколько дней до того мы приятно провели время в ее уютной квартирке, по традиции отмечая новогодний праздник. Соседка наша была милой пожилой женщиной. За несколько месяцев до описываемых событий она ушла на пенсию и только начинала привыкать к радостям заработанного нелегким трудом отдыха. Смерть ее была особенно трагической, потому что всего происшедшего можно было легко избежать. Нам со временем рассказали, что соседка говорила по телефону с одним из своих друзей, когда у нас уже наступили все признаки отравления. Получается, что если бы полиция и пожарные проверили сразу же все помещения дома, соседка осталась бы в живых. Если бы Рут не подняла вовремя тревогу, наш коттедж превратился бы в морт. Сосед, который не пожелал оказаться причастным к трагедии, постигшей других, сам, очевидно, пал бы ее жертвой.

Этот «несчастный случай» дал мне возможность близко познакомиться с палатой «скорой помощи» городской больницы, так сказать, «изнутри», до того я знал о ней главным образом «извне», по статистическим данным, статьям в журналах и газетах и по рассказам очевидцев. Теперь я сам оказался жертвой катастрофы и попал сюда в точном соответствии с «профилем» этого отделения.

Большая, ярко освещенная палата была тесно заставлена длинными рядами коек с окровавленными больными и напоминала военно-полевой госпиталь. Молодые врачи-практиканты, прямо с институтской скамьи, получили здесь боевое крещение и всестороннюю практику. Отделения «скорой помощи» в Соединенных Штатах готовят лучших в мире специалистов по обработке и зашиванию ножевых и пулевых ран. Их можно назвать своего рода окнами в глубины нашего общества, открывающими глазу неприглядную картину его разложения. И, как всегда, когда речь идет о боль-

ном обществе, большинство жертв здесь из числа национальных меньшинств. Рядом со мной лежали наркоманы, принявшие слишком большую дозу наркотика и в состоянии безумия искалечившие себя. В большинстве это были молодые люди, некоторые — почти дети. Если исключить пожилых людей, ставших жертвой грабителей, палату «скорой помощи» следует назвать молодежной.

От моих соседей меня отделяла занавеска из белой простыни. Я лежал на жесткой узкой каталке, привязанный к ней ремнями, чтобы не упасть, если вдруг засну, и безуспешно пытался хоть ненадолго сомкнуть глаза. Мне мешали не только свет и появление все новых и новых окровавленных больных. Я не мог заснуть от душераздирающих стонов соседей. За ночь их сминилось четверо, и старшему было всего двадцать четыре года. Молодые врачи делали все, что могли, чтобы справиться с захлестнувшим их потоком страдания. Они держались вежливо с этими обломками крушения, но не скрывали своего презрения. Врачи узнавали многих пациентов и регистрировали их как «повторных».

Один из моих соседей, худощавый молодой человек двадцати трех лет, был из числа таких «повторных». В наркотическом бреду он сунул руку в оконное стекло и повредил себе артерию. Он не переставал всхлипать. То он молил о смерти, то звал мать, совсем как потерянный ребенок. Да разве не был он таким ребенком?!

Моя собственная беда показала мне пустынной, когда я оказался среди этих трагических жертв нашего общества. Пожилой мужчина, которому уличные грабители отбили селезенку, лежал рядом с молодым грабителем, истекавшим кровью от пулевого ранения. Грабители и ограбленные стонали, мучимые одной болью, — все они были жертвами. Их невозможно было отличить друг от друга. Молодые врачи зашивали их раны, сестры ухаживали за ними, санитары смывали кровь с пола. Здесь работали много и хорошо, но вся эта деятельность вызывала в памяти образ голландского мальчика из легенды, который пытался остановить наводнение, сунув палец в отверстие в дамбе.

Безнадежность и усталость порождали у некоторых врачей цинизм и презрение к пациентам. Этот цинизм совсем не вязался с их добросовестностью, умелыми действиями и старанием помочь больным. Он, этот цинизм, был вызван не жестокостью и равнодушием, а усталостью и раздражением. Я убедился в этом на примере одного из молодых врачей, который особенно поразил меня своей внимательностью и заботой о больных.

Я был буквально потрясен, когда,

сообщая, что меня переводят на обследование в палату для коронарных больных, он добавил, понизив голос: «Там не будет этих отбросов».

Палата для коронарных больных действительно совсем не походила на переполненную, напоминавшую полевой госпиталь палату «скорой помощи» с ее разншерстными больными и ужасающей симфонией человеческого страдания. Здесь все сверкало чистотой, и царил атмосфера покоя. Эта большая прямоугольная комната была оборудована по последнему слову медицинской науки. Свободные от постоянного напряжения и сознания бесцельности и бессмысленности своей работы врачи, сестры и санитары могли здесь делать свое дело спокойно, терпеливо, с профессиональной тщательностью, используя всю свою квалификацию. Мне казалось, что я псыбал не в двух отделениях одной больницы, а в двух различных мирах. И все же, хотя я обрел покой, у меня из головы не шли мой двадцатитрехлетний сосед-наркоман, который звал смерть, и другие «отбросы», как называл своих пациентов молодой врач.

Наша прекрасная страна, страна избытка, расколота на два мира. И глубокая незаживающая рана в том месте, где этот раскол проходит, гноится и гниет.

Утром меня выписали из больницы и передали на попечение Рут и Гейл. Мы оба, Гейл и я, не сразу привыкли к тому, что вернулись к жизни. Только когда мы вошли в свою квартиру и снова увидели комнату, которая могла стать для нас газовой камерой, пришло озарение.

Помню, еще мальчишкой я вернулся домой с похорон отца. На плите в кухне стоял наполовину полный чайник. Отец любил чай, и чайник был полон только наполовину потому, что отец налил из него свой последний в жизни стакан чаю. По сей день, когда я думаю о кончине отца, я вспоминаю этот наполовину пустой чайник в кухне, где больше не было отца.

Я посмотрел на кресло, в котором Гейл лежала без сознания после телефонного звонка к сестре, и на кушетку, где я сидел до того, как мне стало дурно. И кресло и кушетка стояли на тех же местах. Мы снова дома! И вдруг я услышал шаги над головой в квартире миссис С. Звук этот, такой привычный и повседневный, сначала не вызвал у нас никаких чувств. Потом мы вспомнили и помчались наверх, чтобы узнать, в чем дело.

В квартире находились домовладелец и близкие друзья покойной, с которыми мы мирно беседовали здесь за чашкой кофе на Новый год.

Домовладелец радостно приветствовал нас. Он был потрясен трагическими событиями и буквально рассыпал-

ся в благодарностях Рут: «Если бы не вы, я остался бы вовсе без жильцов». Друзья миссис С. встретили нас со слезами на глазах. Еще свежи были в памяти слова радости и надежды, которыми мы обменивались в этой самой комнате так недавно. Все выглядело так же, как тогда. Квартира была обставлена прекрасной старинной американской мебелью, которая передавалась в семье миссис С. из поколения в поколение.

И вдруг нас охватило неодолимое желание вырваться из этих стен на свежий воздух, на солнце, на простор. Пришли друзья, чтобы вместе порадоваться нашему возвращению к жизни, и мы поехали в Пойнт Лобос — это недалеко от нас. Оттуда открывается вид на океан — один из самых прекрасных в мире.

«Тюленья скала» торчит из океана, как зуб сказочного великана. Это лежбище тюленей. Туристы со всех концов земли съезжаются сюда, чтобы посмотреть на этих вымирающих животных и полюбоваться удивительным океанским видом. Мы будто приникли к самому источнику жизни. Никогда прежде соленый острый океанский воздух не казался таким вкусным. Никогда еще весеннее солнце не окутывало нас таким нежным теплом, как в этот январский день. Никогда еще океанский ветерок не был таким бодрящим и таким ласковым.

Дети звонко перекликались, качаясь на волнах прибоя, собаки заливались веселым лаем, ныряя за палками, брошенными в океан, и возвращая их своим юным хозяевам; чайки грациозно скользили в воздухе, опускаясь в волны за добычей; рядом слышались голоса друзей.

Как прекрасна наша страна! И как она несчастна!

Я вернулся к реальности. Мы пошли к машине и поехали домой.

Не успели мы войти в квартиру, как раздался звонок. Я открыл дверь. На пороге, виновато улыбаясь, стоял сосед. Он пришел поздравить нас с возвращением из больницы. Я не помню, что именно он говорил. Мне было трудно его слушать. Я извинился и ушел в комнату. Гейл была вежливее — она выслушала всю его нудную речь до конца. Я запомнил только последние его слова: «Больше гуляйте на солнце и дышите свежим воздухом».

Эти слова погасили солнце. Мы будто снова окунулись в кошмар прошедших двух дней. Сначала мне стало очень горько. Потом горечь сменилась печалью. Я вспомнил теплоту и дружескую близость между соседями

в районе Браунсвил в Бруклине, где прошли мои мальчишеские годы. Бедную рабочую семью и соседей, таких же, как мы, бедняков. Наши сердца — и наши двери — всегда были открыты друг для друга. У нас были общие радости и общие печали. Нередко сосед оказывался ближе и роднее, чем родственник.

Соседи еще больше сблизились в тяжелые годы кризиса и депрессии тридцатых годов. Эта близость рождалась не только от общей беды, но и в общей борьбе. Черные и белые, евреи и христиане, мы узнали товарищество, доступное только тем, кто не придерживается библейского речения: «А я не сторож брату моему».

Мы вместе вносили обратно в дом пожитки соседа, выброшенного на улицу за то, что не мог заплатить за жилье; мы вместе праздновали наши победы в борьбе за право жить, вместе преломляли хлеб за праздничным столом. По сей день ласковое солнце добрососедства остается для меня символом нашего неколебимого духа в те страшные и все же незабываемые годы депрессии.

Статистика измеряет прогресс и упадок общества в цифрах. Я очень уважаю статистику. Это действительно объективная и точная наука. Но как и чем измерить устрашающее исчезновение одного из самых бесценных наших сокровищ — связей между людьми, между соседями? Их уничтожает яд гораздо более сильный, чем окись углерода. Этот яд просачивается в душу каждого из нас буквально со всех сторон. Повседневные акты насилия и кровопролития, ставшие нормой в нашем обществе, притупляют чувства и прививают равнодушные к страданиям и гибели других людей. Страх, усиленный расистскими предрассудками, заставляет многих хлопать перед соседями свои двери. Преступность в самых высших сферах, убийства и уничтожение людей, осуществляемые высокими государственными учреждениями, вроде ЦРУ, создали атмосферу небывалого недоверия.

Вот о чем я думал, когда снова позвонили в дверь. Это были друзья миссис С. Они спустились из ее квартиры к нам, чтобы еще раз поделиться своим горем. Мы посидели вместе в молчании, слова казались излишними. Потом один из друзей заговорил. Лицо его исказила гримаса боли, но голос не дрогнул: «Что происходит с нашей страной?» — воскликнул он.

Горечь и гнев прозвучали в этом вопросе.

Перевела с английского И. Ершова

Николай Зайцев

ЛИЧНОСТЬ В МАСШТАБЕ ИСТОРИИ

О герое спектаклей Театра имени А. С. Пушкина

1

Герой исторического масштаба, крупная, деятельная, социально активная, творческая личность издавна привлекают внимание советского театра. Отчетливо прослеживается линия таких героев на сцене Академического театра имени А. С. Пушкина.

Вождь революции В. И. Ленин, славные русские полководцы, великие ученые, поэты, музыканты, мыслители. Их образы воплотили корифеи этого театра Н. К. Черкасов, Н. К. Симонов, К. В. Скоробогатов, В. И. Честноков, А. Ф. Борисов, Ю. В. Толубеев, Б. А. Фрейндлих.

Человек и история, судьба человеческая в масштабе истории — такое осмысление сценического героя составляет важную и ценную идейно-творческую традицию пушкинцев, отчетливо проявившуюся и на недавнем этапе его работы: в 1960-е — 1970-е годы.

Выдающиеся актерские дарования составили славу Театра имени А. С. Пушкина. Им были по плечу самые сложные образы, они воплощали героев сильных, крупных, значительных, находя их и в произведениях классиков, и в историко-революционной драматургии, в пьесах о наших днях. Большие актеры способны проникнуться «истинной страстью» прошедшей эпохи. Нам интересны самые различные герои, особенно — масштабные.

Благородным и одухотворенным

увидели мы симоновского Маттиаса Клаузена, обрывающего свою жизнь, чтобы не склонить гордой головы перед обступившими его «черными фигурами» дельцов и стяжателей.

Могучее романтическое дарование, бурный темперамент — качества, казалось бы, мало подходящие злодею. Но нет, не просчитался режиссер Л. Вивьен, поручив Симонову роль Сальери. Его Сальери — не отвлеченный символ зла, а человек, искушаемый злом, совершающий злодейство в трагическом ослеплении. Он, сделав роковой шаг, ужасается своему преступлению. И погибает, потеряв сознание своей правоты, без которого не в силах жить.

Только такой, сложный и умный, а не мелкий Сальери может быть антиподом Моцарта, глубиной своего падения подчеркивающим высоту, на которой стоит гений. Иначе что же останется от философской масштабности пушкинской трагедии!

И рядом с эмоционально богатым образом, созданным Симоновым, гармоничный, ясный Моцарт — В. Честноков. Тяжелая, будто обремененная давящим грузом неправды фигура Сальери — Симонова контрастировала со свободой и легкостью движений Моцарта — Честнокова, их возвышенной простотой.

А вот и роль, особо ответственная для актера. В ряде спектаклей — «Грозный год», «Суровое счастье», «Между ливнями», «Цветы живые» — Честноков воплотил на сцене образ

Ленина, показал его как прозорливого и мудрого стратега революции. Реальный политик, смело смотрящий в глаза правде, как бы тяжела она ни была. Сильный правдой. Таков Ленин — В. Честноков в этих спектаклях. Ленин В. Честнокова был человеком в своей житейской, домашней непосредственности. Но прежде всего он человек как мыслитель, как государственный деятель.

Ясность, убежденность, решимость — определяющее в ленинском образе, созданным В. Честноковым.

Своеобразие ленинской темы, как она решалась в пьесе Н. Погодина «Цветы живые» драматургом, постановщиком В. Эренбергом и исполнителем роли Ленина артистом Честноковым, в том, что ленинский образ словно бы увиден глазами нашего современника, человека 60-х годов. Для бригадира одного из ленинградских заводов Николая Бурятова воображаемое общение с Лениным — это совсем не то, что непосредственные встречи с Лениным солдата Ивана Шадрина, инженера Забелина или чекиста Дятлова — героев погодинской трилогии об Октябрьской революции. Но и воображаемый разговор с Лениным называется для Бурятова очень важным, самым сокровенным, самым светлым, что есть в душе. То, что говорил Ленин — Честноков в этом спектакле, как он это говорил, все его интонации — от юмора до патетики — должны были характеризовать в первую очередь самого Николая, его понимание Ленина. Органическую связь времен и поколений борцов за подлинно человеческий, высокий строй жизни выражала «мысленная» беседа Николая с Лениным.

Но ири всей значимости этого эпизода спектаклю в целом все же недоставало образной цельности. Он остался в истории театра как полуудача, веха на пути творческого поиска.

2

Во второй половине 1950-х годов в Театре драмы имени А. С. Пушкина были поставлены спектакли, явившиеся заметными идейно-художественными событиями, отразившие существенные приметы обновления жизни, вызвавшие серьезный общественный резонанс. Такими спектаклями стали «Крылья» А. Корнейчука (режиссер Б. Дмоховский, 1955), «Персональное дело» А. Штейна в постановке Л. Вивьена (1955), «Сонет Петрарки» Н. Погодина (1957), «Все остается людям» С. Алешина (1959) — оба поставлены В. Эренбергом. Это были пьесы признанных советских драматургов, и в ту пору именно они сделали «добрую погоду» на пушкинской сцене. Во всех этих спектаклях о серьезных колли-

зиях современности героями выступали люди значительные, личности сильные, осознавшие свою роль в контексте истории.

Но с огорчением вспоминаешь, что в последующих сезонах театр оказался в полосе неудач или полуудач — не только из-за ошибок в выборе пьес о современности. Тут проявилась и режиссерская инертность, дало себя знать и недостаточно продуманное пополнение труппы.

Творческое лицо театра как-то поблекло.

Некоторое прояснение обозначилось в спектакле «Семья Журбиных». Он был поставлен в 1965 году Л. Вивьеном и А. Даусоном. До того роман В. Кочетова был экранизирован И. Хейфицем — фильм нашел сочувственную поддержку зрителя. Наличие богатых актерских дарований, которыми располагал Театр имени А. С. Пушкина, оправдало новое обращение к материалу романа.

Историзм, умение видеть явления в их сложности, противоречивости, но и в перспективе — важный критерий применительно к произведениям на темы истории, историко-революционным. Но категория историзма приложима и к произведениям о ближайшей истории, и о непосредственной, «текущей» современности. Здесь историзм — это правда о сегодняшнем дне в масштабе истории, в принципиальных моментах, определяющих сверку нашего сегодня с прошлым и будущим.

С этой точки зрения заметными вехами были спектакли, где героями предстали крупные деятели науки, воплощенные Н. Черкасовым, — реальный образ великого садовода Мичурина («Жизнь в цвету», 1949) и обобщенный образ современного ученого академика Дронова («Все остается людям», 1959), который имел затем и экранный вариант. Прочно связанным с русской землей и принимающим революцию через свою науку предстал знаток электрификации Забелин в исполнении Ю. Толубеева («Кремлевские куранты», 1967). Психологически убедительный, неизбежный в своей внутренней логике поворот в сознании Забелина, человека крупного, значительного, воплощенного Толубеевым, давал весомое свидетельство великой правоты и мудрости Ленина — того, кто направил его на путь новой жизни, к единению с революционным народом.

Новым обращением к образам людей науки стал спектакль «Человек и глобус» (1969). В этой постановке пьесы В. Лаврентьева проявилось стремление создать большой спектакль открытого политического звучания.

Серо-стальная треугольная плоскость нависла над сценой, то поднимаясь, то опускаясь, подобно элерону

огромного самолета. По бокам — металлические решетчатые балкончики: как бы капитанские мостики, с которых обращались к зрителю артисты в черных свитерах, ведущие этот спектакль, заявляющие его координаты в историческом времени и в глобальном пространстве.

Он так и назывался: «Человек и глобус» — «драматическая хроника начала атомной эры», по авторскому определению драматурга.

Факты и имена людей, связанные с историей атомного оружия и его использованием в мировой политической борьбе, — таков тематический материал пьесы. Нравственный облик причастных к этому людей, их духовные движения, устремления и борения — таков художнический акцент темы.

При постановке на пушкинской сцене режиссеру И. Ольшвангеру пришлось заметно сократить текст «многочасовой» хроники: из восемнадцати эпизодов печатного варианта на сцене было сохранено четырнадцать. В спектакль не вошли эпизоды с участием Рузвельта, Трумэна, Черчилля. Текстовые потери «международной» линии повествования режиссер попытался компенсировать с помощью экрана, на котором возникали изображения этих капитанов капиталистического мира, а также многих знаменитых ученых: Ланжевена, Эйнштейна, Жолио-Кюри, Ферми, Оппенгеймера.

Непосредственное действие спектакля локализовано территорией Советского Союза. Но и в этих пределах оно весьма широко и многообразно. Тут и узловая железнодорожная станция, через которую идут эшелоны к фронту Отечественной войны. И импровизированная лаборатория в осажденном Ленинграде. Иза рядовой колхозной труженицы и московские кабинеты ответственных руководящих лиц. Пусковая площадка атомного реактора и полигон, где осуществляется пробный атомный взрыв. Художник В. Степанов нашел выразительные детали, лаконично обозначающие различные места сценического действия.

Интерьеры спектакля не вполне правомерно будет назвать этим словом, ибо они не имели стен или каких-либо иных ограничений от незамкнутого пространства сцены. И этим художник и режиссер заявляли о том, что герои спектакля живут не «под потолком», а «под небом», открытые ветрам, сдвигам и бурям эпохи.

Такая пространственная открытость, эпизодная композиция, стремление драматурга выйти к переднему краю социальной проблематики, ответить запросам быстро бегущего вперед времени — все это позволяет говорить о родстве пьесы В. Лаврентьева

погодинской традиции в советском театре.

Уже в предыдущей пьесе Лаврентьева «Чти отца своего», поставленной на сцене того же Пушкинского театра, одним из героев стал молодой ученый-атомщик. В финале «Человека и глобуса» его сверстник принимает эстафету от колумбов советской ядерной физики. Они-то и есть главные герои спектакля — те, кто в тяжелой обстановке войны и нелегких послевоенных лет прокладывали пути этой науке, организовывали ее техническое оснащение, требовавшее широкого привлечения многих отраслей промышленности.

Неимоверные трудности исторического момента, когда возникла необходимость развернуть атомное дело, нелегкие годы, когда еще не были залечены раны войны, во многом определили напряженную атмосферу спектакля. Но в некоторых его эпизодах драматическая линия неоправданно размывалась, как, например, в блокаде сцене, когда сваливающаяся от голода лаборантку ее друзья с какой-то чуть ли не «капустнической» светливостью отпаивали водой с сахаром; один из них почему-то стоял при этом с клещами в руках.

В сценической атмосфере спектакля ощущался и другой пласт — интеллектуализма, научного поиска, государственных, политических забот.

От многих зрителей не укрылось то, что прототипом героя спектакля Бармина явился академик Игорь Васильевич Курчатов. Тем более, что сценический облик Бармина в исполнении Б. Фрейндлиха помогал такому сближению персонажа с прототипом. Один из сотрудников Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, рассказывавший в ленинградской газете о своем впечатлении от спектакля «Человек и глобус», назвал и прообразы других персонажей — Цветкова и Черданцева, учеников и помощников Бармина.

Связь героев спектакля с их реальными прототипами подчеркнута и тем, что на сцене они как будто бы не стареют, хотя хроника охватывает около двух десятилетий их жизни. Режиссер словно говорит этим: перед нами портреты героев истории, портреты, вошедшие в учебники и запечатленные там в главный момент их подвига — такими, какими они останутся в памяти поколений.

Артист Б. Фрейндлих, большой мастер острого психологического рисунка, передал напряженную духовную жизнь своего героя.

Бармин — Б. Фрейндлих предстал в спектакле прежде всего как великолепный, прирожденный организатор. Он не только крупный авторитет в своей области, но и хорошо познал другую науку — общения с государ-

ственными людьми. Нет, он отнюдь не стал таким специалистом по увязке и хлопотам в высших сферах. Твердость и настойчивость не лишили его непринужденной вежливости, изящной иронии интеллигента. Бармин всегда остается ученым. Наверное, актер, желая подчеркнуть это, кое-где даже злоупотребил некоторыми привычными штрихами: в какой-то момент спокойная, твердая походка Бармина вдруг подменялась семенящей, почти полежаевской пробежкой. Может быть, в этом была и доля откровенного шаржирования, а, может быть, и желание исполнителя напомнить зрителям, что Курчатов любил актерствовать, «разыгрывать» собеседника.

Временами пробивалась склонность героя к декламации. Режиссер включил в текст роли Бармина даже стихотворный эпиграф к пьесе: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые».

Бармин прежде всего ученый. И его главный козырь — умение отыскать, верно оценить и привлечь к делу одаренных, умных людей. «Наше спасение в умных людях», — эти слова звучат в пьесе как заглавные. Умные люди нужны науке. Умные люди нужны государству.

Интересны, каждый раз своеобразны в спектакле и образы, характеры других ученых.

Работа артиста К. Адашевского в роли наркома Гришанкова не слишком отличалась от привычного уровня и знакомых красок, употребляемых при изображении руководящих лиц такого ранга. Разве что некоторая доля юмора помогала актеру сохранить сценическую жизнеспособность образа. В частности, в эпизоде, когда молодые физики чертят перед ним на доске непонятные иероглифы формул.

Образом сложным, конденсирующим в себе — в своем миропонимании и судьбе — драматические противоречия эпохи, стал Охотин в исполнении А. Борисова.

События спектакля разворачивались в среде не соперников, а сотрудников. Хотя образы некоторых из них и имеют драматические оттенки, конфликтная «первопричина» действия не в этой среде, а вовне — в сфере глобальной, международной политики.

Это был политический спектакль. «То, что я делаю, называется политикой», — говорил Бармин.

Герой спектакля — советский патриот. Но его заботит большее, чем судьба одного государства, одного народа: «Когда речь идет о судьбе мира, нельзя быть патриотом только Англии, России или великого герцогства Люксембургского. Надо быть патриотом планеты. Мыслить и действовать в масштабах глобуса».

Мыслящим, активным патриотом планеты был герой этого спектакля.

Творческая личность, ученый, связанный корнями с народом, становится героем другого спектакля И. Ольшвангера, поставленного в Театре имени А. С. Пушкина, — «Приглашение к жизни» (1976). В основу его легли образы и мысли леоновского романа «Русский лес».

Во многом связанный с родившей его эпохой, будучи монументальным ее памятником, роман интересен и сегодня — прежде всего масштабом и темпераментом мысли.

Постановщик спектакля в Театре имени А. С. Пушкина И. Ольшвангер стремился воссоздать на сцене не только мысли, но и стилиевые качества романа — соединение эпического и пафосного начал, психологизма и метафоры.

Художник М. Китаев создал многокрасочный зримый образ спектакля. Стволы деревьев занимают всю ширь и всю глубину сцены. Сценография М. Китаева откровенно условна.

Внутри охватывающего всю сцену образа — леса жизни — два локальных символа: прозрачная хрустальная струйка лесного родничка и топор, вонзенный в ствол березы. Два контрастных символа: нравственной чистоты, с одной стороны, жестокой беды, злой и жадной силы — с другой.

Топор, вонзенный в тело березы, высвечивается в момент, когда немецкие фашисты идут в глубь России, приближаются к Москве. Менее оправданным, иллюстративным было присутствие топора на авансцене, торчащего в специальной подставке.

Как ни броски постановочные находки режиссера, более или менее адекватно отвечающие метафорическому качеству леоновского письма, решающее слово остается за актерами. Именно слово — образное, высокое, гневное, патетическое, ироничное леоновское слово. Слово — как выражение духовной жизни героев, их страстей и пристрастий.

Спектакль назван — «Приглашение к жизни». Этим словно бы подчеркивается ведущая роль юной героини Поли Вихровой — темы обновления, нравственной эстафеты поколений.

В леоновском отношении к Поле — Аполлинарии есть и ласковый отеческий юмор, и романтически-торжественные интонации.

Артистка О. Калмыкова передала взросление, умудрение Поли. Угловатая, неказистая девочка в простеньком синем платье в белый горошек выбегает навстречу солнцу и тяжким жизненным испытаниям. Недоверие, осторожность к отцу у нее не очень глубоки. Сильнее — радость открытия доброй правды о нем. В Поле — О. Калмыковой привлекают жиз-

ненная прочность, близость к лесу, земле, естественной жизни, душевная открытость, искренность ее героини. Нет, ее Поля отнюдь не хрупкое создание, не былинка на ветру вздыбленного жестокого времени. Она прочно и ладно «внедряется» в гимнастерку и шинель, лихо управляется с санитарной сумкой.

Но, пожалуй, Поле — О. Калмыковой несколько недоставало «идеальных» высот. Потому и неорганичным получился у нее переход от жизненно спасительного притворства, когда ее допрашивает фашистский офицер Киттеля, к открытому «трибунальному» поединку с этим «полномочным представителем старого мира». Более достоверно в этом эпизоде поведение Киттеля, каким обрисовал его артист А. Ян, с его зловещей и вкрадчивой, тигриной хваткой.

С выразительной детализировкой и психологической светотенью, реалистической осязаемостью выступили в спектакле характеры Ивана Вихрова и Александра Грацианского.

А. Борисов увидел в Иване Вихрове прежде всего подвижника — человека, имя и дело которого «звучит гордо». Строг и непритязателен облик «лесного профессора», одетого в строгую черную «тройку», припадающего на ногу. Никакие нападки Грацианского и иных увертливых демагогов не могут сломить убежденности Вихрова, его верности русскому лесу. Подведенный ими к краю общественной изоляции, Вихров и в одиночку гнет «свою линию», которая оказывается на поверку хозяйской, народной, государственной линией.

Для Вихрова русская революция была не только борьбой за справедливое распределение благ, а и за моральную красоту человека.

— Говорят, к счастью стремятся люди. А надо стремиться к чистоте. Счастье — награда за чистоту, — такой нравственный завет получает от Вихрова его дочь.

Скупой в проявлении чувств, Вихров — А. Борисов являет тип национальный, натуру цельную, устремленную, духовно богатую.

Грацианский — Б. Фрейндлих предстает человеком стареющим, но элегантно маскирующим свою опустошенность. Свои укоризненные жесты он сменяет обволакивающими объятиями. Его бог — приспособленчество, мимикрия. Возникает образ подвижно-пластичный. Непрестанно внешние изменения облика, перемены настроений, тактики. Грацианский, подобно камелеону, все время меняет обличье, но неизменной остается его сущность паразитирующего себялюбца, мещанина. И только один раз что-то человеческое шевельнется в нем, когда окажется он около умирающей Наташи Золотинской. Она ранена во время

бомбежки. Слова этой тихо и кротко любящей женщины в исполнении О. Лебзак прозвучали как некий зов «совести» Грацианского, которая как бы вне его и с которой он так и не решился соединиться.

Леонов, изображая Грацианского, проходит по лабиринту его души с психологическим «микроскопом». Грацианский Б. Фрейндлиха окрашен нескрываемой, острой леоновской иронией.

Для леоновского романа характерны ретроспекции. Возвращаясь к до-революционной поре, писатель как бы сопоставляет эпохи, отчетливо прочерчивает путь России. Вместе с тем возврата к молодости героев помогают глубже понять их характеры, их истоки, их полярность. Такие ретроспекции перешли и в спектакль. В эпизоде 1911 года, где изображается псевдо-революционное сообщество студентов, Ю. Родионов в роли молодого Грацианского с яростью и гневом добавляет к его образу свои разоблачительные краски.

В спектакле отчетливо прозвучали две основные темы романа. Первая — заглавная для Леонова, «лесная» тема — человек и природа. Природа как стихия жизни, источник духовной чистоты. С ней сплелась другая тема — столкновение полярных человеческих типов: хранителя народного добра, каким предстает «лесной профессор» Вихров в исполнении А. Борисова, и паразитирующего индивидуалиста, приспособленца, воплощенного Б. Фрейндлихом. В этом споре антиподов судьей от имени будущего должна была стать молодость. В этом спектакле вновь возникла давняя тема театра — тема «отцов и детей». Она была заявлена еще раньше в спектаклях «Вот я иду» Г. Березко, «Цветы живые» Н. Погодина, «Семья Журбиных» В. Кочетова. Она звучала здесь как утверждение нравственной преемственности поколений, как духовное наследование. Однако исполнителям молодежных ролей спектакля недоставало просветленно-звонкого начала, высокой одухотворенности.

4

Академик Дронов — Н. Черкасов, физик Бармин — Б. Фрейндлих, лесовод Вихров — А. Борисов, хирург Крымов — И. Горбачев (в поставленной им же пьесе Д. Храбровицкого «Пока бьется сердце») — таков ряд образов ученых, показанных в контексте большой жизни страны, в масштабе исторического движения жизни.

И как бы в параллель с ними, отражая спор публицистики о «физиках и лириках», о соотношении технической революции и гуманизма, на той же сцене мы видим спектакли, геро-

ями которых стали знаменитые люди искусства: «Жизнь Сент-Экзюпери» Л. Мальгина (1964), «Болдинская осень» Ю. Свирина (1969), «Элегия» П. Павловского (1976), «Рембрандт» Д. Кедрина (1977).

Спектакли о великих писателях, художниках ставились в эти годы во многих театрах страны: «Мольер» М. Булгакова был поставлен как С. Юрским в Большом драматическом, спектакль о Гойе — О. Ефремовым во МХАТе, Б. Равенских поставил в Малом театре пьесу И. Друце о Льве Толстом.

...Земной шар лучится голубовато-зеленым светом. Его опоясывает круто вверх взмывающая спираль — взлетная полоса аэродрома как бы переходит в след, оставленный самолетом. Художник спектакля «Жизнь Сент-Экзюпери» Д. Попов показал это как символ нашего века — века авиации и ракет. Символ динамичный и масштабный.

Имя Сент-Экзюпери стало популярным у нас в 60-е годы, когда мы прочли его книги. Недаром пролог и эпизод спектакля «Жизнь Сент-Экзюпери» даются как ступени памяти, воскрешающей прошлое: советский летчик Шубин приходит к матери Сент-Экзюпери. Как бы ее глазами и одновременно глазами Шубина мы видим героя, дорогого им обоим.

Артист И. Горбачев отнюдь не ставит своего героя на козурны. Хотя автор пьесы довольно часто заставляет летчика-писателя цитировать свои книги, исполнителю удается во многом сгладить это впечатление неприужденностью интонаций. Бесстрашная решимость, волевая собранность не выпячиваются актером, когда Сент-Экзюпери, побуждаемый долгом, чувством товарищества, решает оставить директорский кабинет и сам вылетает на поиски пропавшего летчика Гийоме.

Но по-настоящему драматических моментов в пьесе немного: преобладают эпизоды дружеского общения героя с товарищами по профессии, с литератором-коммунистом Леоном Вертом, с матерью, с женщинами, которых он любил.

В характере этого летчика, каким его рисует И. Горбачев, есть внутреннее родство с Валерием Чкаловым, с героями симоновских пьес. Но порой артист забывает, что его герой, хоть он и запанибрата с другими летчиками и сам принадлежит к людям этой профессии, человек поэтического склада.

Герой же Горбачева нет-нет да и пройдет с этакой победительной развалочкой. У него есть добрый юмор, но не всегда достаёт тонкой иронии.

Особенно это чувствовалось в сравнении с Леоном Вертом — В. Честновым, в котором легкость, изящество

манер не помешали нам увидеть человека глубококого, ясного ума.

Сердце Сент-Экзюпери было открыто для глубокой и чистой любви. Он питал огромную нежность к матери. Но те, которых он любил, не всегда оказывались способными понять и оценить его. Женщины, которые в разное время жизни Сент-Экзюпери что-то значили для него, в спектакле показываются очень уж не под стать герою, живут словно бы в ином измерении: и его невеста Рене с ее бездушной выпренности; и инфантильная и вздорная аргентинка Консуэло, ненадолго ставшая его женой; и внутренне черствая госпожа Н... Очень нелегко усмотреть, чем могла каждая из них увлечь такого человека, как Сент-Экзюпери.

Другое дело — его мать. О. Лебзак дала нам увидеть в Марии де Сент-Экзюпери и художницу, и мать — любящую, скорбящую и гордую своим сыном.

Постановщик спектакля В. Эренберг умело использовал предложенное художником Д. Поповым сценическое оформление. В какой-то момент (эпизод в африканской пустыне) контуры земного шара образуют круглый экран, на котором возникает проекция рисунка Сент-Экзюпери — образ сказочного героя его будущей книги «Маленький принц». А в финале — портрет самого писателя.

Этот прием полюбили постановщики. Ныне включение в сценическое действие портрета или даже появление самого автора в непосредственном актерском воплощении рядом с персонажами своих произведений можно встретить и в спектаклях других театров.

5

Другим спектаклем-долгожителем стала «Болдинская осень» в постановке Р. Горяева. Первым исполнителем роли Александра Пушкина в этом спектакле стал Ю. Родионов. Впоследствии ее играл Р. Катанский

Пьеса Ю. Свирина дала повод к упрекам в композиционной рыхлости, стиливой аморфности. Но при всем этом нельзя не заметить в ней попытки при самом тщательном внимании к бытовым реалиям перенести центр тяжести из реально-бытового плана в план духовной жизни героя, в сферу его фантазии, самого процесса творчества.

Скульптурно спокоен первый выход Пушкина — Ю. Родионова к зрителю. Он приближается к нам как бы сквозь строй вальсирующих дам и кавалеров. Потом видим его в домашней обстановке, в халате и ночных туфлях. Вот он уютно взгромождается в мягкое вольтеровское кресло, подобрал

под себя ноги. Но вдруг, вспомнив злого недруга своего Булгарина, делает мысленно фехтовальный выпад в его сторону. Пластика Ю. Родионова в этой роли многокрасочна и выразительна. Она восхитила многих зрителей и не случайно, видимо, скульптора М. Аникушина.

Осызаемая предметность оставленного великим человеком притягательна для его почитателей. Отсюда такой интерес к домашней обстановке знаменитых людей, к мемориальным вещцам. Они очень ценны и для сценического воссоздания атмосферы, в которой жил и творил художник. Особая же ценность — рукописи. В них как бы живой след не только руки, но и самого творческого духа того или другого художника. «Ничто не раскрывает столь убедительно и блестяще их творческий облик, как их рукописи», — говорил Стефан Цвейг.

Сцена или экран имеют возможность укрупнить эмоциональный эффект рукописного штриха, графического пульса строки.

В «Болдинской осени» полотнищаколонны испещрены острым, стремительным почерком пушкинских рукописей (художник Д. Попов). Рукописи, документы помогают зрительской фантазии домыслить психологический настрой поэта, вызвать в памяти человеческие связи Пушкина, исторические события. Драматическую наполненность имеет, например, воспроизведенный в декорациях «Болдинской осени» пушкинский рисунок пяти казненных декабристов, виселицы. Рукопись, будя фантазию, укрепляет чувство подлинности. Почерк неповторим: в рукописи не только намек на характер человека, но и образ самого процесса мысли, творческого труда.

В «Болдинской осени» одиночество поэта прерывается не только яростью воображаемой стычки с Булгариным, которого серьезно, без шаржа рисует И. Горбачев. Пушкин пишет письмо своему другу Плетневу, с Дельвигом мысленно обсуждает возможность создания журнала. Наконец, он вспоминает о Наталии Гончаровой. Он живет надеждой на ее любовь, семейное счастье как прибежище и оплот эт жизненных бурь.

В спектакле «Болдинская осень» Пушкин силой воображения вызывает перед собой образ Ивана Петровича Белкина, под именем которого увидел свет цикл пушкинских повестей. Почти ровесник Пушкина, честный и кроткий человек с серыми глазами и в сером костюме, он все пытается образумить Александра Сергеевича — на коленях просит его сжечь бунтарскую главу «Евгения Онегина» и повиниться перед царем.

Пушкин в раздумье замечает на это:

— Я сам еще не знаю, что у меня на душе: бунт или смирение...

Такая реплика заставляет предположить в Белкине второе «я» писателя. Но в спектакле Белкин выглядит совсем уж мелковатым и трусливым, слишком он незначителен, чтобы претендовать на столь весомую роль. А ведь по замыслу пьесы «работу» над «Станционным смотрителем» Пушкин и Белкин ведут словно бы вместе. Они призывают на авансцену воображаемых героев повести. Является Самсон Вырин и рассказывает о дочери Дуне. Является Натали Гончарова в облике Дуни — Пушкин и в болдинской тиши неотступно думает о своей невесте. Входит проезжий гусар Минский. Возникают варианты — куда пускать сюжет повести. И опять Белкин не хочет осложнений: лучше бы гусару уехать сразу. А Пушкин на это: «Не мешай, Белкин, — правда жизни жестока!» И Белкин нехотя помогает Пушкину тащить притворившегося больным гусара на диван. Пушкин резко отдергивает руку Белкина — пусть, мол, гусар остается самим собой, не надо приглаживать жизнь.

Пожалуй, во всей этой постановочной изобретательности и даже иронической дерзости некоторых мизансцен есть явная дань иллюстративности. Режиссер Р. Горяев в споре с Белкиным заранее берет сторону Пушкина. Спора и не получается, а видна заданность того, как тщетны усилия Белкина повлиять на Пушкина.

Но в показе того, как творит Пушкин, нельзя не оценить стремления режиссера искать в спектакле интонационное соответствие стилевой природе пушкинского произведения. Ведь именно в «Повестях Белкина» поэт, постигая вкус безыскусственной прозы, отворил ворота русскому реализму. И потому таким органичным оказалось воплощение образа станционного смотрителя Самсона Вырина актером Ю. Толубеевым.

Интерес к духовному миру творческой личности вызвал к жизни ряд примечательных произведений, в которых отчетливо проявилась документалистская тенденция, стремление непосредственно включить документы в сценическое повествование. Театральные романы в письмах — так можно было бы назвать «Милого лжеца» Д. Килти, поставленного в Московском Художественном и Ленинградском театре комедии, или пьесу Л. Малюина «Насмешливое мое счастье», идущую в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской и в Театре имени Евг. Вахтангова.

Письма Ивана Сергеевича Тургенева к молодой тогда актрисе Марии Гавриловне Савиной, в которых отразились их дружеские взаимоотношения, тяготение и привязанность друг

к другу, душевное родство, легли в основу пьесы П. Павловского «Элегия». В спектакле, поставленном И. Ольшвангером, Б. Фрейндлих в роли Тургенева передает духовную утонченность героя, возвышенную элегичность стареющего художника.

...Сыплются на сцену белые розы. Это публика приветствует актрису Савину. Она выходит к зрителям в костюме юной Верочки, которую только что сыграла, — в расклепанном от груди девичьем платье с белым кружевным фартуком, в руках у нее бумажный змей с золоченым гербом. В точности такая, как на известной по театральным книгам фотографии. Такая, какой играла ее М. Г. Савина сто лет назад на своем бенефисе 15 марта 1879 года. В тот день в зале был автор пьесы, ненадолго приехавший из Франции в Петербург. Шел «Месяц в деревне» Тургенева. Тогда впервые соединились эти два имени — великого писателя и большой актрисы.

Встреча 62-летнего Тургенева и 25-летней Савиной — это драматическая диалектика старости и молодости. Она обострила его ностальгическое состояние — «Я рвусь в Россию...» Савина стала для него частицей, олицетворением родной земли, таланта и души русского народа.

Тургеневу Б. Фрейндлиха не очень уютно в парижском доме супругов Виардо. Он чувствует себя здесь «старым псом», ждущим ласки как милостыни. Артист передал и острую горечь, и стремление, не оставляющее героя даже в такой ситуации, поэтизировать жизнь, склонность к закругленному афоризму и трезвой самоиронии.

«В шестьдесят лет жизнь становится безусловно личной и оборонительной против смерти; и этот преувеличенный эгоизм делает то, что она теряет интерес даже для данного лица», — писал Тургенев Флоберу. Такие ощущения в последние годы все чаще ослабляли его дух. В таком состоянии возможность любви давала надежду, но и страшила.

В заключительной сцене Тургенев кутается в серый платок, кашляет, принимает порошки. А потом его удел — уж только кресло, которое передвигает слуга.

И все же главным до конца остается впечатление, что перед нами крупная, одухотворенная личность, человек глубокий, талантливый, творческий.

В более ранней постановке «Элегии» — в спектакле Центрального театра Советской Армии в роли Тургенева выступил А. Попов.

В том спектакле светский лев превращался в большого, одинокого старика. Творчество было приподнято над жизнью. Действие шло как бы от имени Савиной, как ее воспоминание

об умершем друге, некогда влюбленном в нее.

В спектакле Театра имени А. С. Пушкина роль Савиной исполняет молодая актриса В. Панина. Она подчеркивает уважение и преклонение своей героини перед Тургеневым.

Зримый лейтмотив спектакля, предложенный художником Д. Лидером, — гирлянды белых роз. Это символ высокой радости, недолгой, уходящей. На фоне затемненного пространства сцены цветы создают впечатление черно-белой графики.

Спектакль пушкинцев отличается особой — мемориальной — окрашенностью. История взаимоотношений Тургенева и Савиной во многом связана именно с этим театром, зданием, в котором идет нынешний спектакль. Луч света брошен на ту самую ложу, нижнюю, справа от сцены, откуда Тургенев смотрел «Месяц в деревне». На ее барьере лежат розы, как бы предназначенные ему. Из-за сцены слышен голос Б. Фрейндлиха — Тургенева: «Как хороши, как свежи были розы... Ветер холодный все унес».

Грустный и одновременно просветленный спектакль. В нем — аромат элегической ретроспекции, запечатленность «звездных минут», духовная наполненность.

6

Как бы на скрещении двух линий сценических образов — героев научного подвига, с одной стороны, и художников, с другой, — родился спектакль «Беседы с Сократом» (пьеса Э. Радзинского, 1976). Этот спектакль, в отличие от документалистской тенденции, приближается к жанру легенды, притчи.

Сократ — фигура историческая и вместе с тем легендарная. Философ, моралист, но прежде всего — человеческий тип. До нас не дошли его книги. Но мы знаем о его учении, о его поступках, знаем, как он прожил жизнь и как принял смерть, каков был его нравственный облик.

Сократ для многих стал символом бескорыстной и смелой мудрости. Он был любимым героем Маркса, Льва Толстого.

Афины пятого века до нашей эры. Далекая младость человечества. Там свой свет и свои тени. Индивид и люди. В самом составе действующих лиц — своеобразная модель общества.

Сцена представляет собой берег моря, усыпанный камнями и ракушками, отполированными временем, веками и тысячелетиями, — берег жизни. Место действия каждый раз лаконично конкретизируется: какая-то афинская «новостройка», театр, частный дом, ареопаг, темница, которые вернее будет определить слогом вы-

сокого обобщения: жилище, ристалище, судилище, узилище.

И над всем — беломраморная голова гривастого Зевса. Она неустойчиво помещена на куске колонны, а потом и вовсе как бы воспаряет, повисает в воздухе. Мифический бог на небесах. Но для режиссера Н. Шейко еще важнее то, что возвышенно великое есть в земном человеке. Таков здесь Сократ с его серебристо-седой головой титана, с его просветленностью и несломимой силой духа, каким воплотил его Ю. Толубеев.

Просветленный лик Сократа гармонирует с его нравственным учением. Здесь Сократ — олицетворение той добродетели, которая и в рубище прекрасна. Контраст видимого и сущего переакцентирован психологически: при внешней податливости, мягкости — внутренняя убежденность, стойкость.

Контраст проявлен в имущественной, семейной, общественной ситуациях. Сократ беден, но его богатство в разуме. Он обвинен в безнравственном влиянии на молодежь. Но несколько сот, почти половина, афинян голосуют за оправдание Сократа. Его жена Ксантиппа, знаменитая своей сварливостью, рождает ему детей, похожих на «друга дома». Но и она в исполнении Н. Ургант с женской горечью и лаской смотрит на Сократа, как на своего большого ребенка.

Его мудрость естественна.

— Вся жизнь я потратил на беседы, — говорит Сократ. Ю. Толубеев ведет эти беседы неторопливо, истово, раздумчиво. Они ему приятны, естественны и необходимы как воздух. Сократ ведет их с учениками, с людьми разного общественного и нравственного достоинства.

Разум героя Ю. Толубеева отнюдь не в разладе с сердцем. Сократ не абсолютизирует знания, не отождествляет его с добром. Знание может быть и орудием зла. Сократ стремится пробудить в человеке любовь, совесть. «Надо любить людей, как себя». Противопоставляя злу добро, предательству — прямоту, открытость, Сократ утверждает: «Стыдно заботиться о выгоде и почестях, а о разуме и душе забывать». Он отстаивает самое святое право человека — быть человеком, быть самим собой.

Сократ не клонится перед властью имущими. Не ищет спасения в победе. Для него это значило бы поступиться своими убеждениями, своей правотой.

Из «беседующих» с Сократом полное других выписан драматургом властолюбивый политик Анит. Он, как и Сократ, апеллирует к природе, считает естественной свою позицию — право сильного. В спектакле Анит обрисован как некая злоецающая сила. Он возлежит на ложе, покрытом тигровой шкурой. И сам он, в исполнении ар-

тиста И. Комарова, похож на хищного зверя.

Но главное в этом спектакле — в утверждении духовной силы Сократа, его стойкости, ценности нравственного начала в человеке, его пытливого ума. Сократ Ю. Толубеева дерзок, патетичен и жизнелюбив. «Давай исследуем!» — этот девиз Сократа очень важен для Ю. Толубеева. Он противостоит инстинкту и слепой вере, в нем залог усовершенствования человека.

Спектакль недаром назван не «Беседы Сократа», а «Беседы с Сократом» — это и мы сами, с нашими вопросами и проблемами, как бы обращаемся к Сократу, к нравственному опыту веков.

Но вот, пожалуй, самый главный упрек. Можно было ожидать более явственного показа Сократа в общении с афинской публикой, с народом, особенно в сцене суда. Чтобы еще яснее стало: Сократ — народный герой, народный философ.

Ведь само собой понятно: в величии исключительной личности существенна ее слиянность с массой, с жизнью всего человечества.

Но масштаб героя предъявляет особые требования к масштабу дарования. Во всех случаях, о которых мы говорили, успех определялся участием в этих спектаклях больших актеров. Именно работа актеров глубокой реалистической традиции, умеющих сочетать психологизм и выразительность сценического поведения, обеспечила достоверность, убедительность и масштабность таких образов, где требовалось постижение внутреннего мира выдающейся личности.

Сложнее дело обстояло с режиссурой. Анализируя спектакли, показанные театром на московских гастролях 1973 года, один из критиков заключил, что «присущий им уровень режиссерских решений далеко не соответствует возможностям коллектива». О том, что театру недостает «активной, целеустремленной и эмоциональной режиссуры», писали многие. Спад в режиссуре так или иначе сказался и в рассмотренных нами постановках. И в них могло бы четче проявиться концепционное начало, могли бы явственнее обозначиться смысловые и интонационные связи с интересами и чувствованиями современного зрителя. Проблема режиссерского поиска в театре остро стоит и сегодня.

И все-таки именно спектакли, где на первый план выступила крупная личность, где мы увидели героев в масштабе истории, оказались наиболее содержательными среди спектаклей Театра имени А. С. Пушкина. Именно они привлекли заинтересованное внимание многочисленных зрителей и удерживаются в репертуаре на протяжении многих лет.

Н. Охочинский,
заслуженный артист РСФСР

СТАРЕЙШИЙ КУКОЛЬНЫЙ...

Кукольный театр не является «театром возраста», показывающим свои спектакли только детям. Это — один из полноправных видов театрального искусства, интересный зрителю любого возраста. Причем один из самых древних видов. Самые древних, а вместе с тем — один из самых молодых. Ведь своего профессионального кукольного театра в царской России не было, и искусство это было представлено лишь бродячими петрушечниками, на протяжении нескольких веков игравшими одну и ту же комедию о Петрушке. Только в первые годы после Великой Октябрьской революции был создан советский профессиональный театр кукол. Таким образом, советскому кукольному театру 60 лет. И одним из первых театров, созданных в 1918 году, и единственным из них, дожившим до наших дней, является Ленинградский государственный кукольный театр.

Вот об этом театре, о том вкладе, который он внес в развитие искусства театра кукол, мне бы и хотелось рассказать.

Конечно, эти заметки о театре во многом субъективны, да иначе и быть не может: почти вся моя сознательная жизнь связана с ним. Поэтому мне хочется начать рассказ о театре с тех дней, когда я пришел в него.

1945 год. Радостные дни Победы. Тысячи ленинградцев на улицах, площадях. И среди них — молодой человек в форме лейтенанта-танкиста. Специальности нет (на фронт я ушел прямо со школьной скамьи), есть желание учиться, но до осени далеко, надо чем-то заняться. Случайно в доме друзей узнаю, что театру Деммени нужны люди. Ну а кто из ленинградцев не знал театра Деммени? Я помнил даже спектакли, на которых бывал в детстве. Как недавно и в то же время — как давно это было! Война как бы отделила те дни от сегодняшних. Но я помнил Гулливера, помнил смешных клоунов из кукольного циркового представления. Только что же я-то буду делать в кукольном те-

атре? Нет, решил, это не для меня. Но через два-три дня, проходя по Невскому, оказавшись на углу Садовой улицы, увидел витрину кукольного театра. С вывески на меня сверху смотрит Петрушка и как бы подмигивает: «Ну же, входи!»

И я зашел. Думал ли я тогда, что этот случайный шаг определит всю мою будущую жизнь, что куклы войдут в нее, захватят меня целиком и никуда уж от них мне будет не уйти?

Поднимаюсь по лестнице обычного жилого дома на второй этаж, прохожу узким коридором, в который выходят какие-то двери. Открываю одну из них... Навстречу мне — высокий элегантный мужчина. Как оказалось, я сразу наткнулся (в буквальном смысле слова) на Евгения Сергеевича Деммени, руководителя театра. Не помню, что было сказано в ту первую встречу. Только с этого дня я начал работать в театре. Предложено было начать помощником режиссера, подучиться кукловождению, ну «а потом — посмотрим». Что такое должность помощника режиссера, я примерно знал, так как в моей семье были театральные работники. Но в тот день никуда «смотреть» я не хотел. Я твердо знал, что все это временно, что осенью пойду в университет. Ну а до тех пор почему бы и не попробовать «поиграть в куклы»!

Театр тогда только-только вернулся из эвакуации, шла подготовка к новому сезону, помещение отремонтировалось, восстанавливались спектакли.

Понемногу узнавал я историю театра, понемногу он становился уже моим театром, а искусство кукол — моим делом. (Хотел написать «моим призванием», но призвание-то пришло потом.)

Помню, с каким трепетом впервые взял в руки марионетку — это был клоун Бом из спектакля «Наш цирк», — как удивился, когда кукла вроде бы ожила (это мне показалось, что она ожила, на самом-то деле она просто задержалась, как бы независи-

мо от меня). Только через несколько лет мне удалось сыграть эту роль.

Пока же я только присматривался, занимался основами кукловогождения, техникой речи и слушал, слушал и слушал рассказы Евгения Сергеевича и актеров о театре, о куклах, о спектаклях. Буквально за несколько дней до моего прихода в театр состоялся выпуск на краткосрочных курсах, подготавливающих актеров-кукловодов для вновь создаваемых театров в Новгороде и Пскове. Несколько выпускников пополнили труппу театра Деммени. Вот к ним меня и присоединили.

И сразу мы начали заниматься с куклами-марионетками. Ведь театр использовал в своей работе кукол всех систем, а марионеточная группа его была единственной в СССР. Заслуженная артистка РСФСР Вера Георгиевна Форштедт и артистка Анна Николаевна Николаева, старейшие работники театра, еще в 1918 году вместе с Л. В. Шапориной-Яковлевой организовывали Петроградский театр марионеток (он был в 1930 году объединен с основанным Деммени в 1924 году Театром Петрушки и с тех пор составляет единый коллектив), обучали нас управлению этими куклами на нитках. И занимались мы с теми куклами, с которыми вскоре нам предстояло выйти на сцену.

«Сказкой о мертвой царевне», поставленной в 1937 году к столетию со дня гибели А. С. Пушкина, был открыт первый послевоенный сезон в сентябре 1945 года. И так я был горд тогда, что произнес первую фразу в первом послевоенном спектакле! А через тридцать лет мне самому пришлось возобновлять «Сказку о мертвой царевне».

«Гулливер в стране лилипутов» — спектакль-ветеран. С 1928 года он в репертуаре театра, более трех тысяч раз был он показан за эти 50 лет. И сегодня малыши (а спектакль поставлен как раз для маленьких зрителей) с восторгом следят за Гулливером, учатся справедливости и добру. Впервые в «Гулливере» был введен прием сочетания куклы и живого актера, прием, получивший впоследствии широкое распространение в кукольных театрах.

Первым исполнителем роли Гулливера был М. М. Дрозжин. И успеху спектакля во многом способствовала игра этого обаятельнейшего актера, с удивительным доверием и непосредственностью общавшегося с деревянными артистами. Вот эта непосредственность помогла зрителям воспринимать куклу как живое существо. Все последующие исполнители — а их было 15 — в своей трактовке не могли не отталкиваться от ставшего как бы каноническим исполнения Дрозжина.

А какие замечательные марионетки

по своим эскизам вырезал Н. М. Коцергин!

В «Гулливере» за 30 с лишним лет я переиграл почти все роли, а вот самого Гулливера сыграть не пришлось.

Но не только основам актерского мастерства учился я у старших товарищей, у Деммени. Сам Евгений Сергеевич был человеком огромной культуры, широко эрудированным во всех — не боюсь этого сказать — видах искусства. Театр, и драматический, и музыкальный, литература, живопись, музыка были для него так же необходимы, как, вероятно, воздух. И свои знания, свою любовь к искусству он стремился передать нам, своим ученикам. До сих пор вспоминаю его рассказы о театре, о первых его шагах, о поисках. Мог ли я тогда предполагать, что стану не только актером-кукольным, а сделаюсь и в какой-то степени летописцем театра. На протяжении нескольких десятилетий мне довелось заниматься историей своего театра, собирать и систематизировать материалы, отражающие творческий путь его.

Попробуем вспомнить некоторые наиболее интересные страницы истории ленинградского театра, вспомнить для того, чтобы понять, что же они значат в общей истории советского театра кукол. Обычно историю эту связывают с именем Сергея Владимировича Образцова, замечательного мастера современного кукольного театра. Но ведь театр Образцова был создан в 1931 году, когда уже более десяти лет существовал ленинградский театр...

Говорить о творческом пути ленинградского театра нельзя в отрыве от деятельности Деммени, почти полвека стоявшего во главе его.

Многие начинания советского театра кукол связаны с именем Деммени и руководимым им театром. И тут придется часто употреблять слово «первые». Он действительно был первооткрывателем многого такого в кукольном театре, что впоследствии стало само собой разумеющимся.

«С деятельностью театра связано появление первых кукольных спектаклей на современные темы», — читаем мы в Большой Советской Энциклопедии. Одна фраза, за которой кроется громадная работа всего творческого коллектива. С самого начала был взят курс на современность. В «Положении о внутреннем управлении театра», составленном при организации его, основной задачей было провозглашено «возрождение кукольных спектаклей, созвучных современности». И на протяжении всей своей творческой жизни театр следовал этой задаче.

Были на этом пути, конечно, и неудачи — тогда, когда театр пытался решать современную тему впрямую, не считаясь со спецификой своего ис-

куства. Победа приходила тогда, когда современность подавалась опосредствованно, через «чудо» оживления неодушевленных предметов или зверей. Такие спектакли имели долгую сценическую жизнь, причем не потому, что в них затрагивалась «нужная» тема, а потому, что и по своей идейной направленности, и по художественному решению они отвечали требованиям, предъявляемым нашим временем. Одним из лучших спектаклей такого плана я считаю «Кукольный город» Евгения Шварца. Мне посчастливилось играть в «Кукольном городе», поставленном уже в послевоенные годы. Первая же постановка относится к 1939 году.

Шварц откликнулся на просьбу театра написать пьесу-сказку, в которой бы средствами кукольного театра можно было бы показать тему защиты Родины.

А сюжет «Кукольного города» совсем не сложен. Детские игрушки, с которыми плохо обращались их владельцы — дети, убежали в лес, построили свой кукольный город и стали жить дружно, весело. На их город нападают крысы. Борьбу крыс и игрушек и показывает пьеса. Герои «Кукольного города» нарисованы Шварцем с присущим ему тонким юмором, у каждого свой характер, отвечающий и названию, и назначению: отважный и смелый Тигренок, у которого «морда так сшита, что она всегда радостная»; добродушный Пупс-дворник; обаятельная и добрая Рита, кукла с закрывающимися глазами; симпатичный наивный Пупсик с ванночкой; вечно спорящие друг с другом плюшевые Обезьянка и Мишка; жадная, лживая Свинья-копилка — все они были близки и понятны детям. Враги же — злой и коварный Повелитель крыс, мрачная Сова, крысы-вояки — вызывали, конечно, негодование юных зрителей. А какой крик поднимался в зале во время боя игрушек и крыс, как дети стремились помочь игрушкам! Можно представить себе, как воспринимался этот спектакль в дни войны, когда образ Повелителя крыс ассоциировался с Гитлером, а вся история нападения крыс на мирный город игрушек — с вероломным нападением фашистов на нашу страну.

Мне же «Кукольный город» памятен еще и потому, что в нем я впервые выступил в Кремлевском театре в 1959 году, — это был первый кукольный спектакль, показанный на этой сцене.

Особенно широкий размах работа по созданию спектаклей на современную тему приняла во второй половине пятидесятых годов. Именно в это время, когда кукольные театры только робко начинали отходить от копирования человеческого театра, когда еще чуть ли не основное место в их ре-

пертуаре продолжали занимать инсценировки пионерских повестей, то есть пьесы, свойственные скорее ТЮЗам, наш театр искал пути создания новой современной сказки.

На Всесоюзном фестивале театров, посвященном 40-летию Октября, мы показали спектакль «Точка, точка, два крючочка», поставленный Деммени по пьесе И. Скороспелова и Н. Клыковой. Жюри фестиваля отметило эту постановку как «наиболее удачную работу по созданию современного спектакля». Дальше последовали «Осенняя сказка», новая сценическая редакция «Кукольного города», «Сказка одной ночи», «Один плюс один», «Песня о красном флаге», «Забытая кукла». В последние годы на сцене театра появились такие спектакли на современную тему, как «Чебурашка», «Тайна затонувшего корабля», «Летающий мальчик». Недавно новый главный режиссер В. Н. Лопухин осуществил постановку пьесы Ю. Яковлева «Лев ушел из дома», музыкального спектакля-сказки С. Баневича, Л. Виноградова и М. Еремина «Медвезайцы» и спектакля-плаката «Песни горна», в котором прослеживается история нашей страны за 60 лет по пионерским песням.

Работа с авторами над новыми пьесами, создание собственного оригинального репертуара — одна из традиций театра. Многим драматургам театр дал «путевку в жизнь», и пьесы, созданные ими в содружестве с театром, получили широкое распространение в кукольных театрах Советского Союза и за рубежом. Особая многолетняя дружба была у театра с Самуилом Яковлевичем Маршаком. Зародилась она еще тогда, когда он был заведующим литературной частью Ленинградского ТЮЗа, в состав которого до 1937 года входил наш театр. Сначала это были пьесы, написанные Маршаком совместно с Е. Васильевой: «Цирк Арчибальда Фокса», «Петрушка», «Козел», «Кошкин дом», затем последовали «Багаж», «Петрушка-иностранец», «Петрушка-покупатель». Маршак, с большой радостью работавший в те годы для кукольного театра, видел в Деммени режиссера, с которым драматургу интересно работать, режиссера, с большой чуткостью и бережливостью, с большим уважением относящегося к драматургическому материалу.

В создании спектаклей по пьесам Маршака «Терем-теремок», «Умные вещи», «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом» (новый вариант) принимал участие и я. С куклами из «Теремка» мы приветствовали Самуила Яковлевича в Ленинградском доме писателя в день семидесятилетия драматурга:

«Мы пришли из «Теремка», чтоб поздравить Маршака!»

Есть еще один спектакль, созданный театром совместно с Маршаком, рассказ о котором может представить интерес. Это поставленный Деммени в 1942 году «Юный Фриц».

Об этой постановке, о деятельности театра в годы войны я услышал в первые же дни своей работы, когда только что вернувшиеся в Ленинград артисты еще жили свежими воспоминаниями о суровых днях.

Уже 25 июня 1941 года артисты театра, создав несколько, как тогда говорили, военно-театральных групп, начали свои выступления с куклами со специально подготовленными программами на агитпунктах, вокзалах, в военкоматах перед отходящими на фронт. Репертуар составляли памфлеты и басни «Пес-рыцарь», «Полководцы», «Авто-мото-грабители», «Лиса и Балаболка», написанные Ал. Фли-том и М. Туберовским. Вскоре актеры-кукольники последовали за своими зрителями на фронт. Во время одной из поездок погиб заслуженный артист РСФСР М. М. Дрозжин.

И на стационаре продолжались спектакли. Ежедневно два представления — утреннее, в 12 часов, и вечернее, в 3 часа дня. В репертуаре «Кукольный город» (с подзаголовком «Война крыс и игрушек»), «Гуллизер в стране лилипутов», «Наш цирк», «Сказка о мертвой царевне». На смену детям пришла новая публика — учащиеся ремесленных училищ и взрослые. И что примечательно: спектакли, рассчитанные на детей младшего возраста, с интересом смотрели и эти зрители, им не могли помешать даже налеты вражеской авиации. После отбоя воздушной тревоги актеры и зрители возвращались из бомбоубежища, и представление продолжалось.

Спектакли прекратились только в январе 1942 года, когда был отключен свет, когда перестал действовать водопровод. Труппа театра была вывезена по Дороге жизни на Большую землю. За счет личных вещей удалось захватить комплекты кукол нескольких постановок. Театр приютил город Иванов, где вскоре, после того как актеры подлечились в больнице, начались выступления. И вот тогда-то для пополнения репертуара пьесой, созвучной грозному времени, Деммени обратился к Маршаку. Писатель, разъященный эпиграммы которого почти ежедневно появлялись на страницах центральных газет, ответил довольно быстро. Он прислал пьесу-памфлет «Юный Фриц», острую политическую сатиру, написанную на основе коротеньких политэпиграмм о фашистском вояке Фрице.

«Юный Фриц» был поставлен в короткий срок. Спектакль, в котором участвовало более 20 кукол, играли

всего четыре актера, причем двое из них (Е. С. Деммени и Ф. И. Иванов) были еще и ведущими, постоянно менявшими маски: то это были профессор-расист и его ассистент, то просто «лица от театра». Перед зрителями проходила вся жизнь Фрица, вырастающего во взрослого детину. Раскатами смеха встречали зрители одну из первых же сцен спектакля — наставления бесноватого фюрера при выборе невесты Фрицу:

Чистота арийской крови
Очень ценится в корове.
Чистокровный прусский скот
Выше всех других пород...

Дальше шли остроумно решенные драматургом и режиссером эпизоды военного обучения Фрица, его победного марша по Европе и плачевного финала на Восточном фронте.

Группа, игравшая «Юного Фрица», выехала в Москву, а оттуда на фронт для обслуживания частей Красной Армии. В самых разнообразных фронтовых условиях выступали кукольники с этим динамичным, остросатирическим спектаклем.

Теперь мне хочется вернуться несколько назад, рассказать о работе театра над классическим материалом. В уже упоминавшейся статье из БСЭ говорится, что «Деммени ввел также в репертуар театра кукол произведения классиков (В. Шекспира, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, Н. А. Некрасова и др.)». И должен отметить, что это были не просто произведения классиков, впервые поставленные в куллах и только поэтому заслуживающие упоминания. Нет, это были постановки, в которых в полной мере проявилось новаторство первого по существу профессионального режиссера-кукольника, спектакли, привлекавшие внимание зрителей и критики ничуть не меньше, чем спектакли драматических театров того же времени.

В 1928 году была поставлена «Свадьба» Чехова, которая никогда не была репертуарной пьесой драматических театров. Кукольный театр создал яркое сатирическое зрелище, в котором действовали смешные и в то же время страшные фигуры, и поведение этих «героев» создавало впечатление «похожести» их на выползающих из щелей спекулянтов, нэпманов. В Ленинградском театральном музее хранится макет этого спектакля (художник И. П. Павлович) — по нему можно судить, насколько далеко ушла за десять лет сценография кукольного театра от обычной трехстворчатой ширмы.

Действие разыгрывалось в трех ярусах. Нижний — на переднем плане перед накрытым столом, второй ярус — за столом, на некотором возвы-

шении, и третий — музыкантская площадка. Это мы сегодня спокойно говорим, что действие кукол можно строить в любых ярусах, а тогда переход к многоярусной ширме означал перелом в сценографии театра кукол.

Сегодня мы не представляем себе кукольного спектакля без светового оформления, по праву являющегося одним из художественных компонентов его. А тогда, в конце двадцатых годов, действенное применение света было счастливой находкой. При помощи света применялся и «крупный план»: мелькают танцующие пары — тут и жехи Эпаминонд Алломбов, пристающий с нудными претензиями к теще, тут и телеграфист Ять, стремительно кружащийся вокруг своей партнерши акушерки Змеюкиной, как мотылек вокруг огня, — музыканты шпарт вальс; Жигалов ударяет в ладоши, музыка обрывается, все садятся за стол. Газнет свет, и луч прожектора поочередно выхватывает из темноты страшные, противные рожи обывателей-гостей. Потом луч света останавливается на тех лицах, которые надо выделить в данный момент. Свет вспыхивает, действие продолжается.

А финал спектакля? В открывшемся окне ширмы (еще один план) в луче света медленно проходит оскорбленный Ревунев-Караулов. Мгновенная тьма, затем с одновременным включением полного света — музыка: оглушительный разухабистый «раковьяк, на сцене полный разгул. И вновь тьма, в музыке разлад (перепились и музыканты), дикие звуки пьяной гулянки. И неожиданно все обрывается — спектакль окончен.

Органическое влечение музыки в драматургическую ткань кукольного спектакля и как ритмической канвы, и как подкрепляющей основы всех элементов представления также явилось для того времени новаторским режиссерским приемом. «От бестелесного, развлекательного, зачастую находящегося в противоречии с происходившим на сцене действием музыкального сопровождения народных петрушечных театров — к тематически насыщенной, ритмически точно увязанной с общим ходом спектакля музыке современно кукольного театра — вот путь, по которому, на наш взгляд, должно развиваться творчество композитора в театре кукол», — писал тогда Деммени. По-моему, сегодняшний мюзикл, заполняющий сцену кукольных театров, полностью отвечает этим требованиям.

За «Свадьбой» был поставлен спектакль по повести Гоголя. В «Соре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» (так назывался спектакль) музыка помогла режиссеру перекинуть мостик в наши дни. Музыкально-ритмическими заставками, определя-

ющими характер изображаемых эпох (от бодрых ритмов наших дней к тягучей, полной разморенности и лени мелодии, ассоциирующейся с провинциальной жизнью николаевской России), начинался и заканчивался спектакль, перенося творческую фантазию зрителя из одной эпохи в другую. Перед зрителями проходили картины прошлого, чудовищные по своей ничтожности страсти и ужасающее скудоумие миргородских обывателей, раскрывалась атмосфера лени, честолюбия, чванства, крючкотворства. Акценты же музыкального сопровождения определяли и рисунок движения кукол.

«Сора» была показана в Москве летом 1930 года участникам Первой Всероссийской конференции работников кукольных театров. К тому времени было открыто несколько десятков театров кукол, многие из которых использовали в своей работе опыт ленинградцев, постоянно консультировались с ними, ставили пьесы из репертуара театра Деммени. Среди этих театров — Харьковский, Горьковский (тогда Нижне-Новгородский), Одесский, Грузинский (Тбилиси). На конференции театр Деммени был признан, как сообщил журнал «Рабочий и театр», «единственным в СССР театром этого типа с законченной культурой и новаторством в области традиционных петрушечных форм спектакля».

Перечитывая недавно «Исполнение желаний» В. Каверина, я неожиданно натолкнулся на упоминание о нашем театре. Написал «неожиданно», а ведь ничего неожиданного в этом нет. У Каверина рассказывается о том, что гости Мариши писали стихи, рисовали карикатуры, но больше всего занимались сценариями для Театра Петрушки, и происходило это в 1927 году. Действительно, Театр Петрушки (так тогда назывался театр, руководимый Деммени) завоевал тогда огромную популярность. О нем много писали, много говорили, и не только в Ленинграде, не только в нашей стране. В кукольных журналах, издававшихся за рубежом, появляются статьи о спектаклях театра, зарубежные театральные деятели, приезжая в Ленинград, обязательно посещали спектакли Петрушки. Куклы театра экспонируются на международных выставках в Праге и Париже. И это был, собственно говоря, первый выход за рубеж советских кукольников. И в даром Евгению Сергеевичу Деммени первому из советских кукольников в начале тридцатых годов было присвоено почетное звание заслуженного артиста РСФСР.

Конечно, о «Свадьбе» и «Соре» я могу рассказывать только на основании рецензий и статей об этих спек-

таклях, а также по впечатлениям участников этих постановок. Самых спектаклей я не видел, но куклы, макеты, многочисленные фотографии, рассказы Деммени, наконец отдельные сцены из этих спектаклей, разыгрываемые в концертном плане, дали мне полное представление о том, что же это были за постановки. И поэтому я взял на себя смелость рассказать о них — без этих спектаклей картина поисков театра была бы неполной.

Но вот спектакли на классическом материале послевоенного периода — в них мне довелось самому уже принимать непосредственное участие.

В первый же год моего пребывания в театре началась подготовка «Проказниц Виндзора» Шекспира. Премьера состоялась в начале 1947 года. Радужное восприятие мира, непосредственный юмор, заразительное веселье, пронизывающее эту комедию, привлекли театр. Сценическая композиция была сделана ленинградским драматургом М. Д. Туберовским с учетом возможностей кукольного театра. Спектакль сократился до трех актов, но не только за счет сокращения текста, а и благодаря динамизму действия, благодаря остроумному решению сценической площадки, что давало возможность, не прерывая действия, переносить его из одного места в другое.

Это был веселый, искрящийся спектакль, в котором, как в чудесном сплаве, соединились все компоненты — и острая режиссура Деммени, и чудесные, радостные по тону декорации Т. Г. Бруни, и жизнерадостная музыка М. Ф. Гельфмана, и выразительные гротесковые куклы М. Я. Артюховой, и, наконец, игра актеров, сумевших создать целый ряд острохарактерных образов. Для нас, молодых актеров, участие в этой постановке было прекрасной школой. Мне была доверена роль Слендера — я и сегодня, спустя тридцать лет, помню все сцены, в которых играл, помню своих замечательных партнеров: Ф. Иванова — Фальстафа, Ю. С. Познякова — Пастора Гука, Т. В. Смирнову — Квикли, В. В. Кукушкина (тогда такого же новоиспеченного кукольника, каким был и я, а ныне народного артиста РСФСР) — Пистоля. И особенно — Деммени, игравшего доктора Кюса.

Это была его последняя актерская работа в театре. Тут в полной мере проявились замечательные актерские способности Евгения Сергеевича.

Зрители и критика прекрасно принимали спектакль. Вот отрывок из одной рецензии: «Советский кукольный театр можно поздравить с новой большой удачей. «Проказницы Виндзора» в постановке театра под руководством Евг. Деммени — это не только «весьма занимательная и отменно

остроумная комедия». Это, по сути дела, первый шекспировский спектакль советских кукольников, имеющий поэтому особое принципиальное значение... Зритель смотрит не только занимательный кукольный спектакль, но и наслаждается движением и жизнью «виндзорских кумушек», которые поновому зажили на кукольной сцене...»

Спектакли для взрослого зрителя были, конечно, эпизодами. Основная работа театра — создание спектаклей для самых маленьких. Но эти «эпизоды» знаменовали собой определенные ступени роста. Так было со «Свадьбой» и «Ссорой», так было с шекспировским спектаклем, так было и с более поздней постановкой «Лекаря поневоле» Мольера.

Есть еще одна не очень известная страница в истории театра, которая может представить интерес.

Однажды (это было, если память мне не изменяет, на второй год моей работы в театре) Деммени сказал: «Будем возобновлять спектакль для взрослых „Школяр в раю“». Достали кукол из шкафа, эскизы декораций. И сразу молодежь засыпала его вопросами: «Что это за спектакль? Почему такая странная расцветка кукол? Почему такой двухцветный тон декораций, напоминающих старинные гравюры?» И выяснилось, что «Школяр в раю» был поставлен еще в 1939 году по заказу Ленинградского опытно-телевизионного центра.

Сегодня куклы на голубом экране занимают значительное место. Нет дня, чтобы по телевидению не показывали или спектакль кукольного театра, или просто представление кукол, подготовленное на самой студии, или же куклу, применяемую в какой-нибудь не «кукольной» передаче. А впервые (и опять это слово «впервые»!) куклы появились на телеэкране (тогда еще не голубом, а зеленоватом) 3 октября 1938 года. Это еще не был кукольный спектакль — Деммени выступил тогда со своими эстрадными номерами. Но то выступление натолкнуло на мысль подготовить специальный спектакль в куклах для показа по телевидению. И родился экспериментальный марионеточный спектакль «Школяр в раю» по фарсу Ганса Сакса.

Сочетание возможностей кукольного театра со своеобразием телевизионного показа позволило режиссеру создать оригинальный спектакль марионеток. Широко применялись наплывы, панорамные ходы, крупные планы, то есть тот арсенал средств, который сегодня составляет неотъемлемую часть любого телевизионного представления. А в то время это были находки, каждая из которых радовала и

кукольников, и телевизионных работников.

В забавной истории о том, как странствующий школяр обманул крестьянскую чету, рассказанной немецким поэтом эпохи Возрождения четыреста лет назад, действуют всего три персонажа — крестьянка, ее второй муж, школяр. В телевизионном спектакле были введены еще два, можно сказать, полноправных персонажа — первый муж крестьянки, умерший и находящийся, по ее словам, в раю, и лошадь, которую сумел выманить школяр.

Любопытен был принцип оформления сцены. Требовался моментальный перенос действия из одного места в другое. В современных телевизионных условиях это не представляет никакого труда: построй в разных концах студии несколько площадок, поставь несколько камер — и действуй, или, что еще проще, — снимй на видеомагнитофон отдельно каждую сцену и монтируй, как твоей душе угодно. Но тогда, на заре телевидения, все надо было искать заново. И вот придумали трехрочную установку — и на трех небольших площадках-сценах попеременно происходило действие. А иногда оно шло одновременно на двух или даже на всех трех площадках.

А потом Деммени перенес «Школяра в раю» на сцену театра, и уже средствами театра пришлось искать замену телевизионным приемам.

В возобновленном спектакле мне досталась роль того самого мужа в раю. Обычно «Школяра» мы показывали на вечерах кукол для взрослых. В первом отделении шел этот спектакль, во втором выступал Деммени. Чудесные марионетки, вырезанные М. Я. Артюховой, и сегодня вызывают восхищение. Они экспонировались на многих международных выставках, а в 1958 году получили серебряную медаль на Всемирной выставке в Брюсселе.

Я рассказал о некоторых периодах истории своего театра. Но история театрального коллектива может и не представлять общественного интереса, если она не имеет продолжения в сегодняшнем дне. А о сегодняшнем дне надо судить по репертуару. Двадцать названий в сегодняшней афише театра — все это детские спектакли: сказки, инсценировки любимых детских книг, пьесы на современную тему.

В каждой из этих постановок мы стремимся прививать детям чувства добра, справедливости, любви к Родине.

...В свободное время захожу в комнату, называемую у нас в театре музеем, хотя это совсем небольшое помещение, заставленное шкафами. Сажусь за свой стол, на котором всегда лежат папки с вырезками из газет и журналов, альбомы, фотографии, эскизы. А из витрин шкафов на меня смотрят куклы. Со всех сторон — куклы. Вот несколько десятков их из эстрадных номеров Деммени: пианист, цыганка, танцевально-акробатическое трио, Чарли Чаплин, куклы из «Политбалагана» — программы Ленинградского мюзик-холла 1930 года... И можно начать новый рассказ об этой стороне творчества Деммени, тем более, что много лет я помогал ему в его концертных выступлениях, побывав в десятках городов нашей страны, в Болгарии, Румынии, Югославии...

...А вот марионетки из первых спектаклей театра. И они напоминают не только об этих спектаклях, но и о людях, с которыми мне пришлось работать рядом. Многих из них уже нет... На открытой полке — Петрушка. Да, тот самый Петрушка, изображение которого было на вывеске театра, когда я впервые переступил порог его. И для меня это не просто музейная кукла — с этим Петрушкой я выступал, когда рассказывал по телевидению о театре в связи с его пятидесятилетием: с народным артистом РСФСР Л. Ф. Макарьевым, одним из основателей Ленинградского ТЮЗа, мы разыграли сценку из «Петрушки» Маршака (в 1924 году Леонид Федорович играл роль немца в этом спектакле)...

На шкафу сидит Чебурашка — герой спектакля, поставленного моим товарищем В. А. Ильным, заслуженным артистом РСФСР, возглавившим театр после Деммени. Рано ушел из жизни Виталий Александрович, талантливый актер, режиссер. А спектакль «Чебурашка» и сегодня радует зрителей... Куклы из спектаклей, в которых мне довелось играть, — и с каждой связано какое-нибудь воспоминание.

Я люблю свой театр, которому отдал несколько десятков лет жизни, и счастлив тем, что все эти годы занимался любимым делом.

Адольф Урбан

„ЭПОХ СОПРИКАСАТЕЛЬ“

1

Есть поэты, которые именуются поэтами только потому, что пишут стихи. И есть поэты по призванию, то есть истинные. Так вот, среди истинных поэтов не может быть несовершенных. Даже если кто-то из них сознательно отворачивается от современности, в этом непременно есть некая современная причина. Они-то ее и выражают. Безусловно, современность их весьма ограничена. Иногда обнаруживается лишь косвенно. И все же она существует.

Говорю это не ради упражнения в диалектике. Хочу подчеркнуть, что современность современности рознь. И что, обнаружив в стихах поэта современность, мы еще не все в них тем самым открыли. Есть современность космодрома и пашни, лесного заповедника и библиотечной комнаты, городского перекрестка и модного ателье, научной идеи и вскользь сказанного слова.

Важно, какая она, эта современность, в каком взята масштабе, в каких отношениях к прошлому и будущему. Как она понимает самое себя. Именно с этих вопросов начинается серьезный разговор о ней. Иначе — это лишь неопределенное слово, в котором каждый волен подразумевать свой смысл.

Так оно, впрочем, чаще всего и происходит. «Современный» — обязательная похвала. А раз обязательная, то ее вольно прилагают и к словес-

ной архаике, и к постоянному эпитету, и к самому дремучему пейзажу только потому, что кто-то извлек сегодня эту архаику на свет божий, а нетронутых пейзажей, к счастью, сохранилось еще вдоволь.

Но не о том сейчас речь. Речь пойдет о поэте, современность которого общепризнанна. Более того, слово «современный» рядом с его именем — именем Леонида Мартынова — стало постоянным эпитетом.

Однако в попытках определить характер его современности нет единодушия. Тут мы найдем суждения противоречивые и даже противоположные. Разнонаправленные и контрастные.

Широко утвердившемуся мнению о Мартынове как о поэте «интеллектуального направления» (Евгений Осетров) Сергей Орлов безоговорочно противопоставил «единый напряженный поток лирической стихии, страстью своей и глубиной захватывающей целиком».

Валерий Дементьев назовет поэзию Мартынова парадоксальным миром, «который во многом противоречит логике здравого смысла». Е. Калмановский выскажет нечто совершенно противоположное: «...Что бы и когда бы Мартынов ни писал, он всегда неизменно, поразительно здравомыслящ, исходит из ясных и четких представлений о справедливости и пользе, о хорошем и плохом».

Так и пойдут рука об руку эти контрасты. Рационалист и лирик.

Здравомыслящий и фантазер. Терминологически точный и парадоксальный. Схематичный и «затейливый». Абстрактный и пластичный. Отвлеченный и документальный. Серьезный и ироничный. Прозаичный и поэтический.

Все эти определения не придуманы мной. Их можно подтвердить множеством конкретных ссылок.

Ради точности надо сказать, что контрастные, многозначные определения поэзии Мартынова можно встретить и в статьях одного и того же автора.

Анатолий Никульков на площади двух абзацев газетной статьи, ссылаясь на критику, называет его «поэтом-лириком», «поэтом-философом», «поэтом-трибуном», «поэтом-публицистом», «проповедником».

А. Марченко определит «линию» Мартынова — «парадоксальную, аскетическую и затейливую». Аскетизм и затейливость очень не связываются!

Е. Сидоров скажет: работает «то с яростью грузчика, то с точностью ювелира».

Л. Лавлинский начал свои размышления о поэзии Мартынова со сдержанных, охлаждающих утверждений: «Груз специальной терминологии, сложнейших понятий, которыми оперируют современная физика, математика, политэкономия», «внешне сухая логика точных знаний, ледяное бесстрастие формул...»

Закончил же не литературоведческим термином, а экспрессивной метафорой — «мыслящий вулкан».

Примечательно, что даже критики, говорящие о сухости, логичности, рационализме Мартынова, сами редко придерживаются терминологически точных определений. Чтобы выразить суть, им в конце концов оказывается необходимой метафора. В рамках строгих формул его поэзия никак не укладывается.

Найти равнодействующую всех этих определений трудно, почти невозможно.

Наиболее часто встречающиеся эпитеты — «современный», «интеллектуальный», «поэт науки».

Но также — и «лирик», и «фантасм», и «экспрессивный», и «страстный».

Лед и пламень.

«Древнее и сегодняшнее — два полюса поэзии Мартынова», — пишет Евг. Винокуров. Но ему тут же придется дать и третье измерение — «мир мечты», уводящей «не в прошлое, не в легенду, а в будущее — туда, куда устремлено наше человечество».

Пытаясь же уловить стилистику и масштабы художественного мышления, Винокуров начнет с современности и старины, звучащей почти «плакатно». А в конце обнаружит «этический родник» и напишет о лирике Мартынова — «это исповедь, это пережитое».

Плакат и исповедь — есть ли что-нибудь более несовместимое?

Сами эти парадоксы ныне обильной критической литературы о Мартынове могли бы стать предметом социологического исследования. Например, подсчитать, сколько раз встречается то или иное определение его поэзии, составить полный словарь эпитетов, выделить синонимические ряды, учесть все пары противоположных суждений... Получился бы необыкновенно интересный портрет самой критики.

Должен сказать, что этим явно не-реальным предложением я не намекаю на ее легкомыслие или незрелость. Ведь, если вдуматься во все эти даже противоречащие друг другу определения, возникнет очень яркий, сложный и необычный портрет поэта. Положим, далеко не со всеми суждениями о нем можно согласиться, но большинство их имеет свой повод. А то и целую систему доказательств.

Однолинейный подход к поэзии Мартынова ничего дать не может. И дело не только в том, что сам он при отменной оригинальности почерка — разный. Ранний Мартынов — одно, поздний — другое, и при всем том — определенно цельный в своих пристрастиях и органичный в переменах. А в том еще, что современность в его поэзию не каплями просочилась, не хрупким ручейком, а хлынула всей своей массой. Или скажем образно — целой Ниагарой.

Мартынов настуж открыл свои книги перед всяческой новизной, перед меняющимся, готовящимся, настоящим, возможным, мыслимым, предчувствуемым, предвидимым... Можно ли все это мерить одной мерой, объять ровно пламенеющими эмоциями, описать с фотографической точностью?

Очевидно, нет. Нужны разные масштабы, разные степени чувствительности и воображения. Отношения художника с этим становящимся миром должны быть подвижными, словно кардиограмма.

2

Современность поэзии Мартынова мгновенно бросается в глаза. Она не только проникновенна, но и демонстративна.

Современность поэтического мышления Мартынов и декларирует, и подтверждает на деле. Однако масштабы ее не сразу очевидны. Груз ее, принятый мартыновским стихом, взвесить непросто, потому что мыслится современность необыкновенно широко и многосложно.

Энергичнейших деклараций на эту тему сколько угодно:

Мир,
Тот, которым мы владеем,
Нов!
Он нов,
Как будто взят и перекозан
Весь от своих покровов до основ.
До самых недр, до сердцевины нов он!

Отчего и почему? «Есть слух, что при помощи машин...» Но, может быть, это результат «могущества идей»? — спрашивает Мартынов в конце утверждающий вопрос.

Мир не только нов, но и каждое мгновение — иной. «Я как будто несколько столетий не писал стихов. И вновь берусь». Все переменялось в России. «И на ней совсем иная осень, и над ней иные облака». На самом деле прошли всего лишь сутки. За ночь «что-то обновило землю и над чьей небеса». И в этом чувстве обновления смысл поэзии: «Если бы все было, как и было, — я бы за перо и не брался!»

Поэзия — эмоциональный вестник и истолкователь этого обновления. В течение последних двух десятилетий он в словарь своей поэзии вписал чуть ли не весь инвентарь научно-технической эпохи. Инвентарь расширяющейся Вселенной — от галактик до внутриатомных структур, от археологических находок до прогнозов футурологов. Его недавние книги¹ — своеобразный календарь гипотез, изобретений, открытий. Они окружены поэтическим ореолом, включены в стихотворную речь, введены в силовое поле поэтической метафоры. Словарь Мартынова может озадачить даже искущенного читателя стихов. Он насыщен понятиями, которые не часто встретишь в поэзии.

Тут и «изотопы», и «кривизна пространства», «разбегание галактик», «анабиоз», «генетика», «хромосома»... И сотни других новейших понятий, терминов сегодняшней науки, индустрии, философии, экономики, публицистики, введенных им в стихи. Они стали обиходными в умственной жизни общества, но в поэзии до сих пор непривычны. Положив рядом с книгами Мартынова томик стихов XIX — начала XX века, едва ли в нем удастся найти хоть одно из этих слов.

Но ведь могла же поэзия обходиться без этих новшеств! Есть область знаний. И есть заповедник извечных человеческих чувств. Поле внешней деятельности, изобретательства, и мир внутренний, нравственный, духовный.

Мартынов сознательно стирает лю-

¹ В этом очерке речь пойдет именно о Мартынове «в настоящем времени», о его стихах, начиная примерно с середины 1960-х годов. Мартынов более ранний — «Лукоморья», «Стихов» 1955 года и «Поэм» — достаточно подробно описан в критике.

бые перегородки между этими областями. Между миром внутренним и внешним. Между поэзией и непосредственным социальным бытием человека, его умственной жизнью.

Современный мир сложен. «Поэзия отчаянно сложна».

Она везде, и не ее вина,
Что, и в земле и в небе равно кроется,
Как Эребус, венчая Южный полюс,
Поэзия не ребус, но вольна
Звучать с любого белого пятна,
Как длинная и средняя волна,
И на волне короткой весть и повесть!

Поэзия сложна не потому, что усложнена, как ребус, по прихоти поэта. Дело в том, что она возникает на любом белом пятне, порой из самой низкой прозы, из почвы, «где не восходит ни зерна», и, как звезда, венчает мир.

В деловитой сдержанности Мартынова нетрудно уловить патетику. То, чего он требует от поэзии, поистине необъятно. Поэзия для Мартынова универсальна. Как «весть и повесть» она должна охватить все стороны бытия, доступные человеку, и обратиться к эстетическому переживанию. Речь идет не только о его внутренней духовной сути, но и о плодах труда, научных результатах, изобретениях, прогнозах.

Во всем, к чему прикасается человек в своей разумной, социально целесообразной деятельности, можно найти эстетическую сторону и все соответственно сделать фактом эстетического чувствования. В конце концов человек творит свой человеческий мир не только как практически рациональный, благоустроенный, счастливый мир, но и как красоту. И в генеральной идее этого мира, и в его творческом становлении, и в совершенных созданиях непременно должно присутствовать эстетическое начало.

Для Мартынова сам порыв к новизне — творческое состояние. А в любом творчестве присутствует эстетическое качество. О себе он пишет: «Я брежу только тем, чем бредить начал... давным-давно, пожалуй, лет с пяти». Выросший на востоке, где зимы жестоки и холодны, а лето краткое и знойное, он мечтал о благодатных водах. И подземные воды трудом людей были выведены наружу.

А города,
Возникшие в пустыне, —
Они мне снились, знаете когда? —
Еще когда их не было в помине,
Дремляя ребенком в зарослях полыни,
Планировал я эти города.
Я чувствовал: тут — уголь, там — руда,
А здесь и нефть взметнет хвосты
павлиньи!

Они возникли, эти города,
Но все же не везде и не всегда
Так велики, как грежу я и ныне...

Прекрасные мечты детства осуществились. Но становление мира не закончено. Оно, в сущности, бесконечно. «От моего воображенья действительность и ныне отстаёт», — пишет Мартынов.

Однако, если взять эту внешнюю эпическую сторону жизни, она по существу однолинейна. Поэзия не терпит законченных систем, методического овладения пространством. Исчезает напряженность поиска. Поэзия тут либо кончается, либо начинается заново.

3

Современность не может быть лишь внешним признаком стиха. Каталогом включенных в него новых понятий, сведений, голой фактографией.

Демонстрация новизны — это не итог современности поэтического мышления, а лишь начальные попытки овладеть предлежащим миром.

Поэзия не завоевывает внешних пространств. Не накапливает материальных ценностей. Не подсчитывает экономические прибыли и убытки. Но у нее есть пространство внутреннее. Каково оно в соотношении с текущей и меняющейся жизнью?

Ответ Мартынова парадоксален. «Вы во внутреннем мире у ваших читателей были?» — спрашивает он. И своеобразно определяет его внутренний объем: «Все мерзлоты Сибири превратились там в рай изобилья»; «все нагие пустыни» оделись садами, на ветвях которых горят «плодоносные росы», земного «тяготения гири» превратились в невесомые крылья.

Внешний мир изменился
Не настолько еще за полвека,
Чтобы в нем поместился
Весь внутренний мир человека.

То есть Мартынов открывает во внутреннем мире такие пространства, которых нет во внешнем.

Мечта о социальном благоустройстве, планы, надежды, фантастические прогнозы — все это по-своему реальная, закономерная и поэтическая область внутренней жизни человека. «Мы беседовали о том, что мы преследовали, исповедовали и проповедовали, предугадывали и унаследовали», — напишет Мартынов в другом стихотворении. Эта вязь сущего, бывшего и возможного — некая реальная материя творческого духа.

Так мы открываем еще один — фантастический — аспект поэзии Мартынова. То, о чем он писал довольно давно:

Ты
Не почитай себя стоящим
Только здесь вот, в сущем,
В настоящем,

А вообрази себя идущим
По границе прошлого с грядущим.

С этой границы нельзя не заглядывать в будущее, не думать о нем, не пытаться вообразить его очертания.

У Мартынова есть стихотворение «Проза Есенина». В нем он приводит с полдесятка цитат из есенинской брошюры «Ключи Марии»: «Человек, идущий по небесному своду, попадает головой в голову человеку, идущему по земле». Или: «Буря наших дней должна устремить и нас от сдвига наземного к сдвигу космоса».

Современный мир не исчерпывается сельскими и городскими проблемами, интересами хлеба и индустрии. В том мире, в каком живет человек, он осознает себя в соотношении с множеством проблем, материальных, нравственных, философских, своих и чужих, вчерашних, сегодняшних, будущих.

Поиски и проблемы современной науки, весь комплекс технического вторжения человека в природу, особенности сегодняшней социальной жизни — все это порождает куда более интенсивные душевные реакции, чем порою кажется.

Мы незаметно очутились в новых условиях, в новой атмосфере духовного и производственного бытия, которое уже не сводимо к простейшим противоречиям городской и деревенской культуры. «Сдвиг космоса» отныне становится постоянной проблемой.

«В одном из своих стихотворений, — говорит Мартынов, — я написал: «Знаю, скоро случится должно, что еще никогда не бывало!» Думаю, что такие решающие события, как выход в космос, проникновение в микромир, не могут в конечном счете не оказать влияния на искусство. Мы — свидетели или участники величайших социальных сдвигов и технических преобразований.

Представители точных наук уже устремились в неизведанные глубины космоса. Очередь за искусством».

Поэзия не может пройти мимо этих сдвигов, не может не попытаться установить гармонические законы в этом по-новому освещенном мире. Мире, подчеркиваю, не только природном, чувственно-конкретном, но и в интеллектуальной его надстройке, насыщенной информацией, отражениями новых фактов, гипотезами, фантазиями...

В настоящем же поэтическое сознание должно соприкоснуться с тысячами прозаических вещей, дел, событий. С противоречивым процессом обновления, где борется жизнеспособное и омертвелое, где практическая возможность и целесообразность нередко противостоят идеальным требованиям. Наконец, происходящее просто неоднозначно и в своих превра-

щениях может иметь не только желаемую эстетическую, но и антиэстетическую грань.

Весь реквизит, весь инвентарь современности для поэзии необыкновенно грузен. И перепись его, разумеется, не поэзия.

Впрочем, словарь-перепись, на который я ссылался, имеет свой контекст. Сам по себе этот словарь ни хорош, ни дурен. Поэтическое качество ему может дать только контекст. В контексте словарь достигает разных уровней поэтической гармонии. Да и сам контекст — понятие многоступенчатое: контекст фразы, строфы, стихотворения, цикла, книги, творчества в целом, наконец времени. По отношению к каждой ступени контекста инвентарная единица обновленного мартиновского словаря имеет свой смысл.

4

Одна из сфер, в которой обращается обновленное слово, — своеобразная мартиновская бытопись.

Начало стихотворения «Подмосковье»:

Не надо
Забираться даже в поезд —
Теперь почти дотуда и метро есть,
А там автобус,
Старый наш знакомец.

О, древняя глаголица околиц!
Расцвел подзол — поилец и кормилец.
Густ воздух от цветочного настоя.
...Сельцо,
Крыльцо,
Кириллица перилец...

Через это когда-то глухое сельцо, через его древнюю землю не только пролетают стремительные поезда. «Иную летопись колхозный Нестор печатает на пишущей машинке». «О чем? О ценах на колхозном рынке...» И писать иначе — полууставом или славянской вязью — эту летопись нельзя, если «добиться хочется успеха в делах необычайного размаха».

А заканчивается стихотворение так:

Но все-таки
О чем поет здесь птах?

О том, что по полям и по дубравам
Пройдет здесь осень шагом величавым,
А в зимний день запахнет лыжной

мазью
Лес в шапке из искусственного меха,
И, пользуясь беспроводной связью,
Столицы несмолкаемое эхо —
Через транзисторы зальется Пьеха.

В сущности, жанровая картинка, пейзаж Подмосковья, сельская «идиллия». Но какие противоположные лексические ряды: «поезд», «метро», «автобус», «пишущая машинка», «колхозный рынок», «искусственный мех»,

«беспроволочная связь», «транзисторы». И на другом полюсе: «глаголица околиц», «поилец и кормилец», «монах», «летопись», «полуустав», «славянская вязь», «дубравы»...

И тем не менее — это не словесный ералаш и не примитивный контраст. Это один из обликов современности в ее напряженном, деятельном состоянии. Тут все живо, кровеносно, изменчиво. Это — та самая пограничная черта прошлого и грядущего, на которой стоит Мартинов.

Еще очевиднее переходное, пограничное состояние в стихотворении «Деревня». Деревня светится миллионами окон, висится многоэтажными зданиями. «Она известна, древность этих мест». Под тротуарами лежит «трухлявость изб» и «масса пней и множество иссохших корневищ».

«Вы скажете, деревни этой нет? О, есть она!» С высотных этажей смотрят на происходящее «шубейка-дед», «девчонка-курнофля». весь тот деревенский рабочий люд, на лицах которого земля оставила «явственный след». Деревенско-городской пейзаж нарисован со всей его пестротой, неожиданностями, парадоксами.

Вообще Мартинов исключительно внимателен к всякому рода смешению стилей, мод, культур, укладов, языковых слоев, сдвигов бытовых и словесно-образных.

С легкой иронической ухмылкой и в то же время серьезно он опишет «романтические тени в пелеринах, в длинных-длинных юбках», в шляпах с бахромою, появляющиеся в пельменных и метро, — каприз теперешней моды.

Увлечение в век атома и электричества свечами и керосиновыми лампами — «Баллада о керосиновых лампах».

Романтические тени!

И, конечно, дело не в уступках
Строгому общественному мнению,
Вкусу прадедов, но тем не менее
О каком уж толковать модерне!

Модерн постарел, тесним на второй план возродившимися романтическими тенями. Предчувствуется нечто совсем иное — непредвиденное.

Сам Мартинов, обновив словарь своей поэзии, оставил в нем и архаические речения, и даже — взбодренные легкой иронической интонацией — традиционные поэтические красоты.

Стих его метафоричен. Метафора подчеркнута современно: «Пахнет день машинным отделением переполненного парохода»; «месяц, истлевший, как противогаз в противотанковых рвах прошлой ночи»; «цистерны туч»; «туч капрон»; чудеса «хромосомного писанья»; оса, «как аппарат летательный»...

Эта образность утверждается как новое видение мира. «Море грохочет, как будто бы танки идут по шоссе». Сравнение кажется Мартынову единственно возможным и абсолютно точным. Но как же оно грохотало, когда танков не было и в помине? «Видимо, море и раньше всегда грохотало, как танки!» «Гремело, рычало, стучало, как танковый дивизион».

Кажется, с неотвратимостью кристаллизуется исключительно современный стиль.

Однако же —

Где мотыльки,
Как несмелые Блерно,
Опускающиеся на дерево?
Где облака,
Казавшиеся дирижаблями
С хвостами и жабрами?
Где кони-тяжеловозы
С ноздрями дымно-морозными
Над полями навозными?

«Грезить такими грезами поздно!» Парадоксально «воскресает и прошлое, очень далекое», как в Голландии коңка в пору топливного кризиса.

Мартынов, таким образом, и свой стиль осознает как переходный, пограничный в его исторической моментальности и обусловленности.

Даже в фольклоре с его устойчивыми жанрами и образной системой Мартынов находит эту переходную зону, находит свое: «Я бы не сказал, что фольклор вообще отделим от городов, таких, например, как Киев и Новгород. Фольклор же городских окраин всегда — прелесть!»

И добавляет о себе: «Я не урбанист и не идиллик».

Особенно часто он возвращается к пограничной зоне между городом и деревней, к современным городским окраинам. Тут, кажется ему, очевиднее направление жизни. Глубже ее диалектика: «Весела-невесела судьба такого бывшего села, но все ж земле ее былою тишь не возвратишь».

Мартыновский пейзаж или описание незаметно переходят в размышление, внутренне конфликтное и острое: «Законный ход вещей ненарушим, хоть и вздыхает, кто его вершит...»

Это все о том же — о многоэтажной деревне. И о хлебе, добытом уже почти не деревенским путем:

Но что ни час,
То явственной шуршит,
Шуршит, земля, пшеничный твой венец,
Чьи усски, как стрелки на часах.

Деревня возрождается в новом своем качестве. И Мартынов предвидит, как жизнь «уравновесится». Но там, впереди, на других основаниях, не в патриархальном своем облике.

Отношение Мартынова к прошлому не однозначно, хотя и весьма решитель-

но. В особенности это касается недавнего прошлого, из которого непосредственно возник нынешний мир.

Видя сложнейшие проблемы и противоречия современности, он решительно не хочет идеализировать ушедший быт. Многих сегодняшних вопросов перед ним не стояло, но лучше от этого он не был. Мартынов говорит не только как теоретик, но и как свидетель.

Я помню
Вес пудовых гирь
И Русь былую с Китеж-градами,
И помню старую Сибирь
С ее скитальцами номадами,
И старый дом, и старый двор
С доисторической основой...

В другом стихотворении он дает категорическую оценку такого рода воспоминаниям: «Воспоминания злоеви, и, знаешь сам, они нередки: соха, лучина, кнут — вот вещи, которыми владели предки».

Мартынов вспоминает этот быт не для того, чтобы вздохнуть о невозвратном. А чтоб явственнее ощутить новое, которое до сих пор многим кажется чуждым и непривычным, не уляжется в сознание. От этой нови будущему остается наследство побогаче, «чтоб нас они не поносили перед музейною витриной, в своей уверенные силе и в нашей слабости старинной».

И все же, неисправимый «футурист», расстреливающий прошлое, как вставшего на дыбы свирепого медведя, сбрасывающий его со своих плеч, как тяжелую обветшалую шубу, Мартынов задает вопрос: «Не ты ль вишишь, на вешалку повешенное, о, прошлое, и грешное, и бешеное! Но можно ли тобою пренебречь?»

И вот он как бы возвращается вспять:

И на поверку нам всего дороже,
Какую бы синтетику ни славь,—
Овечья шерсть, мех зверя, бычья

кожа —

Обыкновенная земная явь.

И, как бы ни межзвездны наши судьбы,
Важней всего нам благ земных достичь,
Чтоб все богатства древние вернуть бы:
Лес вырубленный, выбитую дичь
И баснословное обилие рыбы
В исчерпанных глубинах мощных рек.

Но вернуть это прошлое может только будущее. Задача эта не по плечу даже бородатому Саваофу. Ее решить может лишь человек разумный и нравственный, целесообразно владеющий теми силами, которые он вызвал к жизни.

Для Мартынова это не рационалистическая выкладка публициста. Не запрограммированный ход вещей в

ущерб старым привычкам и проверенному традиционному эстетическому чувству. Это еще и проявление характера. Мужество художника, без страха глядящего на отвесную волну будущего:

«Идиллии Феокрита и „Дафнис и Хлоя“ прелестны. Но всему свое время. Вообще же всякая попытка «повторить», «вернуться вспять» исходит от слабого, пусть даже и одержимого самыми лучшими намерениями. Сильный, остроглазый художник, неважно — молодой или старый, всегда стремится вперед, в неповторимое. Это закон развития всего живого. И подерживают такого творца глубоко страданный оптимизм, вера в торжество творческих сил дерзающего человечества».

5

Читатель, который через несколько десятков лет захотел бы узнать подробности сегодняшнего быта, мог бы многое почерпнуть в стихах Мартынова. И в особенности потому, что быт дан в парадоксальном сочетании старого и нового, наступающего и уходящего.

Над рубленой пятистенной деревянной избой маячит «березовая антенна» телевизора, а внутри «машинной стиральной хозяйка стирает белье».

Даже о грозных пожарах 1972 года — «причинах самовозгорания торфяных болот» — найдутся у Мартынова достовернейшие строки.

Боле того — он в стихах очень информативен, часто даже документален. Мартынов обычно сохраняет реальный повод, первотолчок поэтической мысли. Это может быть газетное сообщение, случайно бросившийся в глаза предмет, прочитанная книга. Нечто буквальное, пэчти числовое. Или подхваченное острое словцо, термин, выражение, звукоподобие...

Мартынов образно, с жаром популяризатора излагает научные теории и гипотезы, сообщения об археологических и всяких других находках.

Он охотно демонстрирует круг чтений, умственных интересов, пристрастий. Это своего рода фотография интеллектуального обихода.

Смысл стихотворения «Видимое и невидимое» в словах: «Если видеть только то, что зримо, — весь мир намного кажется бедней». В своей поэзии он не разделяет видимое, мыслимое и знаемое. Мысль и знание не менее эстетичны, чем пластика, зрение. Отвлеченная идея не менее поэтична, чем достовернейшая бытовая подробность.

И можно было бы порассуждать о Мартынове как о бытописателе, документалисте, популяризаторе, публици-

сте.. Или более обобщенно — «поэте науки». Он дает к тому немало поводов. Но, когда речь заходит о самоопределении, Мартынов не хочет поддаваться какой бы то ни было классификации.

Он отказывается слыть «урбанистом», «идилликом», «интеллектуалом», «поэтом науки», «философом». Тем более — «бытописателем». Бытописание, по его мнению, вообще несовместимо с поэзией.

Мартынов также не раз говорил, что «не умеет» писать прозой: «Для того чтобы написать статью или очерк (рассказов, повестей, романов, драм писать органически не умею), мне приходилось сперва написать вроде как бы стихи, пусть плохие, но стихи, иногда белые, иногда рифмованные, чтобы потом разрифмовать и даже разритмовать их, придав тому, что получается, видимость прозы».

Это — не кокетство. Книга «новелл» «Воздушные фрегаты» — только видимость прозы. Она насквозь поэтична. В ней везде — обломки рифм, звукоподобий, особый напряженный ритм... И она информативна, как его стихи.

Антал Гидаш, говоря о мартыновской «прозофобии», вспоминает: «Целую книгу писем к нам он написал тоже в стихах, правда не ломая их на традиционные стихотворные строчки. Да и к чему же! Ведь и слова он тоже не ставил на котурны. В этих стихотворных письмах он беседовал так, будто сидел с нами за столом. И все-таки напряженность, ритм, поразительные образы, то и дело взрывающие друг друга рифмы, перебои мыслей и чувств превратили в стихи эти письма, в которых частенько ставились и давались ответы на самые будничные вопросы».

Это — неискоренимая привычка обо всем мыслить поэтически. Все обращать в поэзию, подчиняя ее эмоциональному ритму используя как строительный материал.

Но мир мартыновской поэзии так увязан и перевязан, что и для тех, кто будет настаивать на исключительной его поэтичности и лиризме, найдется повод подумать.

В стихотворении «Стихи и проза» Мартынов напишет о жажде вырваться за пределы поэзии, разорвать ее суженный круг:

Становятся
Совсем бессвязны
Стихи, лиричны до отказа...
А не поддаться ли соблазну
Засесть за прозу, за рассказы,
Чтоб, вымышленными именами
Действительных не заменяя,
И, как это бывает с нами,
Ничем себя не опьяняя,
И без лирического зуда
Изобразить за дивом диво,

Нагромоздить на чудо чудо
Еще правдивей,
Чем правдиво!

Мартынов идет навстречу достоверному и правдивому факту. И если это замечательный факт, он должен быть взят в блеске своей обыденности. Во всей своей впечатляющей прозаичности.

Знать новое, неожиданное, постигать возможность невероятного — первейшая задача поэзии. Прозы в жизни нет. Она исчезает от прикосновения поэта. В стих годится все — мысль, быт, зрелище, память, формула, информация...

Мартынов не ставит перед собой цели намеренно прозаизировать стих. Он не силится представлять жизнь сниженной и разоблаченной. Однако поэзия для Мартынова не является и неким способом дистилляции. Поэзия — тоже познание сущего, наименование неназванного, объединение разъединенного. В конкретности и неограниченности бытия ее опора и ее высота.

«Никогда не мыслил, не чувствовал себя «научным» поэтом в духе Ренэ Гиля или Брюсова. Просто рос в XX веке, вместе с ним, среди техники, никогда не занимаясь специально точными науками».

«Поэт всегда жив теми идеями и страстями, которыми живо время, но он, создавая свою творческую вселенную, обязан видеть истоки реального и предвидеть его развитие. Интенсивность и глубина такого «охвата», напряженность, истинность лирического чувства и создают художника, который современен, пришел вовремя».

Как бы ни были универсальны притязания поэта, они мало что значат, если он не сможет обратить познание в эстетический феномен.

Поэтому, когда речь идет о науке и знании в поэзии, они не сводятся к теме или терминологии. То есть суть не во внешнем их присутствии в стихах. Важно найти такие ситуации, где они зримы сквозь поэзию, где знание сливается с поэтическим видением.

Все эти — без сомнения, тающие в себе противоречия — проникновения Мартынова в смежные области умственной жизни возвращают нас к важнейшему вопросу: в чем поэзия его поэзии? Где сердце мартыновского стиха? Необходимо определить не то, что получает его стих извне, а как растет изнутри. Какими внутренними истоками питается.

Мартынов действительно смело выходит в самые непоэтические области быта, экономики, строгих научных дисциплин — физики, астрономии, биологии.

И соблазны этих выходов, как понятно из «Стихов и прозы», велики. Действительность предлагает сотни

уникальных биографий и событий. Научный факт порою содержит зерно фантастических возможностей. Технологическая новинка способна подчас изменить целые области социального бытия и ежедневного быта. Невымышленное чудо факта порою куда «правдивей», чем самая непосредственная бытовая правда или величаво вымышленная «художественная» правда.

«То, что кажется для живущих рядом с нами научной фантастикой, впоследствии может стать несомненной, даже бытовой реальностью. Просто надо видеть во всем сущем его «готовности», главные потенции развития. Лирика, как и все искусство в целом, здесь не исключение», — говорит Мартынов.

Выходя в смежные области, в прозу действительного факта, поэт пытается в воображении развернуть эти «готовности». Весь смысл, очевидно, в том, чтобы вовремя возвратиться к поэзии. Чтобы возникла обратная связь, эмоционально-лирическая отдача.

6

Начнем с простейшего: как, уйдя в быт, выйти к поэзии?

Стихотворение Мартынова «Верви» начинается так: «В магазине хозяйственных изделий... витиеватые веревочные фигуры...» Это самая прямая житейская проза, магазинно-веревочный быт. И нетрудно догадаться, что зрелище груды веревок было поводом для стихотворения. Но их мотки и связки на наших глазах оживают. Они похожи на скульптуры «с несомненными признаками носов и ртов». Фантазия поэта затевает вокруг этой скульптурной группы веселую словесную игру: одни фигурки напоминают «лиц, связанных разными обстоятельствами», другие — «данными обязательствами»; «некоторые верви крепки, как нервы, либо арканы на шею врагам».

Некоторые связки веревок

Напоминали плутовок,

Так запутавших все и такие вокруг

завязав узелки,

Что нельзя без опаски предвидеть

развязки.

А еще «мотки напоминали сжатые кулаки». «И мерцали веревочных статуй пеньковые глазки так, как будто от тренья дымятся в зрачках огоньки».

Морали нет. Но есть словесная пластика и эмоциональный подтекст. Ясно, что эти стихи породил случай. Повод у них бытовой, а наполнение поэтическое. Вся веревочная скульптурная группа приняла на себя реальные человеческие характеры и от-

ношения. В ней — безусловность богатого образного языка, превратившего веревочные мотки в карикатурных бесенят и оторопелых истуканов, связавших «себя по рукам и ногам».

Стих Мартынова действительно нередко включает скульптурную пластику. Поэт заметит «на берегах водохранилищ силуэты на высоченных тоненьких ногах» — рогатые фигурки изваяний природы, обнажившей свои корни: «Сказал бы даже Эрзя, что нельзя использовать их боле мастерски».

«У слиянья Истры и Москвы камень в форме и мужской, и женской, и коровье-бычьей головы». Из этой диковины творится поэтическое сказание.

Может быть,
Ваятель первобытный,
Этот камень трогая резцом,
Слил в единый облик моноклитный
Лик Природы и свое лицо.

Воображение поэта восстанавливает предысторическую эпоху жизни человечества. Тот архаический период, когда человек еще не отделился от природы. Чувствовал себя сразу и камнем, и животным, и самим собой.

Под пером Мартынова легко оживает природный материал — камни, глина, деревья, коряги, кора, корни, принимая облик птиц («Птица на дереве»), животных, людей, мифологических существ, предметов обихода...

Наблюдательность, воображение и знания помогают ему почувствовать, помыслить и представить то абсолютное единство человека и природы, которое является первоосновным, нерасчлененным атомом его бытия, корневой системой, питающей жизнь, культуру, творчество.

Человек для Мартынова начинается не с той поры, когда он придумал богов, а тогда, когда взял в руки камень и увидел в нем топор, стрелу, образ мамонта или оленя.

Этот архаический археологический слой — один из элементов его отношения к природе. К природе современной, к «пейзажу» — лесу, ледниковой гряде, очертаниям гор.

Мартынов — страстный наблюдатель природы. Но не созерцатель, любующийся восходами и закатами, облетающей листвой или зеленеющей травкой.

В природе он — искатель. Он собирает камни — не сердоликов и агатов на крымских побережьях, а каменных глыб, диковин, из которых сама природа изваяла фигурки животных, человечков, идолов, чертей. Где проявились ее бессознательные творческие силы, где — по воле случая — она стала зеркалом человеческой жизни. Или, по словам Виктора Гончарова, — «неопровержимостью

того, что природа — удивительный выдумщик и что жизнь миллионы лет тому назад была такой же сложной и ничуть не глупее, чем сейчас. А даже, может быть, и интересней была жизнь эта, потому что природа находилась в состоянии творчества. Сейчас мы видим ее уже образовавшейся, как бы успокоенной, а тогда она была в сплошном вдохновении...»

В этом мартыновском восприятии природы есть первобытная диковинность и интеллектуальная утонченность человека, знающего эволюцию жизни на земле. Оно поэтично, пластично и созидательно.

Есть горы,
Что остались до сих пор
Как крепости невзайтой высоты.
А в очертаньях очень многих гор
Людские намечаются черты —
Их покорителей и их гостей.
Умеют солнце, ветер и дожди
Запечатлеть следы людских страстей
Там, где, казалось, даже и не жди.

Природа в своей первобытной, первоосновной сути — истинное чудо. Она творчески деятельна и по-своему разумна. Но Мартынов решительно не видит в ней никакой мистики, никаких божественных сверхприродных сил. Она могущественна и прекрасна своими «готовностями», своей неистощимой пластичностью.

Когда-то человек, чтобы объяснить творческие ее силы, придумал мифы, создал богов, стоящих как бы над природой и ею управляющих.

Мартынов ведет шутиловую игру с многочисленными персонажами. Его стихи полным-полны наядами, дриадами, водяными, лешими, русалками, домовыми...

Глядя на плотину, «где несется пена с рыльиц в миллионы лошадиных силищ», — чудовища пограндознее водяного, — Мартынов спрашивает: «А где русалочки жилища?» И, конечно, их не находит.

В дремотную сельскую ночь влетает современнейшая «луна тугая, как футбольный мяч». «И нет русалок, сколько ни рыбаць!»

Эти создания человеческой фантазии для Мартынова, пожалуй, более архаичны, чем грубые изваяния природы, стихийно творящей и чудящей, и чуть ли не осмысленные человеческие лица. Мифические существа порождены страхом и неведением. И миф — не только прошлое. Он — живуч. Как только человека охватывает страх, он возрождает миф.

Мартынов сопоставляет миф с привычными чудесами сегодняшней жизни. И быт мифа — с обыденностью ушедшего. «В деревне заиграли на баяне, но бросили и радио включили». А собеседники неторопливо рассуждают про боянов и скальдов, «глагол»

волхвов и рапсодов — творцов мифа. Но «жилось Европе, похищенной Юпитером царевне, не лучше баб в глухой лесной деревне».

«Вот как болван искусства создавался».

Мартынов развенчивает идиллию. Она, по сути, прикрывает злое и темное начало.

Стихотворение заканчивается публицистическим выпадам: «...Теперь плывет она, Европа, не столь в сопровождении дельфина, сколь субмарины с оком перископа».

Миф — это лишь тень чуда, обласно встревоженного воображения. Поэтому и не откликаются его герои на зов разума. А если вдруг и явятся они современному человеку, то под их именами скрывается нечто конкретное, прозаичное, а порою и недоброе.

Вот с рычаньем несущиеся по большаку «краны-носороги» и «цистерны-двуутробки» отнесия? поэт в лесную глушь: «в лтственное копошение леших, и шишиг, и всяческих кикимор, на меня внимательно смотревших: вымер я или не вымер».

Шишиги и кикиморы оказались почти реальными. Во всяком случае — заговорили пророческими голосами, грозя смертью:

— Нет, — кричали, — к этому готовься, Вам дышать почти что стало нечем:

Что ни час машины неживые
Поглощают столько кислорода,
Легковые, как и грузовые,
Что народу хватит на три года.
Вот так механическая каша
Заварилась на машинном масле!

Так они плясаша и скакаша,
Повторяли всяческие басни.
У дороги, у большой дороги...

В голосах шишиг и кикимор звучит нечто очень знакомое. Так говорят пророки, предсказывающие самоуничтожение цивилизации, гибель человечества, задохнувшегося от сотворенной им техники. Шишиги и кикиморы олицетворяют реальные философские и социологические понятия. Те самые утробные ужасы, которыми когда-то были порождены мифологические чудища.

Стихи это грустные и усмешливые одновременно. В них несколько переплетающихся тем. Глубокая серьезность и даже полемичность не стали нравочением. Внешне ситуация условна и фантастична. Речь кикимор резко контрастирует с их архаичной древностью. И в то же время угрозы и страхи, преподносимые в этой речи, так дремучи по существу, что опять же разительно противоречат их энтэровской терминологии. Прямой текст содержит целый лабиринт подтекстов, обьятых свободной, внешне даже простодушной интонацией.

Значит ли это, что Мартынов во-

обще разоблачает сказку, символ, поэтический вымысел?

Часто он по мотивам мифа сам творит сказку современную.

За ночь

Черт Багряныч

Обагрил листву:

Наступила осень въявь, по существу.

Жухни,

Черт Багряныч,

И одно пророчь:

«Будет луночь, соночь! Все иное прочь!»

И Буран Бураныч мчится с Вайгача,
И охрипнут за ночь рации, пища,
Что Буран Бураныч хочет в эту ночь
Взбить льяную луночь с призраками
коч.

Мол,

Примчусь к вам в полночь,

Вьюгой окручу

Галич и Котельнич, станцию Свечу,

Свислочь, Птичь и Маныч, плавни
на Дону...

Черт Багряныч и Буран Бураныч — олицетворения, символы, придуманные самим Мартыновым. Персонифицированные силы природы. В них что-то есть от Соловья-разбойника. Только мартыновские персонажи могущественнее и универсальнее. Черт Багряныч за одну ночь перекрасил все леса и поднял «свист на всю страну».

Но сказка не была б современной без последнего штриха. Над всей этой кутерьмой мчится мощный воздушный лайнер, и среди белесой снежной мглы спокойны и «ясны... очи строгий стюардесс».

Сказка добра. Разбойные стихии природы уравновешены разумным созданием человека. Мартынов поэт такой гармонии, в которой участвуют могущественные силы, не уничтожая друг друга. Он не верит в идиллии. Сотворение и становление мира всегда драматично. В нем участвуют космические силы. Их равновесие — напряженное, подвижное. И в самом этом равновесии заключены «готовности» к изменениям.

7

Виктор Гончаров написал о поэзии Мартынова: «Это целая наука превращения обыденной жизни в сказку».

Это — верно. И все-таки назвать Мартынова сказочником нельзя. Какое бы сильное ударение ни стояло на слове «сказка», оно с не меньшей силой стоит и на слове «наука». И особенно — на слове «природа». У Мартынова множество стихов о природе. Но, кажется, поэтом природы его назвать забыли. Не заметили очевидно. И это в высшей степени примечательно. Природа у него не такая, как у других поэтов. У Мартынова, в сущ-

ности, нет поэтического пейзажа. Пейзаж он не оглядывает, не описывает, не дублирует в стихах.

Мартынов не собирает гербарий. Не пересаживает в стихи осиную рощу. Не заводит книжных вольеров и акварумов, имитирующих степи и морские просторы. Не пишет про дурное настроение при дурной погоде.

Стихотворение «Рыбы и птицы» начинается с дурной погоды. Но продолжает так, как не сможет самый избретательный пейзажист. И уж оно точно о природе в самом глубоком смысле этого слова. Чтобы последовательнее обозреть ход художественной мысли, приведу его не в извлечениях и пересказе, а целиком:

В хмурый день
Воедино слиться
Вдруг пытается все живое,
Все живое и неживое, —
Даже птицы
Над головою
Начинают плавать, как рыбы.

И спросил я у каменной глыбы,
Показавшей мне головою,
Стража древней межи и границы:

— А могли бы
И рыбы, как птицы,
Полететь над листвою и травой?

— Почему ж не могли бы? Могли бы!
Есть и рыбы летучей породы,
Есть и в людях и птичьей и рыбьей.
Это все по закону природы.

И сказал я ей, каменной глыбе:

— Ты мне все разъяснила. Спасибо.
И теперь ко всему относиться
Буду много спокойнее,
Ибо
Рыбы — это подводные птицы,
Птицы — это воздушные рыбы!

Что это, шутка, притча, детские стихи, этюд натуралиста-популяризатора?

Однако всмотритесь, как возникает стихотворение. От нас не скрыт его случайный повод — видимо, вполне конкретный «хмурый день», дурная погода.

Но хмурый день для Мартынова не источник скверного настроения. Поэт — вечный исследователь и наблюдатель. В ненастье животные жмутся друг к другу, к теплу — «воедино слиться вдруг пытается все живое».

Наблюдательность порождает неожиданную метафору: во влажном небе «птицы над головою начинают плавать, как рыбы».

Дальше уже действуют опыт, фантазия, знания. Непроизвольно строится сюжет.

«И спросил я у каменной глыбы».

О чем? Воображение подсказало вопрос — перевернутую метафору: «А могли бы и рыбы, как птицы, полететь?..»

Почему у глыбы? Поставим этот вопрос в контекст мартыновского интереса к каменным изваяниям природы. Он задан «стражу древней межи и границы» не случайно, потому что эта глыба древнее всех живых, символический свидетель всей эволюции животного мира.

И глыба с человеческой головою, как в сказке, отвечает. Она говорит удивительные, фантастические, сказочные речи о «рыбах летучей породы», о «рыбьем» и «птичьем» в человеке. Но это точь-в-точь совпадает с тем, что известно науке об эволюции. Что знает поэт. Что так или иначе знает читатель.

Потому и не принимает Мартынов позу «научного поэта» или «популяризатора». Он с лукавой ухмылкой говорит камню: «Спасибо». Более того, заключительным афоризмом даже «запутывает» и «огрубляет» научную истину: «Рыбы — это подводные птицы, птицы — это воздушные рыбы!»

Но эта последняя метафора — обобщение первой метафоры и ее антипода. И ее истина в том, что это — поэтический образ единства природы, единства всего живого. Рыбы в перспективе эволюции — будущие птицы. Птицы в ретроспекции — бывшие рыбы.

Это вполне научно, освещено знанием. Однако же по интонации, по образному строю — это эпос природы. Поэтическое сказание о ее удивительных превращениях. О том радостном и созидательном деле жизни, которое близко творческому сознанию человека.

Уже говорилось о том, как важен контекст, чтобы оценить значение научного термина ли, темы, сведения.

Зарифмованные научные истины в поэзии не нужны. Рифма не делает их ни научнее, ни привлекательнее. Эрудиция поэта, продемонстрированная самым широким образом, не делает поэзию ни интеллектуальной, ни научной.

Поэтический смысл научное знание получает в контексте. И часто не только в контексте одного стихотворения. Диалог Мартынова с каменной глыбой оказался бы малопонятной, даже необъяснимой случайностью, не прочти мы прежде другие его стихи, где изваяния природы приобретают очеловеченную форму, где их явлением из глубины миллионолетий природа свидетельствует о своих «готовностях».

В этом же контексте звучит, им наполняется и его раздвигает стихотворение «Доисторическая ночь».

Чудом

Выбравшиеся на сушу

Обитатели морского дна,
 Чувствуем, как глуше все и глуше
 Где-то сзади в берег бьет волна.
 Вот луна. И видим мы воочью
 Тени. И ликуем мы вдвоем:
 Этой ночью, этой самой ночью
 Все ж мы настояли на своем —
 Этим звездным воздухом мы дышим,
 Утром будет солнце. И пойми,
 Что, покончив с состоянием низшим,
 Из амфибий станем мы людьми!

Фабула этого стихотворения родственна фабуле «Рыб и птиц». Внешняя «научная» тема — эволюция животных от амфибии к человеку — тут как будто еще последовательнее. Стихотворение, можно было бы сказать, еще «научнее». И одю только «но»: внутренняя его тема совершенно другая — этическая. Не было бы этой темы — не было бы в стихотворении и поэзии.

Однако при чем тогда тут наука, знания, игра с той самой эволюцией, которая вроде бы и вовсе не к делу? Но в том-то и суть, что она становится тем огромным — космическим — внутренним пространством, в котором человек осознает себя человеком. Где его человеческое достоинство, этика, интеллект приобретают такую уникальную ценность, которая ни на каком другом фоне не может выглядеть так ярко и отчетливо. Когда за спиной звучит, затихая, первобытное море, а впереди — «звездный воздух».

Но это природа, так сказать, в общем смысле, в ее целом. Она не изображена пластически. Море, лунная ночь, звездный воздух — в то же время и символы. Знаки мыслимого пространства и времени.

Однако есть еще природная среда, окружающие нас — поле, река, холмы...

«Лес». Стихотворение о лесе лишено даже тени описательности, хотя речь идет подлинно о лесе.

У леса
 Не счастье этажей.

Во-первых,
 Этаж есть подвальный —
 Подпольный, подземный,
 печальный —
 Питомник жуков и ужей.

Дальше первый этаж — «для жизни людской отведенный».

«Сам лес» — этаж «второй и третий, четвертый и пятый» — его листья и сучья, укрывающиеся и укрывающие от костров и «выхлопов автомашинных», оберегающий птиц.

Но «Лес» — не публицистическая статья о жизни леса, не классификация его биологических уровней.

И ночью я видел, как лес,
 Как будто бессонницей мучим,
 По собственным лестницам лез,

Как лезут медведя по сучьям.
 На собственный лез он чердак,
 К окошечкам звездных отдушин.
 Ввысь к небу стремился он, —
 Так
 Свой собственный дом ему душён!

Лес — дом человека и дом природы. Мартынов находит в душе способность почувствовать себя в этом доме и даже на мгновение стать этим домом. И тогда открывается не только вид леса, пейзаж, красимость. Становится понятным драматизм его бытия.

Можно было бы выразиться «научно» — экологическая проблема. Но опять же — это не более чем ярлык, чем внешняя тема, да и то здесь не такая уж явная.

Тут все та же мартыновская способность помыслить себя в природе и природой, объединить эмоции и знания, включиться в ход биологической эволюции и социальной действительности. Стихотворение без усилий подключается к общему контексту его поэзии.

Вообще пейзажные умиления вызывают у Мартынова тихую ярость. Почему он не любит описательный пейзаж: в его утвердившемся жизнеподобии?

Стихотворение «Черные тучи». Осенние тучи «мчатся, чтоб вызвать листья пожелтенье».

Слушая этой лисья шелестенье,
 Ты ли, душа моя, ищешь приюта
 В белых березах и вторись кому-то,
 Будто стволы их похожи на свечи?

Эти церковноприходские речи
 Мне надоели до осточертенья!
 Впрочем, отвечу: и белые свечи
 Могут отбрасывать темные тени,
 Равно как самые белые ночи
 Могут укутаться в серые тучи,
 Равно как самые черные тучи
 Дышат мерцанием белого снега,
 Белого снега, летящего с неба.

Описательный пейзаж пассивен, однопланов. Поэтическая мысль, если она есть, в нем скрыта. Он благополучно равнодушен или умирительно идиллический, «как церковноприходские речи», соответствующие сентиментальным березкам-свечкам.

Стихи о природе для Мартынова — это тоже способность видеть ее сразу в нескольких измерениях, в разных состояниях, конфликтно. В том же ключе, в каком протекает и жизнь человеческая.

«Пейзаж» существует одновременно в непосредственном восприятии и в мысли о нем, в предвидении его превращений. На нем мощно расставлены знаки человеческой деятельности. И это словно обязывает поэта в еще большей степени очеловечивать

его в стихах, воспринимать как общую проблему жизни — биологическую и социальную.

8

В стихах Мартынова говорят, спорят, производят реплики Земля и звезды, дождевые капли, плазма, зима, ночь, каменная глыба, кикиморы и шишиги, метеорит, вихрь, верба, осень, осы, туча, Будничность... Переключаются между собой вещи. Стихи его неизменно диалогичны. Как у Хлебникова и молодого Заболоцкого.

Мартынову недостаточно монолога. Он ищет себе оппонентов или собеседников.

Одно из его сильнейших свойств — способность проникаться окружающим. Он может представить ожившим предмет, говорящий — природную стихию, персонализировать абстрактное понятие. Внутри себя ощутить движение частиц: «Я чувствую: во мне и вне меня идет молекулярная возня бесчисленных безликих невидимок». Оказаться не только собой, но и другим:

От физического соприкосновенья
С тысячами сограждан
Я б хотя на одно мгновенье
Делаюсь как бы каждым.

Он способен передоверить себя миру. Раствориться и рассредоточиться в сущем. Чтобы потом еще теснее объединить его в себе. Промыслить его насквозь, узнать, сжать в ярком метафорическом слове.

Эти диалоги и олицетворения — образ нескончаемого художественного постижения.

Для мартыновских стихотворений характерна строгая композиция. Их порой легко законспектировать. Есть посылка и есть заключение. Но несмотря на категоричность опорных узлов, стихотворение внутри играет различными планами, подтекстами.

Образная структура мартыновской фразы парадоксальна: «Это было грозное лето без единой грозы!», «Это было слезное лето без единой капли дождя!» Мартынов не только создает парадоксы, играя смыслами. Он их во множестве извлекает из самой жизни: «дневники не днем ведутся, ночами»; не крылатый кто-то, а бескрылый «в небесах несется, невесом».

Парадоксальность Мартынов открывает уже в самом слове.

Земля и гля. Вина — вино.
Апрель и прель. Мороз и проседь —
Все это будет не одно,
Но от другого не отбросить.

Береза — розга. Лик и лак.
Увечить и увековечить...

Неужто это просто так,
Одна случайность —
Чет и нечет?

К форме слова Мартынов относится так же, как и к материалу природы — дереву, глине, камню. Сходство звучаний разнокоренных слов сближает разные понятия. И это сближение нередко дает поэтический эффект. Снова вспоминается Хлебников с его этимологией.

Впрочем, здесь особенно важно чувство меры. Чрезмерное увлечение этими подобиями легко превращает стихотворение в игру. У Мартынова редко, но встречаются неологизмы, режущие слух, вроде «леонардовинчиваясь», «сальватордалях», «гробокопалех», «согбенноплечер», «полуночер», «цифроведчер», «предрассветчер»... Эти словообразования не спасает и улыбка.

Но они — от щедрости воображения. Это — то, что падает с воя, а не подобрано из скарденности.

Способность видеть противоположности, схватывать мыслью объем вещи, говорить о целокупности качеств изначально свойственно поэзии Мартынова. В стихотворении «Вчерашний дождь»: «И пахло прелью прошлогодней, осуществлявшей заодно позавчера, вчера, сегодня, и завтра, и давным-давно» — тут сама природа «пахнет» диалектикой. Почвой, которая являет одновременные пласты и завтрашние «готовности».

Однако диалектика при всей своей гибкости — дело беспокойное. Постижение — это не накопление эрудиции. Это прежде всего — понимание. А пониманию сопутствует огромный труд души.

Мартынов пишет об этом с глубоким волнением, даже торжественностью:

Трудолюбив,
Как первый ученик,
Я возмечтал: плоды науки сладки.
Но, сконцентрировав мильоны книг
На книжных полках в умном
распорядке,
Я в здравый смысл прочитанного вник
И не способен разгадать загадки:
Когда и как весь этот мир возник?

Инстинкт подсказывает другой —
не книжный — путь познания, известный уже нам путь перевоплощения, участия в сотворении мира, диалога с ним:

И в мотылька, который на свечу
Летит, ловчусь я снова превратиться,
И, будто спора некая, лечу
Туда, куда ракетам и не взвиться...

И действительно, многие тайны открывают свой лик, а дальше «снова лишь догадки, и вновь луна чадит мне,

как ночник, и бездна вновь со мной
играет в прятки».

Путь познания сладок и трагичен.
Его бесконечность несоизмерима с
возможностями конечной человеческой
жизни.

И все-таки Мартынов — энтузиаст
познания. Он верит в его могущество.
В уникальность его действительных
побед. Только человек владеет знаниями,
и они превышают возможности
всех других областей жизни.

И о земле не меньше мне известно,
Чем знает о себе сама земля, —
Не я ли сам, пришлец из звездной
бездны,
На ней возделал хлебные поля.

Да и о небе знаю я побольше,
Чем это небо знает о себе,
И потому-то не могу я дольше
Ждать и гадать о собственной судьбе.

О ты, судьба моя, не чья иная,
Я о тебе гораздо больше знаю,
Чем о себе ты ведаешь сама!

Мартынов — поэт постижения, но
такого постижения, в котором в рав-
ной степени участвуют ум, интуиция,
эмоции. Постижения — не как науки
и профессионального познания, а как
смысла бытия.



Мартыновское познание — это про-
никновение, соучастие, сопереживание,
диалог с миром. То есть познание
действительно художественное, поэти-
ческое. Мысль его гибка и неистощи-
мо разнообразна. Она обычно дейст-
вует в зазоре между обкатанными и
утвержденными истинами. Там обна-
руживаются белые пятна, с которых
и начинается звучать поэзия.

Мартынов умеет вжиться в нестан-
дартную ситуацию. Иногда обостряет
привычную, и истина открывается но-
вой стороной.

Сколько наговорено банальностей
об исторической памяти. Мартынов пи-
шет «Воскрешение мертвых». Пред-
ставьте, что мы воскрешаем не вели-
ких для собеседования, а прогивников
для спора. Что нас ожидает? «Стоит
мне о них заговорить — и они выхо-
дят из могил, чтобы горячо благода-
рить».

Даже на хулу отвечают нескрывае-
мой радостью. Неожиданно? Да, но
только ли? Есть в этом душевная
щедрость, широта и строгость. Есть
принципиальный гуманизм.

У Мартынова много стихов-воспо-
минаний и параллельно им, как ком-
ментарий и как добавление, — книга
поэтической прозы «Воздушные фре-
гаты». Воспоминания Мартынова за-

мечательны уникальностью и не ожи-
данностью воскрешений.

Бык воспоминаний, крутолобый бык.

Это бык видений,
Подойду к нему
И без рассуждений за рога возьму:
Мож, хвостом помашем, ухом шевеля,
Да и перепашем памяти поля.

Луг воспоминаний
Глухо шелестит,
Плуг воспоминаний на лугу блестит.
Утренние птички подымают крик,
Но ходить в упряжке не желает бык.

В этом весь смысл правдивой и
честной памяти. Она перепахивается
не по правилам учебника литературы.
«Бык воспоминаний» не терпит этой
упряжки. Вспоминается то, что запало
в сознание, — живая жизнь. Из про-
шлого возникают лица, с которыми
можно продолжать спорить, но кото-
рых нельзя обойти. Они были, они
влияли на внутреннее развитие, созда-
вали неповторимую атмосферу нрав-
ственно-интеллектуального бытия и
быта.

В поэзии Мартынова есть этиче-
ская строгость, чистота и требователь-
ность.

Сколько было написано о рацио-
нализме Мартынова. И у него есть
схематичные стихи. Но на глубине ра-
ционализм измеряется не научными
знаниями, не интеллектом, не строи-
тельностью композиционных решений. Он
определяется соотношением с этикой.
Самодовлеющий рационализм начи-
нается там, где в гордыне разума че-
ловек перешагивает через нравствен-
ный закон.

У Мартынова на этот счет есть по-
мартыновски ясное и, пожалуй, ху-
дожественно однолинейное стихотво-
рение, тем не менее абсолютно невоз-
можное в устах вульгарного рациона-
листа.

«Землетрясения — это фонари
Для освещенья глубочайших недр», —
Ты так сказал.
Но, что ни говори,
Что ни толкуй, на утешенья щедр,
А я прошу лишь об одном:
Уж если так, а иначе нельзя,
И неизбежно все встает вверх дном,
Так уж по крайней мере ты не ври:
Землетрясения — это фонари.
Нет,
Это — беды,
Черт их поberi!

Тут этика спорит с хитроплетени-
ями рационализма, пытающегося об-
ратить человеческую беду на благо по-
знания. Для Мартынова — это недо-
стойная и жестокая ложь зазнавшего-
ся ума. Безнравственность, антигуман-
ность. Беду нельзя положить под ми-

кроскоп и тем оправдать ее или смягчить. Она все равно остается прежде всего бедой.

Однако и в этике можно быть схематиком и рационалистом. То есть воспринимать ее как догму, как набор заповедей, механически прилагая к разным ситуациям. В то время как всякая ситуация требует внутренней оценки. И этика может быть холодной и бездушной, то есть превращаться в свою противоположность.

В этике современного человека Мартынов тоже находит границу «прошлого с грядущим». Здесь его стих начинается звучать с особой страстью — с тем смятенным лиризмом, который так же неотъемлем от поэзии Мартынова, как и проникновенный свет ума и знания.

О, как он знаком,
Этот запах лисы или норки, бобра
или котика!
Я уверен, что ты занесешь и в иные
миры
Этот запах! Сильнее не знаю
наркотика,
Чем смешение этого духа духов
и мездры.

И возможно, что будут поздней
вспоминать,
Как о страшной жестокости, гадости,
Что какие-то дьяволы, шкурки содрав
со зверьков,
Превращали их в шубки и шапки,
что ты, улыбаясь от радости,
Грелась смертью животных.
О, мерзостный бред скорняков!

Но хотя и тебя все сильнее влекут
магазины синтетики,
Где прозрачные ангелы реют
в химически чистых плащах,
Ты несешь, отвергая законы эстетики,
этики,
Черно-бурую жертву на розово-алых
плечах!

Современный человек заново оценивает свои отношения с природой, с животным царством. Он истребил целые виды животных ради удовлетворения своих потребностей в одежде и пище. Теперь он пытается восстановить эти богатства — и тоже, чаще всего держа на примете те же потребности. «Наркоз» истребленья ради потребления продолжает действовать. Люди по-прежнему греются «смертью животных» и не видят в этом ничего предосудительного.

Мартынов пытается найти у человека внутренние «готовности» принять новые этические законы по отношению к братьям нашим меньшим. Но обнаруживает поправне этих мыслимых и предчувствуемых законов «эстетики, этики». «Мерзостный бред

скорняков» не угасает. Он заразительно привлекает. Даже в себе Мартынов находит этот микроб жестокости. Оттого так драматичны и взволнованны эти его стихи.

Этика — не собрание полезных истин, а поведение, ежедневный выбор между добром и злом. И это для Мартынова опять же — поэзия.

Сколько раз я говорил себе,
Что стихи писать я перестану,
Но одумывался: как же стану
Разбираться в собственной судьбе,
В непрерывной внутренней борьбе,
Отличая правду от обмана?
Это — как борьба добра и зла,
И не помню, чтобы верх взяла
Рифма — кривда, брякнувшая ложно,
Просто так, для красного словца,
Не жалея своего творца.
Слава богу, это невозможно!

Рождение стиха — непрестанная борьба правды с ложью, утверждение добра. Это понимание собственной судьбы.

Так что же такое поэзия Леонида Мартынова? Снова ли задавать бесчисленные вопросы? Философ, лирик, поэт науки, эпик, бытописатель, публицист, проповедник, моралист?

Здравомыслящий или фантазер? Холодный или страстный? Простой или сложный?

И то, и другое, и третье... Противоречивейшее единство и цельность. Проза, говорящая стихами. Эпос, мыслящий себя лирикой. Чувство, горящее мыслью. Постигание, ставшее страстью. Миропонимание, превращающееся в самопознание...

А, это ты,
В мечтах своих витатель,
Срывающийся в эпос, словно
в крепость,
Срывающийся в прозу, словно
в пропасть,
Кидающийся в лирику, как в реку...

Наисовременнейшая поэзия Мартынова полна риска. Поэт — «эпох соприкасатель» — работает на пределе возможностей стиха, на землях, вероятно трудно поддающихся поэтическому освоению. В лирике Мартынова так много новых начинаний, что их сосуществование кажется немыслимым в одной человеческой судьбе. И все-таки он осмеливается соединять несоединимое, брать жизнь в ее противоречиях, в напряженнейшем ее ритме, в единичных и уникальных образцах, само существование которых требует порой доказательств. Поэзия Мартынова включила в себя так много принципиально нового, что сама способна стать первоотколком, источником поисков для идущих вослед.

А. Нитов

ПОЧТИ ВСЯ ЖИЗНЬ...

Есть у Александра Розена такой рассказ о ленинградской девчонке Шурочке, пережившей блокаду и голод, потерявшей во время войны родителей и повидавшей много такого, о чем трудно вспоминать и рассказывать.

Когда Шурочка, захватив в узел самые необходимые вещи, уходила из своего ледяного, опустевшего ленинградского дома, она думала, что все кончено, возвращаться больше незачем и она никогда не придет сюда. Никогда. Но она вернулась. Вернулась раньше, чем окончилась война.

Рассказ, собственно, и написан о том, как на руинах войны возрождается жизнь, как упрямо она выбрасывает новые зеленые побеги, вопреки всем разрушениям и потерям, опустошившим город. И героиня рассказа, Шурочка, не надломилась, не потерялась в испытаниях, выпавших на ее долю и долю ее сверстников. Это жизнедеятельный, жизнестойкий характер — именно такие натуры были закалены и воспитаны войной, и наша литература щедро, во многих лицах, воспроизвела этот тип обыкновенной героини, работницы, колхозницы, сестры милосердия, ставшей рядом с солдатами и разделившей с ним его судьбу.

Концовка рассказа «Почти вся жизнь» — двойная, контрастная и открытая: расходятся пути двух молодых подруг, из которых одна пренебрегла обязанностями материнства, а Шурочка, счастливая, взволнованная перед дальней дорогой, вспоминает все, что было с ней за последние годы, — «и дежурства на крыше, и военрук в очках, и Валю Гладышеву, и лермонтовские стихи, и салют, — и ей казалось, что за эти три года прожита почти вся жизнь».

Чувство особой насыщенности, плотности военного времени; будто отменившего все предыдущее и вобравшего в себя пережитое за целую жизнь, испытывала не только юная героиня рассказа, по-настоящему повзрослевшая за годы войны. Это же чувство было знакомо и куда более зрелым

людям, на жизненном пути которых случилось многое и разное. В какой-то мере писатель выразил в рассказе и свое собственное ощущение жизни, в которой Великая Отечественная заняла совершенно исключительное, центральное место, и все пережитое резко делилось на то, что было до начала войны и что потом. «Всем нам тогда казалось, — подтвердит много позже А. Розен в «Разговоре с другом», — что в Ленинграде за годы блокады прожита почти вся жизнь».

Нам от тебя теперь не оторваться.

Одною небывалою борьбой,

Одной неповторимой судьбой

Мы все отмечены. Мы — ленинградцы, —

писала в апреле 1942 года Ольга Берггольц, уже тогда отчетливо сознававшая, что все испытанное ленинградцами, все измеренное «одной неповторимой судьбой» останется в них и с ними на всю жизнь.

Я не случайно вспомнил стихи Ольги Берггольц, подступая к некоторым мотивам творчества Александра Розена. Как ни различны стих и проза, в которых, по Пушкину, противоплагаются «лед» и «пламень», в судьбе литературного поколения, начинавшего перед Великой Отечественной войной, было и есть много общего. Отмечу, что О. Берггольц и А. Розен — одногодки рождения 1910 года; когда началась война, им было по тридцать с небольшим. Но общность судьбы складывалась, конечно, не только по возрасту и из причастности к литературной жизни одного города.

Целое поколение прозаиков и поэтов, заявивших о себе в тридцатые годы, — Ю. Герман, В. Панова, В. Кетлинская, К. Симонов, О. Берггольц, А. Розен, А. Чивилихин и еще многие обрели по-настоящему свою тему и своих героев, свой уверенный писательский голос позже, в «сороковые, роковые, военные и фронтовые» (Д. Самойлов).

Возмужание таланта К. Симонова и О. Берггольц совершалось стреми-

тельно, можно сказать, в дни и ночи; другие годами накапливали опыт и материал, чтобы приблизиться к своим самым выношенным и заветным книгам.

Подобно многим своим товарищам по ленинградской «Смене» и «Литературному Ленинграду», А. Розен начал печататься очень рано; чуть не двадцать лет молодым автором была написана и опубликована первая повесть «Штурм», навеянная поездкой 1928 года во Францию, где А. Розен при особых обстоятельствах провел более полутора лет, — он лечился в костно-туберкулезном санатории городка Берк-сюр-Мер на берегу Ла-Манша. Но только в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда из молодого, уверенного в себе газетчика-журналиста и начинающего драматурга стал складываться вдумчивый, неторопливый прозаик, созnaющий, как трудно передать в слове и свою собственную внутреннюю жизнь, и объективный образ другого человека с его особыми чувствами, мыслями, языком, с его личным отношением к миру.

Литературная и — шире — художественная жизнь блокадного Ленинграда 1941—1944 годов — явление уникальное в летописях отечественной культуры; она уже воссоздана во многих подробностях историками, писателями, мемуаристами, запечатлена в стихах и поэмах, в художественной прозе и публицистике, в дневниках, в текстах радиовыступлений, которые на протяжении девятисот дней поддерживали силу духа защитников города.

«Ленинградцы жили среди мрака, холода, голода, постоянных обстрелов, терпели неслыханные бедствия, — писал Николай Тихонов о самых тяжелых временах блокады, — но голос Ленинграда звучал по радио, и весь мир прислушивался к этому голосу, который говорил всему борющемуся человечеству, что город на Неве превозмогает все тяготы, подобных которым не знали древние, которые в наши, современные годы превзошли самую мрачную фантазию изобразительней ужаса, что ленинградцы стоят перед врагом, подобно античным героям, готовые скорее погибнуть, чем открыть дорогу врагу к колыбели Октября».

Чтобы голос Ленинграда не прерывался ни на один день, десятки писателей и журналистов должны были работать в полную меру сил, вопреки всем лишениям, бедствиям и потерям. Общая судьба объединила в то время литераторов всех поколений, художников, музыкантов, артистов. Страна как бы заново услышала в дни войны мужественное слово ленинградских писателей — Николая Тихонова, Александра Прокофьева, Ольги Берггольц, Всеволода Вишневского, Веры Инбер, Веры Кетлинской, Анны Ахматовой;

многие их товарищи по перу несли свою службу в армии, во фронтовой печати, при том, что понятия фронта и тыла в блокированном Ленинграде перестали быть противоположными.

В мае 1942 года в осажденный Ленинград прилетел А. Фадеев. Во Всесоюзной фотокиноотеке сохранилась фотография: А. Фадеев, А. Прокофьев, Б. Лихарев и А. Розен выступают в июне 1942 года перед слушателями в Ленинградском лектории. А. Розен подробно написал в «Разговоре с другом» о встречах с А. Фадеевым тех дней; он был одним из постоянных его провожатых по городу, изученному и искоженному с юности вдоль и поперек. К тем временам относится завязка некоторых сюжетов, ставших главными для писателя.

Трагический опыт страшной зимы 1941—1942 годов, унесшей сотни тысяч жизней истощенных от голода ленинградцев, необыкновенная стойкость защитников города и особый блокадный быт, сложившийся под обстрелами и бомбежками за девятьсот дней, — вот основные темы, к которым А. Розен впервые прикоснулся в своих повестях и рассказах военных лет.

Лучшие из произведений того времени — «Зимняя повесть», «Сердечная слабость», «Фрам», «Фигурная роцца», «Моя батарея» и другие сохранили свое значение до наших дней, при том, что писатель постоянно возвращался к впечатлениям военных лет, настойчиво углублял и расширял их. Первый сборник блокадных рассказов А. Розена «Зимняя повесть» был в рукописи прочитан А. Фадеевым; в кратком отзыве 1943 года об этой рукописи он, между прочим, писал:

«Это — хорошая книга. Ее достоинство в том, что она показывает повседневный, «будничней» героизм рядовых ленинградцев времен блокады. Трудности блокады показаны правдиво, без всякого нажима, и в свете этих трудностей героизм рядовых ленинградцев перерастает «местные» рамки, — это черты подлинного массового советского человека, преодолевающего самые тяжкие невзгоды трудом своим».

Замечу, что к числу «неудачных» А. Фадеев отнес тогда рассказ «Сердечная слабость», по его мнению, этот рассказ «стяжелял сборник».

Внимательно принимавший серьезную и умную критику, А. Розен в данном случае не поступил своим рассказом — он повторен почти во всех его новеллистических сборниках. Дело в том, что испытания блокады писатель отнюдь не склонен был рассматривать как «трудности». Трудности — это из обычного ряда, трудности бывают в снабжении, на производстве, в общественной и личной жизни, трудности есть у всех. Между тем, все свя-

занное с блокадой было из ряда вон; «небывалою» (зпитет О. Берггольц!) была борьба, невероятными — жертвы, беспримерным — мужество. Мужество ленинградцев не имело альтернативы: каждый, кто терял мужество, терял все.

А в рассказе «Сердечная слабость» А. Розен как раз и рассматривал внутренние последствия утраты человеческого личного мужества, исследовал логику и психологию малодушия, которое в условиях блокады чаще всего вело к гибели. Рассказ этот, конечно, не столько «отяжелял», сколько обострял содержание сборника, делал более рельефной картину блокадных дней, которая — пока только через отдельные подробности — вставала с его страниц. Зато другие недостатки, отмеченные А. Фадеевым, какую-то «искусственность и сентиментальность» некоторых первых рассказов сам А. Розен отчетливо сознавал и делал многое, чтобы преодолеть их в своих последующих книгах.

В первые послевоенные годы А. Розен далеко не сразу нашел себя. Как автор он долго еще, по собственному признанию, «полностью был во власти войны и не заметил, как наступил мир». А ведь и война, при осознании мира, должна была бы зазвучать иначе, и мир после войны выступить явственнее и острее. Понять и ощутить это писателю снова помогла журналистика.

С конца сороковых годов А. Розен много ездил по стране, работал корреспондентом «Литературной газеты» и журналов «Огонек» и «Советский Союз». Множество новых наблюдений, новых лиц и проблем открылось перед ним в это время. Иные из них можно было исчерпать в зловещем очерке или в статье, другие требовали более тщательного обдумывания, анализа и откладывались в сознании на будущее. Свежие впечатления пересекались с памятью о войне, и на этих пересечениях строятся многие рассказы, написанные А. Розеном в пятидесятые годы и собранные в его книгах «Моя батарея» (1953), «Неизвестная девушка» (1954), «На пороге нашего дома» (1958).

Середина пятидесятых годов — пора повсеместного оживления советского рассказа, появления новых имен в новеллистике, дискуссий и споров о возможностях этого жанра. Как-то в разговоре мне вспомнилась мысль Л. Н. Толстого, что всякий хороший рассказ должен быть написан как бы «из середины». Александра Германовича Розена заинтересовала эта мысль, мы разговорились, и с того времени, кажется, началось наше знакомство. Случилось это более двадцати лет назад, в конце пятидесятых годов, когда А. Розен готовил для издательства «Советский писатель» новую

книгу рассказов. Между прочим, в нее были включены и некоторые старые блокадные вещи: «Зимняя повесть», «Сердечная слабость», «Фрам», «Дорога в Ленинград», которые заняли в сборнике свое место.

Поскольку мне предстояло редактировать рукопись, один из опытных и старых сослуживцев по издательству предупредил:

— С Розеном будь осторожнее, он человек резкий, неуживчивый, всегда стоит на своем, редактировать его — одна мука...

Предупреждение это, надо сказать, запоздало — я уже успел сообщить автору свое мнение о рукописи, отметив два-три рассказа, которые показались мне слабее остальных. Александр Германович вполне хладнокровно выслушал мои резоны, обещал подумать, а через неделю сказал, что из трех отмеченных рассказов один хотел бы безусловно оставить, еще один, новый, которого я не читал, прибавить в рукопись — это будет рассказ хороший... На том мы и договорились, сравнительно быстро и без лишних хлопот сдал рукопись в производство. Помню еще, что у А. Розена были некоторые сомнения насчет того, как назвать сборник: он предлагал «Дорога в Ленинград» или «Горсть земли», по рассказам, которые были в рукописи.

— Назовите «Счастливый возраст», — предложил я, — ведь и рассказ этот не из худших в книге...

— Вы считаете, что пятьдесят лет — это счастливый возраст? — неожиданно ответил Александр Германович.

— А почему бы нет, любви все возрасты покорны...

— Пожалуй, — согласился автор. — Так и назовем эту книгу. Сделаю себе скромный подарок к пятидесятилетию...

У меня сохранился сборник рассказов Александра Розена «Счастливый возраст» с краткой надписью: «Александру Алексеевичу Нинову — с добрыми чувствами после дружной работы. Сердечно. 24.II.60. А. Розен».

А ведь и в самом деле, кто возьмется определить, когда для писателя настает счастливый возраст? У одного он в молодости, в первых книгах, которые нередко остаются лучшими на всю жизнь. Другие лишь в средние годы, в зените жизни, набирают полную силу и создают главное, на что способны. Александр Розен, на мой взгляд, был счастливее всего как писатель в последние двадцать лет работы.

Эта пора началась для него романом «Времена и люди» (1957), в котором А. Розен впервые поставил перед собой новую и весьма острую современно-историческую проблему, связанную с осмыслением некоторых важных уроков Великой Отечествен-

ной войны. Хорошее знание военной среды, отстоявшееся за многие годы, отличало и прежние вещи А. Розена, такие, как «Полк продолжает путь» (1947), «Однополчане» (1949), но только теперь это знание было уплотнено и поставлено на службу не хроникально-описательному, а драматичному по своей сущности замыслу. Создать роман «Времена и люди» писателю помогли постоянные контакты с солдатами и офицерами боевых частей Советской Армии в мирное время, поездки к пограничникам, дружба с ветеранами войны и политработниками, внимательное изучение мемуарно-исторических материалов и документов. Такие характеры, как Бельский и Рясинцев, Федоров и Шавров, были почерпнуты из армейских будней, и их *узнаваемость* — верный признак того, что автор тут не погрешил против правды.

Основной конфликт романа в какой-то мере повторил драматическую ситуацию «Фронта» А. Корнейчука, но только на новом витке общественно-исторического развития. Как прежде командующий фронтом Горлов, застывший в самодовольном сознании своих личных заслуг времен гражданской войны, не хотел, а потом уже и не мог мыслить по-новому, так и самоуверенный генерал Бельский во «Временах и людях» не склонен критически оценивать собственные ошибки, допущенные в годы Великой Отечественной войны, полагая, что победой все списано — и просчеты, и чрезмерные жертвы, хотя их можно было бы в определенных случаях избежать.

Свою Новинскую операцию Бельский считал безупречной, тогда как в действительности — и это доказали маневры мирного времени — в ее замысле и организации многое следовало усилить. Выяснение этой истины необходимо не столько для развенчания Бельского, сколько для продвижения вперед военной мысли, обязанной искать оптимальные решения наиболее трудных задач. Командир корпуса генерал Шавров и центральное лицо книги, майор Федоров, лучше других сознают эту необходимость и действуют по велению профессионального и гражданского долга. Таков лейтмотив романа «Времена и люди», имеющий гораздо более широкий общественный смысл, чем тактический пересмотр одной (условной, конечно, по названию) военной операции.

Значение романа «Времена и люди» (кстати, переизданного в 1979 году¹) станет более явственным, если вспомнить, что он создавался во времена, когда наша батальная проза была еще далеко не так развита, как

сейчас, когда только прокладывались пути для первых военных повестей В. Астафьева, В. Быкова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, когда читатели еще не получили первой книги монументальной трилогии К. Симонова «Живые и мертвые», закрепившей в форме романа элементы обновленной исторической концепции Великой Отечественной войны.

«Времена и люди» обозначили нелегкий для автора переход от повести и рассказа, сосредоточенных на каком-либо одном мотиве или лице, к сложному многоплановому роману. Сам А. Розен считал, что в этой его книге слишком много симметрии, как на шахматной доске, и некоторые фигуры и даже целые линии оказались не вполне обязательными. И в самом деле, коллизии, связанные с семейной, «частной» жизнью героев, скорее дублируют основной конфликт, чем углубляют и проясняют психологию и происхождение того или иного характера.

Обдуманное и емкое построение отличает второй и, может быть, лучший роман А. Розена «Последние две недели» (1965). Здесь писатель вполне оригинально, по-своему распорядился и временем, и пространством повествования. Две недели из жизни братьев Зиминых, Сергея и Глеба, точно вписаны в июньское предгрозовье 1941 года. Книга А. Розена рассказывает не о войне собственно, а о предвоенной исторической ситуации, о тех внутренних пружинах, которые определяют драматичный ход событий накануне фронтального столкновения, ставшего неизбежным 22 июня 1941 года.

Не условная военная операция, как во «Временах и людях», а совершенно реальное историческое время стало в романе «Последние две недели» предметом самого пристального и многостороннего анализа. Срочные военные приготовления на государственной границе в ожидании возможного нападения фашистской Германии и иллюзорная ставка на вчерашнюю дипломатическую карту, на тактическую неподвижность, способную будго бы предупредить или оттянуть агрессию, — эти две противоположные и исключаящие одна другую тенденции так или иначе влияют на действия всех основных героев, втянутых в роковые события «Последних двух недель».

Размышления и тревоги талантливого, хорошо знающего свое воинское дело генерала Зимины, дивизия которого в канун войны поспешно развертывается перед западной государственной границей, приобретают особый смысл на фоне крупного следственного «дела», которое ведет (а вернее, «создает»!) против его брата Глеба Зимины мелкий злой бес того времени,

¹ См.: Александр Розен. Прения сторон. Времена и люди. Романы. Л., «Советский писатель», 1979.

следователь по особо важным делам Люминарский, превосходно описанный в романе.

Вопрос о рекламации по испорченной немецкой турбине, закупленной через Внешторг, Люминарский рискнул превратить в провокационный политический инцидент государственного масштаба. И сам Люминарский, служивший лицом, а не делу, и привлеченный им для показаний свидетель Виктор Петрович Шкроев, попавший в искусно расставленную сеть и безнадежно запутавшийся в ней, обрисованы с глубоком и зрелым психологическим мастерством. Они в полной мере принадлежат своему времени и объясняют его изнутри. Настоящее время романа, стремительное и напряженное, хотя рассматривается оно по дням и часам, пересекают в «Последних двух неделях» глубокие отступления в прошлое, отступление первое и отступление второе, проясняющие нечто существенное и даже решающее в истории формирования и психологии героев.

Братья Зимины, генерал и инженер, работают на оборону и будущую победу; Люминарский, выслушиваясь, озабочен лишь настоящей минутой и поддерживает ложные политические расчеты, опрокинутые в первый же час войны. Драматизм сюжета «Последних двух недель» только усилен тем обстоятельством, что, в отличие от читателей, его героям неведом тот день и час, когда из *ожидаемого* события война переходит в *действительность*, требующую мужественных и неотложных решений, способных остановить врага.

Последние две недели, описанные в романе, — это только пролог к войне, но уже и в тех обстоятельствах, которые непосредственно предшествовали битве с фашизмом, писатель приоткрыл в своих героях способность и волю к действию, высокие нравственные качества, которые позволят им выстоять и победить. Главное достоинство романа «Последние две недели» в том и заключается, что гражданская и военная история в нем не разомкнуты, а сплетены воедино. Между обстоятельствами начала войны и реальностями большой политики существовала прямая связь, и А. Розен обнажил ее в своем романе, пусть не с исчерпывающей исторической полнотой, но зато вполне определенно, правдиво и ясно.

Насколько мне известно, Александр Германович Розен до конца жизни особенно дорожил этим романом, гордился им, полагая не без оснований, что в «Последних двух неделях» ему как писателю удалось высказать нечто важное и notable, о чем до него литература не сказала еще в полный голос. Хорошо помню обсуждение этого романа в Красной

гостиной Ленинградского дома писателя имени Вл. Маяковского; В. Ф. Павлова говорила тогда, какую радость доставляет настоящая удача товарища, меняющая привычные представления о том, кто на что способен:

— «Последние две недели» — мужественный, умный, с подъемом написанный роман, который не может не взволновать каждого, кто пережил и помнит июнь сорок первого...

От «Последних двух недель» в творчестве А. Розена протягивается особая и несколько неожиданная нить к одному из недавних произведений, роману «Прения сторон» (1977). По материалу, временам и лицам между этими произведениями мало общего, но их объединяет последовательный авторский интерес к сфере правовых проблем советского общества на разных этапах его развития.

«Прения сторон» — современный и даже злободневный роман, позволяющий по достоинству оценить реальные гражданские права человека в обществе, отношения личности и государства и, в частности, формы отправления правосудия, как оно осуществляется в наши дни. Не случайно этот роман был опубликован и активно обсуждался критикой как раз в ту пору, когда в стране шло повсеместное обсуждение проекта новой Конституции СССР.

В центре произведения история одаренного юриста Евгения Николаевича Ильина, который меняет характер своих занятий и переходит из солидной столичной Конторы, ведающей производственным арбитражем, в коллегию адвокатов. Мотивы этого решения и первые уголовные «дела», по которым выступает в суде Ильин, открывают перед читателем определенные стороны современной жизни; роман затрагивает также вопросы профессиональной этики и искусства судебной защиты, призванной обеспечить законные интересы и права граждан.

Далеко не все в Ильине, каким он появляется в романе, может вызвать расположение и сочувствие читателя; но такова позиция и самого автора, который рисовал отнюдь не идеальное лицо, свободное от внутренних противоречий и недостатков. Ильин — помощник Касьяна Касьяновича, правая рука Первоприсутствующего большой столичной Конторы, быстро схватывающий суть каждого спорного дела и умеющий повернуть его в нужную сторону, — написан А. Розеном достаточно объективно, точно, с возрастающим критицизмом, идущим и от автора, и от внутреннего осознания героем самого себя.

Прения сторон, спор обвинения и защиты, совершаются не только в суде, традиционно признающем их равенство перед законом но и в душе

самого героя, в сознании романиста, выясняющего, куда в решающую минуту склоняется человек.

Хочет ли Ильин в будущем сам стать Касьяном Касьяновичем? Ведь для него эта перспектива вполне реальна, если говорить о движении вверх по ступенькам знакомой служебной лестницы. У Касьяна Касьяновича, казалось бы, масса преимуществ перед своим помощником — абсолютно трезвый практический ум и характер, чуждый какой-либо сентиментальности, огромный административный опыт, разветвленные и надежные связи, способность к любому прагматическому решению, которое он считает полезным для себя в той или иной ситуации.

Однако как раз от этой перспективы — повторить выбор Касьяна Касьяновича и, может быть, занять в будущем его место — Ильин уклоняется вполне сознательно, чем искренне удивляет и самого Первоприсутствующего, и тех его подчиненных, которые убеждены, что не существует никакой другой шкалы ценностей, кроме той, что признана в их кругу. Ильин смотрит на этот предмет иначе в силу особого этического чувства, которое он сохранил вопреки практическим урокам своего влиятельного патрона. Он выбирает себе другой путь, другую судьбу, и в выборе своем проявляет твердость характера, с которой вынужден считаться даже Касьян Касьянович.

Из трех уголовных дел, которые в качестве защитника ведет Ильин и которые подробно описаны в романе, третье дело о ложных совместителях в крупном научно-исследовательском институте (дело Аркадия Ивановича Калачика) имеет наибольшее значение для композиционной постройки произведения. Здесь связаны одним узлом все главные его линии, ибо оказывается, что и Касьян Касьянович проявляет определенную заинтересованность в том, чтобы в ходе следствия это дело было приглушено, локализовано и, кроме одного обвиняемого, не затронуло бы других лиц, пользовавшихся его не случайным покровительством.

Ильин в последнем процессе попадает в нелегкое и даже драматичное положение: чем тщательнее и объективнее как защитник он проясняет все обстоятельства запутанного и сложного дела, в котором его подзащитный отнюдь не единственное звено, тем острее становится его конфликт с собственным бывшим шефом Касьяном Касьяновичем. В возникшей ситуации Ильин не поддается ни отеческим увещаниям, ни угрозам и прямому давлению, поступаая так, как и должен поступить в этом случае настоящий юрист, верный чувству долга и этике своей профессии.

«Прения сторон» обнаруживают особую область творческих интересов А. Розена, его искушенность в служебных, профессиональных, гражданских отношениях, развитое социальное зрение, позволяющее писателю видеть практические устремления людей такими, каковы они есть, и верно судить о них по их реальным достоинствам и недостаткам.

Так же хорошо, как армию, А. Розен знал современный город, причем не только с его парадной и праздничной, но и с будничной, деловой стороны. Кажется, что горожане всех основных профессий, взрослые и дети, прошли через романы, повести и рассказы А. Розена, и писатель не остался равнодушен к их повседневным заботам, к тому, что составляет образ жизни и образ мысли его героев.

Более десяти лет А. Розен работал над своей автобиографической книгой «Разговор с другом», которая стала последней и прощальной книгой писателя. Создавалась она не в один присест, а с перерывами, иногда значительными, и разрасталась кольцами, как растет многолетнее дерево. Поначалу работа имела близкую цель, локальные рамки и мыслилась как статья, точнее, как мемуарный очерк о собственной работе. Он и был написан для сборника «Рядом с героями» (1967), подготовленного и выпущенного писателями-ленинградцами, участниками Великой Отечественной войны.

Открывал этот интереснейший сборник Николай Тихонов страницами «Из пережитого». Вслед за ним напечатаны свои воспоминания Николай Чуковский, Вера Кетлинская, Петр Капица, Илья Авраменко, Александр Розен, Михаил Дудин, Александр Штейн, Лев Успенский, Всеволод Азаров, Л. Пантелеев, Павел Журба, Леонид Рахманов, Александр Крон, Эльмар Грин, Георгий Холопов, Вера Панова, Даниил Гранин, Борис Лихарев, Всеволод Вишневский.

Коллективная книга была связана одной сквозной темой: как каждый из писателей встретил войну, как война вошла в судьбу каждого, как отзывалась она потом в замыслах, в выборе героев и в самом направлении последующих творческих интересов. Очерк А. Розена, опубликованный в сборнике, так и названный — «Разговор с другом», оказался только завязкой большого самостоятельного произведения о войне, о ленинградской блокаде, о времени и о себе.

«„Разговор с другом“ — не роман и не повесть, — подчеркивал автор, — а именно разговор с читателем-другом о своей жизни, вернее, о тех событиях, которые имели непосредственное влияние на мою литературную работу».

В произведении из трех книг, не уступающем по объему солидному роману, сохранился и получил развитие

один из основных конструктивных принципов, найденных в первом очерке. Писатель идет рядом со своими героями, повторно прокладывает маршруты военных лет, восстанавливая те доподлинные реалии жизни, которые были трансформированы в его романах «Времена и люди», «Последние две недели», в повестях и рассказах разных лет.

Цель авторского комментария к этим произведениям совсем не в том, чтобы подчеркнуть их значительность. По вполне понятным причинам автору менее всего удобно выступать в роли судьи и критика своих сочинений. Не для того также был начат разговор с читателем, разговор с другом, чтобы повторять то, что было написано в прежние годы. Смысл повторного обращения к помеченным ранее сюжетам и лицам, повторного движения по военным маршрутам (а писатель захватывает и события 1939—1940 годов) — в новизне видения, в переосмыслении фактов с точки зрения нового исторического, нравственного и художественного опыта, накопленного за тридцать с лишним лет.

Новая задача действительно представляла для автора захватывающий интерес, и А. Розен смело пошел ей навстречу. Современный уровень оценки исторических событий и фактов позволил писателю трезво взглянуть и на свою собственную работу. Во многих своих ранних вещах А. Розен стремился разграничить существенное, почерпнутое из жизни, и поверхностное, навеянное беллетристическими канонами и представлениями тех лет.

Есть серьезные причины тому, что материал ленинградской блокады остается особенно «огнеупорным», неподвластным обычному профессиональному сочинительству. Этот материал настолько уникален и в героике, и в трагизме, он настолько возвышается над обычными нормами суждения и оценки, что средним запасом литературной опытности тут совершенно не обойтись. Нужен очень высокий накал души, способный поднять до действительной точки плавления все пережитое, но нужна при этом и строгая объективная достоверность исторического анализа, высокая точность описания больших и малых подробностей жизни осажденного города, памятных нескольких поколениям коренных ленинградцев.

Закономерно, что лучшее из написанного о блокаде принадлежит пока либо поэзии, либо документально-мемуарной прозе. После «Дневных звезд» О. Берггольц здесь можно было бы выделить «Ленинградские рассказы» И. Исакова, записи «В осажденном городе» и «Из военных дневников» Л. Пантелеева, «Разговор с

другом» А. Розена и совсем недавнюю «Блокадную книгу» А. Адамовича и Д. Гранина, которая еще ждет своего завершения.

В свое время «Дневные звезды» Ольги Берггольц оказались явлением переломным в развитии художественно-документальной и мемуарной литературы о блокаде. Пусть в этой книге даны только отдельные картины и отдельные лица блокадной ленинградской зимы, связанные сложными узлами памяти и личных ассоциаций. Зато это книга большого эмоционального размаха, книга поэта, всей своей биографией и творческой судьбой связанного с Ленинградом. Лирическая проза О. Берггольц дала почувствовать истинный масштаб проблемы, предоставив ее детальную историческую разработку последующим авторам.

Обращаясь к своему читателю-другу в наши дни, А. Розен в полной мере сознавал его начитанность и тот реальный литературно-исторический опыт, который уже был накоплен к началу семидесятых годов. Чтобы остаться самим собой, нужно было не повторять сказанное другими, а сохранить по возможности все существенные особенности личного восприятия, личной точки зрения, как она сложилась более тридцати лет назад в дни блокады и откристаллизовалась сегодня. В «Разговоре с другом» выдержано это важнейшее условие.

Лучшие страницы книги, на мой взгляд, — хроникальные, дающие последовательную картину жизни осажденного города, начиная с самых тяжелых месяцев 1941—1942 годов и до полного освобождения Ленинграда от вражеского кольца. А. Розен рассказывает только о том, чему был сам свидетель, и его рассказ заключает в себе новизну особого рода. В своей автобиографической хронике общих событий писатель опирается, конечно, на многочисленных предшественников и вместе с тем существенно дополняет их. Тридцатилетняя перспектива позволила разглядеть некоторые подробности блокады более внимательно, чем это удавалось сделать когда-то вблизи. Кроме того, каждая новая точка зрения заключает в себе особый индивидуально-познавательный эффект.

Здесь следует отметить одну примечательную особенность книги А. Розена, связанную с тем, как деятельно и напряженно он жил и работал на протяжении всей войны, исполняя обязанности военного корреспондента. Его взгляд на блокаду не замкнул как-то одним участком, какой-то одной проблемой, связанной с определенными профессионально-служебными интересами. Само положение писателя-журналиста, менявшего день ото дня объекты своих наблюдений,

сравнительно свободно перемещавшегося почти по всем радиальным направлениям внутреннего блокадного кольца, заключало в себе богатые возможности для будущего рассказа.

И в своем «Разговоре с другом» автор в полной мере использует преимущества свободной позиции: он видит и сравнивает то, что происходит на передовой, в непосредственной близости от противника, что делается на заводе, в радиокомитете, в армейских штабах, в редакции дивизионной газеты, в ремесленном училище, в подвалах бомбоубежища, в опустевших ленинградских квартирах и т. д. Его очерк захватывает самые разные уровни жизни и быта осажденного города, обстановку в боевых частях, подробности некоторых военных операций, множество конкретных лиц и событий.

Хроникальная композиция «Разговора с другом», достаточно свободная для отступлений в прошлое, для соединения разных времен, естественным образом включает в себя и портретный план. Собственно, каждое событие, о котором говорится в книге, так или иначе связано с людьми, с подлинными биографиями и характерами. Для автора романа о *временах* и *людях* соотношение тех и других в мемуарном повествовании представляло проблему, причем немалую. Портрет как бы останавливает время, прерывает хронику, перемещает внимание читателя от общих событий к отдельным лицам, в них участвующим. Но зато только через посредство живых лиц становится более осязаемым и само время.

Преобладают в «Разговоре с другом» портреты людей, принадлежащих главным образом к военной и литературной среде. Комиссар Галстян, командир дивизии «Батя», генерал Краснов, подполковник Д. и некоторые другие остаются в памяти и как реальные лица, и как типы своего времени. Для будущего историка литературного Ленинграда особый интерес представляют воспоминания А. Розена о встречах с Николаем Тихоновым, с молодым поэтом Георгием Суворовым, не вернувшимся с войны; приоткрываются в книге и обстоятельства создания известного очерка Александра Фадеева «Ленинград в дни блокады».

А. Розену, военному журналисту и писателю, очень помогло в свое время хорошее знание родного города, Петербурга, Петрограда, Ленинграда, знание не начитанное, ажитое. «Разговор с другом» насыщен этим ощущением своего города, который каждый год в январе празднует свою победу. Традиции коренной ленинградской семьи, впечатления детства и юности, живая память о Ленинграде тридцатых годов и Ленинграде предвоенном — все это оказалось не-

обходимым биографическим обеспечением главного разговора о событиях ленинградской блокады.

Новые части «Разговора с другом» — «Макеев», «Немцы в Париже» и «Надписи на могилах» («Звезда», 1978, № 10) дополняют все сказанное воспоминаниями, относящимися как раз к предвоенной и более ранней поре. Рассказ о Макееве — это история человека, которая завязывается в детстве, в местечке Райвола на Карельском перешейке, давно обжитом петербургской интеллигенцией; местечко это в шутку называли «сухопутной Ялтой».

Реальная история Макеева, сироты из Воспитательного дома в Райволе, сделавшего потом неожиданную служебную карьеру, пересекается в каком-то отношении с подробностями детства Люминарского из «Последних двух недель». Но эта жизненная судьба имеет для автора и совершенно самостоятельное значение. Встречи с товарищем давних лет позволили писателю восстановить по памяти, звено за звеном, и кое-что существенное из жизни кадровых военных в тридцатые годы, описать обстоятельства войны на Карельском перешейке в 1939—1940 годах. В самом конце финской войны автор снова повстречал Макеева в Райволе, узнал историю его необычного возвышения и стал свидетелем его случайной гибели от шального снаряда, выпущенного в последнюю минуту войны.

Воспоминания о событиях 1940 года, когда немцы вошли в Париж, связаны у А. Розена с рассказом о начинке 13-й армии Борисе Владимировиче Бычевском, крупном военном деятеле, герое обороны Ленинграда, написавшем впоследствии превосходную книгу «Город-фронт». После конфликта с Финляндией Б. В. Бычевский не сомневался, что война с фашистской Германией может начаться со дня на день. Его оценка военной ситуации и трезвый прогноз на будущее поразили тогда писателя, запомнившего этот многозначительный и открытый разговор.

Переживания, вызванные мрачным известием о падении Парижа, вернули автора «Разговора с другом» еще на двенадцать лет назад, к началу 1928 года, когда он впервые поехал во Францию и оказался у знаменитого доктора Кальве в костно-туберкулезном санатории городка Верк-сюр-Мер на берегу Ла-Манша. Подробности этой поездки могли бы составить вполне законченную и самостоятельную сюжетную новеллу. Это рассказ о юности, увиденной заново умудренным взглядом через пятьдесят лет, воспоминание о дружбе, объединившей молодых людей из разных стран, — среди больных доктора Кальве были не только французы, но и два поля-

ка, два румына, один перс, один пуруанец и один молодой человек из Советского Союза.

В декабре 1971 года в Париже снова встретились два товарища; один из них, Робер Бюрон, прошел через подполье времен фашистской оккупации, через Сопротивление, он пять раз был министром Франции и как сподвижник де Голля подписал мир в Алжире; другой пережил блокаду Ленинграда и стал писателем. И то, что они встретились через столько лет, было маленьким чудом, подаренным щедрой на сюжет жизни.

«Потом Робер провожал меня до метро и расспрашивал о ноге — болит все-таки или не болит? — и восхищался мастерством доктора Кальве: «Прочно же он тебе все это устроил!»

— А ты знаешь, что сказал мне Кальве после операции? — спросил я. — Не знаешь? Так вот, он сказал: „Теперь, месье Саша, если вам придется падать с третьего этажа, то вы сломаете ту ногу, которую создал вам господь бог, а может быть и придачу и голову, но ту ногу, которую сделал я...“»

Доктор Кальве прекрасно выполнил свою работу, но жизнь постаралась устроить так, что немногие из его пациентов 1928 года, совсем немногие, смогли преодолеть рубеж семидесятых. А. Г. Розен скончался 8 октября 1978 года, а в январе 1980-го ему должно было исполниться семьдесят...

Автор дал своему рассказу название «Надпись на могилах», и он оказался последним из того, что написал за полвека литературной работы Александр Розен.

Как высокая радуга, переброшенная почти через всю жизнь, это последнее воспоминание о молодости завершает откровенный разговор писателя с читателем-другом.

Среди героев «Разговора с другом» есть еще одно, может быть, наиболее подробно описанное лицо — сам автор, причем не только тот, который моложе на несколько десятилетий и который живет на страницах книги. Есть наш современник, размышляющий о пережитом, способный к самоиронии, к пафосу, к решительному обновлению оценок и взгляда. Автор, осознающий родство со своими героями.

«В этой книге, — писал А. Розен, — рассказано о том, как ленинградцы боролись с фашизмом, как жили, страдали и любили под немилосердным небом войны. Я пережил все, что пережили ленинградцы, и гор-

жусь тем, что был рядом с героями. Память об этих днях — как осколок в груди».

«Осколок в груди» — заглавие короткого лирического рассказа, которым писатель особенно дорожил и который дал название нескольким его книгам (1968, 1970 и 1974 годов). Это — объяснение в любви к своему городу, Ленинграду, к его площадям и улицам, к набережной Невы, к строгой ленинградской Фемиде, установленной на башне Адмиралтейства.

Есть такой горельеф на аттике центральной башни под самой Адмиралтейской иглой — «Фемида, увенчивающая труды художника» — работы замечательного русского скульптора И. И. Тербенева. В первый же год войны здание Адмиралтейства пострадало от артиллерийских налетов, повреждена была и Фемида, получившая несколько тяжелых ранений осколками. А уже летом 1942 года, когда немецкие войска находились еще в шести километрах от городской черты, началось восстановление Адмиралтейства. Семидесятилетний ленинградский скульптор Я. А. ТROUPЯНСКИЙ поднимался в люльке на всю высоту башни, чтобы врачевать Фемиду.

Об этой истории А. Розен узнал летом 1943 года, когда архитектор Владимир Иванович ПИЛЯВСКИЙ пригласил его подняться на башню.

«Было ослепительно ярко, как не часто бывает в Ленинграде. Густой цвет солнца напоминал о золоте Адмиралтейской иглы, скрытой до времени серым брезентовым чехлом. Еще несколько маршей, и мы под самой иглой. Резче обозначились контуры здания, словно возвращая его к эскизу.

Здесь, на этой свободной высоте, я услышал рассказ, который в тот же день записал».

А рассказ, ставший легендой, утверждает, что в работах по реставрации Фемиды наступил день, когда скульптору ТROUPЯНСКОМУ осталось только заделать небольшое отверстие в груди.

«В каком-то неясном порыве скульптор собрал разбросанные вокруг осколки и вложил их в грудь древней богини правосудия. И только потом заделал отверстие.

С тех пор, когда я вижу Адмиралтейскую иглу и знаменитый портик, я вспоминаю этот рассказ и вижу ленинградскую Фемиду, вставшую над нашим городом с раскаленным железом в груди».

Фемида над городом помнит всех, кто честно служил своему искусству.

ЛИЧНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ И ЕГО КНИГА

Мариэтта Шагинян. Человек и время. «Новый мир», 1978, № 11.

«Человек и время» — итог огромной и многогранной литературной и научной деятельности выдающейся писательницы. М. С. Шагинян, написавшей эту энциклопедическую книгу (первая ее часть появилась в 1971 году, последняя — в 1978-м), присущи жажда синтеза, стремление охватить все области знания. Книга воспоминаний заключает в себе не только повествование о перипетиях ее жизни и взаимоотношениях с современниками, но и исследования, находящиеся как бы в связи с повествовательной нитью, однако являющиеся самостоятельными, не зависящими от сюжетных, биографических связей. Это — рассуждения о вопросах философии и политэкономии, об эстетике и литературоведении, о важных проблемах теории литературы. Это также очерки историко-литературного характера, например о немецкой писательнице Е. Марлитт, о французском писателе Поль де Коке, эссе о Зинаиде Гиппиус и эссе о Блоке, мысли о советской литературе двадцатых годов, значение которых трудно переоценить, ибо они принадлежат активной участнице литературного движения того времени. Большую теоретическую и практическую ценность имеют и многие педагогические высказывания Шагинян.

Но глубокую современность ее воспоминаний определили прежде всего написанные в лучших традициях русской классики автобиографические страницы. Рисуя разные этапы своей жизни, писательница дает глубокий анализ человеческой души, изображает противоборство в ней разных начал, ее порывы, жажду справедливо-

сти, стремление к познанию истины и душевные муки в поисках ее, этой истины, а также высочайшую радость ее обретения. Поэтому можно говорить о фаустовском начале в характере центрального персонажа произведения. Шагинян в течение всей ее жизни отличали глубокая увлеченность наукой и искусством, неутомимость и трудолюбие строителя социалистического общества. Стоя на такой вершине, она всегда питала антипатию к бездуховности, к потребительству, к мещанству.

Процесс ее духовного созревания протекал очень трудно. Но при всей своей податливости разным влияниям, она обладает важными достоинствами: стремлением к анализу, способностью критически оценивать собственные поступки и мысли, смело признавать свои ошибки и извлекать из них урок. Шагинян говорит о своевременности и огромной силе воздействия на общество книги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

В эти трудные годы идейных исканий и блужданий после 1905 года студентка Шагинян проявила мужество, сумев порвать с религиозным кружком новоселовцев, разойтись во взглядах с А. Белым, путь которого вел в антропософию, в мистику, вел к общению человека с будто бы существующим миром духов. Правда, она затем создает себе нового кумира в лице Зинаиды Гиппиус, восторженно и преданно служит идее «нового религиозного сознания», названной Г. В. Плехановым «Евангелием от декаданса». Но, пройдя через эти новые разновидности религиозного идеализма, кото-

рые подверг беспощадной критике В. И. Ленин, она, разочаровавшись в своих увлечениях, хотя и с болью, отрывает себя от того, чему с восторгом отдавала свой молодой энтузиазм.

Это не значит, что духовная эволюция Шагинян уже привела ее на позиции марксизма-ленинизма. До этого было еще далеко. Порвав с Мережковскими и с «голгофским социализмом» кружка петербургских рабочих, она еще не стала атеисткой. Даже приняв Октябрь и со свойственным ей воодушевлением встав в ряды строителей нового мира, она еще не отказалась от религии, даже читала всю ночь над покойным Блоком псалтырь.

Какой надо было совершить духовный труд, чтобы сбросить вериги религиозного сознания и прочно стать на позиции материализма и атеизма, на позиции марксизма-ленинизма!

Ее ожидало еще одно нелегкое испытание. Это — уход в «чистую науку», в «чистую культуру» — «башню из слоновой кости». Хотя годы после возвращения из Петербурга в Москву Шагинян отдала напряженному духовному труду, все же это был аполитичный период в ее жизни. Ее научные и литературные занятия, ее музыкальные интересы, сосредоточенные главным образом на общении и переписке с С. В. Рахманиновым, — все это было «вне», все это было в «меловом кругу», как писательница определяет узкую среду интеллигенции, в которой тогда вращалась. Она говорит об изолированности этого узкого общества от всего, что происходило в стране.

Глядя в прошлое из сегодняшнего дня, Шагинян видит то, что тогда шло мимо сознания. Лишь особые обстоятельства заставили ее очнуться, выскочить из своего «вне», увидеть, что вокруг война. А лекция большевика в Цюрихе, излагавшего ленинскую идею о необходимости поражения России в этой войне, вытолкнула ее из «башни из слоновой кости».

Но, уже получив этот первый урок ленинской диалектики, она еще не стала ленинцем. Ей еще предстоял огромный труд освоения новой, советской действительности, чтобы затем прочно стать на позиции социалистического реализма и даже внести свой значительный вклад в художественную Лениниану.

Эта исповедь написана с такой беспощадной правдивостью, без всякой попытки умолчать о своих недостатках, о заблуждениях и негативных поступках потому, что Шагинян сознает высокую ответственность перед читателем, огромную силу нравственного воздействия литературы. Ее откровенность, отказ от умолчаний объясняются не только свойственной ей правдивостью, но и такой мыслью: «Можно ли чем-нибудь поделиться оттуда, как

опытом, с теми, кто только вступает в жизнь».

Мемуары — сложнейший труд самопознания. Но цель Шагинян не совпадает с известным античным афоризмом. Она такова: «...я хочу „познать самое себя“, но немощно не так, как звучит древний совет. Познавая себя, как одну из миллионов жизней, частицу человечества, я через свое „я“ хочу лучше познать, сблизиться, слиться с „ты“, с другими частицами огромной, неизмеримой, невидимой для нас мозаики всего человеческого существования. Ведь при всей их разнице „я“ и „ты“ очень близки, очень похожи, рождаются, плодоносят, умирают, как колосья в поле, и нет больше счастья и глубже науки, чем через свое „я“ познать чужое „ты“».

Так может сказать только писатель социалистического мира, носитель коммунистической морали, которому чуждо суперменство модернистов.

Исторический подход к вопросам литературы и искусства, экономики и науки, к деятельности представителей русской культуры и к собственной духовной эволюции придает воспоминаниям Шагинян значение исторического документа, усиливая тем самым их художественную ценность. И названием книги автор подчеркивает то, что считает самым существенным в своем методе — методе социалистического реализма: человек и его дело предстают крепко спаянными с временем. Время (с большой буквы) писательница называет великой, ведущей силой жизни. И действительно, течение или ход Времени и есть жизнь человека и человечества, его история.

Поэтому с горечью говорит она о легкомысленном отношении к времени у части современной молодежи. Она предупреждает молодого, полного сил человека, что наверстать время нельзя, потому что оно текуче, оно уходит, бежит вперед. Да, наверстать время нельзя, потому что, если оно всегда идет вперед, то способности человека, не развивающиеся вместе с ним, обращаются вспять. Пустое препровождение времени, как пишет Шагинян, вырабатывает привычку к ничегонеделанию, притупляет способности человека, ослабляет его умение — он утрачивает навыки.

Как видим, писательница тесно связывает время с трудом. Труд — тема всех ее книг: художественных, публицистических и научных. Ему посвящены и эти воспоминания. Она показывает, как постепенно вырабатывала в себе привычку к писательскому труду, как накапливался опыт и наслаивались навыки, как постоянно упражняемая мысль крепла и углублялась, как под воздействием труда изменялись некоторые ее физические и психические свойства.

Заново осмысливая характеристику труда, данную Марксом в «Капитале», она находит ответ на вопрос о том, какая сила движет процессом труда. Это — «живой фермент», или творческое начало в человеке, которое, по ее словам, и «создает новое, небывалое, чего не было ни в каких генах».

Именно этот открытый Марксом «живой фермент» заставил писательницу в 85 лет вернуться к работе над покинутой в юности диссертацией о Якобе Фрошаммере, авторе книги «Фантазия как основной принцип мирового процесса». Теперь она поняла, что этот малоизвестный немецкий философ бросил мужественный вызов церкви, ибо на место отрицаемого им бога-творца поставил «творческий инстинкт» человека и вечно развивающуюся материю.

В связи с новым подходом к теме юношеской диссертации Шагинян обратилась к давно интересовавшему ее вопросу — к антирелигиозной пропаганде. Главный недостаток ее она видит в стремлении «отрезать» верующих средствами разума и убеждения. Она считает, и это неожиданно для ее целостной концепции мира и человека, что убеждение и чувство не могут слиться и неспособны к взаимовлиянию. Но мы хорошо знаем, сколь сильна организующая роль мировоззрения в формировании характера. Доводы разума, убеждения — не нечто противоположное чувствам, страстям, сердцу. Убеждения, идеи способны перевернуть душу, зажечь страсти и изменить их направление, что, кстати, произошло и с самой Шагинян, захва-

ченной идеями Октябрьской революции, марксизмом-ленинизмом.

Что же в последней книге Шагинян является главным? Какая идея объединяет ее огромный многопроблемный материал? Это именно то, что выражено в ее названии: человек и время. Кто постоянно развивается, совершенствуется, в ком не прекращается процесс духовного роста, кто не застыл в прошедшем времени, а идет вперед вместе с движущимся временем, — тот и является человеком в высоком понимании слова.

Это именно та главная истина, к которой писательница пришла в итоге долгой трудовой, творческой жизни. Она называет эту истину «истиной вечного становления» и напоминает, что Ленин, говоря о конкретности истины, имел в виду именно вечное ее становление, процесс, развитие. Тем самым он и дал ключ к тому, чтобы теория никогда не застаивалась.

Образ автора этой книги раскрылся нам в неиссякаемости духовной жизни и беспрестанном духовном действии. Нас увлекают страстность, с какой проповедуются добытые трудом убеждения, глубина и основательность суждений в разных областях знания, общественная активность, выражающаяся в стремлении обратиться все свои знания и опыт на пользу обществу, его сегодняшнему и завтрашнему дню. Мы увидели в авторе книги человека с никогда не угасающими интересами, живущего все новыми замыслами и свершениями.

А. Левитина

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Владимир Маканин. Ключарев и Алимужкин. Роман, рассказы. Изд-во «Молодая гвардия», М., 1979.

Сколько бы ни говорили об условиях деления писателей на деревенских и городских, оно неизбежно. Иной труд, иной быт, целый мир своих коллизий. Маканин — писатель отчетливо сложившийся, именно городской — по кругу излюбленных мотивов, по углу зрения на них. Жителю глухой деревни большой город может показаться настоящим водоворотом людских толп, машинных верениц, неисчислимых огней. Но Маканин прекрасно знает, что есть и ключи, и шифры, и ответы в конце задачника, их поисками и занят.

Маканина увлекает исследование поведения городского героя — на работе, в семье, в дружеском кругу. Его проза оказывается в самом близком родстве с социологией и социальной

психологией. Ну а психология индивидуальная? Какая ж литература без нее?

Автор вовсе не отказывает своим героям в праве на индивидуальность, он хочет понять, почему они сами от нее частенько отказываются: «Когда начиналась эта любовь — скрытная, тайная, с телефонным шепотом и оглядкой, с художочной поэзией четырех чужих стен, постели и двух бутылочек вина на столе, — он ведь уже тогда знал, что все это нормально, стандартно (курсив мой. — Н. Ц.), в точности как у других, и что эти-то нормальность и стандартность где-нибудь ему аукнутся. Без особенной боли, грубенько, но аукнутся».

То, что жителю тихого уголка может показаться водоворотом, горожа-

нину открывается с совсем иной стороны. Сколько горящих окон, столько и неисповедимых судеб? Но за каждым окном смотрят одну и ту же телепрограмму. Сходные вопросы решают в семьях. Неизменен и известен наперед маршрут трамвая, который везет нашего героя на работу.

Сказать, что Маканин изобличает мещанина, чаще всего и образованного, и что это его главная тема, значит сказать еще очень мало. Художественная задача у Маканина сложнее: не он обрушивает на героя свой гнев, сарказм, но заставляет его самого глухо томиться своей усредненностью, а то и прийти к ее ясному осознанию и беспощадной самоиронии: «Такая и любовь была. Начинаешь и уже наперед знаешь — игра... то есть, конечно же, оно тоже человеческое, наше, что-то ты получаешь и утоляешь, и даже душой свежеешь, но ведь игра. И ходы наперед. Оно сначала-то ты распаиваешься, рвешься и будто бы даже в море — как же без этого слова! — в море зовешь, и, уж конечно, в открытое и, конечно, с волнами. Но проходит некоторое время, и уже держишь лодочку ближе к берегу...»

Это из размышлений Ключарева — героя одной из прежних книг писателя. И в новой мы встречаемся с Ключаревым — в рассказе, давшем название книге. Эта нить преемственности характерна для Маканина, как и то, что рассказ вовсе не является буквальным продолжением повести. Ведь его прежде всего интересует социальный тип: это мог бы быть и однофамилец, и прежний герой, но повзрослевший вместе с автором.

В новую книгу вошли последние рассказы Маканина и роман «Прямая линия», которым он дебютировал полтора десятка лет назад. Мысленно охватываешь путь писателя, на котором было уже немало книг. Первый роман о тех, кому едва за двадцать. Новые рассказы исключительно о людях и проблемах возрастной середины.

Но есть различия и жанровые, структурные, в самой манере авторского письма. Видишь, как здесь открыстализовалась главная творческая тенденция. Грубо говоря, роман и рассказ «Ключарев и Алимущкин» — об одном и том же: житейски — о везении и невезении на службе, а серьезнее — об ответственности человека перед жизнью. В обоих случаях тема раскрывается в сопоставлении двух судеб.

Но это сходство оказывается несущественным при совершенно разном подходе к материалу. Роман очень серьезен по основному тону. В нем можно обнаружить на иных страницах и склонность автора к юмору, но она отторгается самим замыслом произведения.

Напротив, в последующих произве-

дениях все более очевидно, что основа дарования Маканина в необыкновенной живости бытописания и в умении создавать комические ситуации. Здесь и становится обывательская усредненность его главным материалом. Ни тени нравственного ригоризма, но комический эффект как бы говорил о героях: ну что с них взять, если они на большее едва ли претендуют... И все-таки в комическом благодушии размывалась порой авторская позиция.

В последних рассказах прозаик уходит от серьезности в ее чистом виде и от чистого комизма. В них появляются интонации трагикомические. В его психологизме все явственнее обнаруживаются черты гротескного, фарсового заострения. Живость и насмешливость взгляда то беззлобна, а то ядовита. Это соответствует замыслу писателя увидеть каждого героя с разных сторон.

Не случайно среди его героев есть математик, а иные к шахматам страстились. Если прежний Ключарев жаловался, что «знаешь «все ходы наперед», то теперь этим знанием воспользовался сам автор, откровенно пробуя разные варианты разрешения конфликта. Везло Алимущкину и не везло Ключареву. И вдруг все пошло наоборот.

Рисунок рассказа стал несколько условным, но за счет этого стремительным и емким. Ключареву мерещится в этом какая-то житейская мистика. Не получит ли он счастье за чужой счет?

Но не так все просто у Маканина. Почему именно о совестливости супругов Ключаревых он пишет в рассказе с такой явной издевкой? Потому что благие порывы он неизменно проверяет поступком и знает, как часто они этой проверке не выдерживают.

Мотив этой иронической притчи прямо подхватывает рассказ «Полоса обменов». Ведь и супруги Ткачевы где-то славные люди. Радуются они, глядя на подрастающую дочку, и как при этом не подумать об обмене.

Но мучаются супруги от мысли, которая другим и в голову не придет. Поменять плохонькую двухкомнатную на хорошую трехкомнатную квартиру — значит сыграть на чьем-то несчастье: только ради денег в трудную минуту пойдут на такой обмен. Однако, когда является жертва несчастной ситуации, милая стюардесса, жена погибшего летчика, Ткачев не отказывает себе в возможности прихватить любовную интрижку.

Стюардесса задает тон, а не Ткачев. Но не ее поведение в центре внимания, а его: в конце концов, горе горем, а жить надо. А вот Ткачев и являет пример человека, который, попав в ситуацию стандартную, над

стандартом ее подняться не может, плывет по течению собственного, а гораздо больше — чужого влечения. Что тянет героя к телефонной трубке, если ему тут же хочется на попятный?

Микропсихология... Маканин — мастер в мгновенной и случайной ситуации увидеть человека до донышка. Он не певец стандартной и типовой ситуации. Он его проверяет человека: имеет ли он в этой ситуации действительную линию поведения? Он даже и не связывает героя жесткими узами домостроевской морали. Он о другом спрашивает: есть ли в герое сильное чувство, оправдывающее действие?

Нет и нет, вовсе неплохой человек Ткачев. С нежностью он думает и о жене, и о Геле, и о себе, и о погибшем легчике, чей портрет лицезреет сквозь винную дымку на стене Гелиной комнаты: «Вот тебе, родной, и обмен, — с горечью рассуждает Ткачев, не сводя глаз с портрета в дымке. — Вот ведь как обменялись. И почему так вышло, что мне все, а тебе ничего». Но, как замечает сам автор, горечь Ткачева, в сущности, легкая горечь...

Теперь снова вернемся к Ключавреу: «У него было ясное, хотя и необъяснимое ощущение, что кто-то свыше крепко и уверенно натянул вожжи и правит вместо него, Ключарева, и, уж разумеется, этот, который свыше, промаху не даст, он свое дело знает...» Но Маканин-то прекрасно показывает, что место «высшего провидения» замещает инерция обыденности с запасом стандартов поведения.

Вроде бы Маканин что ни на есть писатель обыденности: «Семья у него была обычная. И квартира обычная. И жизнь тоже в общем была вполне обычная...» Но в глубине обыденности зреют повороты. Монотонность обязательно обернется однажды взрывом. Готов ли к нему внутренне человек? На гребне исключительного случая иначе видится и долгая ежедневность, его предварающая. Маканин терпеливо ждет этого гребня. Оттого рассказ по емкости с повестью соперничает. Это повесть, спрессованная до рассказа.

И не случайно название другого рассказа-повести — «Река с быстрым течением». У человека умирает жена. Жизни ей остался месяц. Человек перебирает на кухне фотографии жены. Пятнадцать лет спрессованы до пятнадцати мгновений: разложенные в неровный ряд на столе, они напомнили ручей. Ручей вновь напомнил ему реку, быструю воду реки, которая за какие-то полтора десятка мгновений чуть ли не бегом пронесла жизнь его жены.

Человек и плачет и улыбается пьяненько: «Со мной ты теперь, где-е-есть.

Вся ты теперь здесь». А дело в том, что жена не подозревает, что участь ее предreshена. И в том еще, что, такая добропорядочная, она вдруг пустилась в разгул, став душой «веселой компании» на работе. Бывшему волоките платят той же монетой. Он и за дверь ее в одной ночной рубашке выставит. И поплачет над ней. И в бессилии в запой пустится.

Два разных сюжета двух разных повестей, два испытания человеку — измена и смерть близкого человека. Но разные для какого угодно писателя — не для Маканина. Он же мастер заостренного изображения ежедневности. Он сваливает на голову героя сразу два несчастья — таких разных: «Но если, к примеру, жена изменяет и жена больна, мы не знаем, как быть и какую эмоцию выдать. Мы в растерянности... На миг Игнатьеву стало обидно, что он человек обыкновенный и в силу обыкновенности своей не умеет вместить разом...»

Который раз Маканин ставит обыденное течение жизни перед проверкой ее итогом. Ткачев только разглядывает фотографию погибшего мужа нечаянной любовницы. Игнатьев столкнулся с такой жестокой проверкой в собственной судьбе. И застигнут ею врасплох. Не готов к ней.

Маканина занимает разница между любовью и ее эрзацами. У него постоянно сталкиваешься с ситуацией адюльтера, но не в ней как таковой дело. То, что так важно для тридцатилетней поэтессы Алевтины в повести «Отдушина», вовсе в конечном счете несущественно для ее поклонников. Это ей кажется, что она дает отставку одному, привлекая другого.

С удивлением обнаруживает она, что состязание идет в общем-то не за право любви, а за право находиться в соседстве с ней. Если бы речь шла об адюльтере, то, как размышляет самолюбивый математик Стрепетов, с какой-нибудь маникюршей проще было бы, без интеллектуальной позолоты. Здесь же отдушина — от слова «душа». Это может быть и обидно для сугубо женского самолюбия, но и терпеть его может.

Вот сидят они оба, неуклюжий добродушный мебельщик Михайлов и Стрепетов, такие разные, попивают кофе перед включенным телевизором, дружно радуются за Алю, слушая ее завывания с экрана, — отношение к ней автора и героев ироничное и доброе одновременно.

Так случилось, что эта одинокая, неустрашенная, в общем-то несчастливая женщина несет бремя своей участи стойко, непринужденно и даже весело для глаз окружающих. И люди благополучные, но несильные душой приходят просто погреться у огня ее жизнелюбия. Не с тем прихо-

дят, что могло бы ее жизнь поправить.

Но эта же душа ее, от которой греются, оказывается и разменной монетой. Михайлов уступает ее математике за то, что тот примет его подростков сыновей в университет. Идет дешевая распродажа того, что для самих же героев стоит больше. Але кажется, что она двигает фигуры, но их двигает нехитрая житейская логика. Трижды повторенная перестановка — Стрепетов и Михайлов — совершенно фарсовая, зощенковская на вид, но очень грустная в итоге.

Маканин и в громких притязаниях различит обывательский душок, но все больше его занимают внутренние устои человека. Средний человек в средней ситуации. Хорошо! Но что у него осталось под спудом? Почему он не становится лучше?

Не любит Маканин однозначных характеристик. Его «провинциалка» Валечка Чекина в одной из прежних повестей была бы у другого писателя хищницей, совершившей на своем женском обаянии головокружительное восхождение, — ученый мир, поэтингвист... У Маканина: внезапно меняется научный руководитель нашей аспирантки, и — какое тут диссертация! — он дивится, как диплом вузовский она получила.

Но у Маканина свой вариант сказки о рыбаке и золотой рыбке. Валечка ничего не поняла в своем феерическом восхождении и столь же стремительном превращении в обыкновенную проводницу. Она не озлобилась от этих метаморфоз: «Всюду в ней был избыток жизни, этот сверхдар быть счастливой». Просто эта провинциалка не смогла разобраться в жизни и себе, распорядиться своим душевным даром.

А не показать ли путь обретения человеком самого себя? И вот аннотация в проспекте издательства «Современник» обещает нам встречу с новой книгой Маканина «В большом городе» и со старым его персонажем — Светиком. Как и многие женские персонажи Маканина, Светик, этот Остап Бендер в юбке, заводила книжного черного рынка, полна подспудного обаяния. Встречаясь с книжкойм настоящим, человеком чистым — Алешей, она преобразуется. Из-под наносного слоя является подлинная ее душа. Маканин взялся проследить путь дальнейшего выпрямления ее натуры. Задача нелегкая, но означала бы она в творчестве писателя новый этап, к которому естественно вели нити всех его предыдущих книг.

Н. Цыганова

„ЗАХОДИ В МОЕ СТИХОТВОРЕНЬЕ“

Сергей Орлов. Костры. Изд-во «Советский писатель», М., 1978.

Сергей Орлов. Командир танка. Поэма. «Наш современник», 1978, № 5.

Сергей Орлов. Белое озеро. Из вьетнамской тетради.

Из фотоархивов поэта. «Наш современник», 1979, № 8.

Начну с примера вроде бы и постороннего. Студийцам, начинающим поэтам полезно напоминать об одном «технологическом» секрете: не начинать стихотворение очень уж яркой, выразительной строкой, прибегать к ней на концовку — иначе не выровнять всего стихотворения по первой строке, пойдет на спад...

Бывают дерзкие исключения. «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат» — слава этих строк всю жизнь гонялась за Сергеем Орловым и — что уж говорить о стихотворении — весь дальнейший путь поэта словно бы затмевала.

Но, к счастью, не только редкой строкой или даже стихотворением жива поэзия, но и единством внутреннего мира, от стиха к стиху и от книги к книге раздвигающего свои горизонты, и обязательно наступает момент, когда читатель входит в этот мир, обживает его, свыкается с его особенно-

стями. Вероятно, такой момент настал и для Сергея Орлова.

Поэт ушел из жизни, а читатель впервые прикасается к стихам, помещенным в 1941 годом, и 1945-м, и последним — 1977-м. Перед ним — объемистая книга, которой сам поэт уже не увидел, но которую долгие годы вынашивал.

Из всех поэтов военного поколения Орлов, пожалуй, труднее всех осваивался в заботах мирного времени. Война цепко держала его. «А он о танках пишет на прежних рубежах» — это было сказано с горячим пониманием. Но, может быть, и такое представление было преувеличенным. Оно сказалось и в предисловии к посмертной книге, написанном Егором Исаевым.

Между тем, листая эту книгу, вобравшую стихи почти четырех десятилетий, видишь, что у Орлова своя диалектика *войны и мира*, и именно к ней хочется приглядеться. Стихи не

обязательно о войне, но обязательно войной написанные. Опытном войны выношенный взгляд на мирные будни:

Вот и век кончается двадцатый.
Электрогитары у бедра
На ремнях, как будто автоматы,
Джинсы, продувные свитера.

Сколько было в стихах скепсиса по поводу молодежи! Столько же — оптимистических заверений, что эти мальчи и девочки при случае наденут кирзовые сапоги и возьмут в руки автоматы, как их отцы. Орлов уклоняется от рассуждений, от поэтической риторики. Всего лишь одна разительная деталь схвачена — гитары наперевес, похожие на автоматы — также наперевес. Но эта деталь начинает работать — вьедаться в стихотворение:

Мальчики, юны и бородаты,
Бьют в упор крест-накрест,
Мир берут, как будто бы солдаты,
Словно автоматчики с эстрад.

На миг страшноватая картина. Но нет в ней ни тени поверхностного скепсиса или оптимизма. Она живет повышенным пластическим напряжением, но она ничего не предсказывает. Это напряжение тревоги за свой век: «Век двадцатый. Нет, не без причины песня криком раздирает рот». Но и с этой тревогой нельзя обойтись однозначно: «Все больше, больше этот мир люблю и в том не каюсь».

Суровый оптимизм Орлова войной воспитан. И двоянный образ войны и мира характерен для многих его стихов — военных и мирных. За мирной сценкой витает тень войны, но и за сценкой губительного боя витает тень мирной жизни.

Поэма «Командир танка», написанная в 1945 году и лишь сейчас из литературного наследия извлеченная, рассказывает о подвиге лейтенанта Ивана Малоземова, повторившего подвиг Гастелло — так, как может это сделать танкист: когда кончились снаряды, «на броню в упор пошла броня».

Но вот как неуклонно картины мирной жизни входят в самое пекло страшного боя. О фашистских танках: «Вот они стоят, подбиты, рядом, в пламени, как в копках спелой ржи». Или: «Поднимает парень вологодский на дыбы машину, как коня». «Дым войны рассеялся над Волгой, как над Белым озером туман», — в это мирное — довоенное и послевоенное — утро, запечатленное в финале поэмы, как в свое бессмертье, и шагнул погибший герой, в штатской одежде — «в розовой рубашке, как всегда».

Эта двоянность образа у Орлова неизбежно контрастна — на противо-

поставлении держится. Здесь именно ключ к его поэзии:

Мы пронесли воспоминанья эти
В тяжелых танках, в дымной духоте,
Сквозь грязь и кровь по яростной
планете
В своей первоначальной чистоте.

Не просто контраст чистоты и грязи, но смешиваются грязь и кровь: образ жесткий, но такова правда войны. В стихах Орлова лицо войны предельно обнажено. Не то чтобы стихи его опровергали симоновское «Жди меня», сурковскую «Землянку» или популярную в дни войны песню «Темная ночь», но для себя поэт выбирает иной путь:

Это только поэты пишут в стихах,
Это только в песнях поют,
Будто женская верность на дымных полях
Охраняет солдат в бою.

Ожиданием пули не отведешь...

На эту жесткость есть особое право у того, кто может сказать о себе: «Все прошедший, огонь и воду, не в поговорку — наяву», «на газойле горит броня, ключья кожи летят с ладоней»... Вновь и вновь поэт возвращается к автобиографическому эпизоду, но уже отделяя его от себя, ища путь к типическому обобщению.

Перед нами то сам поэт, то некий танкист, выживший его двойник, то от лица погибшего танкиста, погибшего двойника речь. Но это реальные двойники — живые и мертвые. И образ скользкий. Если один, «пистолет из рук не выпуская, выскочил из люка, задыхаясь», то — словно бы продолжение эпизода — другой ползет, «опаленным ртом хватая снега рыжего куски, пистолет не выпуская и дымящейся руки».

В подобных вариациях возникает удивительный — двойной — эффект. В них угадываются черты поэтического дневника, предельной достоверности случая единичного, кровно пережитого. Но в этих же вариациях мотива упрочивается впечатление сбирательности образа, вызывает типическое обобщение подвига.

Почему многие и многие стихи той поры так долго ждали своего выхода к читателю? Скорее всего, поэт, явно тяготеющий к чеканной, афористичной, законченной форме, считал их эскизными, незавершенными... Но в самой черковой незавершенности с большой силой сказывается эффект дневничности — эффект эстетически действительности. Так в поэзии случилось не однажды. Иной раз и следы недоработанности стиха приобретают вкус особой корявой выразительности и досто-

верности, которые так легко сгладить при тщательной шлифовке строки.

Поэты, рожденные войной, случались в истории реже, чем рожденные мирным временем. Коренная, вечная тема поэзии — тема жизни и смерти — для фронтовиков еще в юности открывается с близкого расстояния. Когда жизнь клонится к закату, это невольно вспоминается. И фронтовику дано внести в поэтическое разрешение вечного мотива свои неповторимые краски:

Остается небольшая малость:
Жизнь прожить без лишней суеты, —
Так, как в дни, когда она касалась
Ежечасно бешеной черты
И могла сгореть в одно мгновение,
Может, тышу раз на каждом дне...
Не пугаться, не искать спасенья,
Не питать надежды на броню...

Именно на этой строке мне хочется вспомнить давнее, военное, заботливое о броне: «Мы всё перенесем с тобой: мы люди, а она — стальная...» Это ведь все то же среди порохового дыма — мирное, человеческое... И вот оно целиком завладевает стихом — строки действительно предсмертные, последнее стихотворение, последняя строфа сборника:

Прости, земля, что я тебя покину,
Не по своей, так по чужой вине,
И не увижу никогда рябину
Ни наяву, ни в непроглядном сне...
Надо очень сродниться с землей,
Рябиной у плетня, чтобы — не бунт
и не смирение — прощения просить
за свой уход, чувство вины испытать,
как перед близким человеком. И в
этом родстве с мирным неюм и мирной
землей родной Вологодчиной —
другой, хотя, конечно, все тот же самый
Орлов.

«Та глина, из которой нас лепили, вся заскорузла», — скажет он, но тут же предложит, как родинку, обнаружить на ней «цветка неразличимый след». И нам надо след этот обнаружить, сделать его различимым, явным...

И тогда маленькая поправка к тому, что сказано. Нет поэтов, рожденных войной, но есть поэты, у которых война словно бы перекраивала их первоначальные задатки. Тогда вдруг вспоминаешь первые, еще предвоенные стихи Орлова: «Топорщит перья сизый лук на грядке в огороде... Горошек закурил усы, он выглядит гусаром», «чушка-тыква» «лежит рядочком с брюквой. И, кажется, вот-вот от счастья громко хрюкнет и хвостиком махнет». Что в этих забавных, безмятежных картинках из жизни огорода «народца» предвещало вот такие стихи?

А мы такую книгу прочитали...
Не нам о недочитанных жалеть.
В огне багровом потонули дали
И в памяти остались пламенеть.

Кто говорит о песнях недопетых?
Мы жизнь свою, как песню,
пронесли...

Стих обретает торжественную, тихоновскую поступь. Образ чеканный и монументальный. Его планетарность заявляется с открытой прямолинейностью: «Махоркой и соленым потом воздух, где мы прошли, на все века пропах», как у Тихонова: «И вечностью каленая вода...» Мирная песня просто не успела сложиться, а складывалась бы она иначе.

Планетарность осталась. Но в последних стихах это снова образ мирной земли: хотелось увидеть, шагнув, «планету за порогом всю в солнце, как бабчу». Но существенное добавление: «Да может быть — травинку с росинкой в желобке, травинку с паутинкой одну на сквозняке...» Родство с миром хотело бы стать задушевнее, пристальнее. Его тянуло к тому довоенному огороду, к лесам и озерам — к природе.

«Волнушки, словно розовые уши, насторожила рыжая земля», «сиги голубоватые в озерах ворочаются...», «по сосенкам чешуйчатые шишки запутались, как рыжие ерши», и опять грибы — «толстоголовые мальчишки». Это — едва кончилась война — воистину, как грибы после дождя, пошла прежняя «живность» в стихи поэта, пребывая их броню.

Он словно бы и не знал, что с этими стихами делать. Чеканке они не подчинялись. Росли, как грибы, врассыпную. Нарушали стройность и законченность выбранной поэтической системы и создаваемого героического образа. Но нарушали ли? Или придавали ему объем, смешивая монументальные черты с житейской достоверностью?

Можно не чураться поэтической эмпирики — на волнушки заглядеться, на шишки чешуйчатые, но можно и с прежней монументальной выучкой сказать об экологической драме: «Леса поют и плачут, как народы, на все свои земные голоса». В широком спектре этой стиглевой двуединности поэт разрабатывал самые разные мотивы мирной жизни.

На иных портретах лицо поэта сурово, на других — улыбающийся Орлов, с внучкой. Не так ли и со стихами? Меня радует, когда вдруг наткнешься и на стихи по-детски беззаботные, под стать непринужденной фантазии детского рисунка:

Дождик льет, собака лает,
Кот на крыше загорает,
В огороде мак цветет,

Ест медведь в саду малину,
Рыбы плавают в пруду.
Пруд замерз наполовину, —
На одном конце, на льду
На коньках идет катанье,
В теплых шубах детвора,
На другом всю купанье,
Золотой песок, жара...

Мне нравится этот детский подма-
левок, потому что вот же — листаю
далее: «Замечаю, происходит что-
то...» Вреде бы стихи о той же пута-
нице времен года. Вскрылась ото льда
река среди зимы. Говорят, жара за
полярным кругом. Говорят, на юге
хлещет снегопад. Что-то неладное в
мире. И разговоры о климатических
превратностях оказываются только
толчком к беспокойству за состояние
мира:

Не вступаю в споры, разговоры,
С тишиной как азбукой дружа,
Стал невыносимо дешев порох,
А насущный хлеб подорожал.

Стихи бывалого солдата. И точно
бы защищающие, прикрывающие со-
бой те самые детские каракули — их
счастливую неразбериху. Есть внут-
реннее единство в таком раздвоении
мотива. Стоит быть внимательнее к
мимическим перевоплощениям сти-
ха — в них душевная подвижность и
душевное богатство лирики.

Как видно, это существенно и для
Орлова, который мог казаться поэтом
исключительно сдержанным и ску-
пым на мимику, на слово. Это не
мешает видеть главную его душевную
складку, его гражданскую сосредото-
ченность и сосредоточенную афори-
стичность. И разве таковой была лишь
знаменитая строка? Поэт хотел ме-
няться и менялся вслед за временем,
но при этом собой оставался, войной
«мобилизованный и призванный» на
всю жизнь:

Меняется движение светил,
И предстает в ином и новом свете
Во что ты верил, то, что ты любил,
Что видел ты и что ты не заметил.

Осталось измениться самому,
Но я довольно древнее явление
Из глины той, что в пламенном дыму
И жгли и мяли светопреставленья...

Часто говорят о поэтических поко-
лениях. Военное — предстало с наи-
большей определенностью, именно
как поколение. С годами естественной
видится и *единственность* лица каж-
дого из поэтов. Те и другие черты —
внутреннего родства и личной меты —
в их крепкой связанности встают со
страниц посмертной книги и журналь-
ных публикаций Сергея Орлова.

А. Пискач

„В ТЕ ГОДЫ ДАЛЬНИЕ, ГЛУХИЕ“

М. Олейник. Пролог. Авторизованный перевод с украинского Ю. Саенко. Изд-во «Советский писатель», М., 1979.

Одну из самых ярких фигур «Зем-
ли и воли» — Сергея Кравчинского
(Степняка) избрал украинский писа-
тель Микола Олейник героем своего
исторического романа. Этот выбор
представляется вполне оправданным —
о «рыцарском характере и отчаянной
смелости» Кравчинского писал Плева-
нов, его романтическая тень встает со
страниц блоковского «Возмездия», мно-
гие его черты воспроизвела в своем
Оводе Э. Войнич. Перед писателем
стояла более обширная задача — опи-
сать целую жизнь, проследить этапы
духовной борьбы и роста этого неисто-
вого борца за народное счастье.

Добровольно приняв участие в
борьбе против турецкого ига в Герце-
говине и в сражениях за свободу Ита-
лии, молодой революционер в 1878 го-
ду возвращается в Россию и осуществ-
ляет один из самых дерзких терро-
ристических актов землевольцев — в
самом центре Петербурга, на людной
улице ударом кинжала он сражает

шефа жандармов Н. Мезенцова и уез-
жает в поджидавшем его экипаже.
Впоследствии, выполняя волю органи-
зации, он бежит за границу, где ста-
новится известным писателем, автором
многих книг о России и русских рево-
люционерах.

Несомненно, ведущей в романе
Олейника является героическая тема.
Жажда подвига, решимость «прожить
жизнь не червем, а орлом» характе-
ризуют образ Кравчинского в романе.
Таким он был и в действительности,
судя по его делам и по созданному им
портрету революционера 70-х годов.
«Революционер ищет счастья других,
принося ему в жертву свое собствен-
ное... Весь поглощенный своей вели-
кой идеей, лучезарной, живой, как
благодатное солнце юга, он прези-
рает страдание и самую смерть готов
встретить с улыбкой блаженства на
лице», — писал Кравчинский.

Центральный герой не одинок в ро-
мане. К заслугам автора следует от-

нести и умение показать его в реальном историческом окружении. Достоверное, живое впечатление производят портреты С. Перовской, которую, по словам Кравчинского, «природа лишила способности чувствовать страх», вездесущего Александра Михайлова и ряда других революционеров, оставшихся в тени у истории, но в действительности питавших «родник скромного, анонимного героизма», без живительной влаги которого были бы бесильны и «Земля и воля», и народовольцы.

«Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий...» — писал В. И. Ленин, и автор как бы кладет эти слова в фундамент своего романа. Однако он превосходно помнит и критические высказывания В. И. Ленина о терроре как симптоме и спутнике неверия в политические формы революционной деятельности, о том, что народовольцы «суживали политику до заговорщической борьбы», и это было их величайшей ошибкой и слабостью.

Известно, что установка на террор как главную форму борьбы, принятая землевольцами во второй половине 70-х годов, не вызвала сочувствия в широких массах, привела к трагическому разрыву революционеров с народом. Эта атмосфера трагизма, предчувствия обреченности их движения, зреющего в сознании главного героя и его соратников, поистине ощущается в романе. «Кто же прав? Бакунин, Лавров, Плеханов?.. Или Маркс? Слово или дело? Пуля или пропаганда?.. Верно ли он сделал, что убил Мезенцова? Ведь на место того стал другой, не лучший?.. Чего же тогда стоит его поступок, его покушение?..» — спрашивает себя герой романа. Все больше убеждается он в правоте Плеханова, говорившего, что молодому поколению следует дать в руки не бомбу или кинжал, а идею, что без освоения политической программы массами всякое стихийное движение обречено на провал. «Терроризм как система отжил свой век, и восстановить его невозможно», — напишет Степняк-Кравчинский в 1893 году, за два года до своей безвременной случайной смерти под колесами поезда в Лондоне. Эту мысль вкладывает в уста героя и Олейник. «Я не считаю это убийство (Н. Мезенцова. — Ю. П.) героизмом... С теперешних своих позиций мы смотрим на прошлое несколько по-иному», — говорит Кравчинский в романе.

Ценность книги Олейника заключается именно в том, что он не только проследживает вехи биографии своего героя, но и показывает путь револю-

ционера-народника к сближению с научным социализмом в ходе острой идейно-политической борьбы 70—90-х годов прошлого века.

Не менее важен и другой аспект романа — нравственно-этический. «Оправданы ли любые средства борьбы, если они ведут к достижению высокой цели?» — спрашивают себя ее герои. Быть может, ради победы революции допустимы ложь и обман, шантаж, мистификации, предательство, сотрудничество с царскими властями, связь с уголовным миром, как утверждал организатор тайного общества «Народная расправа», фанатик и в то же время авантюрист С. Нечаев? «Нравственно все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему», — писал он в «Катехизисе революционера» (интересную статью об этом документе опубликовала в 1968 году Н. Пирумова в альманахе «Прометей», № 5).

Иезуитские методы Нечаева были отвергнуты громадным большинством русских революционеров. К числу их принадлежал и Кравчинский. В романе это находит отражение в его разговоре с П. Лавровым, в конфликте с П. Войнаральским, в осуждении действия Я. Стефановича, мистифицировавшего в 1877 году население Чигиринского уезда фальшивой царской грамотой, призывавшей народ к восстанию. И действительно, Кравчинский называл план Я. Стефановича «поразительным по смелости и бесстыдству». «Какой урок мы, старики, преподнесем ей (молодежи. — Ю. П.), если не выскажемся резко отрицательно по поводу таких кривых действий, как... Чигиринское дело?» — писал он Вере Засулич. По сути дела, весь образ рыцарски благородного Кравчинского в романе построен на полемике с «нечаевщиной», отвергающей за революционерами право на естественные человеческие чувства, требовавшей от них презрения к общественному мнению и общественной нравственности.

Внутренне добрым, страдающим человеком предстает перед читателем Кравчинский в романе Олейника перед совершением террористического акта. Трижды не решается он поднять руку на палача, встретившегося с ним лицом к лицу. «Кто бы он ни был, этот Мезенцов, но он — человек», — думает этот испытанный боец, не склонивший головы под пулями на полях сражений. Именно таким изобразил Кравчинского Блок («Взгляд карих глаз сурово-кроткий...»), таким описал революционера-террориста и он сам в романе «Андрей Кожухов», носящем в значительной степени автобиографический характер. «Не довольно ли убийств и кровопролития? Чего, кроме еще больших ужасов, мы добьем-

ся?» — спрашивает Андрея его соратница по борьбе Тая, и эти слова звучат как тайный крик души самого героя.

Значительный интерес представляют и две последние части романа, описывающие жизнь Кравчинского после его вынужденной эмиграции. Смелый революционер не принадлежал к тем политическим эмигрантам, у которых оставалось лишь прошлое и не было будущего. Поставив себе целью опровергнуть сложившееся за границей представление о русских революционерах как о разрушителях, не имеющих никакой позитивной программы, он в 1881 году пишет на итальянском языке серию очерков «Подпольная Россия» и вскоре публикует их отдельной книгой в Милане. Позднее в Англии выходят написанный им на английском языке «Андрей Кожухов» и другие произведения.

Так Степняк-Кравчинский становится посланником русских революционеров за рубежом. Чрезвычайно широким и плодотворным оказывается его влияние. Познакомившись с его книгами, Э. Золя и А. Додэ вводят образы русских революционеров в свои произведения, творчески использует свою многолетнюю дружбу с ним Э. Войнич, его идеями глубоко заинтересовываются У. Моррис, Б. Шоу, О. Уайльд и Г. Уэллс. Во время своего лекционного турне по США он знакомится с Марком Твенном. Позднее, прочитав «Подпольную Россию», вели-

кий свободолобец напишет автору о глубоком восхищении, которое вызвала у него самоотверженность его героев.

Открывая зарубежным читателям глаза на истинное положение дел в царской России, Степняк-Кравчинский многое обрел за границей и для себя. Особенно важную роль в его эмигрантской жизни сыграла дружба с Энгельсом, чьи удивительная прозорливость и научный склад мышления помогли Кравчинскому глубже осознать мировые законы исторического развития и их влияние на судьбы России.

Писать роман о писателе нелегко. И все же следует признать, что Олейник с честью справился с этой трудной задачей. С величайшей деликатностью использует он биографию и материал произведений Степняка-Кравчинского, не стремясь к острому сюжету, уделяя главное внимание душевной борьбе и идейным исканиям своего героя. С любовью подмечает он в Кравчинском национальные украинские черты (мать революционера была украинкой) и в то же время широко показывает интернациональный характер его деятельности. Романтическая по духу и вместе с тем глубоко реалистическая книга Микола Олейника представляет собой один из лучших образцов современной украинской исторической художественной литературы.

Ю. Петровский

НА ПОВОРОТЕ

*Виктор Коротаев. Чаша. Стихи. Изд-во «Молодая гвардия», М., 1978;
На свидание. Повесть и рассказы. Изд-во «Молодая гвардия», М., 1978.*

...На свете много совестливых людей. Открываешь книгу вологодского поэта и находишь:

Доживешь ли до звездного часа,
Ошутимый оставишь ли след,
И откуда ты, собственно, взялся,
И зачем появился на свет?

...Но, корпя над задачами века,
От бессонниц сгорая давно,
Я жалею того человека,
У которого все решено.

Что ж, такая постановка вопроса вызывает доверие. Это стихи Виктора Коротаева, подошедшего к своему сорокалетнему рубежу в состоянии творческого беспокойства и непрекращающегося душевного движения. Его литературная судьба развивается благоприятно: он выпустил около десятка стихотворных сборников, а недавно вышла его первая книга прозы.

Студенчество, сельское учительство, армейская служба дали Коротаеву полнокровный жизненный материал, который, как видим теперь, не уместился в поэтические книжки и потребовал прозы. Каковы же характерные черты лирики Коротаева и в каком взаимодействии с ней явилась его первая проза?

Почти все стихи Коротаева автобиографичны, что для нашей поэзии не новость, а выверенная масштаб личности автора традиция; в автобиографических же стихах Коротаева разворачивается большая лирическая повесть о духовном становлении человека нашего времени, о постепенном приобщении его к народному опыту.

Бросается в глаза, особенно в последних книгах стихов Коротаева, отсутствие метафорической оснащенности. Автологическая нагота коротаевской поэтической речи органична, по-

тому что суть его природы и лирического темперамента в открытости живого чувства. В то же время нередко в стихах его молодости познание житейских истин выдавалось Коротаевым за философские обобщения, лирическим зарисовкам приписывалась ложная многозначительность («И в нашей собственной крови, и в нашей доле костер тревоги и любви, борьбы и боли»), щедрость отклика на малейшее движение души оборачивалась многословием и необязательностью фиксирования в поэтическом слове. Недостатки эти преодолевались уже в книге «Солнечная сторона», а в «Чаше» все заметнее концентрированность лирического переживания, сосредоточенность на душевном опыте. Все меньше в словаре поэта «золотых яблок», «полночных безрассудств» и прочих «жертв красоте», все чаще лиризм сказывается в поэтизации обычной, повседневной жизни родимой земли («Увижу, как вдали дрожит осинка, как снова собирается гроза, как под ногами мечется былинка, — и слово навернется, как слеза...»).

Есть еще одна особенность лирики Коротаева, которая, на мой взгляд, мешаает поэту вырваться не столько из привычного круга тем, сколько из добровольного заточения своей духовной сущности в так называемую поэзию «нутра». И дело не только в том, что своими же стихами «Старики», «Старый профессор», поэмой «Славянка» Коротаев противоречит сам себе. Духовность и развитость, образованность и внутренняя культура подчас ощущаются как некое «излишество». К примеру, поэт в неоправданной горести восклицает: «И целый вечер опять средь развитых и разумных я вынужден прозябать.. У них ни за что на свете душа не болит!» Если автор имеет в виду носителей интеллигентного мещанства, то это не беда, беда — в неразумном противопоставлении «крестьянского начала» всякой городской, всякой «университетской культуре».

И все же лирическая одаренность В. Коротаева оказывается сильнее запрограммированной полемической позиции, в лучших стихах поэта побеждают духовное беспокойство, напряженность поисков правды. В стихотворении «Мы прожили лучшую пору» есть дыхание драматизма, горечь памяти об утраченных возможностях, ощущение жизни как беспредельного творческого беспокойства.

Страх перед повторением самого себя, определение тупика — вот начало исцеления и начало борьбы за расширение творческого горизонта.

Уже в стихах «Затесковал по малой родине», «Дорога пройдет за деревней», «На громовом аэродроме», «Выбор» были заметны эпические прожилки, живая ткань коротаевского

стиха сопротивлялась проволочным каркасам прозаических композиций. Поэтическая система Коротаева по своему словарю близка народной песне и даже романсу, она не выдерживала нагрузки многослойных современных реалий и требовала разрыва, уходила в почву прозы.

И проза приняла этот новый материал. В первую прозаическую книгу В. Коротаева вошли дюжина рассказов и одна повесть о молодых сельских учителях.

Обратимся к рассказу «На свидание», который дал название и всему сборнику, что, видимо, не случайно. Ослепшая от старости бабка Катерина Вячеславовна вместе с внуком Шушкой (ему сопроводить бабку не хочется) посещает старое деревенское кладбище, где лежит бабкин муж. «Кроме этой могилы, у нее, видно, уже никого не было в людном мире, кто бы захотел, не перебивая и не тяготясь, выслушать ее до конца». В хлопотах по сборам и в монолог бабки, обращенном к умершему деду, — весь рассказ. Рассказ небольшой, а впечатление большое. Короткое произведение вместило образы молодости и старости, жанровую картинку, притчу, жалобу, лирический пейзаж, пронзительную элегию. Вот на пробу одно только предложение с информационной нагрузкой: «Она снова приехала на могилу к своему мужу, с которым за долгий переменчивый век нажила шестерых детей, поставила не одну тысячу стогов и переплестала столько земли, что если бы соединить всю вместе, то этому бы полю не было видно предела». Цитируя стихи, мы выхватываем строфу из контекста, подкрепляя логический ход мысли, а теперь уж по инерции выхватили кусочки прозы, — емкость и пространство этого лаконичного периода очевидны.

Рассказ «На свидание» помещен предпоследним в сборнике, но память подскажет: с Катериной Вячеславовной читатель встречался где-то в середине книги, она же — героиня рассказа «На молоко». Там бабка еще не совсем ослепла, после всех медицинских вмешательств у нее осталась одна надежда — на молоко, на лечебное свойство его, но Катерина Вячеславовна, полуслепая, плохо передвигающаяся, упрямо идет с подругой своей в лес, по ягоды, — столько в ней жизнелюбия, внутреннего осознания своей незаменимости на земле, народного духа.

Старики и старухи верховодят почти во всех рассказах Коротаева. Вот и одинокая старушка Парменовна («С луком»), казалось бы, все в суете, то возится с внучком Минькой, то точит лядсы с соседкой, наконец собирает мешки с луком и сдает их на приемный пункт. Но живость этой

старушки, великолепный русский язык, который так и переливается в ее речи, ее постоянная доброта, широкая, незаметная, вся упрятанная в мелкие подробности жизни, ее великодушные — все это, одним словом, вылипло характер выносливый, цепкий к жизни. На вопрос стародавней подруги Егоровны — хорошо ли она живет, покинутая детьми старенькая Парменовна частит: «А хорошо. Что худо жить, только маяться. Ребята все женились, дочки замуж повыскакивали. Кажинный день то от одного, то от другого то привет, то посылочка. Римка на Черном море живет, Генка в Череповце, Ленька с трактористов снялся, теперь механиком форсит. Сама всю картошку выкопала. Да приезжали производственницы-то; у меня стояли, так подмогнули. Зиму теперь как-нибудь пропелегаюсь». Нет, никак не назовешь этих старушек носительницами окаменевших патриархальных традиций. А несут они в себе духовный свет незаметного подвига жизни: в хлопотливом и ежечасном участии в заботах своих односельчан, своей семьи, пусть разбросанной по свету, — не зря живут на земле!

В книге «На свидание» есть рассказы с жесткой неоднозначной сатирической почвой («Резолюция», «Трофическая язва»), есть рассказы лирические и тяготеющие к анекдоту.

В крылатом пространстве стиха («День был красный») В. Коротаяев создает образ другой старушки, своей родной бабки, и озаряет его историческим светом («Укатилось то пасхальное яйцо. Изменилось молодуюшконо лицо. Три войны сумела вынести на плечах...»), возносит его над просто-

рами России и возвращает каждому читателю раздумьями о своей матери, о женской доле.

Василий Белов написал послесловие к сборнику прозы В. Коротаяева. Известный писатель испытывает некоторое смущение, представляя прозу поэта, и спешит ответить на вопрос — что же дает прозаик поэтическая школа? По мысли Белова — в первую очередь «ритмичность», затем — «фраза у рассказчика, который умеет писать стихи, не может быть косноязычной», такой прозаик вернее найдет свой стиль, интонацию, умелую композицию.

В своих частностях, может быть, эти наблюдения и верны. А на мой взгляд, проза в своей целостной художественной структуре живет по своим внутренним законам, а поэтическая школа того или иного писателя, будь то Бунин или Пастернак, Исаковский или Гамзатов, может сказаться не во взаимодействии отдельных компонентов художественного организма, а в общей направленности таланта, в уровне духовного горизонта.

Оттого-то и в случае с Коротаяевым его первая книга прозы не повод к умилению новыми возможностями поэта, а свидетельство полноправного участия в живом литературном процессе художественной прозы наших дней.

Виктор Коротаяев на повороте, на повороте к новым рубежам своего творческого роста, и его новые работы и в стихах и в прозе убеждают в том, что у него есть для этого дальнего пути духовные ресурсы.

Михаил Коносов

ЛЕРМОНТОВ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Сборник. М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Изд-во «Наука», Л., 1979.

В составе редакционной коллегии этой книги, подготовленной Пушкинским домом, наряду с академиком М. П. Алексеевым и известным ленинградским лермонтоведом В. Э. Вацуро — профессор Корнельского университета США А. Глассе. Эта исследовательница явилась инициатором совместного советско-американского изучения альбомов с автографами и рисунками Лермонтова, приобретенных Колумбийским университетом (США) у потомков близкой поэту семьи Верещагиных или оставшихся у наследников этой семьи в ФРГ. И если автографы текстов были ранее известны нашей науке и отчасти исследованы и использованы текстологами, то живописно-графическое наследие Лер-

монтова, собранное в этих альбомах, из научного оборота было почти совершенно исключено. Впрочем, изучать все это было практически и невозможно без рассмотрения верещагинских альбомов в единстве с теми источниками, что хранятся на родине поэта, с завоеваниями советского лермонтоведения вообще. Задачу объяснить все эти материалы, ввести их в общее русло проблем исследования биографии и творчества Лермонтова и поставили перед собою составители и авторский коллектив сборника.

Лермонтовские автографы в альбомах Верещагиных — тема исследования Т. П. Головановой. Здесь впервые в нашем лермонтоведении приведено их полное описание (на основании

предоставленных А. Глассе данных), изложена история изучения верещагинских архивов в советской и зарубежной филологической науке. Текстолог и комментатор ряда авторитетных изданий сочинений Лермонтова подвергает каждый автограф поэта тщательному анализу, выявляя их роль и значение в творческой истории лермонтовских произведений, — а роль эта в ряде случаев достаточно велика, и тому приводятся убедительные доказательства; упомянем хотя бы, что данные верещагинских альбомов весьма существенны для истории воплощения замысла стихотворений «Желанье» и «Узник». В отношении некоторых стихотворений альбомы дают не просто варианты, а основной источник текста.

Второму пласту лермонтовских материалов из архива Верещагиных — акварелям и рисункам — посвящена статья Е. А. Ковалевской. Здесь воспроизведены двадцать пять живописных и графических работ поэта — прекрасный подарок всем его почитателям! Им сопутствует подробный комментарий. Жаль, что в этом обстоятельном, скрупулезно исполненном труде описательный материал (безусловно важный), исторические и биографические реалии заметно потеснили искусствоведческий анализ. Тому виною не только ограниченность места (извечная беда работ о классическом наследии), но в первую очередь общая направленность сборника — историко-культурная и литературно-биографическая. Впрочем, тут есть и еще одна причина, которую проясняет примыкающая к работе Е. А. Ковалевской статья К. Н. Григорьяна о Лермонтове-художнике: исследователям приходится сталкиваться с довольно суровыми оценками этой грани деятельности поэта, обусловленными его погрешностями в технике. Однако, как справедливо замечает К. Н. Григорьян, «изучение живописного наследия Лермонтова параллельно с его литературным творчеством под единым углом зрения может дать много существенного для понимания как личности поэта, так и характера его мирозерцания». Что ж, любой историко-культурный труд ценен не только позитивными результатами, но и поставленными проблемами.

О том, что изучать творчество большого писателя на базе лишь отдельных источников трудно, свидетельствуют работы В. Б. Сандомирской и И. С. Чистовой, обратившихся к материалам наших отечественных архивов. Объект первой из этих статей — так называемый «Альбом М. М. Лермонтовой». Подвергая сомнению принятые в науке утверждения о принадлежности этого альбома, автор выдвигает и обстоятельно обосновывает свою версию,

что дает возможность более отчетливо, чем ранее, определить роль в жизни Лермонтова его родственницы Марии Акимовны Шан-Гирей. Рассмотрение И. С. Чистовой альбома А. А. Капниста (внучки декабриста) позволяет внести новые штрихи в изучение темы «Лермонтов и декабристы». Помимо А. И. Одоевского, В. Н. Лихарева, Н. И. Лорера, место которых в биографии великого поэта освещено в литературе с достаточной основательностью, перед читателем возникает колоритная фигура близкого декабристам М. В. Дмитриевского, гораздо менее известного даже историкам и тем более — неспециалистам.

С удовлетворением обнаружит читатель в оглавлении книги имени И. Л. Андроникова и Э. Г. Герштейн. Пожалуй, именно этим двум ученым современное «академическое» лермонтоведение в значительной степени обязано тем, что вышло далеко за границы профессиональных интересов и стало достоянием, как говорили в старину, читающей публики. Тема их новых работ (как и большинства прежних) — Лермонтов в современном ему обществе.

...Тридцатые годы XIX столетия. Время, когда авангард прогрессивно мыслящего дворянства разгромлен самодержавием, а социальные силы, идущие на смену этим людям, еще не сформировались и не окрепли. Политические союзы и общества как форма идейного протеста сменились дружескими кружками. Одним из них был петербургский «кружок шестнадцати» — сообщество молодых аристократов, преимущественно гвардейских офицеров, притягательным центром которого, как доказательно свидетельствует И. Л. Андроников, являлся Лермонтов. Единство друзей было довольно зыбким, ибо для одних членство в этом кружке было результатом аристократического фрондерства (как оказалось, недолгого), для других — проявлением стойкой жизненной позиции. Но в какой-то момент всех их объединяло активное неприятие любых форм угнетения личности — идеологических, духовных, моральных, любых посягательств на честь и достоинство человека, на которые была так щедрна империя Николая I. Что представляло ее всемогущих правителей мстительно и злобно преследовать скромного гусарского поручика (то, что он — первый поэт России, значения не имело)? Тщательно сопоставляя факты и обстоятельства, исследователи приходят к выводу — не только «стих, облитый горечью и злостью»!

Не менее характерным явлением времени, чем подобные кружки, были литературные салоны. Один из них сформировала дочь замечательного писателя и историка, одна из самых образованных и одаренных женщин

тех лет — Софья Николаевна Карамзина. О связи с этим салоном биографии и творчества Лермонтова в характерной для него манере, где строжайше выверенная верность правде эпохи и факта сочетается с эмоциональностью и проступающей в каждом слове любовью к поэту, повествует один из старейшин советского лермонтоведения В. А. Мануйлов. К его работе тематически примыкает статья М. И. Гиллельсона, где идет речь о бытовании лермонтовской поэзии еще в одном литературном салоне.

К этой же группе материалов сборника следует отнести и статью А. Глассе «Лермонтов и Е. А. Сушкова». О месте этой женщины в биографии поэта писали много. А. Глассе сумела обогатить старую тему не только новыми данными, нестандартной интерпретацией лермонтовского байронизма, но и тонким проникновением в характер эпохи и в атмосферу среды, в которой вращался Лермонтов, где модель житейского поведения включала в себя «элемент иногда не вполне осознанной литературной „игры“».

Современный сборник трудов о литературе немислим без публикаций новых текстов. Богато представлен этот род научного творчества и в книге Пушкинского дома — новые лермонтовские документы публикуют Л. Н. Назарова, Э. В. Данилова, В. А. Мануйлов, П. Р. Заборов. В их числе — ученические конспекты периода пребывания в благородном пансионе Московского университета и юнкерской школе, то есть тех лет жизни поэта, сведения о которых особенно скудны. В статье Л. М. Аринштейн рассматривается почти совсем неизвестная науке работа о Лермонтове, написанная в Лондоне при участии А. И. Герцена, — важнейший факт и

русской критики и русско-английских литературных контактов.

Ну а что же собственно история литературы, неповторимый творческий мир Лермонтова? В малоизвестную сферу этого мира вводит нас статья В. Э. Вацура о повести «Штосс». Чем обусловлен выход из-под пера автора «Героя нашего времени» вещи, которая в разное время воспринималась то как «мистическая гофманиада», то как произведение «раннего русского натурализма»? «Она близка, — пишет Вацура, — к устному анекдоту, и в этом ее принципиальное отличие от литературной и философской фантастики. В повести Лермонтова «действительность» узнавалась слушателями как их собственный повседневный быт. Фантастика приближалась к ним, приобретая черты зримой реальности».

Завершает книгу цикл маленьких заметок: о некоторых аспектах звучания или восприятия отдельных лермонтовских произведений (В. Н. Турбин, Э. Э. Найдич), судьбе лермонтовского наследия на Украине (И. Я. Заславский), образе поэта в художественной литературе (Б. Л. Бессонов) и ряд других. Частности? Но вспомним: фактических сведений о Лермонтове у нас едва ли не меньше, чем о любом русском писателе его масштаба, на что сетовал еще А. А. Блок. Со времен Блока многое, разумеется, изменилось, однако и сегодня «белых пятен» в лермонтовской поэтической биографии еще хватает, и освоение каждого из них — событие. А база для таких находок не исчерпана — тому свидетельством книга, которую мы с удовольствием рекомендуем читателю: она, несомненно, обогатит его представления о Лермонтове — поэте и человеке.

А. Ходоров

ЛГУТ ЛИ ЗЕРКАЛА?

Стадс Теркел. Работа (Люди рассказывают, чем они занимаются весь день и что об этом думают). «Иностранная литература», 1976, № 1.
Стадс Теркел. Работа (Люди рассказывают о своей каждодневной работе и о том, как они к этой работе относятся). «Прогресс», М., 1978.

Еще в 20-е, начале 30-х годов в США были проведены социально-психологические и социологические исследования, посвященные формированию у рабочих интереса к профессии, занятиям. Итог изучения был неутешительным: работа для большинства людей монотонна, и существует один способ избежать этого — сократить число рабочих часов в неделю и увеличить эффективность методов развлечения во вне рабочее время. В 50-е годы, как показали новые исследования, картина не изменилась.

И вот перед нами материалы 70-х годов — книга американского публициста С. Теркела «Работа», изданная в Нью-Йорке в 1974 году. Три года велась подготовка этой книги — 130 с лишним человек разных профессий рассказывали журналисту, державшему в руках портативный магнитофон, о своих будничных делах, заботах, планах, переживаниях и радостях.

Литератор с магнитофоном — не новость для документальной прозы. У того же С. Теркела подобный метод сбора материала лег в основу созда-

ния книг «Улица Разделения: Америка» (1968), «Тяжелые времена: устная история Великой депрессии» (1970). Советскому читателю знакомы книги-репортажи шведской писательницы Сары Лидман «Рудник», финской журналистки Марьи Леены Миккола «Тяжелый хлопок» и другие.

Но чем же выделяется на этом фоне работа американского публициста? Прежде всего — размахом, тщательностью и глубиной изучения реальных процессов, протекающих в жизни. Богатством разнообразной — экономической, бытовой и специальной — информации. Мастерством, с которым запечатлены монологи-рассказы и вкраплены в текст психологические детали, биографические подробности жизни встреченных автором людей. По словам С. Теркела, это книга также «о поисках насущного смысла жизни, а не только хлеба насущного, признания, а не только денег, удивления, а не только отупения; короче, о поисках своего рода жизни, а не умирания с понедельника по пятницу».

Группа переводчиков взяла примерно четвертую часть текстов оригинала, так сказать, выпилив кусок зеркала. Но и этот сокращенный перевод позволяет судить как о трудах и днях современной Америки, так и о мастерстве публициста, его умении подать в сжатой форме интервью разнообразие интонаций, лаконичную образность, сюжетную коллизию.

В рукописи К. Маркса, известной под названием «Экономическо-философские рукописи 1844 года», определяется понятие «самоотчуждение» — отчуждение в самом процессе труда — и раскрывается его характерная особенность: рабочий чувствует себя не счастливым, а несчастным; изнуряет свою физическую природу и разрушает свой дух; только вне труда чувствует себя самим собой.

И рассказы сельскохозяйственного рабочего, электросварщиков, служащей авиакомпании, актера, грузчика дробилок и даже профсоюзного лидера, десятков других подтверждают документально это положение.

Даже 18-летняя телефонистка осознает, что она «всего лишь инструмент». Служащая авиакомпании говорит о себе, что она «словно бы придаток к компьютеру». «Абсолютно убеждена, что большинство из нас выполняет работу, которая обезличивает человека, превращает его в машину», — считает Полин Кел, кинокритик.

27-летнему электросварщику Филу Столлингу на автосборочном заводе Форда платят прилично — 4 доллара 32 цента в час. Но работа для него — своего рода беличье колесо: «Я топчусь на одном месте площадью в два-три фута до глубокой ночи (он в третьей смене — с 15.30 до полуночи. — Т. Ж.)...

Тридцать две точки сварки на машину, на кузов, сорок восемь кузовов в час, восемь часов в день... Тридцать два на сорок восемь и на восемь. Вот сколько раз я нажимаю кнопку... Все одно и то же, одно и то же, и потому, если начать думать про работу, малопомалу спятишь».

По соседству с ним на конвейере занимается сваркой 29-летний Джим Грейсон. Теркел, помещая их рассказы рядом, подводит читателя к мысли о сопоставлении двух сверстников, имеющих одну и ту же профессию, но отличающихся цветом кожи и соответственно мироощущением, ориентирами в обществе.

Столлинг три года работает на заводе. Он рассказывает писателю о своих производственных травмах, весьма неприязненно относится к мастерам и вышестоящему начальству, которое для него довольно безлично — «они». Его планы — стать подменщиком: «Хватит с меня топтаться на одном месте. Подменщик чуть не каждый день на другой операции. Вместо того чтобы изо дня в день стоять тут восемь часов, я бы то на одном участке поработал, то на другом. Каждый день что-нибудь новое». Он и теперь из 60 конвейерных операций мог бы выполнить чуть ли не половину.

В отличие от белого, черный электросварщик учится в Рувельтовском университете, изучая управление промышленностью, и намерен специализироваться по корпоративному праву. «Что угодно, только не завод», — заявил он Теркелу. Если бы Джим Грейсон был белым, он бы постарался найти себе другую работу, «не такую занудную». Для Грейсона в манипуляциях сварочным аппаратом нет ничего человеческого. Он не скрывает, что ненавидит завод, мастеров — «плюгавых человечков в белых рубашках». Образование, более высокое, чем у Столлинга, аналитический склад ума не могут не привести его к обобщениям. Его оценки четки и определены: «Завод — это Соединенные Штаты в миниатюре. Тут представлены все слои общества, все культуры». Но мастера почти все без исключения «белые», готовые пойти на все, лишь бы поднять производительность труда.

Грейсон мыслит социальными категориями, склонен к анализу и вкратце обрисовывает положение дел на заводе: огромная текучесть, много прогулов, особенно по понедельникам. Рабочие автопромышленности становятся все моложе и «все чернее». При разборе жалоб в 99 случаях компания выходит победительницей. Думается, закономерно, что именно этот человек вступил в стычку с мастером, отстаивая свое право на элементарное уважение, и тем самым подтолкнул других к активным действиям.

Столлинг — не Грейсон, он не собирается расставаться с заводом — ему до пенсии еще трубить... двадцать семь лет. Поэтому-то он «не задирается» и не лезет на рожон. Его можно считать осторожным и благонамеренным американцем. Однако он из солидарности с Грейсоном бросил, как и другие сборщики, конвейер. С подъемом он рассказывает о случившемся писателю и тут же подсчитывает: «Форд потерял на этом машин двадцать. Скажем, по пять тысяч машина, сколько же это выходит?»

Джим Грейсон, вспоминая это стихийное проявление солидарности, заметил, что, для того чтобы «развалить карусель», требовалась смелость.

Соприкасается с вышеприведенными двумя интервью и рассказ 29-летнего Гэри Брайнера. Брайнер работал подменщиком на сборке автомобилей фирмы «Дженерал моторс», то есть занимался делом, о котором мечтает Ф. Столлинг. И что же в результате? То же давление «бронированного кулака» со стороны администрации. Людей подгоняют, заставляют все делать быстро, быстро. «А если кто не может или не хочет — пинок под зад и до свиданья».

Теперь Брайнер — руководитель местного отделения профсоюза, и от имени молодого поколения рабочих он заявляет, что «человеческое достоинство важнее доходов и прибылей... Мы не хотим работать сверх нормы, а какой должна быть норма — об этом мы с вами будем договариваться».

Доходы и прибыли определяют судьбы и в профессиональном спорте. Эрик Нестеренко, 38-летний хоккеист, с горечью признает, что он — чужая собственность. По его словам, хоккей превращается в паскунную работу. «Победа — наш товар. Его мы сбываем тем, кому не приходится побеждать в повседневной жизни. Они отождествляют себя со своей командой, а та обязана побеждать». Размышляя вслух о профессиональном спорте, хоккеист приходит к заключению, что подобный деляческий подход — отражение американского образа жизни: «Хочешь утвердить себя — победи».

Даже манекенщица Джилл Торренс, которой платят по высшей ставке — 50 долларов в час, не получает удовлетворения от работы. А в глазах уборщицы Мэгги Холмс — Торренс, чье лицо мелькает на страницах журнальной рекламы и на экранах телевизоров, фото модель высшего класса. Холмс и Торренс разделяют не ступени — пролеты социальной лестницы. Чернокожая уборщица с четырьмя детьми еле-еле сводит концы с концами. «Бедность — вот и все мое психологическое состояние, — говорит она. — У меня оно зависит от работы, от того, хватит ли денег накормить детей».

Целая портретная галерея выстраивается перед нами, когда закрываешь последнюю страницу книги С. Терке-ла. Это люди разного возраста — от 17-летнего разнорабочего в универсаме в пригороде Лос-Анджелеса до 70-летнего провизора «аптеки на углу».

Нельзя не отметить и форму приведенных рассказов. Иногда это монолог, иногда — беседа по типу «вопросы — ответы». В ряде случаев рассказ сопровождается комментариями или жены рассказчика, или присутствующих при записи интервью сослуживцев. Даже ремарки — «смеется», «растерянно умолкает», «вздыхает», «теряет ход мысли» — привносят в текст книги непосредственность встречи, незапрограммированность эпизода.

В оригинале фактически представлены все главные профессии, распространенные в американском обществе. К сожалению, в изданной «Прогрессом» книге их нет. Взят неоправданный крен для ознакомления с лицами, занятыми в сфере услуг. Но по данным 1974 года в промышленности и строительстве США действует 30,8 процента экономически активного населения. В русском переводе представлено всего 3 человека: два электросварщика и рабочий ОТК сталелитейного завода являются представителями этой группы трудящихся. Вряд ли стоило, учитывая сокращенный объем книжного перевода, включать беседы с портье, продавщицей косметики, пианистом в баре, курьером в газете и могильщиком, оставив при этом за бортом строителей, шахтеров, бульдозеристов, шоферов, фермеров.

Когда книга С. Терке-ла вышла в свет, она стала бестселлером, и критики назвали трудовую массу, чей голос звучал с ее страниц, великой человеческой рекой. Воспользуемся этим сравнением и заметим, что течение реки, мощь ее потока зависит от силы ветра, времени года, рельефа берегов, зависит от препятствий, возникающих на ее пути. Удивительное постоянство характерно для людского потока, отраженного в «зеркале» С. Терке-ла, — хроническая массовая неудовлетворенность работой, неудовлетворенность, таящая в себе непредсказуемые социальные всплески. «Степень этой неудовлетворенности и тревоги еще не полностью известна, — заявил в сенате Эдвард Кеннеди. — Не совсем ясно также воздействие этого недовольства на духовное и физическое здоровье рабочих и на производительность труда в нашей стране».

Ответом на это будут не поиски рецептов «гуманизации» труда, а новые произведения прогрессивных американских публицистов, социологов, писателей-реалистов.

Т. Хомякова

Е. Шереметьева. Ветер стихает. Изд-во «Советский писатель», Л., 1979.

Главная героиня новой книги Е. Шереметьевой «Ветер стихает» — женщина, наша современница. И хотя речь идет о разных лицах, о разных характерах, за ними встает образ времени, целой исторической эпохи, начиная с 1920-х годов («Наводнение»), через послевоенное строительство («Поселок „Победа“»); и проследживается до наших дней. Люди вырастают и мужают вместе со страной.

В первых рассказах мы видим героиню Шереметьевой еще совсем молодой, но уже имеющей сильный характер, волю, подлинное человеколюбие, преданной своему делу, творчески относящейся к жизни. Немало трудностей встречается на ее пути. Но в любых, самых сложных ситуациях она способна бороться за свое человеческое достоинство. Это — натура цельная и целеустремленная, от жизни требующая многого и щедро дарящая людям тепло своего сердца.

Но идет время, люди вступают в иную пору жизни. Появляются иные интересы и заботы. Не менее важны и раздумья Шереметьевой об искусстве быть бабушкой.

Ее бабушка прежде всего — мать своих взрослых детей, остро переживающая неурядицы и разлады в семье, тонко и деликатно старающаяся помочь. Чаше окруженная многочисленной семьей, а иногда до обидности одинокая («Теплый подъезд»), но всегда чуткая и любящая.

И конечно же, в результате тонкой наблюдательности писательницы в центре ее внимания оказываются человеческие отношения вообще. Их ценность и смысл. Так или иначе этой темы касаются все ее рассказы. Но особенно примечателен в этом отношении заключительный рассказ «В дороге». Очень интересные диа-

логи ведут между собой случайные путчики.

Вместе со своими героями писательница гневно клеймит предательство, ложь, мещанство, пошлость, «безразличную доброту».

...Итак, ценность и смысл человеческих отношений, любовь, доброта, взаимопомощь. Один из ее героев цитирует А. С. Макаренко: «Любовь — это тоже деятельность». И еще: любовь — это талант. А другой спрашивает: «А если не талант, а так... способности?»

«...Способности можно развивать. И можно учить любить», — говорит Шереметьева словами одного из своих героев.

Этой трудной и такой необходимой науке посвящена по существу вся книга Е. Шереметьевой. Книга добрая и светлая, не оставляющая равнодушным внимательного и требовательного читателя.

М. Григорьева

Владимир Арро. Завод как на ладони. Изд-во «Детская литература», Л., 1979.

Герой новой книги ленинградского прозаика Владимира Арро — завод. Точнее сказать — современное производство и люди труда. Писатель-публицист ищет ответа на вопрос, что же такое завод, как там работают, как все организовано и налажено. Книга ставит вопрос, какие люди нужны современному производству...

Сегодня техника занимает такое значительное место в жизни общества, такими темпами идет научно-техническая революция, что показывать процесс усовершенствования производства, процесс обновления старых профессий и появления новых — задача не из легких. И эту задачу взял на себя автор.

«Следуя примеру знаменитых книг

о природе — «Лесной газеты», «Подводной газеты», — я решил книгу о производственной жизни людей тоже построить в виде „газеты“.

Словно целый трудовой год десятой пятилетки, двенадцать глав — выпуск книги «Завод как на ладони». План изложения материала строго логичен. Повторяются рубрики — «Мастера», «Заводские истории», «Путь к рабочей профессии», «НТР идет по стране». И в этой повторяемости хорошо продуманный порядок «экскурсии» по заводам: автор отлично понимает, что пишет для юного читателя, который о многом узнает впервые.

Арро хочет помочь этому читателю расти, помочь заинтересоваться одной из освоенных им самим профессий. Листая «Завод как на ладони», сегодняшний школьник словно сам проходит через заводскую проходную. Каждый раз — в каждом выпуске — через новую.

Горячо и сочувливо работают люди на общее благо — это основная мысль писателя. Каждая специальность нужна и почетна, о каждой он умеет рассказать интересно, увлекательно.

У Виталия Бианки в «Лесной газете» и у Николая Сладкова в «Подводной газете» своя манера разговаривать с юными. Пролетая эту богатую традицию советской литературы для детей, Арро вслед за открытием мира природы открывает творческий мир труда. Он словно предупреждает на каждом шагу: только на машины и механизмы рассчитывать не надо. Мыслительная, познавательная работа человека, занятого в современном производстве, очень важна. Без нее просто не обойтись!

«Ему, заводу, всегда будут нужны образованные, пытливые и смелые люди: станочники и конструкторы, технологи и экономисты, всевозможные специалисты вплоть до художников, кулинаров, цветоводов, врачей». И это не декларация. Работа о воспитании души определено чувствуется в авторской позиции, в том, как он решает поставленную в книге задачу. Неумоимо подчеркивает писатель, что мало только выбрать специальность на вкус, надо примерить к ней свой характер, свои способности, склонности...

А если нет ясных представлений о том, к чему надо примеряться? Вот и старается автор дать, как на ладони, производство металлургическое и часовое, судостроительное и ткацкое, кондитерское и станкостроительное. Сначала читатель не имеет — чаще всего не имеет! — никакого представления о них, а в конце «путешествия» по «Азовстали», по Петродворцовому часовому, по Черноморскому судостроительному, по ленинградскому объединению «Кировский завод» вооружается знаниями, такими необходимыми ему на пороге окончания школы или ПТУ.

Где шуткой, где умело поставленным вопросом, где, казалось бы, неожиданной для характера производства заниматель-

ностью автор буквально завоевывает читателя, обогащает его знанием важнейших деталей производства, подкупает своей искренней верой в то, что ему, завтрашнему хозяину всех разнообразных отраслей народного хозяйства, каждый фактик надо брать на заметку, все пригодится!

В книге воспеты рабочая инициатива, смекалка, трудолюбие. Причем помогало добиться этого разнообразие интонаций рассказчика. В книге есть прямые обращения к читателю, есть россыпь цифр и фактов, есть репортажи, очерки, документы, но есть и лирические отступления, которые прежде всего будят чувство.

В бесхитростном рассуждении о древнем «железодельце» («Моя находка») присутствует живая авторская мысль. Вопрос вроде бы обращен к самому себе: «Что найдут люди после меня?» Но каждый читающий невольно отнесет его и к собственной персоне. Вопрос тревожит, заставляет задуматься о важном. Что могут молодые, без большого жизненного опыта люди? Вчерашние школьники, «пэтэушники»? Оказывается, многое могут, если им доверяют, если в них заинтересованы всеядные («О чем плакала Вера»). В этой маленькой зарисовке полный оптимизма вывод: надо рисковать, ставить молодых к лучшим станкам в цехе, надо ждать от них серьезных успехов. Говорить об этом — тоже вооружать юного читателя, но уже не только знанием фактов, а и знанием психологии творчества, знанием законов коммунистического труда на производстве.

Стремление заставить юного читателя полюбить людей труда, ощущать желание влиться в рабочий строй чувствуется и в разговоре писателя о чести рабочего человека, который он ведет, прямо обращаясь к читателям. В письмах юных корреспондентов («Письма юнкоров») есть созвучная мысль: «Надо хорошо работать. Плохую статью выплавить, тогда будут плохие машины, станки и другие железные вещи».

Когда-то С. Я. Маршак писал, что убивают детскую книгу не проблемы морали, а только абстракция, схема: «Убивает резонерство, а вовсе не откровенность морального призыва. Если писатель делает моральный вывод с увлечением, со страстью, вывод привлекателен и для читателя».

По-моему, только такими — привлекательными окажутся выводы из этой «Заводской газеты», точнее было бы назвать ее заводской энциклопедией, не только для детского, а и любого читателя новой книги Владимира Арро. Немало способствовала этому и работа целой бригады художников — оформителей книги — Н. Андреевой, Е. Аносова, Е. Баскаковой, А. Белолипецкой, В. Гусева, О. Зуева, Б. Керта, А. Короля, Н. Лаврухина, В. Толкова, В. Цикоты.

Л. Канунова

Черкез-Али. В объятиях зари. Изд-во «Советский писатель», М., 1978.

Автор ряда поэтических сборников татарский поэт Черкез-Али известен широкому кругу читателей оригинальными стихотворениями и поэмами. На его слова написано много песен.

Роман «В объятиях зари» — первое крупное прозаическое произведение автора. В нем изображены события послевоенных лет, освоение целинных и залежных земель. Действие романа происходит в районе, расположенном недалеко от столицы Казахстана, у отрогов Заилийского Алатау.

Здесь, буквально на голом месте, строится новый целинный совхоз для выращивания ценной культуры — нового сорта табака. Сюда съезжаются люди со всех концов нашей Родины, и все они живут единой семьей, одной мечтой. Символично поэтическое название совхоза — «Ал Саба», что означает «Алое утро».

В романе ярко выражены две основные сюжетные линии: строительство сов-

хоза и развитие характера главной героини — Макпуле.

Автор убедительно показывает трудности, которые встречает коллектив при строительстве жилых домов, производственных помещений, административных зданий. Когда лесоматериалов стало достаточно для завершения строительных работ, Макпуле берется за полевые работы. Проходит совсем немного времени, и ее назначают бригадиром табаководов. И на новой работе она проявляет высокую сознательность, получает самый высокий урожай, становится коммунисткой.

В романе много интересных и захватывающих эпизодов. Он написан простым и выразительным языком. В нем много ярких, метких, запоминающихся сравнений. Здесь поэзия хорошо служит интересам прозы. Автор часто и умело применяет народные пословицы и поговорки, которые помогают ему еще лучше передавать свои мысли и думы своих героев. Роман хорошо переведен Эрвином Умеровым,

Р. Халид

СОДЕРЖАНИЕ

Глеб ГОРБОВСКИЙ. Из деревенских пятистиший. Настывшую за зиму душу... Сквозь сон. У печали есть чары... Звон синицы. Не повториться, не прослыть банальным... <i>Стихи</i> . . .	3
Николай ГРИГОРЬЕВ. С башни времени	6
Лев ОЗЕРОВ. Послание грузинским друзьям. Подражание Орбелиани. В мастерской художника. Воспоминание о старом городе. Когда была агава слева... Притча о рубахе. <i>Стихи</i> .	88
Павел СОКОЛОВ. Живу несуетливо, не спеша... В обороне. Ветераны. Давай-ка чудо сотворим... <i>Стихи</i>	90
Геннадий НИКОЛАЕВ. Краники. <i>Рассказ</i>	91
Александр САЗОНОВ. Глубокой ночью. Конец жатвы. Соловьи поют за Хопром... Без мечты и без придумки... Не морочьте голову... Своих друзей встречая хлебом-солью... <i>Стихи</i> . . .	112
Олег ЮРКОВ. Очки Чернышевского. Не знаю, что останется в итоге... В малиннике пылают свечи... <i>Стихи</i>	114
Михаил МИШИН. Три рассказа	115

ПУБЛИЦИСТИКА

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ПОСТ „ЗВЕЗДЫ“

Ленинград — Саяно-Шушенская ГЭС

С Лениным, по ленинскому пути! Выступления Анатолия Чепурова, Георгия Холопова и Юрия Рытхэу на Всесоюзной конференции писателей в селе Шушенском	122
Георгий МОЛОТКОВ. Балтийский щит	132
Лина ГЛЕБОВА. В поездке и дома (Дневник журналистки) . . .	139
Майк ДЭВИДОВ, американский журналист. Таинственный убийца. <i>Перевод с английского И. Ершовой</i>	158

ИСКУССТВО

Николай ЗАЙЦЕВ. Личность в масштабе истории (О герое спектаклей Театра имени А. С. Пушкина)	163
Н. ОХОЧИНСКИЙ, заслуженный артист РСФСР. Старейший кукольный...	172

КРИТИКА

Адольф УРБАН. «Эпох соприкасатель»	179
А. НИНОВ. Почти вся жизнь...	194

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- А. ЛЕВИТИНА. Личность писателя и его книга (Мариэтта Шагинян. Человек и время) 203
- Н. ЦЫГАНОВА. В большом городе (Владимир Маканин. Ключарев и Алимужкин. Роман, рассказы) 205
- А. ПИКАЧ. «Заходи в мое стихотворенье» (Сергей Орлов. Костры. Сергей Орлов. Командир танка. Поэма. Сергей Орлов. Белое озеро. Из вьетнамской тетради. Из фотоархивов поэта) 208
- Ю. ПЕТРОВСКИЙ. «В те годы дальние, глухие» (М. Олейник. Пролог. Авторизованный перевод с украинского Ю. Саенко) . 211
- Михаил КОНОСОВ. На повороте (Виктор Коротяев. Чаша. Стихи. На свидание. Повесть и рассказы) 213
- А. ХОДОРОВ. Лермонтов в свете современной науки (Сборник. М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы) 215
- Т. ХОМЯКОВА. Лгут ли зеркала? (Стадс Теркел. Работа (Люди рассказывают, чем они занимаются весь день и что об этом думают). Стадс Теркел. Работа (Люди рассказывают о своей каждодневной работе и о том, как они к этой работе относятся) 217

СРЕДИ КНИГ

- М. Григорьева — Е. Шереметьева. Ветер стихает. □ Л. Канунова — Владимир Арро. Завод как на ладони. □ Р. Халид — Черкез-Али. В объятиях зари 220

Главный редактор Г. К. ХОЛОПОВ

Редакционная коллегия:

А. А. ГОРЕЛОВ, П. В. ЖУР (первый зам. главного редактора), А. Г. КАЛЕНТЬЕВА, В. Н. КУЗНЕЦОВ, Г. А. НЕКРАСОВ, Н. К. НЕУЙМИНА, Г. Ф. НИКОЛАЕВ (зам. главного редактора), Н. Н. СКАТОВ, А. С. СМОЛЯН, Э. С. СТАВСКИЙ, А. А. ФУРСЕНКО, А. П. ЭЛЬЯШЕВИЧ

Ответственный секретарь И. М. ЕРШОВА

Корректоры О. А. Назарова, Е. Д. Тонконогова Технический редактор В. Т. Молоткова

Адрес редакции: 192028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместитель главного редактора и ответственный секретарь — 273-76-92, зав. редакцией — 273-37-24, заместитель главного редактора и отдел публицистики — 273-52-56, отдел прозы — 272-18-15, отдел критики и отдел поэзии — 273-74-91

Издательство «Художественная литература»

М-32452. Подписано к печати 26.11.1979 г. Тираж 116 000 экз. Формат 70×108^{1/16}. 14,4 печ. л. 19,6 усл. печ. л. 23,164 уч.-изд. л. Печать высокая. Заказ № 315. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата. 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.

60 коп.

Индекс
70327

